

СОЛНЦЕ НАШЕЙ ПОЭЗИИ

— ❁ ❁ ❁ —
СОЛНЦЕ
НАШЕЙ
ПОЭЗИИ









СОЛНЦЕ
НАШЕЙ
ПОЭЗИИ

(Из современной
Пушкинианы)



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

Под общей редакцией
М. И. Самойловой

Составление
Ю. И. Осипова

Рисунки и оформление
В. Ф. Горелова

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Давно уже сказано: Пушкин принадлежит всем. И каждая эпоха, каждое десятилетие вносят нечто свое, новое в постижение нашего общенационального гения, его судьбы, его окружения.

Вот почему в предлагаемой читателям книге собраны статьи, очерки, эссе как профессиональных исследователей, так и писателей, журналистов, людей, ведущих многолетнее изучение различных аспектов жизни и творчества Пушкина.

Систематизированные по разделам, эти материалы, конечно, не претендуют на исчерпывающий охват поистине неисчерпаемой пушкинской темы, отражая в какой-то мере ее состояние и интересы последнего периода.

Серьезность подхода и научная добросовестность авторов, среди которых признанные авторитеты, не вступают, как нам кажется, в противоречие с живостью и занимательностью изложения. Мы включили сюда также некоторые спорные работы, гипотезы и догадки, предположения, ибо убеждены, что в сравнительном контексте они имеют право на существование и послужат толчком дальнейшим углубленным исследованиям.

А это, когда речь касается Пушкина, в конечном счете главное. И мы надеемся, сборник расширит о нем представление массового читателя.

Почти все материалы сборника печатались на страницах журнала «Огонек» в 60—80-х годах.

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Д. С. Лихачев,
академик

— «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в той же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

— Как вы считаете, Дмитрий Сергеевич, сбывается ли гениальное пророчество Гоголя? Что значит Пушкин для нас, людей, живущих в последние годы второго тысячелетия?

Д. Лихачев: — Пушкин — это лучшее, что есть в каждом из людей. Это доброта и талант, смелость и простота, верность в дружбе и бескрайность в любви, уважение к труду и к людям труда... И еще мы любим и постоянно оплакиваем Пушкина потому, что он погиб за честь свою и честь своей поэзии, за любовь. Погиб в бою, с оружием в руках, хотя уверен — убить человека ему было не суждено. Он не был бы для нас Пушкиным. Любое из челове-

ских чувств — любовь, печаль, гнев, грусть, чувство приближающейся смерти — он поднимал в своей поэзии до высочайшей точки. Его поэзия облагораживает нашу жизнь.

Говоря про честь, я в первую очередь имею в виду бой за честь поэта, ибо не может ни уважать себя, ни жить, ни быть уважаемым и любимым читателями поэт с замазанной честью. Этот закон в полной мере действует и сегодня. Не будут ни уважать, ни любить поэта, как бы хорошо он ни писал, если он марает себя корыстолюбием, низкопоклонством или бесчестными поступками.

Я думаю о Бородине, о героях 1812 года. Современники Пушкина, многие из них — его близкие друзья. И в то же время никому из нас не придет на ум считать Багратиона и Кутузова, Раевского и Ермолова, Дениса Давыдова и Надежду Дурову своими современниками. Они наша славная, величавая, героическая, прекрасная история.

А Пушкин — сегодняшний, современный. Это не столько можно объяснить, сколько понять душой, всем существом своим.

Думаю, что тайна безмерного обаяния Пушкина в том, что он в каждое мгновение жизни, в каждой ее песчинке видел, ощущал, переживал огромный, вечный, вселенский смысл. И потому он не просто любил жизнь во всех ее проявлениях — жизнь была для него величайшим таинством, величайшим действием. И потому он был велик во всем: и в своих надеждах, и в своих заблуждениях, и в своих победах, и в своей любви к людям, к природе, в любви к Родине, к ее истории, ее будущему.

Даже самые закоренелые циники, самые отъявленные мещане и обыватели, самые легкомысленные вертопрахи ближе или глубже в душе своей сознают — или всегда, или со временем — свою ничтожность.

А все простые хорошие люди на планете или знают, или догадываются, или смутно ощущают, что жизнь вокруг нас и в каждом из нас есть величайшая тайна, требующая серьезного, глубокого отношения, полной отдачи, и что жизнь за это дарит нам ощущение счастья, гармонии, полноты существования. В конечном счете это и есть идеал каждого из нас. И в Пушкине этот идеал был воплощен в полной мере. Потому он и есть наш идеал, вечно живой, вечно с нами. Но идеал этот не напыщенный, не громогласный и не чванливый, а как бы равный со всеми нами, свободный и простой. Слова Николая Васильевича Гоголя,

поклонника, ученика, друга Пушкина, с которых вы начали нашу беседу, пожалуй, самые точные, самые пронизательные для определения всевременного значения для нас Пушкина.

Это философская сторона вопроса. А бытовое ее воплощение оказывает на людей второй половины восьмидесятих годов XX века не меньшее, если не большее воздействие.

Мы уважаем труд, знаем цену труду, ценим людей по их труду. Пушкин был первым профессиональным литератором России, он жил своим трудом, боролся против произвола издателей, добивался достойной оплаты за труд поэтов, писателей, драматургов.

Он был верным другом и добрым товарищем.

Он не боялся царей и презирал карьеристов-вельмож.

Он был другом декабристов, их учеником и их учителем.

Он был внимательным мужем, заботился о чести и покое жены до последней минуты жизни.

Наконец, он был просто здоровым, веселым, смелым и сильным человеком.

И все эти простые, земные, общечеловеческие превосходные качества никогда не будут забыты, всегда будут залогом его бессмертия в наших сердцах.

Много пишут о Пушкине — величайшем поэте, гении. Но народ любит гениев простых в своем величии и великих в своей простоте. И потому я говорю именно о простых, общечеловеческих чертах в образе Пушкина.

Размышляя о Пушкине, люди невольно сравнивают себя с ним. А сделал ли бы и я так? А поступил бы так же? А что я думаю об этом?

Это очень полезные размышления и очень важные. Они способствуют пробуждению в наших душах и умах самых лучших, самых высоконравственных мыслей и устремлений.

В конечном счете это и есть самовоспитание добром и красотой человеческой души.

— «Пушкин и его время» — это огромный материал. И вот уже почти полтора века исследователи постигают его тайны, стремясь приблизиться к загадке гения, постичь его жизненные и творческие связи. Какие проблемы стоят перед пушкинистами наших дней?

Д. Лихачев: — Я бы даже расширил вопрос. По-моему, уровень пушкиноведения — лакмусовая бумажка развития отечественной науки о литературе. Сейчас Пушкиным занимаются очень многие — о нем пишут диссертации, биографии, стихи, романы, пьесы в стихах и прозе и т. д., и т. п. Но с сожалением должен отметить, что пушкинистов, казалось бы, не мало, а уровень науки о Пушкине сейчас сравнительно невысок. Ушли блестящие ученые-пушкинисты, носители высокой культуры и профессиональных знаний, а численно адекватной смены им не видно. Это настораживает. Ведь нас ожидают очень серьезные работы, связанные с Пушкиным. И прежде всего издание академического собрания сочинений, создание Пушкинской энциклопедии и, конечно, написание полной научной биографии Пушкина, летописи его жизни. Вы понимаете, что я перечислил лишь некоторые задачи пушкиноведения. Но не только ученые должны участвовать в процессе расширения наших знаний о Пушкине, в воспитании любви к нему и понимания его произведений. Разве не прекрасная, например, идея создания Пушкинского театра, выдвинутая актером и поэтом Владимиром Рецептером! Действительно, в Англии есть всемирно известный Шекспировский театр, а мы до сих пор не имеем театра нашего национального гения — Пушкина. Его драматургия — это драматургия слова, ее необычайно трудно донести до зрителя. У актеров театра Пушкина должна быть высочайшая, одухотворенная и осмысленная, подчеркиваю, осмысленная, школа чтения стиха, текста, пушкинского текста. Это был бы экспериментальный театр, и в том тоже его важная роль.

Я вспоминаю «театр одного актера» Владимира Яхонтова. С каждого его чтения я уходил потрясенным; долго звучали в душе яхонтовские интонации. И одно из самых больших моих впечатлений от чтения Яхонтова было чтение им всего текста «Евгения Онегина». Два вечера он читал «Онегина» в Эрмитажном театре. Было это перед самой войной.

Конечно, он не просто читал Пушкина. Он играл текст Пушкина. И особенно поразительна была его Татьяна. Какой идеально женственной, умной, скупой на выражение своих чувств предстала она! Можно было влюбиться в Татьяну Ларину в истолковании Яхонтова, в ее изображение Яхонтовым. По-моему, еще никто и никогда не замечал,

что мужчина может влюбиться в образ женщины, созданный актером. А ведь и так бывает.

К чему я это говорю? Драматургические произведения Пушкина необычайно трудны для постановок. Загадка театра Пушкина разгадывается, как мне кажется, тем, что это театр слова и мысли. Есть театр ситуации, театр сюжетов, театр настроений, театр мысли, театр театра. Театр слова — один из самых трудных видов театра. Пушкина читать невероятно трудно, ибо его надо читать с предельной простотой, не на минуту не забывая музыки стиха и драматизма мысли, заложенной во всем произведении и в каждом отдельном слове.

Предложение Владимира Рецептера создать театр Пушкина — театр, где ставился бы Пушкин, один Пушкин или по преимуществу Пушкин, — не только «интересно» и «своевременно», эти два слова обычны в одобрениях подобных предложений, но и умно, ибо на Пушкине лучше всего учиться читать поэзию — в драматургической, лирической или эпической форме. Опыт Пушкинского театра был бы крайне важен для всех театров. На игре Пушкина проверялся бы актер и постановщик. Удачи и неудачи в пушкинских произведениях были бы показательны и поучительны. В. Рецептер не предлагает воссоздать яхонтовский «театр одного актера». Он предлагает нечто иное, но в чем-то близкое: создать театр одного автора, чтобы актеры учились на труднейшем тексте, а зрители сравнивали, вникая тем самым и в слово Пушкина, и в игру разных актеров, учились бы слушать, а не просто ожидать развязку. Ведь произведения Пушкина знают все; следовательно, не ждут конца, а наслаждаются настоящим — тем, что сейчас слышится со сцены и видится на ней. Умение жить настоящим — это вообще высокое и мудрое умение, часто забываемое в наш торопливый век.

— Когда вы работали над фильмом «Дома у Пушкина», а съемки проходили в самый разгар реставрации последней квартиры поэта на Мойке, то многие сомневались, стоит ли показывать ее в таком, можно сказать, «обнаженном» виде — без мебели, книг, мемориальных вещей.

Д. Лихачев: — Мне кажется, что мы тогда получили уникальную возможность увидеть и показать квартиру Пушкина на Мойке в ее обнаженно-доподлинном виде, какой ее никогда больше увидеть не удастся. Перед нами открылись совершенно неожиданные, неизвестные вещи.

Нина Ивановна Попова, хранитель музея, рассказала об интересных находках, которые были сделаны во время реставрации. Они свидетельствуют и о полуторавековой жизни самого дома, и о быте Пушкина и его семьи. Мне кажется, что целый ряд археологических фрагментов — живых свидетелей ушедшей эпохи — надо после реставрации сохранить, ведь замечательно интересно увидеть какие-то детали, будь то кусок старых обоев, неожиданно найденное окно там, где была глухая стена, или что-то еще.

Здесь встает принципиальная проблема мемориального музея. Ведь можно создать, так сказать, типологический музей. Обставить его мебелью пушкинской поры, театризовать, декорировать — но это будет музей быта, а не музей Пушкина. Можно, конечно, оставить лишь подлинные вещи, но их немного, и устроителям музея будет очень не просто ограниченными средствами добиться эмоциональной достоверности и дать посетителям материал для раздумий.

В таком музее, как квартира на Мойке, должны быть, конечно, подлинные вещи, их следует тактично дополнить типологическими предметами, как сделано это с книгами библиотеки поэта (она ведь представлена на Мойке дубликатами пушкинских книг), и, безусловно, в экспозиции должна присутствовать археология, рассказывающая об истории дома, его судьбе и в послепушкинское время.

— А лично у вас что-нибудь связано с этим самым пушкинским местом Ленинграда?

Д. Лихачев: — Конечно, ведь я старый петербуржец. Вся жизнь я живу в этом городе, и это одно из любимых мест моих прогулок. В старости хочется ходить в те места, где бывал в детстве. Здесь еще до революции и до первой мировой войны я бывал с отцом. По воскресеньям мы ходили смотреть развод караула в Зимнем дворце, смотреть через ворота (сам развод совершался во дворце) и слушать, потому что караул шел во дворец через арку Генерального штаба при оглушительном звуке оркестра. После Дворцовой площади мы шли сюда, к окнам пушкинской квартиры. Сюда часто приводили детей, здесь не было еще ни музея, ни памятной доски.

Но все петербуржцы знали, что тут умер Пушкин. И приводили детей посмотреть на окна этой квартиры.

Я не специалист по жизни и творчеству Пушкина, моих знаний о Пушкине не больше, чем у любого русского

человека, моя специальность — древнерусская литература, но постоянно я возвращаюсь мыслями к Пушкину, постоянно тянет прийти сюда. Я помню, как в доме на Мойке уже в 30-е годы, когда я начал работать в Институте русской литературы, было уже несколько музейных комнат и появился замечательный музейный организатор — Борис Валентинович Шапошников. Он был директором нашего музея в Институте русской литературы и здесь, на Мойке, работал по созданию музея-квартиры Пушкина.

Мне кажется, что он обладал абсолютным музейным чутьем, как люди обладают абсолютным слухом в музыке. Это был совершенно замечательный человек по своему музейному вкусу, по умению делать экспозиции, создавать музеи.

Потом наступили дни Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года в Мойку, рядом с квартирой Пушкина, попала бомба. Набережная дала трещины, дом был под угрозой, и мы, сотрудники Института русской литературы, пришли сюда, чтобы спасти вещи, экспонаты, мебель. Я тащил со всеми диван — это я очень ясно помню. Потом с трудом достали грузовик, чтобы перевезти вещи в Пушкинский Дом. Так что и я совсем немного, но причастен к судьбе музея на Мойке.

— Весь этот район Ленинграда можно считать Пушкинским. И вид из окна последней квартиры поэта, быть может, самая достоверная его часть. Здесь буквально все напоено Пушкиным, причастно к его жизни, биографии.

Рядом с последней квартирой Пушкина — Конюшенная церковь, где отпевали Пушкина и где еще сохранились остатки росписи Брюллова. В этой церкви следовало бы сделать вместо занимающего ее учреждения выставку видов Петербурга пушкинской поры — их ведь очень много: гравюр, акварелей, картин.

Д. Лихачев: — Пушкин мог видеть из своего окна Зимний дворец. Поразительно. На многие размышления может натолкнуть эта, казалось бы, случайность. Дома, который сейчас закрывает дворец, не было, и Пушкин мог видеть обитель царя. Поэт и царь. Ведь именно Пушкин изменил во многом это соотношение. Положение его предшественников было иным. Они получали высочайшие по-

дарки, дорогие табакерки, перстни, обязаны были писать оды и т. д. А Пушкин ощущал себя независимым. Он высоко ставил честь поэта и чувство чести своей поэзии. Ибо поэт и поэзия неразлучны.

Пушкин осознал свою силу как поэта, а без этого сознания не может быть истинного творчества. Вот к каким мыслям приводит это противостояние Мойки и Зимнего дворца, не в житейском смысле, конечно, а в смысле высоком, духовном.

— Но его вдруг назначают камер-юнкером. Николай Первый решил свести его положение к положению поэта придворного.

Д. Лихачев: — Пушкин оскорбился, что его, поэта, царя, низводят до какой-то табели о рангах. Почему царя? Я часто думаю над его строкой: «Ты, царь, — живи один!» Как нужно ее понимать? Поэт ощущал себя царем в царстве литературы. Это поразительно сказано Пушкиным. Осознавая себя царем, в одиночестве равном со всеми, он как бы замыкается в своем творчестве и ощущает себя властителем не подданных, а властителем всего мира.

Всего мира, поэтического мира, и мира, который он поэтизирует. Царем над русской историей, в какой-то мере потому, что ведь он же выступает в качестве судьи и судьи над Пугачевым, над Петром, над Борисом Годуновым. Он вершит суд свой — суд поэта. Это совершенно замечательное ощущение себя, как царя духа, одинокого царя, взирющего на Россию, который может сказать словами письма к Чаадаеву, что он никогда не променяет русскую историю ни на какую иную.

Вот почему он оскорбился, а не потому, что перерос возраст камер-юнкера. Бывали они и старыми.

А ведь Пушкин был поэт-пророк. Впрочем, великие поэты России были пророками — и Лермонтов, и А. К. Толстой, и Вл. Соловьев, и Блок.

Именно это и дало Аполлону Григорьеву право сказать, что «Пушкин — это наше все». Будем же всегда помнить эти слова.

— А что, Александрийская колонна была видна из его квартиры?

Д. Лихачев: — Видна была с набережной Мойки. Но это неважно. Важно, что Александрийский столп был недалеко. Ведь вы помните, как начинается «Памятник» Пушкина:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

А что такое Александрийский столп? Даже многие ленинградцы этого не знают. Я помню, когда я учился в университете, нам преподавал английский язык мистер Клер, настоящий англичанин, и вот он говорит нам: «У вас нет патриотизма, у вас, у студентов, у русских нет патриотизма. У нас каждый англичанин знает, что такое Нельсонова колонна и кто там стоит на Нельсоновой колонне, а вы не знаете, в честь чего Александрийский столп воздвигнут».

Мы начинаем гадать. Одни говорят, что в честь взятия Парижа, другие в честь возвращения русской армии из заграничного похода, и так далее.

Он берется за бока и хохочет. «Вот,— говорит он,— вы же не знаете, сколько букв в русской азбуке, я вас спрашивал, вы не знали, вы и тут не знаете самой большой достопримечательности в городе. Ведь даже Нельсонова колонна на одну треть ниже монолита Александрийской колонны. Она самая большая в мире, это самый крупный монолит в мире. Это же памятник императору Александру Первому». А теперь задумаемся в строки Пушкина — значит, памятник поэту, воздвигнутый им, выше памятника императору.

«Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Это значит, что поэзия, царство поэзии. Больше и выше, чем власть императора. Она непокорна царю. И это утверждение свободы духа, которая необходима царству поэзии. Пушкин осознавал себя национальным поэтом, выразителем народных дум, понимал свое предназначение. Он действительно был пророк, кажется, что он знал будущее. Но несомненно, что полное осознание своего предназначения пришло к нему, когда он занялся русской историей, стал интересоваться отношением народа и государства, народа и царя. Это выразилось и в «Борисе Годунове», и в «Капитанской дочке», истории Петра, истории Пугачева — здесь Пушкин выступает как историограф, и он остается верен своей концепции поэта-пророка: «глаголом жги сердца людей».

— В книге «Поэзия садов» вы неоднократно обращаетесь к имени Пушкина. Но тема «Пушкин и сады Лицея», кажется, вас наиболее интересует.

Д. Лихачев: — Действительно, это очень важная и очень непростая тема. Ведь лицейская лирика Пушкина своими мотивами тесно связана с царскосельскими садами. И царскосельские сады, и лирика Пушкина в значительной степени зависели от общих им поэтических «настроений эпохи», а само пребывание молодого поэта в «садах Лицея», несомненно, воздействовало на его лицейскую лирику.

Но вначале скажем, что же это такое — «сады Лицея», о которых Пушкин говорит в восьмой главе «Евгения Онегина»:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал...

Даже Владимир Набоков, не говоря уж о других толкователях, не пошел в понимании слов «сады Лицея» дальше, чем, определив их как «сады, примыкающие к Лицею». Но в понятии «сады Лицея» есть примечательные оттенки. Ведь сады были неременной принадлежностью лицеев и академий, начиная со времен Платона и Аристотеля.

Понимание «садов Лицея» как садов, традиционно связанных с учебными заведениями, садов Аристотеля и Платона, было живо и в представлениях царскосельских лицистов.

И. И. Пущин писал, вспоминая, как его отдавал в Лицей его дед: «Старик, слишком восьмидесятилетний, хотел непременно сам представить министру своих внучат, записанных по его же просьбе в число кандидатов Лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России, — не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали с своими учениками».

Следует обратить внимание на то, что Пушкин говорил о «садах Лицея» во множественном числе. Очевидно, что Пушкин не ограничивал территорию «садов Лицея» каким-либо одним садом, а имел в виду все дворцовые сады Царского Села, которые были в ближайшем окружении: Лицейский садик, Старый (или Голландский) сад, пейзажный Екатерининский парк и Александровский. В отдалении к ним примыкал и Павловский парк, поскольку Пушкин бывал в нем, и по крайней мере одно из его лицейских сти-

хотворений было непосредственно связано с Павловским: «Принцу Оранскому».

Царскосельские сады были по преимуществу садами голландского барокко и поздней разновидности барокко — рококо. На барочном характере садов Царского Села следует остановиться особо, так как с этим связано особое понимание Пушкиным и его друзьями-лицеистами всего их эмоционального и семантического строя, широко отраженного в поэзии Пушкина-лицеиста.

Для русского барокко и особенно рококо Растрелли существенное значение имело древнерусское золочение мажорков и различных архитектурных деталей. Золото соответствовало той же эстетике барокко: оно давало разнообразные эффекты в зависимости от освещения, было различным в различное время дня, при различной погоде, утром или в закатных лучах, при густой летней листве и редкой осенней, при весенней окраске листвы и осенней, при снеге или дожде. Золото было различным — мокрое от дождя или тумана, сухое при облачном небе и в ветреный день, когда оно непрерывно менялось от освещения или когда было ровно и спокойно освещено в пасмурный день. Совершенно особых эффектов достигало золото в сочетании с белым снегом: видимое через спокойно падающий снег или как бы движущееся в метели.

Совершенно неправильно представление о том, что золотом достигался только эффект богатства, пышности и «ювелирности» дворца.

По старым фотографиям и по личным впечатлениям я знаю, что даже тогда, когда золота на Екатерининском дворце в Царском Селе не было, а капители, базы, карнизы были грубо окрашены в желто-коричневый цвет, созерцание садового фасада дворца через черные полустаростлетние стволы и зелень лип доставляло редкостное эстетическое наслаждение. К сожалению, при «реконструкции» сада липы, даже находившиеся в хорошем состоянии, были спилены, чтобы без особой нужды «раскрыть вид на фасад» (напомню, что противоположный парадный фасад Екатерининского дворца всегда оставался открытым и легко обозримым, следовательно, особой нужды «раскрывать вид» не было).

Своим известным словам о «садах Лицея» Пушкин придавал несколько иронический характер, указав, что свое образование в них он сочетал с некоторой свободой от

школьных требований: «читал охотно Апулея, а Цицерона не читал». То же соединение «школы» с образом садов встречаем мы и в стихотворении 1830 г. «В начале жизни школу помню я», в котором он говорит как раз о своем восхищении: «все кумиры сада на душу мне свою бросали тень». Напомню, что в первоначальном наброске этого стихотворения сад и школа соединены еще отчетливее. Набросок начинается строкой: «Тенистый сад и школу помню я». Тем самым уже в зрелые годы Пушкин сохранил то отношение к Лицею, которое воплотилось у него в лицейских стихотворениях, где подчеркнут дух свободы и свободной природы.

Образы «садов Лицея» глубоко пронизывают собой всю лицейскую лирику Пушкина. Здесь и «брега спокойных вод» («Послание к Галичу»), «темный берег сонных вод» («Мое завещание друзьям»), «ложе маков и лилей» (там же), «злачны нивы», «ручеек игривый», «под кровом лип душистых» («К Наташе»), «среди темной рощицы, под тенью лип душистых» («Леда»), журчание ручьев, дремлющие воды, зеленые склоны холмов и т. д.

Понимание Пушкиным «садов Лицея» как садов свободы, вольности и наслаждения, тишины, отчасти воспитанное новыми идеями английских либералов, было характерно не только для Пушкина. Дельвиг в 1817 г. обращался к своим лицейским друзьям с такими стихами:

Я редко пел, но весело, друзья!
 Моя душа свободно разливалась.
 О царский сад, тебя ль забуду я?
 Твоей красой волшебной забавлялась
 Проказница фантазия моя,
 И со струной струна перекликалась,
 В согласный звон сливаясь под рукой,—
 И вы, друзья, талант любили мой.

В эпоху Романтизма было принято наполнять сад различного рода личными воспоминаниями и памятниками. В памятных местах возлагались цветы, клались какие-либо сувениры, на ветки деревьев вешались венки, ленты, свирели и пр. Аналогичное украшение деревьев упоминается в стихотворении Пушкина «Зубчатый меч висел на ветвь мрачной ивы» (1814).

Из скульптур и памятников Царского Пушкин откликается главным образом на исторические — памятники

русским победам. Отчасти это объясняется тем, что Павел I увез из Царского большинство мифологических статуй, и сады Лицея вообще были ими сравнительно небогаты во времена Пушкина. Памятники русским победам — это другая, очень важная сторона чувствительности Царского. Их, напротив, было в Царском немало.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что памятники русским победам изображаются Пушкиным в «Воспоминаниях в Царском Селе» в оссиановском духе.

«Воспоминания» начинаются с картины столь характерной для Оссиана ночи:

Навис покров угрюмый ночи
На своде дремлющих небес...

И далее идут образы, типичные для Оссиана:

С холмов кремнистых водопады
Стекают бисерной рекой.

Чесменский памятник

...Окружен волнами,
Над твердой, мшистою скалой

Кругом подножия, шума, валы седые
В блестящей пене улеглись.

О Кагульском обелиске говорится:

В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой.

Сосны реально окружали когда-то Кагульский обелиск, но эпитет «угрюмые» подчеркивает их характерность для оссианического пейзажа.

Характерно так же заканчиваются стихи «Воспоминания в Царском Селе». В. А. Жуковский назван в них «скальдом», и это не оставляет сомнений в том, что многочисленные оссианические образы и мотивы «Воспоминаний» употреблены вполне сознательно:

О Скальд России вдохновенный,
Воспевший ратный грозный строй,
В кругу товарищей, с душой воспламенной,
Греми на арфе золотой!

Да снова стройный глас героям в честь прольется,
И струны гордые посыплют огонь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.

Несмотря на наличие памятников русским победам, «садом пышности» Голландский сад перед Екатерининским дворцом никогда не был, но совмещение архитектурного стиля с пейзажным в «садах Лицея» происходило во времена Пушкина тем легче, что деревья в Голландском саду уже достаточно разрослись. Совмещение обоих стилей отнюдь не уменьшало силу воздействия «садов Лицея» на поэзию Пушкина, особенно в его лицейских стихах.

Царскосельские сады научили Пушкина сладости воспоминаний, связали поэзию Пушкина с постоянными реминисценциями прошлого и научили его ценить вольность.

Воспоминания рождала в нем не только пейзажная часть Екатерининского парка, но и старый (Голландский) сад с его удивительной гармонией регулярности и свободы, начал, идущих от человека и от природы. В пейзажной части парка были по преимуществу героические памятники, памятники военной славы России, в Старом же саду — античные символические и аллегорические фигуры:

Всё — мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры...
(«В начале жизни школу помню я»)

В 1829 г. Пушкин писал:

Вспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак вап священней
Вхожу с поникшею главой...

Царскосельский парк был парком воспоминаний и, как указывает И. Ф. Анненский в своем замечательном очерке «Пушкин и Царское Село», тема воспоминаний стала ведущей темой поэзии Пушкина: «...именно в Царском Селе, в этом парке «воспоминаний», по преимуществу, в душе Пушкина должна была впервые разразиться наклонность к поэтической форме воспоминаний, а Пушкин

и позже всегда особенно любил этот душевный настрой», вызываемый «сумраком священным» тенистых деревьев.

В Пушкинских парках надо хранить эстетический идеал молодого Пушкина и живую память о нем.

Подумайте, Пушкин, женившись, поехал именно в Царское Село. Он хотел поделиться с Натальей Николаевной своими отроческими и детскими воспоминаниями, побродить с ней вместе у озерных берегов, это очень хорошо уловила Ахматова, именно у озерных берегов пейзажных парков. Эстетика пейзажных парков пронизывает поэзию Пушкина. Пушкин был связан не с регулярными парками, а именно с пейзажными, и все даже маленькие отрывки стихотворений Пушкина, посвященные парку, все они связаны с теми или иными пейзажными мотивами.

— Природа Царскосельских парков и пейзаж Михайловского, как они, казалось бы, столь различные сосуществуют в поэзии Пушкина?

Д. Лихачев: — Пушкин сознательно открыл природу в Царскосельских парках, а затем перешел в русскую деревню. Простой русский пейзаж Пушкин знал еще в раннем детстве, в Захарове, но полное открытие русской природы в ее органической связи с русской деревней произошло именно в Михайловском и Тригорском. Вот почему они святы для каждого русского человека.

Природа Святых Гор (теперь Пушкинских Гор) служит как бы комментарием к многим стихам Пушкина, к отдельным главам «Евгения Онегина», освящена встречами здесь с его друзьями, с Ариной Родионовной, с крестьянами. Воспоминания о Пушкине живут здесь в каждом уголке. Пушкин и природа здешних мест в дружном единстве творили здесь новую поэзию, новое отношение к миру, к человеку! Хранить природу Михайловского и Тригорского мы должны со всеми деревьями, лесами, озерами и рекой Соротью с особым вниманием, ибо здесь, повторяю, совершилось поэтическое открытие русской природы.

Пушкин, идя от природы России, постепенно открыл для себя русскую действительность.

Изменить что-либо в Михайловском и Тригорском, да и вообще в пушкинских местах бывшей Псковской губернии нельзя, так же как и во всяком дорогом нашему сердцу памятном месте. Даже и драгоценная оправа здесь не годится, так как пушкинские места — это только центр той



*Государственный
музей
А. С. Пушкина
в Москве.*

обширной части русской природы, которую зовем Россией. Надо убрать столбы электропередач и асфальт вблизи Тригорского. Я против строительства здесь большого культурного центра, ибо он неизбежно будет использоваться для конференций, не связанных с Пушкиным. В пушкинских местах сама тишина целебна. Поэтому я так люблю их поздней осенью или ранней весной.

— Дмитрий Сергеевич, мы говорили о местах, связанных с Пушкиным в Ленинграде и его пригородах, на

Псковской земле. Хотелось бы услышать ваше мнение о Москве, как здесь берегут память о великом поэте?

Д. Лихачев: — Одним из значительных событий культурной жизни стало открытие мемориального музея Пушкина на Арбате. Мы давно мечтали о нем. Этот музей создавался долго и трудно, и вот наконец он открыт. Это замечательный подарок всем, любящим русскую литературу, русскую культуру. Теперь, видимо, надо думать о создании музея или концертного зала Государственного музея А. С. Пушкина в церкви Большого Вознесения, где венчался поэт. Для этого здание следует, не откладывая, освободить от арендуемого его учреждения и передать московскому музею поэта. Говоря о пушкинской Москве, я не могу не сказать о человеке, который много сил отдал созданию мемориальной квартиры Пушкина на Арбате. Это Марк Михайлович Баринев. Незадолго до преждевременной кончины он стал директором Государственного музея А. С. Пушкина и всего себя отдавал служению памяти поэта. Писатель, журналист, моряк, он пришел к Пушкину уже в зрелом возрасте, и любовь его к русскому гению была действенной. В свое время именно с Марком Михайловичем делился я идеей создания в Москве «Пушкинского парка». Действительно, есть в Москве в пределах Бульварного кольца в буквальном смысле пушкинский район. Определяется он не административными границами, а духовным содержанием. И рождается идея «Пушкинского парка», состоящего из нынешних бульваров, скверов, памятников архитектуры, в арбатских и кропоткинских переулках.

Именно с М. М. Бариневым мы в 1982 году опубликовали в «Огоньке» материал, в котором поставили вопрос о создании в Одинцовском районе Подмосковья Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина в Захарове и Больших Вяземах, где прошло его долицейское детство. Это одно из главных пушкинских мест в нашей стране, и стыдно сказать, в каком оно находится ужасном состоянии. И вот через четыре года я читаю в «Правде» изложение письма секретаря Московского обкома КПСС В. Борисенкова, в котором говорится, что «Бюро МК КПСС дана принципиальная оценка недостатков в деле охраны и использования мемориала пушкинских мест в Одинцовском районе». В настоящее время все вопросы, связанные с созданием Государственного Пушкинского музея-заповедника, решены компетентными организациями. Прекрасно,

что наконец-то сдвинулось решение вопроса о приведении в порядок пушкинского Подмосковья. Но кто виновен в годах проволочек, за которые многое безвозвратно утеряно, искажено, уничтожено, несмотря на то, что в августе 1982 года Захарово принято на государственную охрану? Руководители Московской области давно и хорошо знали о том, что творится в Захарове и Больших Вяземах, об этом на протяжении многих лет бьют тревогу центральная пресса и телевидение, и только сейчас решили поставить вопрос о заповеднике. Кстати, как следует из той же публикации в «Правде», решение этой проблемы предполагается половинчатое, на первом этапе пушкинские места становятся филиалом Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. Почему? Для Звенигородского музея пушкинская тема чужда, не проще ли и, главное, целесообразнее организовывать пушкинский заповедник в Подмосковье как естественную составляющую Государственного музея А. С. Пушкина в Москве, придав ему, конечно, соответствующие полномочия, штаты, средства. Это было бы государственное, разумное решение проблемы, а не попытка случайного поспешного выхода из критической ситуации. Во многих городах, в том числе и в Ленинграде, такие объединенные музеи прекрасно работают. К тому же Захарово и Вяземы, связанные с детством поэта, должны быть по преимуществу музеями молодежи. И здесь должна быть расположена «Летняя пушкинская школа», путевки в которую должны получать дети, решившие серьезно заниматься творчеством Пушкина.

— На VIII съезде писателей вы выступили с конкретными предложениями о переиздании произведений целого ряда русских писателей, чьи книги по тем или иным причинам долгое время были преданы забвению, не печатались. А существуют ли работы о Пушкине или его времени, которые необходимо вернуть к активной жизни?

Д. Лихачев: — Я с огромным удовлетворением слежу за переменами, которые сейчас происходят, и по мере сил стремлюсь участвовать в процессе обновления, демократизации. Действительно, на VIII съезде писателей я назвал имена некоторых русских авторов, чьи книги надо издать и ввести в читательский оборот без излишнего шума и ажиотажа. Кое-что уже сделано, хотя в этом очень важном аспекте перестройки иные литературные деятели, облеченные чинами и должностями, усмотрели чуть ли не посягательство на основы литературной и общественной

жизни. И я рад, что абсолютное большинство литераторов и читателей поддерживают тот ветер перемен, который врывается в атмосферу. Разве не симптоматично, что принято решение издать в приложении к журналу «Огонек» 12-томное собрание сочинений Карамзина, куда войдет и его «История государства Российского». Честь и хвала «Огоньку», проявившему инициативу в этом деле. Н. М. Карамзин, которого высочайше ценил Пушкин, наконец, выйдет к самому широкому читателю.

Конечно, надо издать многие забытые, очень хорошие исследования о Пушкине. Например, статьи о Пушкине пронзительно умного Владислава Ходасевича, особенно «Колблемый треножник», да и ряд других работ. «Мой Пушкин», — как сказала Цветаева, — был у многих русских писателей, и как бы было интересно собрать в одну книгу наиболее яркие, концептуальные статьи и речи, выходящие за пределы собственно академического пушкиноведения, начиная, например, с бессмертной пушкинской речи Ф. М. Достоевского и гениального завещания А. А. Блока «О назначении поэта». Это была бы поистине провидческая книга.

— Мы беседуем с вами, Дмитрий Сергеевич, в канун печальной годовщины — 150-летия со дня гибели А. С. Пушкина. Те конкретные проблемы, которые вы затронули, не уведут ли нас в сторону от высокой и чистой темы осознания значения Пушкина для нас и наших потомков?

Д. Лихачев: — Давно пора научиться не отрывать слов от дел. Я не помню времени, когда бы не говорили о любви к Пушкину, но, и я не раз уже это повторял, любовь должна быть действительна: каждый юбилей, особенно такой, какой мы отмечаем в февральские дни 1987 года, заставляет подвести некоторые итоги, собраться, сосредоточиться для движения вперед. В делах и планах сегодняшнего дня живет будущее, вот почему мы и в юбилейные дни говорим о делах. Ведь скоро великая годовщина — двухсотлетие со дня рождения Пушкина. Пусть же нашим подарком любимому поэту и себе, и детям, и внукам, потомкам нашим будут приведенные в порядок пушкинские места, новые издания его книг, пушкинский театр, достойные музеи поэта... Я верю, нет, я уверен, что это будет один из краеугольных камней нравственного и патриотического воспитания подрастающего и грядущих поколений.

Беседу вел Д. Чуковский.



*Автопортреты
Пушкина.
1826, 1829,
1830, 1836 гг.*





ДЕТСТВО ПУШКИНА

Н. Скотов

26 мая 1799 года родился Пушкин. Пушкин родился в Москве. Кто угодно — где угодно. Но не Пушкин. Пушкин должен был родиться в Москве. Это стало первым свидетельством того, что русская история начала работать на свое удивительное создание абсолютно безошибочно, с поражающей воображение точностью — в большом и в малом, от начала и до конца. В таком явлении, как Пушкин, вообще никогда не могло быть и никогда не было ничего случайного.

Может быть, и самое-то главное — понять: пушкинский гений таков, что здесь в любой произвольности, в каждой вроде бы непредвиденности, во всяком на первый взгляд самом ничтожном факте всегда

выступает и заявляет себя ничем не затененная историческая необходимость, судьба. Очевидная особенность каждого гения, а уж пушкинского гения у нас, вероятно, более, чем любого другого: во всякой случайности, хоть той, хоть этой, все равно биение истории и взаимодействие ее миров и поступь ее законов.

В письме Бенкендорфу в январе 1835 года Пушкин просил о дозволении прочесть хранившееся в архиве пугачевское дело и сделать выписки, «если не для печати», то для «успокоения исторической моей совести». Слова поразительные как ясное выражение глубоко личного ощущения себя в истории. Пушкин, наверное, как никто, чувствовал токи истории, прошлой,

настоящей и будущей, буквально проходившие через него. «Он, — писал о Пушкине Чернышевский, — чрезвычайно гордился тем, что происходит от фамилий, игравших довольно значительную роль в нашей истории, и дорожил памятью своих предков. Чувство это отразилось на многих его произведениях, и если мы не будем знать фамильных воспоминаний, которыми он гордился, то многое в его сочинениях останется для нас темным». «Мы ведем род свой, — писал уже сам Пушкин, — от прусского выходца (на самом деле славянина. — Н. С.) Радши или Рачи (мужа честна, как говорит летописец, т. е. знатного, благородного), выехавшего в Россию во времена княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произошли Мусины, Бобрицевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шереметовы, Товарковы».

Честность и благородство понимались не только как личное достоинство, но и как фамильный завет прошлого и как родовая ответственность перед настоящим. В 1831 году, объясняясь с Бенкендорфом по поводу стихов «Моя родословная», вызванных гнусными болгарскими фельетонами, Пушкин писал: «Признаюсь, я дорожу тем, что называют предрассудками, дорожу тем, чтобы быть столь же хорошим дворянином, как и всякий другой; хотя от этого мне выгоды мало, наконец, я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них».

И если Россия, по слову Герцена, ответила на вызов Петра

колоссальным явлением Пушкина, то явно и потому, что старый русский дворянский, даже боярский, уходивший в века род Пушкиных оказался прямо и лично связан с той встряской, какую испытала страна именно в петровскую эпоху. Во взрывную смятенную пору неожиданных падений и быстрых взлетов, странных перемещений и фантастических совмещений укоренился в России выходец из Африки, который положил начало роду, названному Петром — Ганнибалами. Таким образом, в восемнадцатом веке Пушкиным была сделана прививка экзотическая и динамичная. «Родословная моей матери, — писал поэт, — еще любопытнее. Дед ее был негр (не негр, а абиссинец. — Н. С.), сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он аманатом, и отослал Петру Великому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил Маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году с польскою королевою, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганнибал».

Уже старший сын Арапа Петра Великого оправдает полученное имя великого африканского завоевателя, станет выдающимся героем русско-турецкой войны и в 1770 году русским завоевателем турецкой крепости Наварин. В Post scriptum к стихам 1830 года «Моя родословная» Пушкин Булгарина (Фиглярина) отхлестал стихами («...так как журналисты наши не дерутся на дуэли», — пояснил поэт, объясняясь с Бенкендорфом):

точной хронологии, пересказа научной литературы. Это — не дело романиста, а обязанность пушкинovedов. Отгадка часто заменяет в романе хронику происшествий». И еще свидетельство автора: «Свой роман я задумал не как «романизованную биографию», а как эпос о рождении, развитии, гибели национального поэта».



Миниатюра
Ксавье
де Местра.
1800 г.

Н. О. Пушкина.

Конечно, художнику нельзя иметь дело только с «фактами». Конечно, он, часто на основе ничтожного намека, сам «отгадывает» и воссоздает факты, и критики немало восхищались умением Ю. Тынянова «отгадывать» и воссоздавать такие факты. Но все-таки как же быть с фактами, которые и «отгадывать» и воссоздавать не нужно — вот они? И может ли само по себе указание на неточность фактов служить уже и оправданием такой неточности в романе? Все это вопросы и вопросы. И по-настоящему талантливые книги Тынянова их дополнительно обостряют. А необходи-

мость соотносить Тынянова-ученого и Тынянова-художника их дополнительно усложняет.

Но если принять «правила игры» и смотреть на такие «отгаданные» факты как на реальность (художественную), то тем любопытнее посмотреть, как они работают на «эпос о рождении, развитии, гибели национального поэта». Конечно, это роман, но ведь все-таки исторический. Конечно, характеры, в нем созданные, художественные, но ведь несут они имена подлинных лиц и опять-таки далеко-далеко выходят за рамки того, что мы реально знаем.

Мать поэта: «ее жизнь, впрочем, сосредоточилась в спальне: там она сидела не выходя по целым дням, нечесанная и невытая, и грызла ногти, пока не было гостей... Гости уезжали, мать безобразно звала и растегивала пояс, который все больше теснил». Бьет посуду, — в ссоре с мужем, хлещет розгами («пока не устала») сына. Лупит прислугу. А уж Арину-то (Родионовну. — Н. С.) так толкнула (плечом), что та охнула и прислонилась к косяку.

Ольга — любимая (что мы точно знаем и без романа) сестра поэта, «была ханжа» (уточнение, которые мы узнаем уже только из романа). Отец поэта Сергей Львович, как и дядя поэта Василий Львович, в романе просто московские шуты гороховые, впрочем, из самых ничтожных, жалко заискивающие перед литературными знаменитостями, которые непонятно почему и зачем к ним ездят, кажется, только для того, чтобы третировать и презирать. Один характерный пример. Гувернер Монфор «все более опускался.

Арина (Родионова. — Н. С.) защищала его и покрывала его слабости... случалось, француз наливал ей в кружку своего бальзама и она, не морщась, осушала его», но «даже когда Татьяна, плача, призналась в преступной склонности... дело замяли, главным образом по лени, а Татьянку сослали в Михайловское, на скотный двор». А раз даже «учитель и ученик (то есть восьми-девятилетний будущий поэт. — Н. С.) мертвецки пьяные заснули глубоким и приятным сном». «Погубило Монфора другое: он вздумал сыграть в дурачки в передней с Никиткой и был застигнут Надеждой Осиповной. Возмутительным было то, что он играл именно в передней и с холуем».

Нужно иметь в виду, что роман Тынянова есть еще и стилизация. Иногда более искусная. Иногда менее. Тыняновский «Пушкин» во многом цитатен. Нетрудно увидеть, что и в приведенных примерах из романа Тынянова имеют место цитаты из романа самого Пушкина, а именно из «Капитанской дочки». Помните, вся история француза Бопре. Только там вилась в «преступной слабости» к французу Акулька, а здесь в «преступной склонности» к французу — Татьяна (имя тоже, хотя и из другого романа, пушкинское). Правда, Бопре напивался настойкой, а Монфор — бальзамом, но одинаково сильно: у Пушкина Бопре — «мёртво», у Тынянова Монфор — «мертвецки». Правда, в романе Пушкина гувернер Бопре — бывший парикмахер и беглый солдат, а в жизни Пушкина (и соответственно,

в романе Тынянова) гувернер — французский аристократ, граф де Монфор. Да еще в отличие от тыняновского графа пушкинский отставной брадобрей все-таки не занимался, как теперь сказали бы, спаиваньем малолетних.

Вряд ли и с «холуями» дело в этой семье обстояло так уж



Портрет неизвестного художника. Начало XIX в.

С. А. Пушкин.

просто. Ведь Арина Родионова еще при продаже петербургского имения Ганнибалов Кобриня получила вместе со своими сыновьями и дочерьми свободу. Но не раскрепостилась, а отказавшись от вольной, снова, так сказать, закрепостилась — не юридически, а по сердцу — в пушкинской семье, вырастила не только поэта, но всех молодых Пушкиных, да и скончалась в доме своей воспитанницы Ольги Александровны, уже Павлицевой. А «холуй» Никита, за игру с которым, по рома-

ну о Пушкине, якобы и изгнали графа Монфора, это тот самый пушкинский дядька Никита Козлов, который почти всю жизнь был Савельичем нашего поэта: носил его на руках в детстве и в последний раз на своих руках внес в дом на Мойке после смертельной дуэли 1837 года.

Арина
Родионова.
Барельеф
Я. Серякова.



Приведенные из романа «Пушкин» факты и примеры не искусственно подобраны и подогнаны: их количество может быть увеличено сколь угодно — практически до размеров всего романа. Да, собственно, иначе и быть не может в книге по-настоящему художественной, цельной и законченной, хотя и не завершенной.

Очевидно, все же есть границы, за которые не должны выходить игра фантазии и произвольность тех или иных литературных построек: ведь речь

идет об истории, да еще о такой, которая всегда рядом — Пушкин. Все в той же злосчастной статье Булгарина о родословной поэта Пушкин был взбешен, в частности, упоминанием его матери: «непристойность зашла так далеко, что о моей матери говорилось в фельетоне, который должен был бы носить чисто литературный характер...»

Именно потому, что Пушкин не умер, но как бы постоянно с нами, ловишь себя на мысли — и даже страшно думать, — а что бы он испытал, читая многие воспоминания и писания о своих родителях, о своих воспитателях, о своей сестре. И хотя Пушкину при жизни тоже доводилось слышать и читать о себе всякое — до такого не доходило.

Одно дело, что-то домысливать на основе того, что мы знаем, другое — домысливать нечто такое, что вступает в безусловное противоречие с тем, что мы знаем безусловно.

«Обременять, — писал Пушкин, — вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальною».

Вторая ипостась — уже полное умолчание о пушкинском детстве — явилась у собственно историка литературы. Когда-то Ю. Н. Тынянов написал, что его беллетристика родилась из недовольства историей литературы, которая скользила по общим местам. В последние годы у нас появилось немало посвященных истории литературы книг, в которых делались — и часто успешные — попытки преодолеть такую теорию

и практику «общих мест». В их ряду и яркая книга Ю. М. Лотмана «Пушкин. Биография». Для нее как раз характерно острое ощущение исторического факта, события, коллизии, детали. И все же отсутствие некоторых «общих мест» поселяет сомнения. Как и почти парадоксальная острота скорого объяснения. В книге концептуальной, научной и одновременно популярной, рассчитанной на самого массового детского, школьного читателя, биограф пишет: «Наиболее разительной чертой пушкинского детства следует признать то, как мало и редко он вспоминал эти годы в дальнейшем... Он был человек без детства». Естественно поэтому, что в довольно большом пособии такому детству уделено едва ли полторы страницы, да и на них значительную часть занял еще П. А. Вяземским переданный анекдот о ворчавшем однажды по поводу разбитой рюмки скуповатом Сергее Львовиче.

«Как ни интересна, — написал когда-то А. В. Дружинин, — каждая заметка о домашней жизни человека, столь много сделавшего для русской словесности, мы не увлечемся анекдотической стороной биографии, имея в виду другую цель, ясно определенную». Ведь цель-то ясна и определена: понять, почему Пушкин стал Пушкиным, что и как в семье на это работало.

Человек, лишенный детства, — это действительно было бы страшно. Собственно говоря, если бы Пушкин был без детства, то мы были бы без Пушкина. И мог ли бы так гармонически нормально, так удивительно, если воспользоваться гоголевским

словом, *равновесно*, развиться человек, у которого не было детства. Сам Пушкин, однако, думал о своем детстве иначе. Во-первых, очень многое из этого детства вошло в пушкинское творчество. Во-вторых, Пушкин в дальнейшем много вспоминал эти годы и рано начал осмысливать свою жизнь: «В 1821 году



*Пушкин
в юности.
Акварель
С. Чирикова
(фрагмент).
Около 1815 г.*

начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 г., при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв». Так писал Пушкин в незаглавленных заметках, которые обычно называют «Началом автобиографии». А начал он их со своей родословной. Видимо, и в ранних записках он начал не прямо с людей и событий, связанных с декабризмом. Во всяком случае, в позднейшей про-

грамме записок детство представлено во всех подробностях, касающихся и отца, и матери, и всего семейного окружения: «Семья моего отца — его воспитание — французы-учителя. Вонт. секретарь Mr. Martin. Отец и дядя в гвардии. Их литературные знакомства. — Бабушка и ее мать — их бедность. — Иван Абрамович. — Свадьба отца. Смерть Екатерины. — Рождение Ольги. — Отец выходит в отставку, едет в Москву. — Рождение мое.

Первые впечатления. — Юсупов сад. — Землетрясение. — Няня. Отъезд матери в деревню. — Первые неприятности. — Гувернантки. Ранняя любовь. — Рождение Льва. — Мои неприятные воспоминания. — Смерть Николая. — Монфор — Русло — Кат. П. и Ан. Ив. — Нестерпимое состояние. — Охота к чтению. Меня везут в П. Б. Езуиты. Тургенев. Лицей».

Пушкин сам отметил буквально все факты, и людей, и события, которые можно рассматривать как решающие на этом этапе его детства. Что касается «первых неприятностей», «неприятных воспоминаний», «нестерпимого состояния», то достаточно вспомнить позднейшую толстовскую трилогию, чтобы понять, сколь такие состояния в самом внешне благополучном детстве естественны и нормальны.

Да, далеко не все в пушкинском детстве было идиллическим, но оно, это детство, было, оно было замечательным и тоже формировало великого человека и поэта. Это-то и нужно понять.

Еще первый биограф поэта П. А. Анненков, справедливо

отметив, что в пору долицейского своего детства будущий поэт не был любимым ребенком, а предпочтительная любовь матери отдавалась старшей дочери Ольге и младшему сыну Льву, сделал из этого важный и далеко идущий в объяснении пушкинского характера вывод: «Это обстоятельство, однако же, имело впоследствии благотворное влияние на последнего. Не избалованный в детстве излишними угождениями, он легко переносил лишения и рано привык к мысли искать опоры в самом себе». Не здесь ли одно из объяснений того, что толстый, неловкий и малоподвижный ребенок, повергавший тем в отчаяние отца и особенно живую, экспансивную красавицу мать, таким маленьким Ильей Муромцем сиднем сидевший до поры до времени, вдруг лет с семи преобразился в живого, энергичного, очень подвижного и здорового мальчугана.

Но, может быть, самое главное и замечательное: будущий поэт родился и воспитывался от самых ранних лет в литературной семье. И не просто литературной, но — поэтической. Так эта пушкинская семья и воспринималась современниками еще задолго до появления «главного» Пушкина-поэта. «Три Пушкина в Москве, и все они поэты», — писал Батюшков. Это Сергей Львович Пушкин, его брат Василий Львович и их родственник Алексей Михайлович. При этом французские стихи даже Сергея Львовича не были стихами «для себя», они, конечно, не печатались, не становились фактами собственно литературы, но, что, может быть, здесь и существеннее, не

отъединялись от жизни, входили в быт и становились фактами быта, жили в самом воздухе и во всей атмосфере этой семьи. Самое любительство и литературный дилетантизм этому даже помогли.

По воспоминаниям дочери, Сергей Львович был создан для общества, «которое умел он оживлять неистощимую любезностью и тонкими остротами, изливавшимися потоком французских каламбуров. Многие из этих каламбуров передавались в обществе как образчики необыкновенного остроумия... он оставил в дамских альбомах множество прекрасных стихов, под которыми могли бы подписаться и лучшие представители блистательной французской литературной эпохи. В одном из таких альбомов, принадлежавшем знаменитой в свое время польской пианистке Шимановской, теще впоследствии польского поэта Мицкевича, сохранилось послание к ней, прозою и стихами вперемежку, в котором автор знакомит ее с современною русскою литературою».

Явно отцовское чувство острого слова, рано развившийся вкус к каламбуру, судя по некоторым свидетельствам, уже отличали еще совсем крохотного Пушкина: «В детских летах, сколько я помню Пушкина, он был не из рослых детей и все с теми же африканскими чертами физиономии, с какими был и взрослым, но волосы в малолетстве были так кудрявы и так изящно завиты африканскою природою, что однажды мне И. И. Дмитриев сказал: «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик». Дитя рассмеялось и, оборотясь к нам, проговорило

очень скоро и смело: «По крайней мере, отличусь тем и не буду *рябчик* (И. И. Дмитриев был рябой.— Н. С.). Рябчик и арабчик оставались у нас целый вечер на зубах».

Василий же Львович и просто был известным русским поэтом, позднее знаменитый племянник воспользуется некоторыми его образами в самых знаменитых своих произведениях.

Семья была образованной или даже, как пишет уже о Василии Львовиче его биограф, образованнейшей и владела прекрасной библиотекой. А у некоторых родственников Пушкиных и близких им людей, у того же Василия Львовича, у Бутурлиных книжные собрания подчас приобретали уникальный характер. Потому же семья Пушкиных оказалась не только литературной, но приобщенной к самым верхам литературы. «Нет сомнения,— писал П. А. Вяземский,— что первым зародышем дарования своего, кроме благодати свыше, обязан он был окружающей его атмосфере, благоприятно проникнутой тогдашней московской жизнью. Отец его, Сергей Львович, был в приятельских отношениях с Карамзиным и Дмитриевым и сам, по тогдашнему обычаю, получил если не ученое, то литературное образование... Вся эта обстановка должна была благотворно действовать на отрока».

При детстве и отрочестве Пушкина стояли и Батюшков, и Жуковский, и Дмитриев, и сам Карамзин. Таким образом, будущий глава русской литературы с самого раннего возраста и потому, может быть, особенно насыщенно и органич-

но, питался личными впечатлениями от своих литературных предшественников — подобного дара детства потом уже не получит ни один из русских поэтов и писателей. Только представьте гипотетического писателя конца XIX века, у литературной колыбели которого собрались бы одновременно Тургенев, Достоевский, Лев Толстой в придачу, скажем, с Лесковым и Глебом Успенским.

«В самом младенчестве, — засвидетельствовал отец поэта, — он показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин — не то, что другие. Одним вечером Николай Михайлович был у меня, сидел долго, — во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Ему был шестой год». Вряд ли эти сцены, при всей их необычности, задним числом придуманные: шести лет понимал, что Карамзин «не то, что другие». По воспоминаниям М. Н. Макарова, один ученый француз Жилие сказал тогда ему о маленьком Пушкине: «Чудное дитя! Как он рано начал все понимать! Дай бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, что из него будет».

Не забудем, что ведь речь идет о литературном гении. И как важно, что этот гений оказался из тех «*фроссиян*», для которых, как напишет он потом в посвящении к «Борису Годуну», *драгоценная память* связалась не только с томами «Истории государства Российского» ученого Карамзина, но и с детскими, почти младенческими восприятиями разговоров заси-

девшегося в гостях семейного друга «Николая Михальча».

Маленький Пушкин развивался в семье под воздействием двух начал, вроде бы прямо противоположных и тянувших в разные стороны. Но, думается, только на первый взгляд.

Литературная, во многом и бытовая, стихия была французской. На французском писали стихи и письма, на французском читали статьи и книги, по-французски говорили в семье и в «классе». Да и гувернерами были образованные французы, сначала Монфор, к тому же музыкант и живописец, потом Русло, к тому же поэт. Обычно галломания русского общества той поры, и пушкинской семьи в частности, оценивается как что-то безусловно отрицательное. Но, наверное, стоит обратить внимание на такой факт. Национальный гений, пусть в детстве, должен, казалось бы, как-то противостоять такому иноземному бедствию, пусть неосознанным, но хоть интуитивным отрицанием: неприятием, равнодушием, просто учебным неуспехом. Кстати сказать, такое абсолютное равнодушие тогда вызывают у мальчика немецкий (в доме была гувернантка-немка, да и в Лицее немецкому учили) и английский (гувернантка-англичанка тоже была и уроки английского тоже были). И потом придет время и заинтересованного изучения английского и горького сожаления о неизучении немецкого. Но — потом. В семейном же своем детстве Пушкин буквально упивается не только французской литературой, но именно французским языком. На котором пишутся и первые стихи.

Такую одержимость трудно объяснить только влиянием среды. Она явно идет изнутри, органично рождаясь и продолжаясь даже в Лицее так что создатель русского литературного языка, уже в сущности становясь им, получит там кличку «Француз».

«Воспитание, — писал А. В. Дружинин, — полученное Александром Сергеевичем в доме родительском, при всей его французской односторонности имело свои хорошие стороны. Мы слишком свысока смотрим на системы старого воспитания, забывая о том, что многие великие люди прошлого да и нашего столетия воспитывались на французском языке, французской словесности и французских понятиях... Разбирая влияние домашнего воспитания на талант Пушкина, мы все-таки признаем его полезность. Оно ... сообщило его уму ту остроумную гибкость, без которой поэту невозможно говорить на языке, еще не вполне установившемся, каков был русский язык в эпоху деятельности Пушкина». В деле практического уяснения и усвоения законов русского языка очень важно, что Пушкину, как писал тот же Дружинин, «законы французского языка, столь определенного, сжатого, обработанного и в совершенстве развивающего умственную гибкость пишущего, были... знакомы до тонкости».

В отцовском доме будет Пушкиным освоена и французская литература, прежде всего в лице французских писателей-классиков XVII века и всегда в классической французской философии века XVIII. Во французских же переводах

предстанут древние: и с девяти лет читавшиеся «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, и «Илиада», и «Одиссея». Не слишком много занимавшиеся детьми родители, во всяком случае, горячо поощряли и развивали в них, по воспоминаниям сестры поэта, страсть к чтению и сами читали им вслух занимательные книги, а особо им любимого Мольера отец перед ребенком даже и разыгрывал. Тем более что великого французского комедиографа Сергей Львович чуть ли не всего знал наизусть. Не случайно, конечно, что и первые творческие попытки сына были сделаны на французском языке, при этом в Пушкине-ребенке комедиограф едва ли не предшествовал поэту: «...любимым его упражнением было импровизировать маленькие комедии и самому разыгрывать их перед сестрою, которая в этом случае составляла всю публику и произносила свой суд. Однажды как-то она освистала его пьеску «Escamoteur». Он не обиделся и сам на себя написал эпиграмму:

Dis-moi, pourquoi l'Escamoteur
Est-il sifflé par le parterre?
Hélas! c'est que le pauvre auteur
L'escamote de Molière.¹

В то же время пробовал сочинять басни, а потом, уже лет десяти от роду, начитавшись порядочно, особенно «Генриады» Вольтера, написал целую героико-комическую поэму, песнях в шести, под названием «Tolia-

¹ Скажи, за что «Похититель»
Освистан партером?

— Увы, за то, что бедняга
сочинитель

Похитил его у Мольера. (фр.)

де», героем которой был карла царя-тунейдца Дагоберта, а содержанием война между карлами и карлицами».

Тогда же начались скандалы с некоторыми из гувернеров: не знает уроков, а занимается «вздором» — стихами. Определялась, еще в детском варианте, но, как показала жизнь, чуть ли не одна из главных драматических коллизий, сопроводивших пушкинскую судьбу и дававших многим пищу для бесконечных обвинений и противопоставлений: первостепенные, серьезные дела (служба, наука, политика...) и — чепуха, вздор, в крайнем случае, второстепенность — поэзия, стишки... Пушкин именно в детстве своем и в семье своей прошел великую литературную школу. Большого смысла которая, впрочем, не имела бы, если бы тогда же и там же, то есть дома, не была пройдена другая школа, еще не собственно литературная, но тоже школа: русской жизни, русского языка и, соответственно, русского мирозерцания. И тоже школа классическая, в России и для русского писателя всегда великая — народная. Учителя у Пушкина здесь с детства были великолепные.

Американцы, например, ведь и сейчас удивляются нашим «бабушкам» как особому институту русской жизни и русского воспитания, так мало принятому на Западе, но при всех трансформациях общественной жизни у нас и доселе все-таки не распавшемуся. У Пушкина была такая бабушка. Это бабушка по матери, Мария Алексеевна, человек чисто русского облика, языка и ума. Чуткий Дельвиг, видимо, недаром

восхищался складом русской речи пушкинской бабушки в ее письмах внуку, когда тот станет лицеистом. К тому же все, что могла говорить и внушать носившая африканскую фамилию русская (по матери — Ржевская) бабка поэта, обретало насыщенный контекст в самой жизни, ибо летом семья всегда перебиралась в ее имение Захарово, и русского деревенского воздуха за пять лет мальчик, слава богу, нахватался. Тем более, что и в Захарове и в того же прихода деревне Большие Вяземы люди умели и петь и плясать: селения были богатыми. Потому-то и позднее в мундирном лицейском воспитаннике придворного Царского Села останется жить бойкий мальчишка деревенского Подмосковья:

Мне видится мое селенье,
Мое Захарово... —

напишет Пушкин — лицеист в стихах 1815 года. Мое!

И это ощущение своего Захарова пронесется через всю жизнь. «Все наше рушилось, Марья», — с горечью скажет поэт, навестив Захарово уже в 1831 году. Наше! Кстати, именно бабка первоначально научила поэта русскому чтению и русскому письму. Так что французскому обучали его образованные французы, но и русскому учили не невежды, вплоть до Лицея мальчику Пушкину русский (наряду с законом Божиим) преподавал священник Маринского института Александр Иванович Беликов, не только известный проповедник, но и литератор-переводчик (по Ю. Тынянову: «поп из соседнего прихода»).

Как известно, родной дядюшка Василий Львович окажется для Пушкина, что он неоднократно шуточно обыгрывает, поэтическим дядюшкой. В лицевых стихах 1816 года «Дяде, назвавшему сочинителя братом» племянник-поэт писал:

Я не совсем еще рассудок
 потерял
 От рифм бахических, шатаясь
 на Пегасе,
 Я не забыл себя, хоть рад, хотя
 не рад.
 Нет, нет — вы мне совсем
 не брат;
 Вы дядя мне и на Парнасе.

Однако и дядька Никита Козлов станет для него чуть ли не поэтическим дядькой. Есть свидетельства, что Никита не только был знатоком и передатчиком сказов и былин, но и создавал по их мотивам с Соловьями-Разбойниками и Ерусаланами собственные стихи. Не здесь ли тоже одна из причин родства опекуна и его питомца: позднее Александр Пушкин немедленно вызовет барона Корфа, поднявшего на его дядьку руку, на дуэль, а Никита Козлов повезет тело поэта к последнему пристанищу в Святых Горах после последней роковой дуэли 1837 года.

Не исключено, впрочем, что сама воспринимавшаяся с детства народность тоже была пестра и противоречива. Написал же действительно на все откликавшийся Пушкин еще отроком «жестокий» романс:

Под вечер осенью ненастной,
 В далеких дева шла местах
 И тайный плод любви
 несчастной
 Держала в трепетных руках.

Все было тихо — лес и горы.
 Все спало в сумраке ночном,
 Она внимательные взоры
 Водила с ужасом кругом.

И на невинное творенье,
 Вздохнув, остановила их...
 «Ты спишь, дитя, мое мученье,
 Не знаешь горестей моих.
 Откроешь очи и тоскуя
 Ко груди не прильнешь моей,
 Не встретишь завтра поцелуя
 Несчастной матери твоей...»

и т. д.

И стал же этот романс первым «народным» произведением Пушкина и даже, если говорить о бытовании, самым «народным», вполне типичным явлением массовой культуры XIX столетия. Типична и судьба его.

Напечатан «Романс» был явно без ведома уже взрослого поэта, напечатал его в 1827 году в альманахе «Памятник отечественных муз» издатель Б. Федоров, который как раз и поощрял, и собирал, и издавал немало псевдонародных произведений или подделок «массовой культуры» начала прошлого века. Позднее, в 1830 году Пушкин писал как раз по поводу этого федоровского издания и устанавливая характер *народности* некоторых помещенных там стихов: «По крайней мере не должен я отвечать за перепечатывание грехов моего отрочества, а тем паче за чужие проказы. В альманахе, изданном г. Федоровым, между найденными бог знает где стихами моими, напечатана Идиллия, писанная слогом переписчика стихов г-на Панаева!» А чуть раньше (правда, в черновом наброске) еще резче: «Г-н Федоров напечатал однажды какую-то идиллическую

скую нелепость под моим именем, сочиненную, вероятно, камердинером г-на Панаева».

Похоже, что в этот ряд встал для Пушкина и «Романс», им уже как бы отвергнутый в ряду иных произведений, за которые «в мои лета и в моем положении неприятно отвечать». Произведение это, входя в песенники, переиздавалось еще при жизни Пушкина так много, как никакое другое его произведение. «Несмотря на несовершенство формы,— писал Б. В. Томашевский,— «Романс» является во многих отношениях примечательным произведением Пушкина».

Как видим, произведение действительно примечательное. Но вряд ли можно говорить о «несовершенстве» формы. Более того, позднейшие попытки Пушкина переработать «Романс», его усовершенствовать ни к чему не привели и были им оставлены: лишнее свидетельство того, что в главном своем качестве «народного», «жалостного» романа он удивительно органичен и совершен. Пушкин и здесь абсолютно постиг законы жанра и безусловно подчинился им. Потому-то «Романс», если и не положил начало традиции сам по себе, то стал в ряд вещей, очень укрепивших традицию «жестоких», «полужестокых» и тому подобных романсов, тогдашних и последовавших.

Связи Пушкина с миром народной жизни были с детства многообразны и сложны, как был сложен и сам этот мир.

Наконец, няня. Арина Родионовна недаром стала одним из самых знаменитых образов пушкинского окружения, если

не вообще знаком русского начала при Пушкине, да и во всей нашей жизни сделалась как бы символом всех русских нянь. Прежде всего потому, что она стала одним из самых постоянных, знаменитых и, так сказать, хрестоматийных образов пушкинской поэзии:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые ворота
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь...

Это не сентиментальное воспоминание о прошлом. Это о няне, потому что о себе, при котором она не детской, а всегдашней няней, постоянным часовым. Это написано в зрелую пору обретения окончательных ценностей. То же несколько ранее («Зимний вечер») и много позднее («Вновь я посетил...»).

«Была она,— скажет ее воспитанница, сестра поэта,— настоящей представительницей русских нянь, мастерски говорила сказки, знала народные поверья и сыпала пословицами, поговорками». А уже первый биограф Пушкина П. В. Анненков возведет ее в высокую степень обобщения: «Родионовна принадлежала к типическим и благороднейшим лицам русского мира».

Позднее Пушкин напишет: «Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств

русского языка». Совершенное знание свойств русского языка для него, конечно, было бы невозможно без таких ранних, буквально с детским молоком впитанных «изучений», принятых от типичнейших и благороднейших лиц русского мира. «Вообще, — точно заметил Чернышевский, — очень многие описания русских народных нравов и обычаев не были бы у Пушкина так живы и хороши, если б он не был с детства пропитан рассказами из народной жизни».

Традиция изучения французского языка и французской литературы продолжится и даже усилится в Лицее, но традиция «изучения старинных песен, сказок и т. п.» здесь почти прервется: почему поэт и скажет в сердцах о недостатках проклятого своего воспитания именно тогда, когда он быстро и упорно, и опять при няне в Михайловском, будет от таких недостатков избавляться.

Выьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выьем с горя, где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла, —

попросит поэт в стихах 1825 года «Зимний вечер».

Казалось бы, в условиях Лицея «француз» Пушкин должен был особенно усиленно писать французские стихи. Ничего подобного. Почти все, что пишется, а пишется много всего, пишется по-русски. И здесь, в отороческом Лицее, тем более необходимо и постоянно вызы-

ваемыми будут впечатления детских долидейских лет: домашние, деревенские, сказочно-народные:

Но детских лет люблю
вспоминанье,
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных
ночей,
Когда в чепце, в старинном
одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне
станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под
одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из
глины
Чуть освещал глубокие
морщины...
Волшебники, волшебницы
слетали,
Обманами мой сон
обворожали.
Терялся я в порыве сладких
дум;
В глуши лесной, средь
муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и
Добрыней
И в вымыслах носился юный
ум...

Такие детские впечатления подлинно «золотого детства» питали поэта во все лицейские годы — и это стихотворение написано в 1816 году да и называется «Сон». А пушкинские сны — никогда не простая условность, они всегда рождаются из самых глубин души человека и уводят в ее подспудье, часто и самому-то человеку неведомое.



Пушкин
на
лицейском
акте.
Картина
И. Репина.
1911 г.

кина вообще характерно ощущение движения времени, нормального течения его и точного его членения, иногда очень дробного: «чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями», — напишет молодой Пушкин Дельвигу весной 1821 года (курсив мой. — Н. С.).

А как с другим полюсом жизни, с другим началом воспитания — французским?

«Проклятое воспитание» давало себя знать: первые литературные опыты Пушкина были на французском языке. Но «чужие краски» держались поверхностно и непрочно, а под влиянием великих исторических событий стали и вовсе спадать с палитры поэта». Это Д. Д. Благой писал в университетском учебнике, тем самым утверждая уже истину как бы хрестоматийную и бесспорную.

Дело в том, однако, что именно для Пушкина даже чужие краски никогда не были

чуждыми. И уж тем более не приходится говорить, что они держались поверхностно и непрочно. Особенно французские, особенно в пору детства и отрочества. Правда, Пушкин уже в Лицее пишет мало французских стихов, но само по себе влияние французских стихов было необходимо для становления русских стихов, русского языка, русской литературы. Русская необходимость рождала мальчика, одержимого французским стихом, французской литературой, французской мыслью — «француз» Пушкина. Именно у Пушкина сам характер соотношения «французского» и «русского» был насущно необходим и исторически значим для судеб национальной культуры.

В культуре вообще, в частности и в литературе, такие соотношения своего и чужого, естественно, могут быть на разных этапах и у разных людей очень разными. Вот пример,

Пушкину прямо противоположный, но потому-то именно Пушкина хорошо поясняющий: Тютчев-поэт, всю жизнь проживший в двух языковых стихиях. Знаменитый наш филолог А. А. Потебня писал в свое время: «Человек, говорящий на двух языках, переходя от одного языка к другому, изменяет вместе с тем характер и направление течения своей мысли». В пример Потебня приводил именно Тютчева: «Тютчев служит превосходным примером того, как пользование тем или другим языком дает мысли то или другое направление или наоборот... Два рода умственной деятельности идут в одном направлении... сохраняя свою раздельность через всю его жизнь, до последних ее дней... Тютчев представляет поучительный пример того, что эти различные сферы и приемы в одном человеке разграничены и вещественно...»

Тютчев не был просто человеком, владевшим разными языками, в нем жили несовмещавшиеся и разнонаправленные языковые стихии. Французский язык стал для него не только языком службы, света, семьи, вообще житейских отношений, но и языком переписки и политических статей. Русский же язык, по выражению Ивана Аксакова, был изъят из «ежедневного употребления». На нем создавалась поэзия. Эта отъединенность, своеобразная консервация поэтического языка Тютчева прямо связана с особенностями его философско-поэтической системы. Но тот же Потебня и констатирует: «В самом Тютчеве можно заметить узошь сферы, обнимаемой его рус-

ским языком». То есть заметить то, чего у Пушкина никогда заметить нельзя.

У Тютчева две (поэтическая и языковая) системы живут раздельно и потому не взаимопротекают. У Пушкина они явлены в неразрывном живом общении и взаимодействии. В первом случае, если воспользоваться нелитературным, хотя и постоянным в литературе, еще от Достоевского, пояснением, явлена Эвклидова геометрия — с непесекающимися параллельными, во втором — геометрия с параллельными, все время пересекающимися. И, может быть, еще одно сравнение, если не более точное, то более наглядное: во втором, то есть пушкинском, случае действует принцип двух постоянно сообщающихся сосудов.

Поразительный пример уже даже у зрелого Пушкина. Пушкин пишет с Татьяной письмо Онегину и — колеблется между русским и французским. Благодаря сообщению Петра Андреевича Вяземского мы знаем, что сначала Пушкин хотел написать письмо по-французски. То есть, видимо, по-французски он может это сделать. И сравнительно легко. Но нужно-то это сделать по-русски. А по-русски это сделать все еще очень трудно. Так возникают внутренние смятенности, сомнения, колебания. И, наконец, разрешение, совершившееся на взаимодействии двух начал и давшее удивительный феномен двойного авторства: Татьяна пишет свое письмо по-французски, а Пушкин пишет ее письмо по-русски.

«Нужно ли говорить о том, — писал в 1828 году о Пушкине журнал «Москов-

ский вестник» именно в связи с письмом Татьяны, — как вместе с ним зреет язык его, или язык русский? — Мы удивляемся, как наши дамы, прочитав письмо Татьяны и всю третью песнь Онегина, еще до сих пор не отказываются в обществе от языка французского и как будто все еще не смеют или стыдятся говорить языком отечественным». Любопытнейшая характеристика: язык Пушкина, по ней, представляет за весь русский язык и весь его движет. Настолько, что, как видим, с достоинством (сами с усами) французскому уже и противопоставляется. Критик только не знает и, в некотором национальном самодовольстве, не чувствует, что Пушкин не стыдится «говорить языком отечественным» и потому, что не отказывается от языка французского.

Поскольку речь идет о зрелом Пушкине, все это становится тем более показательным для понимания процесса, растянувшегося на долгие годы, уже завершившегося, но начало которого лежит в детстве. Недаром зрелый, все более приходящий к четким теоретическим осознаниям Пушкин напишет в 1825 году П. А. Вяземскому: «Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного, точного языка прозы, т. е. языка мыслей)».

Таким образом, Пушкин создавал русский литературный язык, создавать который ему очень помогал французский ли-

тературный язык, но уже отнюдь не карамзинским, еще довольно механическим путем ввода тех или иных слов, калькирования и т. п., а усвоением некоторых общих начал и принципов.

Перед Пушкиным, еще ребенком, предстала упорядоченная гармоническая, языковая и поэтическая система, которая и была тогда исторически важна и привлекательна для целой России. Конечно, следует учесть и все издержки, которые при этом рождались, то есть важно понять их именно как издержки, тогда же дававшие основания для многочисленных и справедливых критик галломании — сатирических и несатирических.

Вообще в пору становления нашего общенационального искусства важно было и за рубежом устремить внимание на эпохи и на художников, создававших искусство особого типа. С этой точки зрения в самом французском искусстве более всего привлекало искусство так называемого французского классицизма, строившего едионациональную, общегосударственную культуру с четко выраженным дисциплинирующим началом, с подлинным культом всеобщности и — следствием этого — тягой к стилю — обобщению, в пределе — изречению и афоризму: у таких любимцев Пушкина, как — несколько ранее — Монтень, позднее — Ларошфуко.

В то же время само это дисциплинирующее начало, прежде всего у Расина, являлось и как человеческая самодисциплина. «Культура абсолютизма, — писал именно в связи с фран-

Свидетельство.

№ 21

Воспитанный Императорского Царского великого Лицея Александр Пушкин, в течение Шестнадцатого курса обучался в семъ годах и окончил училищемъ в Западныхъ Латинской и Священной Истории, в Логикѣ и Грамматикѣ, в Философш, в Правѣ Естественнаго и Гражданскаго и Публичнаго, в Русскомъ Гражданскомъ и Уголовномъ Правѣ хороши, в Латинской Словесности, в Богословской Доктринѣ и Философш весьма хороши, в Французской и Фрэнкцузской Словесности также в Фрэнковомъ превосходилъ, сверхъ того занимался Историю Географію, Статистику, Математику и Иностранную Языки. Въ ученье семъ и дано ему отъ Конференціи Императорскаго Царскаго великаго Лицея сие свидѣтельство съ приложениемъ печати Царскаго села Голубицкаго 9 Октября 1826 года.

Директоръ Лицея Свѣтъ Олександръ

Указъ свидѣтельству
Императорскаго
Царскаго великаго Лицея
№ 63.



Конференція Свѣтъ Профессоръ
Александръ Пушкинъ

Личное свидѣтельство Пушкина. Записывалось по книжкѣ: «Пушкинъ». Документы Государственнаго и Сиб. Главнаго архивовъ.

Свидѣтельство
объ окончанніи
Лицея.

цузским классицизмом замечательный его исследователь В. Гриб, — создала тип человека, который умеет жить с другими людьми, умеет себя сдерживать, у которого порядок *в крови*. Правда, это еще не есть человечность, восстающая против бесчеловечности. Но в такте и человеческой деликатности героев Расина — огромное внутреннее достоинство его искусства. Это есть та степень шлифовки, когда она становится не внешней, а внутренним инстинктом, проникает в сердце человека, делается его второй натурой, когда общественное входит в кровь и плоть...»

Ведь именно это начало, как никто — у нас, во всяком случае, — усвоил и сам ему идеально ответил Пушкин.

Впрочем, во-первых, у Пушкина подобная человечность была и постоянно восстающей против бесчеловечности. Во-вторых, опиралось это чувство «такта и человеческой деликатности» на такие народные национальные особенности, о которых сам Пушкин позднее писал: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступки и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни единого слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Никогда вы в нашем народе не встретите того, что французы называют *un badaud**; никогда не заметите в нем ни грубого

удивления, ни невежественного презрения к чужому».

Наконец, важное значение имела для Пушкина еще с детства школа так называемого французского классицизма и как великолепная реализация и демонстрация соединения «ученого» и народного, литературного и фольклорного, «высокого» и «низкого»; такого «низкого», которое оказывается «высоким» или становится им.

Историки литературы уже довольно давно показали связь с народной жизнью, поэзией и языком многих явлений «французского классицизма» — от сравнительно периферийных (Шарль Перро, например) до самых определяющих и центральных: прежде всего это Мольер, которому мальчик Пушкин внимал в мастерском исполнении Лушкина-старшего. «Как крупнейший французский реалист классической эпохи, — отмечал С. Мокульский, — Мольер отдал в своем творчестве наибольшую дань народной стихии. Он широко использовал наследие народного фарса, его сочный, грубоватый плебейский юмор, его традиционную непочтительность ко всякого рода «господам»... Народная стихия в творчестве Мольера проявилась также в широком использовании им фольклорного материала, всякого рода пословиц, поговорок, поверий, остроумия и т. п. Мольер был также большим поклонником народной песни, которую в то время не считали достойной внимания литературно-образованные люди». В общем, как резюмировал уже В. Гриб, «именно Мольера можно назвать народным художником XVII века в самом близком смысле этого слова».

* ротозей (*фр.*)

Таким образом, французские книги, которые осваивал маленький Пушкин, не были лишь другим литературным полюсом, только противостоянием французского русскому, литературного начала народному, тоже им тогда уже впитывавшемуся. С Мольером, с Лафонтеном эти книги являли великолепный пример лаборатории сплавов, своеобразной обогатительной фабрики по переработке народных руд в чистое золото искусства самой высокой пробы. Иначе говоря, русскую народность Пушкин учился осваивать и в хорошей французской школе.

К Лицею Пушкин подойдет подготовленным как никто из первых лицейских абитуриентов — и не только за счет гениальных способностей, но и благодаря пройденной в семейном детстве школы: человеческой, духовной, интеллектуальной.

Буквальные учебные успехи, как, впрочем, почти всегда с исключительными людьми необычных способностей, конечно же, ни о чем не говорят. Потому-то такой педагог будущего, как Н. Г. Чернышевский, напишет о таком ученике прошлого, как А. С. Пушкин: «Каким же образом успел он приобрести многосторонние познания, без которых невозможно сделаться хорошим литератором? Дело в том, что Пушкин только не любил учить уроков, которые было надобно каждый день приготавливать к завтрашним классам, а любознательности в нем было очень много. Страсть к чтению развилась в нем рано — лет с восьми или девяти... Редека можно встретить человека, который бы прочел так много книг, как он. По-

тому и неудивительно, что он был одним из самых образованнейших людей своего времени, хотя в школе и считался посредственным учеником. Не с одним Пушкиным было так: люди с блестящими способностями часто пренебрегают школьным преподаванием, которое кажется для них слишком медленно и не касается предметов, особенно интересующих их ум».

Недаром позднее у Пушкина его лицейские табельные оценки разойдутся по полюсам: либо отличные (русская поэзия, французская риторика), либо посредственные или даже нулевые как «выражение отсутствия всякого знания» (все остальные, среди которых, помимо математики, и эстетика, и немецкая риторика, да и прилежание с поведением тоже).

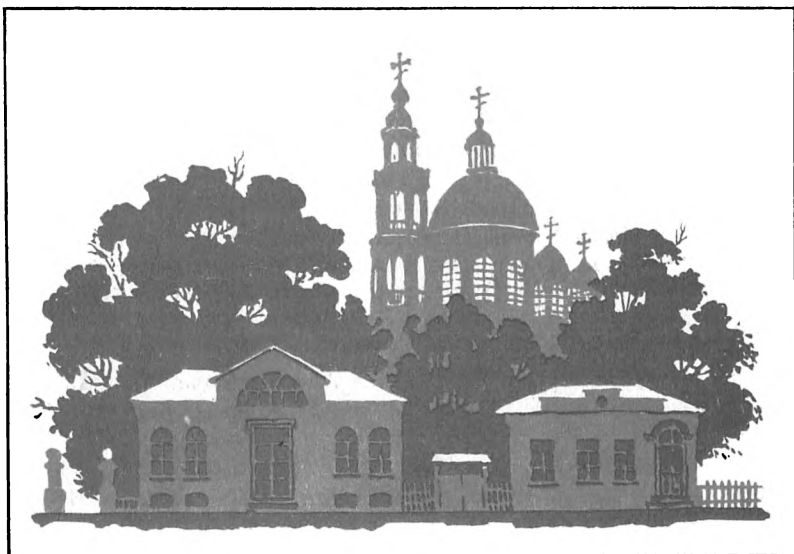
Но, во всяком случае, следует сказать, что в семье Пушкина хорошо подготовили к Лицею, и тогдашние лицеисты в отличие от позднейших биографов это понимали. «Все мы, — писал один из хорошо подготовленных к Лицею лучших его учеников Иван Пуштин, — видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слышали, все, что читал, помнил, но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет), с скороспелками, которые по каким-либо обстоятельствам и раньше и легче находят случай чему-нибудь выучиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образо-

вание, но нисколько не сделала его заносчивым, признак доброй почвы».

Здесь, в бытовом вроде бы рассказе, схвачена суть Пушкина — человека и поэта: он не «как все» и в то же время он «как все» — в этом главная особенность Пушкина, в этом главная особенность и нормально-гениального пушкинского детства.

Как почти всегда будет у Пушкина и позднее, ранние этапы его становления подчеркнуты и зримы, переходы от одного состояния к другому выделяются совершенно четко, временные и географические границы явственно обозначаются. Домашнее детство — Москва, деревня, семья. Ученическое отрочество — Петербург, Лицей, товарищи.





ЗАМЕТКИ О РОЖДЕНИИ И СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА

А. Сопровский

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. С. Пушкин

8 июня 1799 года в метрической книге московской церкви Богоявления Господня, что в Елохове, появилась запись:

«Мая 27. Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его Мозора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр крещен июня 8 дня восприемник Граф Артемий Иванович Воронцов кума мать означенного Сергея Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина»¹.

Александр Пушкин родился 26 мая 1799 года (в четверг, день Вознесения), но после захода солнца. Поэтому, согласно церковно-

¹ Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина.— Т. 1.— М., 1951.— С. 3. Факсимиле см. в кн.: А щ у к и н И. Москва в жизни и творчестве А. С. Пушкина.— М., 1949.— С. 6.

му обычаю, дата его рождения означена в метрике следующим числом.

Современники мало что знали о рождении поэта, как и о его детстве. Сам Пушкин редко вспоминал о своих детских годах. В этом отчасти сказались его отчужденные отношения с родителями. Главное же, Пушкин — и чем дальше, тем больше — поэтизировал свое второе рождение, духовное. Возводил он его к лицейским годам и лицейским влияниям. Культ дружбы отодвигал на задний план семью. Однако о своих более отдаленных предках, о своем роде в целом Пушкин вспоминал часто, охотно и не без гордости.

Крестной матерью Пушкина стала его родная бабка по отцу — Ольга Васильевна. Муж ее, Лев Александрович Пушкин, попал в немильность после 1762 года за то, что во время переворота сохранил верность Петру III. В автобиографических записках Пушкин рассказывал: «Он был посажен в крепость и выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях.

Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказать. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась — чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постель всю разряженную и в бриллиантах»¹. Пушкин не ручается за полную достоверность отдельных подробностей; он делает оговорку, что все это известно ему по слухам. Но ведь тут существенна не только и не столько дотошная биографическая реконструкция, сколько влиявшая на Пушкина культурно-бытовая атмосфера, та, пусть отчасти мифологизированная, история, которая предшествовала Пушкину, занимая с детства его воображение.

Восприимчиком при крещении Пушкина был гр. Артемий Воронцов. Приходился он троюродным братом другой бабке поэта, с материнской стороны, — Марии Алексеевне Пушкиной, мужем которой был Осип Абрамович Ганнибал. «И сей брак был несчастлив, — рассказывал Пушкин. — Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. — 4-е изд. — Л., 1978. — Т. VII. — С. 56—57.

разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, представя фальшивое свидетельство о смерти первой»¹. За несчастную Марию Алексеевну вступился брат ее мужа, другой сын «арапа Петра Великого», Иван Ганнибал. Ей вернули трехлетнюю дочь, будущую мать поэта — Надежду. Второй брак мужа был объявлен недействительным, а сам О. А. Ганнибал отправлен на службу в черноморский флот. Пушкин застал Осипа Ганнибала в живых и видел его в деревне.

Над купелью Пушкина клубился воздух восемнадцатого столетия. В России то был век мятежей, самодурства и просвещения — можно сказать, просвещенного самодурства. Таким воспринял недавнее прошлое Пушкин — и всю жизнь XVIII век занимал его. Привлекала Пушкина не только история как процесс, но живые характеры: жестокие, причудливо своенравные — и вместе с тем сильные, необычайно цельные. То был как бы сказочный варварский эпос у истоков измельчавшей цивилизованной современности.

Место Пушкина в русской культуре — особое, исключительное. Создав литературный язык, он гениально творил на этом языке; он искал темы и мотивы, направлял тенденции, строил фундаментальные ценности русской культуры нового времени. Тем драгоценнее, однако, звенья русской культурной традиции, которым в свою очередь чем-то обязан Пушкин. Гений не произрастает без почвы, даже возвышаясь над ней, даже пробиваясь порой вопреки ей. А потому все, даже невольные пересечения пути поэта с путями России и ее культуры глубоко символичны, многозначительны и заслуживают пристального внимания. Тем более когда речь идет о рождении поэта. Новорожденный еще не может говорить. Но над ним в полный голос говорит эпоха, ее люди и ее камни.

Где родился Пушкин? Современники — в силу названных выше причин — были мало осведомлены об этом. В 1822 году (Пушкин в это время находился в Кишиневе, но слава его уже вовсю путешествовала по России) Николай Греч в редакторском предисловии к публикации пушкинских стихов указывал на Петербург как на место рождения поэта. В 50-е годы прошлого столетия «первый пушкинист» П. В. Анненков уже твердо знал, что Пушкин родился в Москве, но помещал дом Пушкиных «на Молчановке»² (близ Арбата). Однако это не так. Из опубликованной позднее записи о крещении Пушкина следовало, что родился он в Немецкой слободе. То был один из лучших районов тогдашней Москвы. Дом,

¹ Пушкин. Полн. собр. соч. — т. VIII.

² Анненков П. В. Материалы к биографии А. С. Пушкина. — М., 1984. — С. 6.

в котором родился Пушкин, не сохранился. До самого последнего времени исследователи полагали, что находился он на месте нынешнего дома № 10 по улице Баумана (бывшая Немецкая). Теперь, однако, называют и другой адрес, неподалеку: по этим данным, дом Скворцова стоял на углу Малой Почтовой улицы и Госпитального переулк¹. Хозяин дома Иван Скворцов был, между прочим, сослуживцем Сергея Львовича Пушкина по Московскому комиссариату.

Близко расположена и Богоявленская церковь, в которой был крещен Пушкин. Современный адрес ее: площадь Баумана (бывшая Елоховская), дом № 15. Сельцо Елох было впервые упомянуто в духовной грамоте великого князя Дмитрия Донского. Позднее оно стало называться село Елохово. Богоявленская церковь стояла тут уже в XVII столетии. В 1731—1770 годах церковь Богоявления в Елохове была полностью отстроена заново. Строительство было, возможно, задержано пожаром: известно, что май 1748 года был месяцем пожаров в Москве и 23 мая горела вся Немецкая слобода; пострадала и церковь в Елохове². Именно в этом храме постройки XVIII века крестили Пушкина.

После пожара 1812 года Москве пришлось отстраиваться вновь. В 30-е годы настал черед елоховской Богоявленской церкви. Здание было разобрано и в 1837—1845 годах возведено новое — в стиле позднего классицизма, или так называемого ампира. Строил храм архитектор Е. Д. Тюрин. От постройки XVIII столетия сохранились нижний ярус колокольни и трапезная в классическом стиле с приделами, в одном из которых и крестили Пушкина³. Ныне это Богоявленский патриарший собор.

В Москве стало традицией почитание пушкинских мест. В начале нашего века в старом доме на Елоховской площади была открыта бесплатная городская библиотека-читальня имени Пушкина. В 1914 году перед ней на площади был образован Пушкинский сквер. Неподалеку находится московская школа № 353, отмеченная мемориальной доской и носящая имя Пушкина.

Другое время, другие камни. Следует мысленно перенестись через все тридцать семь лет пушкинской жизни из 1799 в 1837 год, из Москвы в Петербург. Придворная церковь Спаса Нерукотворного размещалась на Конюшенной площади (в настоящее время дом № 1). Здесь отпевали Пушкина.

¹ См.: Романюк С. Где родился Пушкин? // Моск. правда. — 1980. 14 сент.

² См.: Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы. — Т. 1: 1147—1762. — М., 1950. — С. 292.

³ См.: Волович Н. М. Пушкинские места Москвы и Подмосквья. — М., 1979. — С. 20.



Вид
места
дуэли
летом.

Церковь составляла часть Конюшенного двора, построенного в XVIII веке. В начале XIX столетия по проекту В. П. Стасова и под его руководством началась перестройка всего здания Конюшенного ведомства вместе с церковью. Храм расписывали лучшие художники страны. По проекту самого Стасова были выполнены из резного позолоченного дерева алтарь и иконостас. Фасад церкви выглядел как лоджия с четырьмя колоннами. В центре здания появились отделанные под дуб ворота. Площадь и проезд в ворота были уложены торцом. Вдоль всего здания протянулся тротуар из плит с черными чугунными тумбами на нем. Облик этот здание Конюшенного ведомства и Конюшенной церкви большей частью сохраняет и поныне. Современники отмечали: «Труды художников привлекают всеобщую дань похвалы»¹. Работы были завершены к 1823 году.

Пуля Дантеса поразила Пушкина в пятом часу пополудни 27 января 1837 года. Скончался поэт 29 января в 14 часов 45 минут.

Человек рождается на свет существом бессознательным; смерть, однако, отражает ответственный жизненный путь личности. Смерть же поэта есть, по выражению Осипа Мандельштама, «последний творческий акт». Гибель Пушкина была, по его же словам, примером «русской соборной кончины».

В свое время В. В. Вересаев, как бы в похвалу Пушкину, говорил, что умирал Пушкин не как великий поэт, а как великий чело-

¹ См.: Зажурило В. К., Кузьмина Л. И., Назарова Г. И. Пушкинские места Ленинграда.—Л., 1974.—С. 213.

век. В. С. Непомнящий, отвергая само это методологическое разделение человека и поэта, возразил: «Слова Вересаева... неверны, потому что в них обойдено русское понимание слова «поэт». Пушкин умирал как великий поэт»¹.

Последний год жизни Пушкина — весь в контрастных светотенях. Семейная напряженность, «адские козни»² Геккерна, влиятельные литературные и не только литературные противники, дпящиеся с конца 20-х годов читательское охлаждение к пушкинскому творчеству. В то же время — творческий взлет: величавые стихи «каменноостровского цикла», «Я памятник себе воздвиг...», стихи на 19 октября 1836 года. И последние шедевры пушкинской публицистики. И победный перелом в издании пошатнувшегося было «Современника». И «Капитанская дочка» — с триумфальной публикацией ее в том же «Современнике»...

Соре с Дантесом предшествовали три несостоявшихся поединка в начале 1836 года. Пушкин ощущал сгущавшееся вокруг него напряжение — и, предчувствуя грозу, сам бросал судьбе вызов. Гр. Владимир Соллогуб, участник одной из этих дуэльных историй, вспоминал позднее о своем примирении с Пушкиным: «Неужели вы думаете, что мне весело стреляться, говорил П. Да что делать? *J'ai la malheur d'être un homme publique et vous savez que c'est pire que d'être une femme publique*»³. — Быть может, эти слова Пушкина, произнесенные им как бы между прочим, в легкомысленной светской манере, таят в себе ключ ко всей истории гибели поэта, к его поведению в этот последний год.

Большинство версий гибели Пушкина представляют поэта жертвой: придворного ли заговора, светских ли интриг, семейной ли трагедии, того ли, другого и третьего, вместе взятых. Общеизвестны и версии вульгарные: например, о кольчуге Дантеса, — и на том же уровне соблазнительные домыслы о семейном скандале. Так или иначе Пушкин представляется лишь пассивным объектом приложения каких-либо внешних сил. Как реакция на эту точку зрения выработалась другая: Пушкин будто бы сам сознательно искал смерти. В этом случае либо гибель его была родом самоубийства, либо гибелью своей Пушкин завершал то «художественное произведение», которое он творил из своей собственной биографии. Последнее внешне соответствует представлению о гибели поэта как о последнем творческом акте. Но взгляд этот узок: он низводит творческий акт с высоты духовного подвига на уровень чисто

¹ Непомнящий В. Поэзия и судьба. — М., 1983. — С. 129.

² Определение кн. П. А. Вяземского. — См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. — М., 1985. — Т. 2. С. 197.

В дальнейшем ссылки на это издание даются таким образом: ПвВС, с указанием тома и страницы.

³ «Я имею несчастье быть общественным человеком, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной» (*фр.*). — ПвВС. — Т. 2. — С. 351, сноски.

эстетического жеста в романтическом стиле... Был ли Пушкин жертвой сильных мира сего, искал ли сам смерти — обе эти точки зрения роднит уверенность в пассивности пушкинской позиции в последний год его жизни. Однако это вряд ли соответствует действительности.

Были в самом деле и «адские козни», и вражда влиятельных лиц (например, министра иностранных дел гр. К. В. Нессельроде или министра народного просвещения, бывшего арзамасца С. С. Уварова), и недоверие монарха. Впрочем, прежде чем развивать эффектную тему «поэт и царь», стоило бы основательно разобраться: по каким именно линиям проходил конфликт между ними и каковы конкретно были социально-политические взгляды самого Пушкина. Между тем вопрос этот исследован далеко не достаточно, а высказывающиеся оценки — нередко взаимоисключающие... Во всяком случае, по мере того как вырабатывается в пушкинистике все более трезвый взгляд на «заговор» против Пушкина¹, все более выступает на передний план активная, ответственная роль самого Пушкина в преддверии событий. «Он вырвал инициативу из рук своих гонителей и повел игру по собственному плану»².

Что это была за «игра»? Пушкин, разумеется, защищал собственную честь, честь мужа и дворянина. Пушкин защищал честь своей жены, да так самоотверженно, что не боялся порой показаться смешным в глазах собственных друзей, лишь бы сохранить в тайне обстоятельства, которые прояснили бы его поведение, но способны были бы хоть в малейшей мере бросить тень на Наталью Николаевну. В последние месяцы друзья поэта то и дело недоумевали, приписывая резкое его поведение лишь «африканской» ревности, но после гибели Пушкина, в свете вновь открывшихся фактов, меняли свое к нему отношение. В январе Вяземский объявлял, что «...закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных»³. А 16 февраля 1837 года он же, прозревший, пишет к Э. К. Мусиной-Пушкиной о погибшем друге, что «...во всем его поведении было одно благородство, великодушие, деликатность»⁴. Поступки Пушкина при этом вовсе не сводились к частным мотивам.

¹ «Царь не вел тайных разговоров с Дантесом и не приказывал ему жениться, чтобы «столкнуть» поэта и кавалергарда. Бенкендорф не посылал жандармов в другую сторону... Совершилось злодеяние банальное, привычное: было проявлено традиционное для российского самодержавия неуважение к таланту. Жизнь гения пренебрегли». Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году: Предыстория последней дуэли. — Л., 1984. — С. 185.

² Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. — Л., 1981. — С. 246.

³ Слова Вяземского в передаче Софьи Карамзиной (*пер. с фр.*). Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг. — М. — Л., 1960. — С. 165.

⁴ Пер. с фр. Цит. по: Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году. — С. 76.

Однако не «мнения света» были для него определяющими. Графиня Долли Фикельмон, женщина умная и наблюдательная, записала в дневнике: «Большой свет видел все и мог считать, что само поведение Дантеса было верным доказательством невинности госпожи Пушкиной, но десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее камни»¹. Его читатели! Фикельмон обнаруживает тут психологическую чуткость, редкое понимание Пушкина именно как писателя. Через посредство своего дара Пушкин сделался «общественным человеком»; его судьба небезразлична была живой читающей России — и он не мог позволить себе остаться смешным или жалким в памяти этой России. Он защищал свою честь еще и в этом широком и благородном смысле — на что и намякнул Соллогубу. Он защищал честь поэзии.

И хотя Пушкин сознательно рисковал жизнью, смерти он не искал. Напротив, он намерен был застрелить Дантеса; он нашел в себе силы и решимость сделать ответный выстрел, будучи уже смертельно ранен; и он крикнул: «Браво!» — когда Дантес упал. И он же нашел в себе великодушие прошептать: «Мир, мир», — когда все было кончено.

...Толпа шла и шла к дому Пушкина на Мойке. Тысячи или даже десятки тысяч людей пришли проститься с поэтом.

Отпевание Пушкина состоялось 1 февраля 1837 года. Первоначально его назначили в церкви Адмиралтейства, где тогда временно располагался Исаакиевский собор. Нынешнее здание Исаакиевского собора тогда еще достраивалось. Однако по распоряжению властей отпевание было перенесено в церковь Конюшенного ведомства.

Как причину такого решения называют обычно боязнь массовых демонстраций, изъявлений поклонения народному поэту. Действительно, подобные опасения у властей имелись: гибель поэта вылилась во всенародное горе. Однако была и другая причина той осторожности и даже таинственности, с какими совершались посмертные обряды над телом Пушкина.

Общество преисполнено было не только чувством утраты, но и жаждой возмездия. Нидерландский посланник барон Геккертн и его приемный сын Дантес вызвали общую ненависть, а поскольку оба они были иностранцами, к этому чувству примешивался еще и оскорбленный патриотизм. Ненависть затем все ощутимее сменялась презрением, которое окружало двух злых гениев Пушкина до

¹ Пер. с фр. ПвВС.— Т. 2,— С. 154.

тех пор, пока оба они с позором не были выдворены за пределы Российской империи. Это лишний раз показывает, что в своей борьбе Пушкин посмертно оказался победителем.

О враждебных Геккерну настроениях и об угрозе беспорядков на этой почве свидетельствовали современники. Сын кн. П. А. Вяземского — Павел Вяземский позднее уверял даже, что не мог бы поручиться «...по соображению тогдашних обстоятельств, что более равнодушное отношение полиции к числу лиц, могущих явиться на вынос тела, не повлекло бы за собою дикой персидской демонстра-

Первая половина ноги спокойна;
последняя лучше Новых персидско-
щих принадлежностей нить; но так
же нить, и еще и быть не лишнее
облучения.

Одна из записок
В. А. Жуковского
о состоянии ранёного Пушкина.

ции. Впоследствии мы нередко встречали людей, скорбевших и тосковавших, что не дали, для чести русского имени, разыграть ненависти к надменным иноземцам¹. Более сдержанно вспоминал о том же Н. М. Смирнов: власти боялись «...какого-нибудь народного изъяснения ненависти к Геккерну и Дантесу, жившим на Невском, в доме к-ни Вяземской (ныне Завадовского), мимо которого церемония должна была бы проходить...»². Оба мемуариста были относительно консервативны и не были склонны к чрезмерной критике правительства; но вот что в те же дни писал либерал Александр Тургенев в Париж к своему брату, политическому эмигранту Николаю Тургеневу: «Публика ожесточена против Геккер-

¹ ПвВС. — Т. 2. — С. 199.

² Там же. — С. 279. Тургенев ошибочно предполагал, что отпевать Пушкина собирались в Александро-Невской лавре; в этом случае процессия шла бы по Невскому проспекту.

на, и опасаются, что выбьют у него окна»¹. Прусский посол Август Либерман докладывал своему правительству: «Национальное самолюбие возбуждено тем сильнее, что враг, переживший поэта, — иноземного происхождения. Громко кричат о том, что было бы невыносимо, чтобы французы могли безнаказанно убить человека, с которым исчезла одна из самых светлых национальных слав»². Александра Дурново (племянница декабриста кн. С. Г. Волконского) вспоминала возгласы на похоронах Пушкина: «Где этот иностранец, которого мы готовы растерзать?»³

Солнце вашей Поэзии закатилось! Пушкинъ скончался, скончался во цвѣтъ лѣтъ, въ срединѣ своего великаго поприща!... Болѣе говорить о семъ не имѣемъ силы, да и не нужно; всякое Русское сердце знаетъ всю цѣну этой невозвратимой потери, и всякое Русское сердце будетъ растерзано. Пушкинъ! нашъ поэтъ! наша радость, наша народная слава!... Не ужли въ самомъ дѣлѣ нѣтъ уже у насъ Пушкина?... Къ этой мысли нельзя привыкнуть!
 29 января, 2 ч. 45 м. по полудни.

*Сообщение о смерти Пушкина
 в «Литературных прибавлениях»
 к «Русскому инвалиду». 1837 г., № 5.*

Какими бы, однако, соображениями ни руководствовалось правительство, полицейские меры в связи с похоронами Пушкина были восприняты его друзьями как оскорбление. Несомненно также, что влиятельные противники Пушкина постарались придать церемонии оттенок по возможности унижительный. Особенно усердствовал, дабы пресечь посмертную вспышку пушкинской славы, Уваров — личный враг поэта, адресат его сатиры «На выздоровление Лукулла».

Как возмущался в известном письме к Бенкендорфу Василий Жуковский: «...назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем, нас оце-

¹ Цит. по: Вересаев В. Пушкин в жизни: Систематический свод свидетельств современников. — М., 1984. — С. 616.

² Там же. — С. 623—624. Здесь же названо самое большое число пришедших проститься с Пушкиным на Мойку: 50000. Либерман был в отличие от большинства иностранных дипломатов недоброжелателем Пушкина.

³ Цит. по: Гроссман Л. П. Пушкин. — М., 1960. — С. 499.

пили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться?»¹ Те же интонации — в письме Вяземского к вел. кн. Михаилу Павловичу: «Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы. Не говорю о солдатских пикетах, расставленных по улице, но против кого была эта военная сила, наполнившая собою дом покойника в те минуты, когда человек двенадцать друзей его и ближайших знакомых собрались туда, чтобы воздать ему последний долг? Против кого эти переодетые, но всеми узнаваемые шпионы?»²

Павел Вяземский вспоминал: «Вынос тела был совершен ночью в присутствии родных Н. Н. Пушкиной, графа Г. А. Строганова³ и его жены, Жуковского, Тургенева, графа Вельгорского, Аркадия О. Россети, офицера Генерального штаба Скалона и семейства Карамзиной и кн. Вяземского. <...> На просьбы А. Н. Муравьева и старой приятельницы покойника графини Бобринской, жены графа Павла Бобринского, переданные мною графу Строганову, мне поручено было сообщить им, что никаких исключений не допускается. Начальник штаба корпуса жандармов Дубельт в сопровождении около двадцати штаб- и обер-офицеров присутствовал при выносе. По соседним дворам были расставлены пикеты: все выражало предвиденье, что в мирной среде друзей покойного может произойти смута»⁴.

Вынос тела и отпевание Пушкина в Конюшенной церкви конспективно и вместе с тем ярко представлены в дневнике Александра Тургенева.

«31 января. Воскресенье. <...> В 12, то есть в полночь, явились жандармы, полиция, шпионы — всего 10 штук, а нас едва ли столько было! Публику уже не впускали. В 1-м часу мы вывезли гроб в церковь Конюшенную, пропели заупокой, и я возвратился тихо домой.

1 февраля. <...> В 11 часов нашел я уже в церкви обедню, в 10¹/₂ начавшуюся. Стечение народа, коего не впускали в церковь, по Мойке и на площади. Послы со свитами и женами. <...> Блюдов и Уваров: смерть — примиритель. Крылов. Князь Шаховской. Мое чувство при пении. Мы снесли гроб в подвал. Тесновато»⁵.

¹ ПвВС.—Т. 2.—С. 420.

² В е р е с а с в В. Пушкин в жизни.—М., 1984.—С. 617.

³ Гр. Григорий Строганов склонялся к «партии» противников Пушкина еще до поединка. Это к нему обратился за советом Геккерн, получив оскорбительное письмо от Пушкина 26 января. Мнение Строганова было: необходимо драться. Сын его, Сергей Строганов, был в то время главой Московского цензурного комитета. Это ему было адресовано предписание Уварова соблюдать в статьях о кончине Пушкина «надлежащую умеренность и тон приличия» (см.: Ч е р е й с к и й Л. А. Пушкин и его окружение.—Л., 1976.—С. 399).

⁴ ПвВС.—Т. 2.—С. 198.

⁵ ПвВС.—Т. 2.—С. 216.

Были, однако, и несколько другие «чувства при пении». Смерть — тайна, и высокая атмосфера заупокойной службы таинственно соседствовала с насмешкой, если не кощунством. Присутствовавшая на отпевании А. М. Каратыгина (в девичестве, Колосова, та самая актриса, которой юный Пушкин адресовал обидную эпиграмму, а по возвращении из ссылки помирился с ней) не зря вспомнила французскую поговорку: «Печальное иногда спотыкается о смешное». Во время службы рядом с ней заливалась слезами Елизавета Михайловна Хитрово (дочь Кутузова, мать Долли Фикельмон). Вдруг она тронула за локоть одного из стоявших у гроба «официантов». «— Что ж ты, милый, не плачешь? Разве тебе не жаль твоего барина?

Официант обернулся и отвечал невозмутимо:

— Никак нет-с. Мы, значит, от гробовщика, по наряду¹.

Тут же с женщинами начал перешептываться Сергей Соболевский. «— И можно ли требовать слез от наемника? — продолжал он, обращаясь к Елизавете Михайловне. — Да и вы сами, быть может, умерите ваши сетования, если я вам напомню, что покойный отзывался об вас не совсем благосклонно...

— Что же такое? — спросила Елизавета Михайловна.

— Но вы не рассердитесь? Оно, конечно, здесь и не место и не время поминать лихом нашего Пушкина, однако зачем же скрываться. Как-то под веселый час Александр Сергеевич написал такого рода стишки...» И Соболевский тут же исполнил обидные для Елизаветы Михайловны, притом полупристойные, шуточные стихи. Стихи эти, кстати, были сочинены не Пушкиным, но лишь приписывались ему... «При всей своей незлобivosti и любви к Пушкину, она, видимо, рассердилась и во все продолжение церковной службы была угрюма и молчалива». Раздосадованная неуместной выходкой Соболевского, Каратыгина, дождавшись конца службы, резко выговорила ему. «Совершенно с вами согласен, — отвечал он, — но мне надоели стенания и причитывания Елизаветы Михайловны: вы видели, что после стихов она их прекратила!»²

Пушкинскому Сальери было «не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери». Соболевский вел себя как шут; но кто знает, как отнесся бы сам Пушкин к казарменным шуткам приятеля...

Отслужили обедню и панихиду. На следующий день, 2 февраля, был назначен военный парад. Войска расположились так, что подступы к Конюшенной церкви были закрыты. Конюшенная улица занята была гвардейскими обозами. Вечером снова служили панихиду по усопшему Пушкину. Александр Тургенев писал на па-

¹ ПвВС.—Т. 1.—С. 207.

² ПвВС.—Т. 1.—С. 207—208.

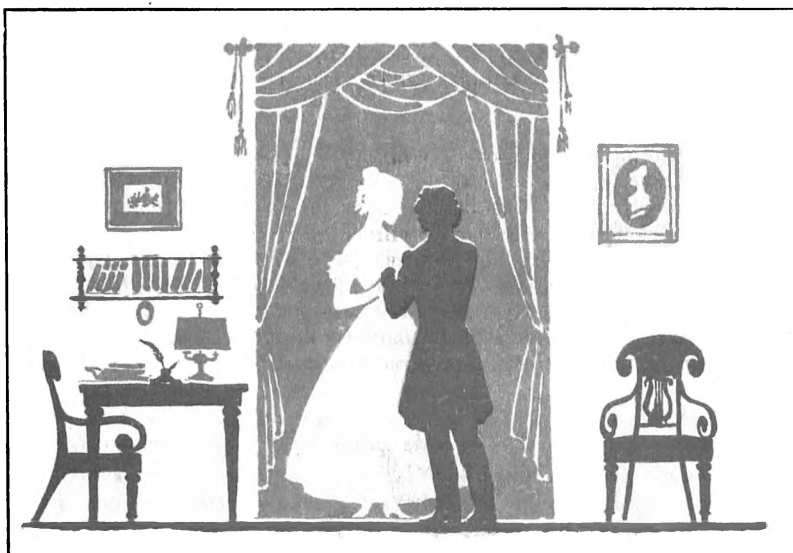
мать: «Заколотили Пушкина в ящик. Вяземский положил с ним свою перчатку»¹. Через сутки, в ночь, Тургеневу предстояло отвезти Пушкина к месту его последнего упокоения — в Святогорский монастырь².

А Конюшенная церковь осталась памятником всенародного прощания с «солнцем нашей поэзии». В 1887 году, в 50-летие со дня смерти, с утра по инициативе сына поэта А. А. Пушкина шли заупокойные службы, а в час кончины была отслужена особая панихида. Среди публики присутствовал писатель И. А. Гончаров. В 1899 году, в 100-летнюю годовщину со дня рождения, здесь снова служили панихиду по Пушкину. В 1944—1951 годах здание Конюшенной церкви было реставрировано. Обновленные камни старого Петербурга по-прежнему хранят верность памяти Пушкина.



¹ ПвВС.—Т. 2.—С. 217.

² Секунданту Пушкина Константину Данзасу как подследственному по делу о дуэли Николай I этой чести не предоставил.



«ДРУГ МОЙ ЖЕНКА»

Н. Колосова

Он уже целый год был в садах Лицея, когда 27 августа 1812 года у Натальи Ивановны и Николая Афанасьевича Гончаровых родилась младшая дочь Таша. Через 16 лет они встретятся на московском балу, и Пушкин навсегда останется «огончарованным».

А пока Таша росла и воспитывалась «в деревне на чистом воздухе» — в имении Гончаровых Полотняный Завод Калужской губернии, а позже в Москве, где у Гончаровых был дом на углу Б. Никитской и Скарятинского пер. Семья была большой — у Таши было две сестры и трое братьев, — но неблагополучной: сумасбродный дед, душевнобольной отец, деспотичная, неуравновешенная мать. «В самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых», — писала дочь Натальи Николаевны от второго брака Арапова. О строгости, с какой воспитывались дети, можно судить по тому, что, живя в доме Пушкина, сестра Наталья Николаевна, Александра Гончарова, была до слез тронута непривычной заботой, которой окружили ее во время болезни сестры и сам Пушкин. Дома же болезнь считалась справедливым божьим наказанием, и захворавшую мать изводила «постоянными нравоучительными наставлениями». Между собою братья и сестры были очень дружны и всегда готовы были прийти друг другу на помощь.

Во времена Петра I Гончаровы — купцы и промышленники (дворянство они получили лишь при Екатерине II) — владели полотняным заводом и бумажной фабрикой и были очень богаты. Однако к началу XIX века неразумное хозяйствование Афанасия Николаевича, деда Таши, привело Гончаровых на грань разорения. Наталья Николаевна и ее сестры оказались, в сущности, бесприданницами. Современники вспоминают, что когда Пушкин женихом ездил к Гончаровым, то будущая теща старалась спровадить его до обеда, а юной Наташе частенько доводилось ездить на балы в протертых туфлях и старых перчатках. Тем не менее домашнее образование детей Гончаровых было достаточно разносторонним: наряду с обязательным в то время знанием иностранных языков и музыки оно включало также историю, географию, русский язык, литературу.

Вывозить Натали Гончарову начали очень рано. Она была очень хороша собой. «Это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая — лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, — глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный, — тонкие черты, красивые черные волосы», — этот портрет составлен Долли Фикельмон. Такой ценитель женской красоты, каким был Пушкин, встретив ее, шестнадцатилетнюю, почти девочку, на московском балу у танцмейстера Иогеля, был покорен сразу: «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее только что начинали замечать в обществе. Я полюбил ее, голова у меня закружилась». М. Цветаева, назвавшая красоту Натальи Николаевны «голой» и «разящей», была не права. Тип красоты ее был иной. Вяземский называл ее романтической, Д. Фикельмон находила у нее «меланхолическое и тихое выражение, похожее на предчувствие несчастья» и даже «страдальческое выражение ее лба»; вообще современники, описывая внешность Натальи Николаевны, чаще всего употребляли эпитеты: трогательная, застенчивая, кроткая, милая, прелестная.

Поскольку красота вообще понятие относительное, то неудивительно, что дружный хор, превозносивший красоту Натальи Николаевны, нет-нет да и нарушали несогласные голоса. Один из современников находил в ее лице «недостаток рисунка», заключавшийся в том, что «не в пример большинству человеческих лиц, глаза ее, очень красивые и очень большие, были размещены так близко друг от друга, что противоречили рисовальному правилу: «один глаз должен быть отделен от другого на меру целого глаза». Другой, заочно наслышанный о красоте жены Пушкина, увидев ее, записал: «Как всегда это случается, я нашел, что молва увеличила многое». Даже сестра поэта О. С. Павлицева, восхищавшаяся своей невесткой, считала, что в Петербурге в то время были женщины более красивые.

Графиня Воронцова, встретив много лет спустя Наталью Николаевну (уже Ланскую), не сразу узнала ее, а когда узнала, поразилась произошедшей с ней перемене: «Тогда вы мне показались такой худенькой, такой бледной, маленькой»... Воронцова нашла, что Наталья Николаевна ранее не была и «на четверть так прекрасна». Между тем, даже если в самом деле красота Натальи Николаевны еще больше расцвела со временем, то росту она всегда была высокого — 173 см. Пушкин, рост которого составлял всего 164,5 см, в шутку говорил, что ему «унизительно» находиться рядом с женой.

Но самую неожиданную характеристику дает Наталье Николаевне приятель Пушкина поэт Туманский: «Не воображайте, однако же, чтоб это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина — беленькая, чистенькая девочка с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой гризетки». Этот «сниженный» образ тем более заставляет задуматься, что вообще Туманский, наоборот, был, видимо, склонен скорее идеализировать окружающую его действительность.

В главе «Путешествие Онегина» Пушкин подтрунивает над Туманским, который «очаровательным пером сады одесские прославил», в то время как, по мнению Пушкина, «степь нагая там кругом». Слова Туманского заставляют поневоле вспомнить письмо Пушкина к Е. Хитрово, где он в раздражении высказывает свое «кредо» относительно женщин: «Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее... Хотите, я буду совершенно откровенен? Может быть, я изящен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце мое совершенно вульгарно, и склонности у меня вполне мещанские...» Эти слова не следует понимать в их крайнем, слишком грубом смысле. Пушкин, аристократ по духу и крови, глубоко чувствовавший свое шестисотлетнее дворянство и гордившийся им, и в «Моей родословной» мог твердить: «Я просто русский мещанин». Конечно, это всего лишь бравада, уничижение паче гордости: он имел в виду, говоря о «мещанских склонностях», нечто другое, а именно стремление к простоте и безыскусственности жизненного уклада, той простоте (свойственной, кстати, и его поэзии), к которой приходит гений (а вернее, с понятием которой рождается). Поэтому вполне вероятно, что в Наталье Николаевне могло и быть нечто от наивной и простой девушки (гризетки), и поэтому, может быть, нет оснований не доверять Араповой, описывающей сцену, когда Пушкин, написав свежее произведение, спешит поделиться им с «умной» Смирновой и, успокаивая обиженную этим Наталью Николаевну, говорит ей: «Ты мне куда милей с твоей неопытностью и незнанием». Все дело в том, что долгое время слишком преувеличивали *степень* этого незнания.

Известно частое пушкинское противопоставление простодушных, скромных уездных барышень «чопорным и холодным красавицам».



Н. Н. Пушкина.
Акварель
В. Гау.
1842 г.

вицам большого света». Но при всей язвительности его замечаний по поводу света сам Пушкин был совершенно светским человеком, разделявшим его требования и условности. Ум его нуждался в остроте светских бесед, творчество во многом питалось наблюдением нравов, царивших в свете, авторское самолюбие было чувствительно к отзывам наиболее образованных и развитых представителей светского общества, к которому принадлежал он сам и по рождению и по воспитанию.

Конечно, не всегда «дрожь и злость» были единственными чувствами, которые овладевали им, когда приходилось писать мадригалы в альбом «блистательной даме», — некоторых из этих блистательных дам уважал и ценил он за ум, образованность, тонкость вкуса. Но с отрадным чувством безмятежности писал он в альбом уездной барышни:

Уверен будучи душою,
Что всякий мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор
И что потом с улыбкой злою
Не станут важно разбирать,
Остро иль нет я мог соврать...

Однако Пушкин как светский человек был далек от абсолютной идеализации «уездных барышень»:

Меж ими нет — замечу кстати —
Ни тонкой вежливости знати,
Ни ветрености милых шлюх.
Я, уважая русский дух,
Простил бы им их сплетни, чванство,
Фамильных шуток остроту,
Порою зуб нечистоту
И непристойность и жеманство,
Но как простить им модный бред
И неуклюжий этикет?

Пушкинский идеал — это смиренная, простая и тихая Татьяна, сумевшая стать безупречной светской дамой, сохранив все обаяние чистой души. Идеал этот известен:

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней,

Она казалась верный снимок
Du comme il faut¹...

Ну и, конечно:

Кокетства в ней ни капли нет—
Его не терпит высший свет...

Интересно сопоставить «Татьяны милый идеал» с тем образом Натали Гончаровой, который запечатлен в воспоминаниях современницы, близко знавшей ее в юности: «...главную прелесть Натали составляли отсутствие всякого жеманства и естественность... Все в ней самой и манера держать себя было проникнуто глубокой порядочностью. Все было *comme il faut* без всякой фальши». Сам Пушкин ценил в ней ее «простой, милый, аристократический тон» и, очевидно, почувствовал в ней вероятность редкого сочетания, столь милого его душе, где сливаются «ясные черты провинциальной простоты» с безупречностью светской дамы. Оттого-то так упорно (более двух лет) добивался он ее руки, в твердой уверенности, что если не она, то никакая другая не станет его женой.

Семейный очаг должен был стать для него прибежищем, тем священным местом, где душа и сердце будут спокойными.

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желанья — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

Эти строки из «Евгения Онегина», написанные Болдинской осенью 1830 года, отражают несомненно и личные устремления поэта. В вариантах мелькают «простая добрая жена», «простая тихая жена». Но, конечно, простота, облагороженная безупречностью манер. Красота Наталья Николаевна соответствовала его эстетическому идеалу, а «милый, простой, аристократический тон», внутренняя порядочность — идеалу этическому. Потому-то: «а душу твою люблю я более лица твоего» и «женка моя прелесть не по одной наружности».

Родные Наталья Николаевна не так-то легко согласились отдать ее за небогатого и неблагодарного поэта. И здесь вопреки распространенному мнению Наталья Николаевна не была безучастна к своей судьбе: «...Спешу уверить вас, что все, что сделала Маминька, было согласно с моими чувствами и желаниями», — пишет она перед помолвкой главе семьи — деду, чтобы развеять сомнения, возникшие из-за дошедших до него «худых мнений» о Пушкине. Наталья Николаевна горячо заступает за своего жениха, просит не верить «низкой клевете», которую распускают о нем недо-

¹ Благопристойности (*фр.*).

брожелатели. Необычный прилив творческого вдохновения, которым ознаменовалась Болдинская осень 1830 года, был следствием радостного возбуждения, вызванного уверенностью в том, что он любим и что спустя несколько месяцев его кочевая, бесприютная жизнь наконец-то обретет устойчивость и спокойствие.

Но, уже получив согласие родных Натальи Николаевны, Пушкин все-таки не мог до конца быть уверен в том, что свадьба, о которой он столько мечтал, состоится. Его будущая теща Наталья Ивановна бесконечно придумывала поводы, чтобы оттянуть ее, а может быть, и совсем расстроить. Пушкину пришлось доказывать ей, что его «положение в отношении к правительству» не является «ложным и сомнительным». В ответ на просьбу Пушкина Николай I поручил Бенкендорфу написать, что поэт не состоит под надзором полиции (что было ложью), а всего лишь находится «под отеческим попечением», и разрешил показывать это письмо всем, у кого на этот счет возникнут сомнения. Затем пошли долгие проволочки то из-за приданого, то из-за сплетен, пищу которым в изобилии давала бурная молодость поэта. Порой казалось, что свадьба вот-вот расстроится совершенно. Пушкин хандрил, впадал временами в отчаяние. Из гордости и суеверных соображений говорил и писал друзьям «о прелести холостой жизни», о том, что он «хладдеет». Друзья оказались недостаточно чуткими, верили сказанному в сердцах и всерьез считали, что он сам уж не рад затеянной женитьбе. В письме из Болдино осенью 1830 года Пушкин укорял за это Плетнева: «Как же не стыдно было тебе понять хандру мою, как ты ее понял? Хорош и Дельвиг, хорош и Жуковский! Вероятно, я выразился дурно; но это вас не оправдывает. Вот в чем было дело: теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж, конечно, не я. Я бесился. Теща начинала меня дурно принимать и заводить глупые ссоры; и это бесило меня. Хандра схватила, и черные мысли мной овладели. Неужто я хотел иль думал отказаться? но я видел уж отказ и утешался чем ни попало». Достаточно было поэту получить одно письмо от Натальи Николаевны, совершенно успокоившее его, как «мрачные мысли мои порассеялись», и вот уже настроение Пушкина просветляется, о чем убедительно свидетельствует тон его писем к друзьям и невесте.

Тема дружбы — одна из сквозных тем творчества Пушкина. В сущности, за исключением чисто эмоциональных восклицаний или обращений («Друзья мои! Прекрасен наш союз...», «Мой друг, отчизне посвятим...» и т. п.), в строках о дружбе и друзьях, отмеченных не минутным порывом, а являющихся плодом размышлений, Пушкин грустно констатирует ненадежность, даже невозможность истинной дружбы.

Меланхолические строки из пушкинских произведений, обличающие обманчивость дружеских уз, можно цитировать в изобилии:

«Минутной младости минутные друзья...»

«Но дружбы нет и той меж нами...»

«Пускай мне дружба изменила...»

«Я слышу вновь друзей предательский привет...»

«Мне вас не жаль, неверные друзья...»

«Враги его, друзья его (что, может быть, одно и то же)...» и т. д. В стихотворении «Что дружба? Легкий пыл похмелья...» он с обескураживающей точностью перечисляет наиболее распространенные виды отношений между людьми, которые при поверхностном взгляде сходят за дружбу. Еще в 1822 году в письме к младшему брату, Льву Сергеевичу, он пишет: «Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий». А между тем он страстно тосковал о ней: «Ни музы, ни труды, ни радости досуга — ничто не заменит единственного друга».

В письме к Я. К. Гроту П. А. Плетнев передавал слова Пушкина, характеризующие его отношение к дружбе и ее требованиям: «Все заботливо исполняют требования общежития в отношении к посторонним, т. е. к людям, которых мы не любим, а чаще и не уважаем... С друзьями же не церемонятся, оставляют без внимания обязанности свои к ним, как к порядочным людям, хотя они для нас — все. Нет, я так не хочу действовать...»

Сам он способен был к настоящей дружбе, способен был радоваться радостью друзей:

И в жизни сей мне будет утешенье
Мой скромный дар и счастье друзей.

Но это редкое качество, видимо, безуспешно искал он в окружающих. Потому-то так сердечно благодарит он «душою умиленной» анонимного доброжелателя, порадовавшегося его счастью — предстоящей женитьбе:

К доброжелательству досель я не привык —
И странен мне его приветливый язык.

Может быть, по-настоящему тогда любил его один Нащокин, да Павел Воинович жил в Москве, и помочь поэту, не допустить его гибели в 1837 году он не смог, а другие, при всем расположении не были достаточно проникательны, так же не понимали всей глубины его страданий, как не понимали его настроения перед женитьбой.

18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот в Москве Наталья Николаевна Гончарова и Александр Сергеевич Пушкин обвенчались. «Я женат — и счастлив. Одно

желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось — лучше-го не дождусь». Так началась их семейная жизнь.

Наталья Николаевна не оставила ни дневников, ни воспоминаний. Не обнаружены до сих пор и ее письма к Пушкину. От природы она была молчалива и очень сдержанна в проявлении своих чувств, а сдержанность еще и поощрял в ней муж, — при этих условиях сделать правильные выводы о ее уме и характере посторонним людям было не так-то просто. «Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца», — признавалась Наталья Николаевна уже после смерти Пушкина. Избранных было мало, и причины этого она объясняла в письме к брату, уже обретя достаточный опыт (более трех лет) столичной жизни таким образом: «Тесная дружба редко возникает в большом городе, где каждый вращается в своем кругу общества, а главное — имеет слишком много развлечений и глупых светских обязанностей, чтобы хватало времени на требовательность дружбы». В этом маленьком отрывке видны и наблюдательность, и здравое суждение, и способность к умозаключениям, и глубина души, не удовлетворяющейся поверхностными, легкими отношениями. А позже, уже после смерти Пушкина, в одном из писем Наталья Николаевна высказывает до того тонкое и умное суждение о дружбе, что оно вполне могло стать афоризмом: «...настоящие друзья встречаются редко, и всегда чувствуешь себя признательной тем, кто берет на себя труд ими *казаться*».

Ее мало знали, а поэтому понятно, что воспоминания современников в основном сводятся к описанию ее внешности.

За шесть лет семейной жизни Пушкину довольно часто доводилось жить в разлуке с женой. Преимущественно ездить приходилось ему. То это были поездки в Москву для работы в архивах, то в Михайловское или Болдино, то он едет в Казанскую и Оренбургскую губернии собирать материалы к своей «Истории Пугачева». Весной 1834 года Наталья Николаевна с двумя детьми ездил к своим родным в Полотняный Завод, с заездом в Москву и подмосковное имение Наталии Ивановны — Ярополец. И всякий раз между ними завязывалась интенсивная переписка. Если письма Пушкина сохранились в довольно большом количестве, то судьба писем Натальи Николаевны, таинственно исчезнувших, до сих пор неизвестна. Отсутствие ее писем — явление чрезвычайно прискорбное. Судя по всему, письмам ее присуща была редкостная информативность. Об этом можно судить и по реакции на них самого Пушкина, который как-то даже побранил ее за то, что, будучи больной, не щадя себя, она пишет ему длинное письмо. Вообще письма ее, по его оценке, «дельные». Наталья Николаевна признавалась, что у нее есть привычка «описывать все мельчайшие подробности». Для того чтобы представить в какой-то степени внутренний облик Натальи Николаевны, характер ее отношения к Пушкину, атмосферу, царившую в их доме, нужно прежде всего внимательно

читать письма к ней Пушкина — ведь это очень часто ответы на ее письма; кроме того, очень важны ее письма к брату Дмитрию, относящиеся ко времени ее брака с Пушкиным, и, наконец, переписка ее с П. П. Ланским — вторым мужем Натальи Николаевны.

Долгое время существовал неоднократно закрепленный штамп, согласно которому жена Пушкина была бездушная и легкомысленная красавица, все интересы которой сводились к нарядам и балам; ей якобы дела не было до творчества гениального мужа, да и к нему самому она относилась вполне равнодушно. Несправедливое отношение к Наталье Николаевне началось еще при жизни Пушкина: «Бедная моя Натали стала мишенью для ненависти света» и усилилась после его трагической гибели: «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском».

Можно ли прежде всего винить Наталью Николаевну в том образе жизни, который вели Пушкины, — петербургский, столичный, светский, — где красота ее была сразу же отмечена и в свете и при дворе? Нет, конечно. Воспитанная в строгости и покорности, глубоко религиозная, она, может быть, и без особой радости, несомненно, приняла бы и другой образ жизни, и даже деревенское уединение. «Обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволю. Не женщине 18 лет управлять мужчиною 32 лет» — так категорично заявил вскоре после свадьбы Пушкин своей теще. А сама Наталья Николаевна, правда, спустя много лет, но будучи еще молодой женщиной, писала П. П. Ланскому: «С моей склонностью к спокойной и уединенной жизни мне везде хорошо. Скука для меня не существует».

Образ жизни был предопределен еще до свадьбы: «Что касается до будущего местопребывания моего, то сам не знаю, кажется от Петербурга не отделаюсь. Царь со мною очень мил». И еще тем, что «я ни за что на свете не допущу, чтобы жена моя терпела лишения, чтобы она не являлась там, где ей предназначено блистать, веселиться. Она вправе требовать этого. Чтобы сделать ей угодное, я готов пожертвовать всеми моими вкусами, страстями, всею моею жизнью, вполне свободою и прихотливою».

К несчастью, ему действительно в конце концов пришлось жизнью поплатиться и за выбранный им образ жизни, требовавший больших средств, чем те, которыми он располагал. Этот образ жизни предопределил ту моральную и материальную зависимость Пушкина от царя, которая его тяготила, обязывала к унижающей благодарности и от которой он не мог в силу многих причин избавиться. Окончательно понял он это слишком поздно, хотя знал всегда. «Избегай покровительства, ибо оно подчиняет и унижает», — писал он еще за девять лет до женитьбы младшему брату. Но сам избежать не смог...

Как, почему это произошло? В начале 1826 года, когда уже вступил на престол Николай I, но судьба арестованных декабристов еще не была решена, у сосланного в Михайловское Пушкина

возникла надежда на изменение его участи, так как, несмотря на известные близкие его отношения с декабристами, его следственная комиссия по их делу не привлекала. «Твердо надеюсь на великодушные молодого нашего царя», — пишет он Дельвигу, а кроме того, высказывает желание «вполне и искренно помириться с правительством». Гонимый предыдущим царем в течение шести лет кряду, Пушкин ждет справедливого решения своей участи новым самодержцем, чему в истории накопилось немало примеров. Особенно надеется он на ходатайство Жуковского, которому пишет: «Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости». Пушкин не отказывается от своих прежних убеждений, он только согласен подчиниться необходимости и, наученный неудачей своих друзей и своими собственными бедствиями, вынужден искать другие, более благоразумные пути для проявления своего дарования. С непосредственной просьбой о пересмотре его дела и дозволения ему жить в Москве или Петербурге или возможности уехать за границу обращается в это же время Пушкин к Николаю. Жестокая расправа 13 июля — казнь пяти декабристов, ссылка на каторгу остальных потрясли Пушкина. «Теперь у меня перо не повернулось бы», — пишет он Вяземскому о своем уже отправленном царю письме.

В сентябре 1826 года за Пушкиным был прислан фельдъегерь, в сопровождении которого поэт был доставлен в Москву и представлен новому государю в его резиденции в Чудовом дворце. Царь принял поэта «самым любезным образом», разрешил ему жить в столицах и вызвался быть его личным цензором. Все подробности этой встречи доподлинно неизвестны, хотя сам Николай вспоминал, что Пушкин на его вопрос, что делал бы он 14 декабря, если бы оказался в Петербурге, ответил: «Стал бы в ряды мятежников». Вероятно, снисходительность царя, услышавшего такой дерзкий ответ, любезное его обращение с опальным поэтом способствовали укреплению у Пушкина надежд на новое свое положение «богом избранного певца», приближенного к престолу, открыто говорящего царю правду и способствующего смягчению сердца монарха на благо отечества. Так появляются стихи Пушкина «В надежде славы и добра...» и спустя два года как бы разъяснение их — «Нет, я не льстец...», стихи, в которых Пушкин словно взывает к благородству царя. Благосклонность царя, желавшего просто-напросто, как вскоре выяснилось, приручить независимого и мятежного поэта, обещания, данные ему Пушкиным, наложили на поэта тяжкие обязательства. Вместо желанного «ободрения», о котором в свое время писал Пушкин Бестужеву, поэт оказался в подчинении, которое принесло только несчастье.

В феврале 1831 года Пушкин снял в Москве квартиру на втором этаже «в доме Хитровой на Арбате» (ныне Арбат, дом 53). Здесь перед свадьбой устраивает он традиционный «мальчишник», на котором присутствовали его приятели П. В. Нащокин, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, Н. М. Языков и др. После венчания здесь же состоялся свадебный ужин. В этой квартире молодые прожили до середины мая, а затем переехали в Петербург, вначале остановившись на даче в Царском Селе. Пушкин рассчитывал «жить потихоньку, без тещи, без экипажа, следовательно, без больших расходов и сплетен». Однако вскоре в Царское Село прибыл двор. Мать Пушкина писала о последствиях этого события: «Император и Императрица встретили Наташу с Александром, они остановились поговорить с ними, и Императрица сказала Наташе, что она очень рада с нею познакомиться, и тысячу других милых и любезных вещей. И вот она теперь принуждена, совсем того не желая, появиться при дворе».

Известно, что в первое время Пушкина радовали успехи жены в обществе. «Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии, мне показалось, что он вчера испытывал все мелкие ощущения, все возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете», — записала Д. Фикельмон после первого появления Пушкиных на светском рауте. Образ жизни был предопределен суммой обстоятельств, среди которых какую-то роль играло противоречивое отношение поэта к свету и даже в какой-то степени тщеславие светского человека. Как же трудно было молодой и очаровательной женщине «блистать», сохраняя «холодность, благопристойность, важность!». Непрестанные его замечания в письмах к жене по поводу кокетства вызывались не столько ревностью, сколько опасением, чтобы не были нарушены правила приличия: «Да, ангел мой, пожалуйста, не кокетничай. Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься, но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московскою барышнею, все, что не comme il faut, все, что vulgar¹».

Может быть, ей и приходилось иногда прибегать к кокетству, как к испытанному оружию, чтобы возбудить его ревность — «любови мы цену тем умножим», — но из того, что она не только не скрывала, но даже сообщала в письмах мужу о своих «кокетственных сношениях», можно заключить, как все же она была наивно-чиста: «Не стращай меня, женка, не говори, что ты искокетничалась». Впрочем, о ее паразитической искренности в отношениях с мужем, о том, что она ничего не умела и не хотела скрывать от него, свидетельств очень много.

В свою очередь Наталья Николаевна не переставала мучиться ревнивыми подозрениями, потому что в своих письмах Пушкин то и дело оправдывается, отбивается от них или спешит их предупре-

¹ вульгарно (англ.).

дить. Он уверяет ее, что в свете не бывает, дам не видит, а видит лишь «мужеск пол», успокаивает ее то по поводу графини Соллогуб, то Смирновой, о знакомых дамах старается говорить подчеркнuto пренебрежительно (и Керн не пощадил!), и вообще — «грех тебе меня подозревать в неверности». Была ли, однако, Наталья Николаевна несправедлива в своих подозрениях? Пушкин был поэт, а у нее, по его собственным словам, было «пречуткое сердце»...

Самолюбие Пушкина было развито чрезвычайно, подогреваемое к тому же его пылким темпераментом. Все, что касалось его самого или его жены и имело хотя бы намек на недостаток уважения со стороны других лиц, вызывало у него бурю негодования. Так порицает он жену за то, что она в его отсутствие поехала на бал к княгине Голицыной, которая не проявила должного внимания Наталье Николаевне: «Я не хочу, чтобы жена моя ездила туда, где хозяйка позволяет себе невнимание и неуважение. Ты не M-lle — Sontag, которую зовут на вечер, а потом на нее и не смотрят... Ты могла и должна была сделать ей визит, потому что она штатс-дама, а ты камер-пажиха, это дело службы. Но на бал к ней нечего тебе было являться».

Резко, с нескрываемым раздражением и язвительностью высказывается он в письме к жене по поводу перлюстрации, которой, как он узнал, подвергалась его частная переписка. Его негодование направлено на тех чиновников, которые бесстыдно вскрывают письма, и на тех высокопоставленных лиц, которым передавались некоторые выписки: «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе... Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство *à la lettre*¹. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности... невозможно». В дневнике своем он записывает по этому поводу следующее: «Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться...»

Кстати, именно в связи с тем, что он постоянно помнил о «свинстве почты», его письма к Наталье Николаевне не всегда и не в полной мере отражают подлинный характер их отношений: «Пожалуйста, не требуй от меня нежных, любовных писем. Мысль, что мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции и так далее — охлаждает меня, и я поневоле сух и скучен».

Обычный тон пушкинских писем к жене — задушевный, трогательно-заботливый, нежный. Он постоянно скучает вдали от нее — «тоска без тебя», тревожится о ее здоровье, беспокоится о детях, о доме, очень волнуется, когда от нее долго нет писем, подробно рассказывает ей о своих дорожных приключениях, о делах,

¹ буквально (фр.).

делится с нею своими невеселыми думами по поводу их денежных дел и будущего их детей.

Вообще Пушкин всерьез к женской эмансипации не относился. «Какие же вы помощники или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать. И за то спасибо», — шутливо замечает он. Наталья Николаевна и не была «академиком в чепце», но она была ему близким человеком, другом, которому мог он поверять все свои заботы, сомнения и опасения.

Насколько неосновательны нарекания по поводу совершенно равнодушного отношения Натальи Николаевны к творчеству Пушкина, можно судить по таким строкам:

«Ты спрашиваешь меня о «Петре»? Идет помаленьку, скопляю матерьялы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок».

«Я привезу тебе стишков много, но не разглашай этого, а то альманашники заедят меня».

Ей сообщает он о замысле романа «Дубровский», рассказывает о сборе материалов к «Истории Пугачева». Осенью 1834 года из Болдина жаловался: «И стихи в голову нейдут и роман не переписываю... Погожу еще немножко, не распишусь ли; коли нет — так с Богом и в путь... Да и в самом деле: неужто близ тебя не распишусь?»

Близость, родственность лучше всего слышны в доверительно-сти интонаций: «Как ты права была в том, что не должно мне было принимать на себя эти хлопоты, за которые никто мне спасибо не скажет».

Упрекали ее и в нелюбви к Пушкину. Конечно, ревность еще не доказывает любви, но вряд ли могла нелюбящая женщина писать письма, вызывающие такую реакцию: «То сердисься на меня за Соллогуб, то за краткость моих писем, то за холодный слог, то за то, что я к тебе не еду... а письмо твое меня огорчило, а между тем и порадовало; если ты поплакала, не получив от меня письма, стало быть ты меня любишь еще, женка».

Или вот очень показательный для характеристики их взаимоотношений отрывок из письма Пушкина к ней в связи с предпологавшейся продажей половины имения некому Безобразову: «Два часа сидел у меня. Оба мы хитрили — дай Бог, чтобы я его перехитрил, на деле; а на словах, кажется, я перехитрил. Вижу отселе твою недоверчивую улыбку, ты думала, что я подуруша, и что меня оплетут — увидим». Значит, верно понимала его молоденькая женка всю доверчивость и непрактичность мужа и реагировала на них не раздражением, а мягкой улыбкой, как близкий и любящий человек. Кстати, в стихотворении «Когда в объятия мои...», посвященном Наталье Николаевне, еще невесте, Пушкин также пишет, что на его уверения в любви она отвечает «недоверчивой улыбкой», и он понимает эту недоверчивость и клянет «коварные старанья

преступной юности моей». Сколько же любви и снисходительности нужно было иметь Наталье Николаевне, чтобы недоверчивость ее (и ведь оправданная) окрашивалась улыбкой!

И вот косвенным путем удалось определить, как она оценивала сущность Пушкина. Она дает такую характеристику племяннику поэта Льву Павлицеву, сыну сестры Пушкина — Ольги Сергеевны, который часто подолгу жил в доме Ланских: «Горячая голова, добрейшее сердце, вылитый Пушкин». Постоянная нежность, с которой она пишет о племяннике своего первого мужа — вылитом Пушкине, — не позволяет сомневаться в том, что пылкость и доброта самого Пушкина она ценила очень высоко.

Иногда одна маленькая деталь в пушкинском письме позволяет почувствовать нежность их отношений: «Когда мне скучно, меня так и тянет к тебе, как ты жмешься ко мне, когда тебе страшно».

В письме Онегина к Татьяне, написанном в самом начале новой, семейной жизни, Пушкин писал:

Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

Но вот прошло всего лишь три года, и поэт приходит к совершенно противоположному заключению, высказанному в стихах, обращенных к жене («Пора, мой друг, пора...»): «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Грустная мудрость этих строк вызвана вовсе не разочарованием в семейной жизни, но причинами иного порядка. В начале 1834 года Пушкин записывает в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове». Даже эта сдержанная запись позволяет судить, как оскорбительно было для поэта новое положение. Спустя несколько дней он делает в дневнике такую запись: «Великий князь наместник поздравил меня в театре: — Покорнейше благодарю, ваше высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили». А чуть ниже: «Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его». Камер-юнкерский мундир (полосатый кафтан, как он называл его) был ненавистен Пушкину. Кн. П. А. Вяземский полагал, впрочем, что звание камергера вполне удовлетворило бы Пушкина, что камер-юнкерство поэт так болезненно переживал «из тщеславия и личной обидчивости», оттого, что «в его годы, в середине его карьеры, его сделали камер-юнкером наподобие юношей и людей, только что вступающих в общество».

Конечно, аристократ и дворянин в Пушкине был оскорблен и неподобающим его возрасту званием, и причинами, по которым это звание было ему пожаловано. Положение его в свете делалось час от часу мучительней. Придворная светская чернь, высшее обще-

ство, с одной стороны, мало ценили в нем великого поэта, с другой стороны, пренебрежительно относились к занимаемому им положению — низкий чин и постоянная материальная зависимость. «У нас, — писал Пушкин, — писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными». Много личного чувствуется в заметках Пушкина о Байроне: «Говорят, что Байрон своей родословной дорожил более, нежели своими творениями. Чувство весьма понятное! Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта, напротив того, слава, им самим приобретенная, принесла ему мелочные оскорбления, часто унижавшие благородного лорда, предавая имя его на произвол молве, ко всему равнодушной и ничего не уважающей». А. В. Никитенко записывает в своем дневнике в начале 1837 года: «Вечер провел у Плетнева. Там был Пушкин; ...Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он так мало ценит себя как человека и поэта и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть барином, но ведь у нас барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала».

Как и Байрону, Пушкину весьма свойственны были «уязвленное самолюбие, поминутно потрясаемая чувствительность... горечь... раздражительность». Да, камер-юнкерство было оскорбительно, но здесь примешивалось и другое: Пушкин все более терял свободу. Мать поэта писала: «Итак, наш Александр, не думав об этом никогда, оказался камер-юнкером. Он собирался уехать с женой на несколько месяцев в деревню, чтобы сократить расходы, а теперь вынужден будет на значительные траты». Мысль об отставке, как единственной возможности вырваться из становившейся невыносимой жизни, в это время неотступно начала преследовать поэта. Прежде всего он сообщает о своем намерении Наталье Николаевне, уехавшей весной 1834 года с детьми в Полотняный Завод: «...С твоего позволения, надобно будет, кажется, выйти мне в отставку... Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены». И еще через некоторое время, вероятно, получив ее согласие, он пишет ей: «Я крепко думаю об отставке».

Летом он решил попросить об отставке, обратившись к Бенкендорфу, неизменному посреднику между Пушкиным и Николаем I, и мотивируя тем, что «семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции». Узнав о просьбе Пушкина, царь сказал Жуковскому: «Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку, но в таком случае все между нами кончено». Мысль о том, что царь, столько раз по-своему проявлявший великодушие

к поэту и оказывавший Пушкину монаршие милости, может счесть его неблагодарным, заставила поэта взять свое прошение обратно. Об этом пишет он Наталье Николаевне: «Надобно тебе поговорить о моем горе. На днях хандра меня взяла, подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом и Богом прошу, чтоб отставку мне не давали». Бедный Пушкин оказался в положении «коготок увяз...» Почему он страшился утратить расположение Николая I ? Здесь все не так просто. Пушкин, высказываясь совсем по другому поводу, исчерпывающе объяснил особенности светских взаимоотношений: «Чувство приличия зависит от воспитания и других обстоятельств. Люди светские имеют свой образ мысли, свои предрассудки, непонятные для другой касты. Каким образом растолкуете вы мирному алеуту поединок двух французских офицеров? Щекотливость их покажется ему чрезвычайно странною, и он чуть ли не будет прав».

Время шло, и чем дальше, тем тяжелее мучился Пушкин своим зависимым положением, постоянной нехваткой денег, неопределенностью в будущем: «А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполтину промотал; ваше имение на волоске от гибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30000». Не желая ссориться с царем, Пушкин, тем не менее, недоумевал, почему тот недоволен просьбой поэта: «Итти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие — какое тут преступление, какая неблагодарность?» — спрашивал он у Жуковского. Николай же не хотел отпускать не только покровительствуемого поэта, но и не хотел терять из виду Наталью Николаевну, которая была украшением придворных балов и за которой он сам не прочь был поухаживать «как офицеришка», по словам Пушкина. У Бенкендорфа были свои резоны противиться отставке и настраивать против нее царя: «Лучше, чтобы он был на службе, нежели представлен самому себе».

После неудачи с отставкой, год спустя, Пушкин снова обратился через Бенкендорфа к Николаю, теперь уже испрашивая длительный отпуск, который помог бы ему «положить конец трапам». Однако Николай прибегнул к совершенно иезуитскому маневру, наложив на его письмо такую резолюцию: «Нет препятствий ему ехать, куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласить сие со службою. Спросить, хочет ли оставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок». Доверчивый Пушкин обрадовался было вновь возникшей надежде на отставку. Он пишет Бенкендорфу: «Предаю совершенно судьбу мою в царскую волю и желаю только, чтоб решение его величества не было для меня знаком немилости и чтоб вход в архивы, когда обстоятельства

позволят мне оставаться в Петербурге, не был мне запрещен». В ожидании решения Николай поэт пишет матери: «Мы живем теперь на даче, на Черной речке, а отселе думаем ехать в деревню и даже на несколько лет...» Однако царь предложил ограничить отпуск шестью месяцами и выдать денежную ссуду 10000 рублей. Таким образом, получилось, что Пушкин опять был «благодетельствован» государем, но положение его от этого «благодетельства» только усугубилось.

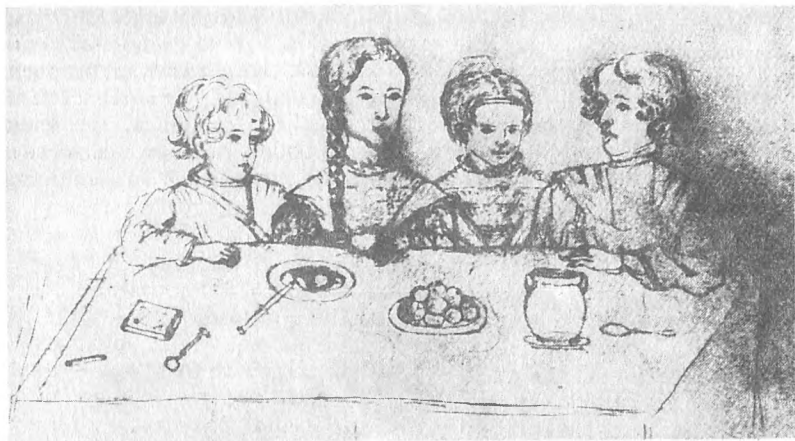
Жалованья Пушкина (5000 руб. в год) не хватало для требований блестящей петербургской жизни. Долги его росли. Ему пришлось обратиться к властям с просьбой о займе. Пушкину было выдано из казны 30000 с тем, что жалованье его впредь будет удерживаться для покрытия этой суммы. Таким образом, он оказался закабаленным на шесть лет вперед. О покое и воле не приходилось больше думать. Надежды, возлагавшиеся Пушкиным на журнал «Современник», выпускавшийся им в 1836 году, не оправдались — журнал успеха не имел и плохо раскупался. Сам Пушкин был лишен необходимых для творчества покоя и воли, а завистники, недоброжелатели и даже друзья, не обладавшие чуткостью, распускали слухи, что он исписался, выдохся, что гений его иссяк. Душевное состояние поэта делалось невыносимым.

Таким образом, как можно судить на основании попыток поэта вырваться на волю в 1834—1835 годах, вовсе не Наталья Николаевна была причиной его вынужденного теперь петербургского образа жизни, как и в самом начале. Осенью 1835 года из Михайловского он делится с ней своими грустными думами о их настоящем и будущем: «Государь ... заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошко деньги трудовые и не вижу ничего в будущем». Писать в таком положении он, естественно, не мог. «Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен», — пишет он тогда же Плетневу. Жалуетса он и Наталья Николаевна: «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а все потому, что не спокоен».

Наталья Николаевна хорошо понимала состояние своего мужа. В письмах ее к брату Дмитрию Николаевичу Гончарову видна вовсе не легкомысленная светская красавица, озабоченная лишь развлечениями (кстати, Пушкин словно предвидел, что воспоминания о ней будут сводиться к тому, что она «ужас как мила была на Аничковских балах»), а заботливая, сердечная, участливая и обеспокоенная положением мужа верная жена — настоящий преданный друг.

Из ее письма к брату узнаем мы, как понимала она всю тягостность положения Пушкина, как старалась помочь ему, щадя при этом его самолюбие: «...Сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится: несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одно-

го... (далее Наталья Николаевна просит брата о назначении ей содержания, как и незамужним сестрам Екатерине и Александре.— Н. К.)... Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам, и, следовательно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того, чтобы



Дети
Пушкина.
Слева
направо:
Григорий,
Мария,
Наталья,
Александр.

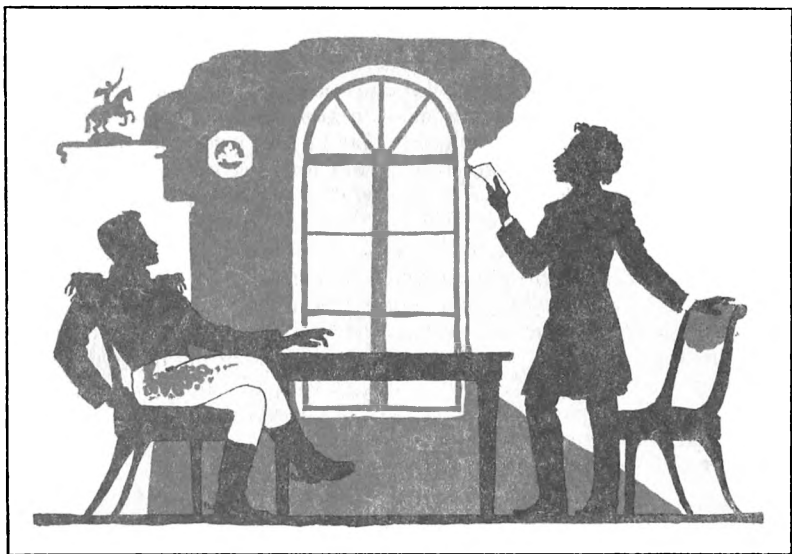
Рисунок Н. И. Фризенгоф
из альбома Н. Н. Пушкиной.
Михайловское, 10 августа 1841 г.

он мог сочинять, голова его должна быть свободна... Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение; по крайней мере содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что, если бы он знал об этом, то несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Итак, ты не рассердишься, дорогой Дмитрий, за то что есть нескромного в моей просьбе. будь уверен, что только крайняя необходимость придает мне смелость докучать тебе». Это было написано в июле 1836 года, на шестом году их брака, когда у них было уже четверо детей, а жить Пушкину оставалось полгода...

«Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами... Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни».

В. А. Жуковский, как никто другой знавший обстоятельства жизни Пушкина, написал впоследствии исполненные глубокого понимания строки, лаконично и убедительно объясняющие трагедию Пушкина: «Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой, ему было в том отказано, под тем видом, что он служил, а действительно потому, что не верили. Но в чем же была его служба? В том единственно, что он был причислен к иностранной коллегии. Какое могло б быть ему дело до иностранной коллегии? Его служба была его перо, его «Петр Великий», его поэмы, его произведения, коими бы ознаменовалось нынешнее славное время. Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие мог он иметь с своею пылкою, огорченной душой, с своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его сущность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысяча презрительных сплетен, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его...»





А. С. ПУШКИН и П. Я. ЧААДАЕВ

(Эпизоды творческой дружбы)

Б. Тарасов

I

Один из ранних биографов Чаадаева и знаток Пушкина, М. Н. Лонгинов, замечал: «Говоря о Чаадаеве, нельзя не говорить о Пушкине; один другого дополняет, и дружеские имена их останутся нераздельны в памяти потомства». «Любимцем праздных лет», «единственным другом» называл Чаадаева Пушкин. Сам Чаадаев считал Пушкина «незабвенным другом», до конца своей жизни дорожил любимым упоминанием о дружбе с ним.

Встреча Чаадаева и Пушкина произошла в середине 1816 года в Царском Селе, где первый находился в составе лейб-гвардии

гусарского полка, а второй заканчивал обучение в Лицее. «Во время пребывания Чаадаева с лейб-гусарским полком в Царском Селе, — вспоминал современник, — между офицерами и воспитанниками Царско-сельского Лицея образовались непрерывные ежедневные и очень веселые отношения. То было, как известно, золотое время Лицея... Воспитанники поминутно пропадали в садах державного жилища, промежду его живыми зеркальными водами, в тенистых вековых аллеях, иногда даже в переходах и различных помещениях царского дворца... Шумные скитания щеголеватой, утонченной, богатой самыми драгоценными наде-

ждами молодежи очень скоро возбудили внимательное, бодрствующее чутье Чаадаева и еще скорее сделались целью его верного, меткого, исполненного симпатического благоволения охарактеризования. Юных разгульных любомудров он сейчас же прозвал «философами-перипатетиками», но ни один из них не сблизился столько с его творцом, сколько Пушкин».

К моменту их сближения слава о талантливом поэте-лицейсте уже распространилась по Петербургу. В 1814 году в журнале «Вестник Европы» появилось стихотворение «К другу стихотворцу», в котором с поразительной для пятнадцатилетнего сочинителя зрелостью говорится о многотрудном призвании поэта. В начале 1815 года чтение Пушкиным в Лицее собственного стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» стало подлинным триумфом и вызвало восхищение Г. Р. Державина, заметившего позднее: «Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который еще в Лицее переоглял всех писателей». В том же году юного поэта посетил К. Н. Батюшков, считавший, что маленькому Пушкину Аполлон дал чуткое ухо, и В. А. Жуковский. Последний передавал свое впечатление П. А. Вяземскому: «Я сделал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минутку в Царском Селе. Милое живое творение!.. Это надежда нашей словесности... Нам всем надо соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который нас всех перерастет». Но, продол-

жал Жуковский, «ему надобно непременно учиться, и учиться не так, как мы учились. Его душе нужна пища! Он теперь бродит около чужих идей и картин. Но когда запасется собственными — увидишь, что из него выйдет!»

Действительно, хотя у «молодого чудотворца» и вырабатывались уже собственные идеи, что видно, в частности, из послания «К другу стихотворцу», общий характер его лицейской музыки носил характер вторичности и подражания Парни, Вольтеру, Державину, Жуковскому, Батюшкову. Пищи же для становления своего голоса юному сочинителю в ту пору явно не хватало. «Лицейское шестилетие мало дало Пушкину в плане учебных программ», — замечает его биограф Л. Гроссман. И из Лицея Пушкин выходил, по словам П. В. Анненкова, «как и большая часть его товарищей, с горячей головой и не установившеюся мыслию: никакого убеждения, никакого твердого и ясного представления не было добыто ими ни по одному явлению русской жизни в особенности».

В таких условиях жившая в Пушкине потребность познания живого многообразия жизни находила выход в общении с гусарами. «Кружок, в котором Пушкин проводил свои досуги, — вспоминал его одноклассник Корф, — состоял из офицеров лейб-гусарского полка. Вечером, после классных часов, когда прочие бывали у директора или в других семейных домах, Пушкин, ненавидевший всякое стеснение, пировал с этими господами нараспашку». Жизнь этих господ настоль-

ко увлекла юного поэта, что, когда стало приближаться время окончания Лицея, он начал добиваться у отца разрешения поступить в гусарский полк. Убеждал он и своего дядю, Василия Львовича, что нет ничего:

...Завидней бранных дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных
гусаров...

Торжеству «гусарского» начала, составлявшего лишь одну из сторон сложной природы Пушкина, препятствовало среди прочих обстоятельств и его общение с другими старшими товарищами. В ответ на приведенное выше замечание Корфа П. А. Вяземский заметил: «В гусарском полку Пушкин не пировал только нараспашку, но сблизился и с Чаадаевым, который вовсе не был гулякою; не знаю, что бывало прежде, но со времени приезда Карамзиных в Царское Село Пушкин бывал у него ежедневно по вечерам». Возлияния Бахусу и Венере на гусарских вечеринках не мешали, а может быть, по контрасту, и заставляли юношу удаляться в среду людей противоположного настроения. Находя высокий духовный материал в этой среде, он отвлекался не только от «не слишком мудрых усачей», но и от подражательного стихотворства. («Пушкин свободное время свое во все лето проводил у Карамзина, — писал в сентябре 1816 года один из лицеистов, — так что ему стихи на ум не приходили...»)

Именно в доме Карамзиных в это лето и произошла первая встреча Чаадаева и Пушкина. В стихотворении «На возвраще-

ние государя императора из Парижа в 1815 г.», которое Грибоедов хвалил Чаадаеву еще до встречи последнего с лицеистом, Пушкин сожалел, что не находился на полях сражений вместе с бородинскими и кульмскими героями, не был свидетелем «великих дел». Корнет Чаадаев и был как раз таким свидетелем, обладавшим к тому же отменными духовными качествами. «Храбрый, обстрелянный офицер, испытанный в трех исполинских сражениях, безукоризненно благородный, честный и любезный в частных отношениях, он не имел причины не пользоваться глубоким, безусловным уважением и привязанностью товарищей и начальства», — писал о Чаадаеве того времени его биограф и племянник М. И. Жихарев.

Ко всем этим качествам, несомненно возвышавшим Чаадаева в глазах Пушкина, добавлялись необычные для гусарского офицера интеллектуальные достоинства, резко выделявшие его на фоне других военных приятелей поэта. «Только что вышедши из детского возраста, — отмечает М. И. Жихарев, — он уже начал собирать книги и сделался известным всем московским букинистам, вошел в сношения с Дидотом (представителем старинной семьи французских печатников и книгопродавцев. — Б. Т.) в Париже, четырнадцати лет от рода писал к незнакомому тогда князю Сергею Михайловичу Голицыну о каком-то нуждающемся, толковал с знаменитостями о предметах религии, науки и искусства, словом, вел себя, как обыкновенно себя не ведут

молодые люди в эти годы, и как почти всегда себя показывают люди, что-нибудь особенно обещающие».

За годы обучения в Московском университете ученый отрок сумел собрать богатую библиотеку, где имелись редчайшие экземпляры, упоминаемые известным библиографом Василием Сопиковым в вышедшем в 1813 году «Опыте российской библиографии...». Петр Чаадаев не был библиотекарем (согласно этимологии, замечает Василий Сопиков, библиотекарь есть зарыватель книг, т. е. человек, не дающий их другим: «Сии чудачки в рассуждении книг суть тоже, что скупые в рассуждении денег. На их сокровище нельзя взглянуть, не оскорбляя их») и охотно делился своими приобретениями с профессорами и студентами, сам, в свою очередь, пользуясь имевшимися у них нужными изданиями.

Делился он и своими знаниями с университетскими товарищами, среди которых находился автор еще не написанной комедии «Горе от ума» Александр Грибоедов, будущие декабристы Николай Тургенев, Иван Якушкин, Артамон и Никита Муравьевы, Василий и Лев Перовские. На своих собраниях студенты разбирали самые разные философские, исторические, социальные и естественнонаучные проблемы. Петр Чаадаев, основательно усвоивший систему Канта и начальное творчество Шеллинга, проявлял в совместных студенческих занятиях «необыкновенную самостоятельность и независимость мышления, чудесную сиюминутную способность с раза, одним взмахом глаза чрезвычайно верно

примечать в каждом явлении то, что не видят другие».

Но не только философия, история и другие науки занимали глубокий ум многообещающего студента, чья многосторонняя ученость с каждым годом становилась все заметнее. Огромное внимание уделял он внешней стороне своей жизни. По словам М. И. Жихарева, красавец Чаадаев, возведший искусство одеваться «почти на степень исторического значения», слыл одним из наиболее светских юношей в Москве.

Сразу же после университета попал на поля Отечественной войны 1812 года, Петр Чаадаев по ее окончании и завершении заграничных походов 1813—1814 годов оказался в Петербурге, где отмеченные качества его личности получили дальнейшее развитие. По воспоминанию М. И. Жихарева, дочь прославленного героя Отечественной войны Н. Н. Раевского, «знавшая как свои пять пальцев все тогдашние положения петербургского общества, сказывала мне, что в эти года Чаадаев со своими репутациями, успехами, знакомствами, умом, красотой, модной обстановкой, библиотекой, значущим участием в мажорских ложах, был неоспоримо, положительно и без всякого сравнения самым видным, самым заметным и самым блистательным из всех молодых людей в Петербурге».

Неудивительно, что вскоре после знакомства Пушкин попал под обаяние личности Чаадаева, занявшего положение своеобразного друга-учителя, которого привлекал в ученике несомненный поэтический талант, предрасположенность

к живому восприятию всего многообразия жизни. В Пушкине раннего петербургского периода, заключает П. В. Анненков, проявлялась «страстная, мучительная потребность изведать все стороны и слои общества, как и все раздражающие удовольствия и все впечатления и уроки, которые они могут дать. Натура Пушкина была многотребовательная в высшей степени».

Многотребовательная натура влекла юношу и к гусарскому застолью, и к обществу грациозных актрис, и к придворным сновникам. «Три года, проведенные им в Петербурге по выходе из Лицея,— пишет П. А. Плетнев,— отданы были развлечениям большого света и увлекательным его забавам. От великолепнейшего салона вельможи до самой нецеремонной пирушки офицеров, везде принимали Пушкина с восхищением, питая и собственную, и его суетность эту славой, которая так неотступно следовала за каждым его шагом. Он сделался идолом преимущественно молодых людей, которые в столице претендовали на отличный ум и отличное воспитание. Такая жизнь заставила Пушкина много утратить времени в бездействии. Но всего вреднее была мысль, которая навсегда укрепилась в нем, что никакими успехами таланта и ума нельзя человеку в обществе замкнуть круга своего счастья без успехов в большом свете».

Подобные «успехи», порою скандальные, уводившие поэта от его прямого предназначения, вызывали общую тревогу у тех его старших товарищей, которые прозревали в нем задатки

будущего величия первого русского писателя. «Посылаю послание ко мне Пушкина-Сверчка, которого я ежедневно браню за его леность и нерадение о собственном образовании,— писал в ноябре 1817 года к В. А. Жуковскому А. И. Тургенев.— К этому присоединились и вкус к площадному волокитству, и вольнодумство, также площадное, XVIII столетия. Где же пища для поэта? Между тем он разоряется на мелкой монете! Пожурь его». О необходимости для поэта «пищи», основанной на ином опыте, говорил в письме к А. И. Тургеневу К. Н. Батюшков: «Не худо бы Сверчка запереть в Геттинген и кормить три года молочным супом и логикою. Из него ничего путного не выйдет, если он сам не захочет. Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Да спасет его музы и молитвы наши!» Опасался за великий талант поэта и Н. М. Карамзин, по мнению которого, Пушкин, если он не исправится, может сделаться чертом еще до того, как попадет в ад. Особенно заботился о духовном состоянии «молодого чудотворца» и часто его журил В. А. Жуковский, желавший сказать ему: «Твой век принадлежит тебе! Ты можешь сделать более всех твоих предшественников. Пойми свою высокость и будь достоин своего назначения! Заслужи свой гений благородством и чистою нравственностью! Не смешивай буйства со свободою, необузданности с силою! Уважай святое и употреби свой гений, чтобы быть его распространителем. Сие уважение к святыне ни где так не нужно, как в России».

Не надо доказывать, что знает Пушкин для русской культуры. Гораздо реже говорится о том, что сам он также многим обязан ее лучшим представителям, общению и забота которых спасали его от «ада», от бесплодных треволнений мятежной молодости, называемой им впоследствии потерянной, и способствовали постепенному углублению и преображению его самосознания, пониманию высокой природы собственного таланта. Но всяческие беседы и увещания остались бы морализаторством втуне, если бы в много-требовательной натуре Пушкина не было органичных начал к их восприятию и творческому усвоению. По словам П. А. Вяземского, в Пушкине «глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила, еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду...»

Потребность молодого Пушкина «учиться и учиться», его жажда искать и впитывать недостающие ему знания, проявляя одновременно известную осмотрительность, покидавшую его в иных обстоятельствах, отмечали многие современники. По воспоминанию И. П. Липранди, Пушкин, несмотря на самолюбие, смирялся в споре, когда можно было выудить новые сведения и расширить свои познания. Так, видимо, юный поэт и вел себя по отношению к людям типа В. А. Жуковского или Н. М. Карамзина, основательность и глубина мышления которых резко контрастировали

с однообразным весельем безудержных пирушек и заставляли его усердно трудиться над собой. Друзья Пушкина свидетельствуют, замечал П. В. Анненков, что, кроме двух первых лет после окончания Лицея, никто так не работал над своим дальнейшим образованием, как будущий великий писатель.

Немалую роль в такой перемене, а также в духовном отрезвлении и нравственном становлении Пушкина сыграл и Чаадаев, общение которого с ним в 1818—1820 годах было самым тесным.

Как отмечал П. В. Анненков, у Чаадаева, жившего в Демутовом трактире Петербурга, Пушкин «покидал свои дурачества». Их долгие беседы, «знакомых мертвецов живые разговоры», «пророческие споры» воодушевляли поэта. Поэт читал ему свои сочинения (с одним из них, со стихотворением «Деревня», познакомился через Чаадаева и одобрительно отозвался император Александр I), делился «волнением страстей», тревогами «мятежной младости», проходившей в «шумном кругу безумцев молодых», где «праздный ум блеснит», а «сердце дремлет». Чаадаев, как писал Пушкин в одном из посланий к нему, знал сердце поэта «в цвете юных дней», был «целителем душевных сил», спас его чувства и поддержал «недремлющей рукой» над «бездной потаенной», заменил ему «надежду и покой». «Строгий взор», «совет», «укор» Чаадаева воспитывали в Пушкине «терпение смелое» против клеветы. «Всегда мудрец, а иногда мечтатель и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель» — так характери-

зовал поэт своего старшего друга — воспламенял в нем «к высокому любовь», помогал ценить «жажду размышлений» и «тихий труд», когда удерживается «вниманье долгих дум». По воспоминанию Я. Сабурова, влияние Чаадаева на Пушкина было «изумительно», «он заставлял его мыслить». О том же писал

ра, а также философские произведения французских рационалистов и английских эмпириков. «Чаадаев, — отмечал П. В. Анненков, — уже тогда читал в подлиннике Локка и мог указать Пушкину, воспитанному на сенсуалистах и Руссо, как извратили первые философскую систему английского



*Могила П. Я. Чаадаева
на кладбище Донского монастыря.*

и П. В. Анненков: Пушкина Чаадаев «поворотил на мысль», заменял ему, говоря словами К. Н. Батюшкова, «Геттинген», «молочный суп» и «логику».

Впоследствии, вспоминая годы собственной молодости, Пушкин говорил, что «в области книг» Чаадаев «путешествовал больше других». В так называемой первой библиотеке гусарского офицера, которой мог пользоваться поэт и которую он в начале двадцатых годов продал своему родственнику, преобладала литература исторического и политического характе-

мыслителя своим упрощением ее и как мало научного опыта и исследования лежит у второго в его теориях происхождения обществ и государств. Выводы и соображения, которые рождались из анализа этих предметов, конечно, должны были поразить Пушкина новостью и сделать в глазах его «мудрецом» самого их проповедника». Возможно также, что «проповедник», чтивший в молодости Байрона, первым познакомил поэта, давая ему книги для изучения английского языка, с сочинениями лорда-писателя. Гово-

ря в целом, «поворот на мысль», несомненно, уменьшил воздействие на духовное формирование Пушкина фривольно-грациозных направлений французской культуры и привлек его внимание как к обширной области культурно-исторических сравнений и обобщений, так и к сущности актуальных процессов современной жизни, проходившей под знаком ожидания «минуты вольности святой».

Следует подчеркнуть, что не без помощи Чаадаева искал Пушкин общий язык с теми из участников тайного общества, с которыми был особенно близок ученый гусар. Так, он познакомился с И. Д. Якушкиным именно у Чаадаева, к которому Пушкин, по словам этого декабриста, «имел большое доверие». Не без помощи Чаадаева и его друзей происходил у молодого поэта и процесс переосмысления основного понятия его художественного творчества — понятия свободы, отождествляемой им ранее со светской независимостью, экстравагантным юношеским бретерством, различного рода наслаждениями и т. п. «Свободу лишь уяся славить», Пушкин постепенно проникался ее декабристским пониманием, ассоциируемым с конституцией и республикой. По мнению молодого поэта, лишь «законов мощных сочетанье» может дать народам «вольность и покой».

Пушкин, несомненно, пристально наблюдал за духовной работой старшего друга и восхищался соединением в нем свободолюбия, мудрости, государственного мышления.

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы

царской;

Он в Риме был бы Брут,
в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.

Эти стихи были написаны Пушкиным к портрету Чаадаева, который в комнате последнего висел, если верить известному мемуаристу Ф. Ф. Вигелю, «под двумя лавровыми деревьями в кадках; справа находился портрет Наполеона, слева — Байрона». Выраженное в стихах несоответствие личных качеств и притязаний адресата реальным обстоятельствам его существования, видимо, угнетало Чаадаева, охлаждало его «вольнлюбивые надежды» в «пророческих спорах» с Пушкиным. Менее просветительно и более радикально настроенный поэт в первом послании «К Чаадаеву» призывал друга отринуть сомнения и верить в наступление «минуты вольности святой».

Радикализм поэта, проявившийся не только в антикрепостнических стихах и злых эпиграммах на правителей, но и в социально-бытовом поведении, заставил царя удалить его из Петербурга. И в мае 1820 года, когда Пушкин вместо грозившей ему ссылки в Сибирь или на Соловки отправился служить на Юг благодаря заступничеству поклонников его таланта, среди которых находился и Чаадаев, прервались совместные чтения, беседы, споры «молодого чудотворца» и «офицера гусарского».

Но во время разлуки друзья проявляли живой взаимный интерес. Так, получив письмо от Чаадаева, Пушкин записал в сво-

ем дневнике: «Друг мой, упреки твои жестоки и несправедливы: никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье, — одного тебя может любить холодная душа моя. Жалею, что не получил он моих писем: они его бы обрадовали. — Мне надобно его видеть». Не имея возможности видеть, Пушкин думал «стихами о Чаадаеве», вспоминал, как он «с моим Чаадаевым читал», сожалел, что не мог отправиться с ним в 1823 году в Европу («любимая моя мечта была с ним путешествовать»), просил брата прислать портрет друга. Узнав о глубоком духовном кризисе и тяжелой ипохондрии друга перед заграничным путешествием, он просил П. А. Вяземского «оживить его прекрасную душу». Постоянное присутствие Чаадаева в памяти Пушкина отразилось в работе последнего над образом Евгения Онегина, особенно в первой главе романа.

Со своей стороны, Чаадаев следил за развитием творчества поэта, вносил замечания по поводу характеров его героев, не переставал интересоваться делами Пушкина, о которых ему за границу сообщали, в частности, И. Д. Якушкин и Н. И. Тургенев. Об этом интересе свидетельствуют и стихи поэта, найденные по возвращении Чаадаева в Россию среди его бумаг при обыске по делу декабристов. Чувствуя признательность за творческую поддержку ученого друга, Пушкин в одном из стихотворений 1821 года завещает ему свою чернильницу.

...Когда же берег ада
Навек меня возьмет,
Когда навек уснет
Перо, моя отрада,

И ты, в углу пустом
Осиротев, остынешь
И навсегда покинешь
Поэта тихий дом...
Чаадаев, друг мой милый,
Тебя возьмет, унылый;
Последний будь привет
Любимцу прежних лет...

II

Чаадаев из-за границы, а Пушкин из ссылки почти одновременно в 1826 году вернулись в Москву, где и встретились снова в одном из домов на чтении «Бориса Годунова». Неизвестен отзыв Чаадаева об этой драме, но сразу же по получении ее из типографии в начале 1831 года Пушкин послал ему дарственный экземпляр с надписью: «Вот, мой друг, то из моих произведений, которое я люблю больше всего. Вы его прочтете, так, как оно написано мною, и скажете свое мнение о нем. А пока обнимаю Вас и поздравляю с Новым годом».

К началу 30-х годов относится новый период сосредоточенного общения между Чаадаевым и Пушкиным. Чаадаев давно уже углубился в «одну мысль» и религиозное обоснование своей страсти к прогрессу человеческого разума и веры в будущее счастье человечества, что отразилось в созданных к этому времени «Философических письмах». Хотя построение «совершенного строя на земле» и обусловлено самостоятельным творчеством человека, оно возможно, по мнению мыслителя, лишь при прямом и постоянном воздействии «христианской истины», которая через непрерывное взаимовлияние соз-

наний разных поколений образует канву социально-исторического развития, основу «всемирно-исторической традиции», способствующей «воспитанию всего человеческого рода» и поступательному, объективно целенаправленному прогрессу общества. Именно эта истина и является, как он полагал, действительным источником по-настоящему абсолютного прогресса. Подлинный ее дух, считал Чаадаев, проявился в католичестве, где «развилась и формулировалась социальная идея христианства», определившая ту сферу, «в которой живут европейцы и в которой одной под влиянием религии человеческий род может исполнить свое конечное предназначение», то есть установление «земного царства».

Современные европейские успехи в области культуры, науки, права, материального благополучия составляли, по логике «Философических писем», прямые и косвенные плоды католицизма как социально активной, «политической религии» и оценивались им как важная промежуточная стадия на пути к «высшему синтезу». Несмотря на признаваемые им несовершенства западного мира, Чаадаев все-таки был склонен считать, что «царство божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле».

Толкование мыслителем христианства как исторически прогрессирующего социального развития при абсолютизации

значения культуры и просвещения, отождествление им «дела Христа» с окончательным становлением «земного царства» и развертываемая на этом фундаменте логика его размышлений послужили основой для критики современного положения России и приведшей к этому положению ее истории в первом философическом письме, опубликованном в октябре 1836 года в журнале «Телескоп». В современной ему России он не находил ни «элементов», ни «зародышей» европейского прогресса. Причину этого Чаадаев видел соответственно с постулированным им единством, непрерывной и постепенной преемственностью религиозно-социального развития в том, что, обособившись от католического Запада в период церковной схизмы, «мы ошиблись насчет настоящего духа религии» — не восприняли «чисто историческую сторону», социально-преобразовательное начало как внутреннее свойство христианства и потому «не собрали всех ее плодов, хотя и подчинились ее закону», то есть плодов науки, культуры, цивилизации, благоустроенной жизни.

Для того чтобы достичь успехов европейского общества на всех уровнях его эволюции и участвовать в мировом прогрессе, Чаадаев считал необходимым России не просто слепо и поверхностно усвоить западные формы, но, впитав в кровь и плоть социальную идею католицизма, от начала повторить все преемственные традиции и этапы европейской истории.

Так рассуждал Чаадаев на страницах «Философических

писем», к моменту создания которых Пушкин неузнаваемо изменился, оставив далеко позади «безумства гибельной свободы» юношеского бунтарства и преобразовательные иллюзии своих «конституционных друзей». «Жажда размышлений» и «тихий труд» дали свои плоды: органично впитывая достижения мировой культуры и глубоко конкретно исследуя человеческую природу в ее социально-историческом и современном развитии, Пушкин постигал в отличие от Чаадаева неизбежность коренных противоречий жизни и с поразительной простотой художественной убедительности воплощал их в своем зрелом творчестве. «Вся насквозь проникнутая гуманностью,— писал В. Г. Белинский,— муза Пушкина умеет глубоко страдать от диссонансов и противоречий жизни, но она смотрит на них с каким-то самоотрицанием... как бы признавая их роковую неизбежность и не неся в душе своей идеалов лучшей действительности и веры в возможность их осуществления. Такой взгляд на мир вытекал уже из самой природы Пушкина; этому взгляду обязан Пушкин изящною елейностью, кротостью, глубиною и возвышенностью своей поэзии...» Отражая в поэзии, прозе, драме, исторических размышлениях существенные грани бытия и внутреннего мира человека, Пушкин вырос в первого национального писателя.

Чаадаев одним из первых, если не первым, оценил по достоинству духовную зрелость и гениальность Пушкина, которую он прозревал еще в юноше-лицеисте и о которой прямо

говорил поэту в письме 1829 года. «Грациозный гений Пушкина», который он считал одним из существенных признаков высокой судьбы России, должен, по мнению Чаадаева, принести «бесконечное благо» родине. «Наш Дант» — так называл он поэта и советовал ему, когда тот писал по-французски, писать лишь на языке своего призвания.

Чаадаев продолжал внимательно следить за развитием творчества своего друга: одобрительно отзывался о стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» — «вы угадали, наконец, свое призвание»; поздравлял с решением писать историю Петра I; хвалил «Капитанскую дочку» за простоту и утонченность вкуса — качества редкие «в наш блудный век». Хорошо понимая значение Пушкина, Чаадаев искал большей близости с ним, пытался глубже проникнуть в его духовное своеобразие, найти в его размышлениях точки соприкосновения с собственными думами. «Говорите мне обо всем, что вам вздумается,— просил он поэта,— все, что идет от вас, будет мне интересно. Нам надо только разойтись; я уверен, что мы найдем тысячу вещей сказать друг другу».

И, конечно же, именно Пушкина Чаадаев познакомил в первую очередь с рукописями «Философических писем». «У меня,— писал он поэту в 1831 году,— только одна мысль, вам это известно. Если бы, невзначай, я и нашел в своем мозгу другие мысли, то они наверняка будут стоять в связи со сказанной». Философа очень волновал вопрос, найдет ли отклик в душе поэта «одна мысль». Ведь

Чаадаев надеялся на «силу излияния наших умов», соединение которых, по его мнению, может способствовать довершению и какому-то внедрению в практическую жизнь этой мысли. Однако надежды его не оправдались, поскольку Пушкину были чужды слишком отвлеченные и далекие от живой действительности рассуждения Чаадаева. «Это несчастье, мой друг, — жалуется он поэту, — что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами. Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе и что из этого воследовало бы нечто полезное и для нас и для других».

Чаадаев болезненно переживал невозможность сойтись ближе, посылал книги с сопроводительными рассуждениями о поэтическом вдохновении, просил его подсказать какие-нибудь мысли из «вашего мира», стремясь определить точки расхождения. В поэте философа удивляло отсутствие внимания к переломным моментам современной истории, из которых, по мнению последнего, следует извлечь все необходимое для построения «царства божия на земле».

Прохладное отношение Пушкина к его «одной мысли», к его религиозно-прогрессивской устремленности стало для Чаадаева загадкой, которая, как он признавался в письме к другу, измучала его и мешала идти вперед. И в этих сокровенных для чаадаевских размышлений местах в нем просыпались былые учительские интонации: у Пушкина не хватает терпения следить за современными событиями, чтобы проникнуть в «тайну времени». А «тайна

времени» заключается в том, что происходит «всеобщее столкновение всех начал человеческой природы», «великий переворот в вещах», когда «целый мир погибает». Не обладающий же «предчувствием нового мира», сменяющего старый, должен ужаснуться надвигающейся гибели. «Неужели и у вас не найдется мысли, чувства, обращенных к этому?» Чаадаев желал бы вызвать все силы поэтического существа Пушкина, дабы услышать «одну из тех песен, какие требует век». В Пушкине Чаадаев хотел бы видеть обладателя «истины времени», посвященного в «одну мысль» и вносящего свою лепту в приближение «земного царства». А для того, как полагал философ, у поэта есть возможности гениального писателя, способного властвовать над умами и вести людей за собой. Надо только должным образом их использовать, а не отдаваться «привычкам и рутинам черни».

А что же Пушкин? Реалист Пушкин, прекрасно изучивший как на личном опыте, так и на опыте далекой и близкой истории все слабости человеческой природы, должен был скептически отнестись к идее «царства божия на земле». В последовательном движении различных эпох он видел не поступательное развитие, а лишь изменение социальных оболочек, не затрагивающее корней человеческой сущности, не разрешающее, а, наоборот, усложняющее ее противоречия. Казался ему «совершенно новым» и такой отвлеченный и вместе с тем проповеднический взгляд на историю, когда католицизм сводится к католицизму, а последний вы-

ступает в качестве универсальной силы мирового прогресса.

О пушкинском чутье художника-историка, противоположном систематической заданности чаадаевского ума, хорошо писал П. А. Вяземский: «В Пушкине было верное понимание истории; свойство, которыми одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, проницательность и трезвость. Он был чужд всех систематических, искусственно составленных руководств; не только был он им чужд, но был им враждебен. Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки, для удобного воплощения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Он не историю воплощал бы в себе и в свою современность, а себя перенес бы в истории и в минувшее... Он был одарен воображением и, так сказать, «самоотвержением личности» своей настолько, что мог отрешить себя от присущего (настоящего) и воссоздать минувшее, уживаться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами, предками, давным-давно замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым общественным и гражданским строем. Все это качества, необходимые для историка, и Пушкин обладал ими в полной мере».

Отмеченные П. А. Вяземским качества Пушкина-историка и предопределили его реакцию на «Философические письма». Не касаясь существа религиозно-социальной «рамы» умозрительных построений мыслителя, Пушкин передавал в пись-

ме к Чаадаеву общее впечатление от его рукописей и делал отдельные замечания. «Все, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристотеле, об идее истинного бога, древнем искусстве, о протестантизме изумительно по силе, истинности или красноречию. Все, что является портретом, или картиной, сделано широко, блестяще, величественно». Вместе с тем поэт отказывался видеть единство христианства в католицизме. «Не заключено ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме?» Поэт не мог согласиться с всецело отрицательным отношением мыслителя к Гомеру, Марку Аврелию, вообще к античной литературе, что естественно вытекало из преувеличения роли католического начала в созидательном развитии западного общества.

Что же касается собственной русской истории, то здесь у Пушкина, обладавшего, по словам А. И. Тургенева, редкими сокровищами «таланта, наблюдений и начитанности о России», еще больше возражений, которые он выразил после публикации «телескопского» письма за несколько месяцев до смерти в неотправленном послании к Чаадаеву. Поэт решительно опровергал бездоказательный вывод этого письма об исторической ничтожности России. «Войны Олега и Святослава и даже отдельные усобицы — разве это не жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее дви-

жение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?»

Не согласен Пушкин и с мыслью Чаадаева о «нечистоте источника нашего христианства», заимствованного из Византии и направившего русскую историю не по западному пути. Но что мы заимствовали, спрашивал он автора «Философических писем»? «У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофания, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве».

Также вопреки Чаадаеву Пушкин видел в разделении церквей, которое отделило нас от остальной Европы, свое особое предназначение. «Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу.

Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех».

Не соглашаясь с оценкой Чаадаевым русского прошлого в первом философическом письме, Пушкин был согласен со своим другом в критике настоящего. Он одобрял, что тот громко сказал о равнодушии к долгу, справедливости и истине, о циничном презрении к человеческой мысли и достоинству в современном обществе. Поэт и сам восторгался далеко не всем, что видел вокруг себя: он раздражен как литератор, оскорблен как человек с предвзвешенными рассудками. «Но, — заверял Пушкин Чаадаева, — клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». Таково было «последнее слово» (выражение Чаадаева) поэта к мыслителю.

Возражения Пушкина в споре с Чаадаевым сходны с теми, какие будут сделаны последнему в московских салонах его друзьями-противниками — славнофилами, влиявшими на подвижность и смещение логики в системе исторических рассуждений философа. Несомненно, что поэт сыграл существенную роль в таком изменении, и к концу жизни Пушкина

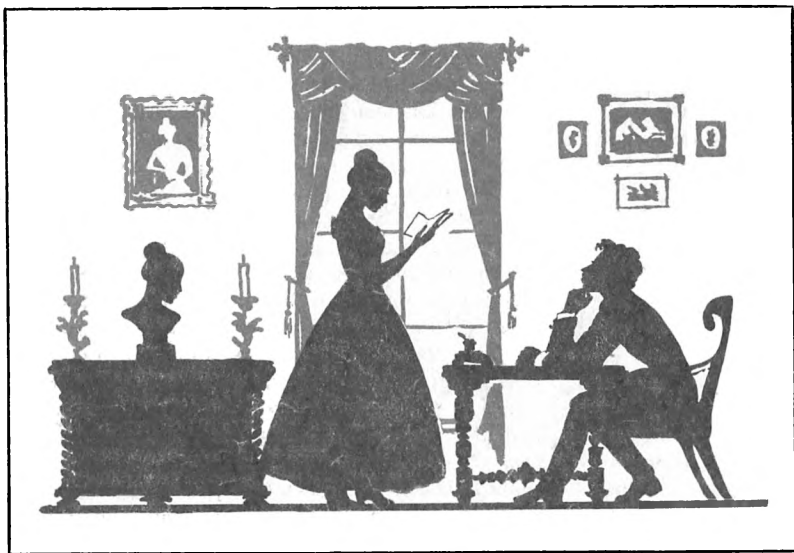
роли учителя и ученика в известной степени переменялись.

Следя за полнотою всех форм цивилизации на Западе, которую он, по собственным словам, слишком превознес, Чаадаев обнаруживает вместо чуждого «высшего синтеза» глубокие противоречия. «Там неоднократно наблюдалось: едва появится на свет Божий новая идея, тотчас все узкие эгоизмы, все ребяческие тщеславия, вся упрямая партийность, которые копошатся на поверхности общества, набрасываются на нее, овладевают ею, выворачивают ее наизнанку, искажают ее, и минуто спустя, размельченная всеми этими факторами, она уносится в те отвлеченные сферы, где исчезает всякая бесплодная пыль».

Явное несовершенство «зародышей» и «элементов» зыбкого благоденствия натолкнуло автора «Философических писем» на переосмысление прямой и жесткой связи между внешним социальным прогрессом и «христианской истиной», заставило его по-другому взглянуть на социально-преобразовательную активность католицизма и соответственно на значение подчеркивавшегося Пушкиным своеобразия исторического прошлого Европы и России.

Постепенно Чаадаев начал склоняться к тому, что историческая изолированность России от Европы не только составляет «самую глубокую черту нашей социальной физиономии», но и является основанием «нашего дальнейшего успеха». «И вот он снова и снова, — писал Г. В. Плеханов, — возвращается мыслию к нашему прошлому, пока, наконец, не открывает в нем такой черты, которая сулит нам очень отрадное будущее. И — странно сказать! — этой чертой оказывается та самая изолированность России, которая представлялась Чаадаеву самой главной причиной бесплодности нашей истории и наиболее убедительным доводом в пользу той мысли, что провидение не сочло нужным подумать о нас». Автор «Философических писем» в конце концов был вынужден согласиться с Пушкиным, что «Россия никогда не имела ничего общего с остальною Европой, что история ее требует другой мысли, другой формулы». Разгадывая «сфинкса русской жизни» (выражение А. И. Герцена), Чаадаев и будет всю жизнь драматически искать раскрытия этой «другой формулы».





ПУШКИН И СМЕРНОВА

Н. Колосова

В Пушкинском Доме в Ленинграде хранится альбом Александры Осиповны Смирновой (рожденной Россети), первый лист которого оформлен рукою Пушкина как начало будущих ее мемуаров. Пушкинское название: «Исторические записки А. О. С.***», его эпиграф — стихи:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

Под стихотворением дата — «18 марта 1832».

На этом же листе более поздняя запись Смирновой: «Cet Album m'a été donné par Pousckine en 1832 avec les vers qu'il a écrit chez

moi». («Этот альбом дан был мне Пушкиным в 1832 году со стихами, которые он написал у меня.») К сожалению, Александра Осиповна не вняла уговорам Пушкина и «Записки» свои стала писать намного позже — и не в этом альбоме. Начала в 1846 году, писала с перерывами, порой очень значительными. Слабела память, путалась хронология, постепенно сама способность «судить здраво и светло» все более улетучивалась. А ведь еще в 1849 году П. А. Плетнев восхищался началом ее «Записок»: «Удивительная прелесть в простоте и непринужденности женского рассказа! Сверх того, самая сцена жизни ее очень много дает занимательности рассказу. Ее детство прошло в Одессе. Воспитывалась она в Петербурге, в Екатерининском институте. Оттуда ее взяли во фрейлины в первый год вступления на престол нынешнего государя (Николая I.— Н. К.). Она была прелестна лицом, а умна, как нельзя более. Что ни говори, а в записках великое дело — рассказы об исторических лицах, которые действуют чаще при дворе нежели в кругу незнатных лиц».

Александра Осиповна Россети родилась 6 марта 1809 года. Отцом ее был уроженец Швейцарии Иосиф (Осип) Иванович Россети, в 1787 году поступивший на русскую службу под знамена Черноморского флота. Мать Александры Осиповны — Надежда Ивановна Лорер, сестра декабриста Н. И. Лорера, — была наполювину грузинкой; ее дядя Дмитрий Евсеевич Цицианов был человеком весьма известным в Петербурге. Пушкин писал: «Всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне, как всякие остроумные вымыслы князю Цицианову».

В 1813 году О. И. Россети умер во время эпидемии чумы в Одессе, оставив вдову с пятью малыми сиротами. Старшей Сашеньке было всего шесть лет. Вскоре Надежда Ивановна вступила во второй брак с полковником И. К. Арнольди. Детей от первого брака удалось пристроить в Петербурге: одиннадцатилетнюю Сашеньку — в Екатерининский институт, ее братьев — в Пажеский корпус. В памяти Сашеньки осталось самым отрадным на всю жизнь воспоминанием время, проведенное ею в детстве в скромном имении бабушки Грамаклея Херсонской губернии. «Я уверена, — писала она позже, — что настроение души, склад ума, наклонности, еще не сложившиеся в привычки, зависят от первых детских впечатлений. Я никогда не любила сад, а любила поле; не любила салон, а любила уютную комнатку, где незатейливо говорят, что думают, т. е. что попало». В институте А. О. Россети провела шесть лет; воспитанницам преподавали русский, французский и немецкий языки, русскую словесность, Св. Писание, историю, географию, физику, естествознание. В выпускных классах русскую словесность преподавал друг Пушкина П. А. Плетнев, познакомивший своих учениц с творчеством великого поэта. Еще в институте Александра Осиповна узнала В. А. Жуковского. Став в 1826 году фрейлиной, она переселилась в Зимний дворец. «Что за

скверная жизнь — жизнь при дворе, — писала позже другая фрейлина, А. Ф. Тютчева, дочь поэта, — тем более, что так трудно удержаться от горького чувства к горделивым счастливицам, которые, поглощая наше жалкое существование, принимают это как должное, не задумываясь, вероятно, никогда над тем, что наше время, наши силы, наш ум, которыми они так бесцельно, расточительно пользуются, мы могли, быть может, употребить на то, чтобы дать счастье другим и себе». В. Г. Белинский, познакомившийся с Александрой Осиповной в 1846 году, восхищался ею, замечая, что «свет не убил в ней ни ума, ни души». Своего рода отдушиной для Россети-фрейлины стали вечера в доме Карамзиных, с которыми она сдружилась в первые годы своей фрейлинской службы. О карамзинском салоне И. И. Панаев писал: «Это был уже настоящий великосветский литературный салон с строгим выбором», а А. И. Кошелев свидетельствовал: «Эти вечера были единственные в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски». У Карамзиных бывали А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, В. Ф. Одоевский, В. А. Жуковский, П. А. Плетнев, А. С. Хомяков, С. А. Соболевский, позже Е. П. Раstopчина, М. Ю. Лермонтов. Остроумная, живая, своеобразная красавица Россети была всеобщей любимицей, П. А. Вяземский писал о ней: «Все мы более или менее были военнопленными красавицы; кто более или менее уязвленный, но все были задеты и тронуты... Несмотря на свое общественное положение, на светскость свою, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем... Изящное стихотворение Пушкина приводило ее в восторг... В ней были струны, которые откликались на все вопросы ума и на все напевы сердца... Пушкин увлекался прелестью и умом ее...»

Черноокая Россети
 В самовластной красоте
 Все сердца пленила *эти*,
Те, те, те и те, те, те —

так запечатлел Пушкин атмосферу всеобщего поклонения. Все поэты, бывавшие в доме Карамзиных, посвящали стихи Александре Осиповне, и это не были обычные в то время мадригалы. Она была интересной собеседницей, знала множество столь ценных Пушкиным исторических анекдотов, слышанных ею при дворе. Оттого-то Пушкин и настаивал, чтобы Александра Осиповна писала свои «Записки». Конечно, настоящая дружба между Россети и Пушкиным родилась не вдруг. Первое стихотворение, в котором Пушкин противопоставляет воспетым Вяземским черным очам Россети «глаза Олениной моей», было написано скорее всего еще до личного знакомства с Александрой Осиповной, ведь и Вяземский напи-



Портрет
Ремиз.
1835 г.

А. О. Смирнова.

сал свои стихи еще до знакомства с нею, только любясь ею в театре. Знакомство Пушкина и Россети состоялось, по всей вероятности, зимой 1828/29 г. В 1830 — начале 1831 года они уже довольно близкие приятели, во всяком случае, наняв дом Хитровой, Пушкин просит Плетнева сообщить Россети, что он сделал это якобы в память Е. М. Хитрово. Ясно, что Александра Осиповна уже вышучивала в присутствии Пушкина привязанность к нему «Лизы голенькой», а он рад случаю продолжить шутливую игру. По-настоящему дружеское сближение Пушкина и Россети началось летом 1831 го-

да, когда он жил с молодой женой на даче в Царском Селе, где проводил лето и двор.

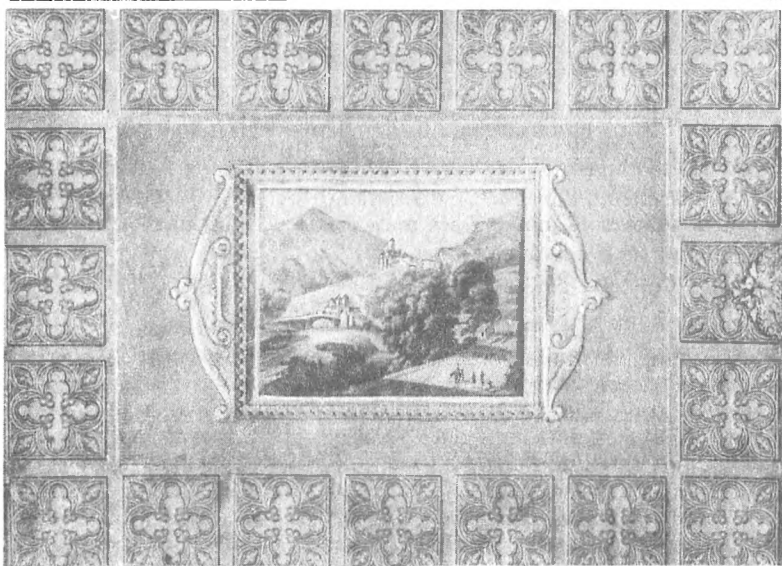
В 1832 году Александра Осиповна вышла замуж за Н. М. Смирнова, хорошего знакомого Пушкина, который, однако, предвидел, что брак этот не будет удачным. Единственной глубокой сердечной привязанностью Александры Осиповны был Н. Д. Киселев, которому посвящено стихотворение Пушкина «Ищи в чужом краю здоровья и свободы...». Большая часть ее воспоминаний построена в форме диалога с Киселевым.

Пушкин был частым гостем в доме Смирновых, дружески он сошелся и с братьями Александры Осиповны — Аркадием и Клементием. Аркадий Россет (первоначально итальянское звучание и написание фамилии Россети трансформировалось затем во французское Россет), как свидетельствует Наталья Николаевна, ставшая уже Ланской, был увлечен Александрой Гончаровой, а она им. Аркадий и Клементий были свидетелями всей запутанной преддуэльной истории. Они, в числе других, получили анонимный пасквиль. Александра Осиповна весной 1835 года уехала за границу, навсегда, как оказалось, простившись с Пушкиным. Вернулась в Петербург она лишь в конце 1837 года. О событиях в Петербурге она узнавала из писем братьев, П. А. Вяземского и Карамзиных (Андрей Карамзин был в это время в Париже вместе со Смирновыми и часто получал вести из дома). Вспоминая на склоне лет свои встречи с Пушкиным, Александра Осиповна сказала П. И. Бартеневу: «Мы жили в обществе ветреном». Правда, только крайней ветреностью, беспечностью можно объяснить сплошной веселый карнавал в доме Карамзиных в конце 1836 — начале 1837 года, который вдруг оборвался только после выстрела у Черной речки...

После смерти Пушкина Александра Осиповна поддерживала отношения с его вдовой. С детства дружили дети Смирновых и Пушкиных. Мария Александровна Пушкина, старшая дочь поэта, переписывалась со старшей дочерью Александры Осиповны Ольгой Николаевной. Ольга Николаевна, между прочим, составила «Записки А. О. Смирновой» от лица своей матери и, хотя в части их отталкивалась от подлинных рассказов Александры Осиповны, немилосердно искажала и суть событий и стиль, присущий А. О. Смирновой. Записки эти, печатавшиеся в 1893—94 годах «Северным вестником» и вышедшие отдельным изданием в 1895 году, исследовались несколькими поколениями пушкинистов и были признаны фальсификацией.

Подлинные мемуары А. О. Смирновой составляют две книги: «Записки» (М., «Федерация», 1929) и «Автобиография. Неизданные материалы» (М., «Мир», 1931). В скором времени издательство «Наука» предполагает издать в серии «Литературные памятники» научно выверенное издание воспоминаний Смирновой, подготовленное С. В. Житомирской.

Александра Осиповна Смирнова прожила большую жизнь, омраченную болезнями и домашними неурядицами и озаренную



Альбом А. О. Смирновой.

дружбой с великими людьми своего времени, среди которых прежде всего следует назвать имена Пушкина и Гоголя. Скончалась она в Париже 7 июня 1882 года, тело ее было перевезено в Москву и погребено 9 сентября в Донском монастыре. 11 сентября 1882 года И. С. Аксаков поместил в газете «Русь» некролог, кончавшийся словами: «Имя Александры Осиповны Смирновой ведомо и памятно всем, кому непосредственно близки предания той блистательной литературно-общественной эпохи, которой Пушкин, с целой плеядой поэтов, был законодателем, а Смирнова — одним из изящнейших украшений».

* * *

Она мила — скажу меж нами —
 Придворных витязей гроза,
 И можно с южными звездами
 Сравнить, особенно стихами,
 Ее черкесские глаза.
 Она владеет ими смело,
 Они горят огня живей;
 Но, сам признайся, то ли дело
 Глаза Олениной моей!

(Из стихотворения Пушкина, написанного в ответ на стихи П. А. Вяземского «Южные звезды! Черные очи!», посвященные А. О. Россети, 1828). -

* * *

К концу года Петербург проснулся; начали давать маленькие вечера. Первый танцевальный был у Элизы Хитрово. Она приехала из-за границы с дочерью, графиней Тизенгаузен, за которую будто сватался прусский король. Элиза гнусила, была в белом платье, очень декольте; ее пухленькие плечи вылезали из платья; на указательном пальце она носила Георгиевскую ленту и часы фельдмаршала Кутузова и говорила: «Il a porté cela à Borodino»¹. Пушкин был на этом вечере и стоял в уголке за другими кавалерами. Мы все были в черных платьях. Я сказала Стефани: «Мне ужасно хочется танцевать с Пушкиным». «Хорошо, я его выберу в мазурке», — и точно подошла к нему. Он бросил шляпу и пошел за ней. Танцевать он не умел. Потом я его выбрала и спросила: «Quelle fleur?» — «Celle de votre couleur»² — был ответ, от которого все были в восторге. Элиза пошла в гостиную, грациозно легла на кушетку и позвала Пушкина. Всем известны стихи Пушкина:

Ныне Лиза en gala
У австрийского посла,
Не по-прежнему мила!
Но по-прежнему гола.

(А. О. Смирнова. «Записки»).

* * *

Книги Белизара я получил и благодарен. Прикажи ему переслать мне еще Крабба, Водсворта, Саути и Шекспира в дом Хитровой на Арбате. (Дом сей нанял я в память моей Элизы; скажи это Южной ласточке, смугло-румяной красоте нашей.)

(А. С. Пушкин — П. А. Плетневу. 26 марта 1831 г.).

Пушкин здесь обыгрывает стихотворение Вяземского, посвященное А. О. Россети:

Красою смуглого румянца
Смотрите, как она южна:
Она желтее померанца,
Живее ласточки она.

¹ Он носил это при Бородине (фр.).

² Какой цветок? — Вашего цвета (фр.).

* * *

Государь цензуровал «Графа Нулина». У Пушкина сказано «урьяльник». Государь вычеркнул и написал — будильник. Это восхитило Пушкина: «Это замечание джентльмена. А где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его поло-
скал с мылом, не посылатъ же в Нижний за этрусской вазой».

(А. О. Смирнова. «Автобиография»).

* * *

Всем известно, что император Николай Павлович вызвался быть цензором Пушкина. Он сошел вниз к императрице и сказал мне: «Вы хорошо знаете свой родной русский язык. Я прочел главу «Онегина» и сделал заметки; я вам ее пришлю, прочтите ее и скажите мне, правы ли мои замечания. Вы можете сказать Пушкину, что я вам давал ее прочесть». Он прислал мне его рукопись в этом пакете с камердинером. Год не помню. А. Смирнова, рожд. Рос-
сет.

*(Надпись на обороте конверта,
хранящегося в Пушкинском Доме).*

* * *

После нового года балы, вечера и концерты участились. Фирс Голицын меня зазвал в Филармоническую залу, где давали всякую субботу концерты: «Requiem» Моцарта, «Creation» Гайдена, симфонии Бетховена, одним словом, серьезную немецкую музыку. Пушкин всегда их посещал.

(А. О. Смирнова. «Записки»).

* * *

Они (Карамзины. — Н. К.) жили зимой и осенью на Литейном против самой церкви и просили меня у них обедать. После обеда явился Фирс Голицын и Пушкин. Он захотел прочитать свою последнюю поэму «Полтаву». Нельзя было хуже прочитать свое сочинение, чем Пушкин. Он так вяло читал, что казалось, что ему надоело его собственное создание. Когда он кончил, он спросил у всех их мнения и спросил меня, я так оторопела, что сказала только: «Очень хорошо».

(А. О. Смирнова. «Автобиография»).

* * *

...Мы в костюмах отправились к Карамзиным на вечер... Все кавалеры были заняты. Один Пушкин стоял у двери и предложил

мне танцевать мазурку. Мы разговорились, и он мне сказал: «Как вы хорошо говорите по-русски». «Еще бы, мы в институте всегда говорили по-русски. Нас наказывали, когда мы в дежурный день говорили по-французски, а на немецкий махнули рукой». «Но вы итальянка?» «Нет, я не принадлежу ни к какой народности, отец мой был француз, бабушка — грузинка, дед — пруссак, а я по духу русская и православная. Плетнев нам читал вашего «Евгения Онегина», мы были в восторге...»

(А. О. Смирнова. «Автобиография»).

* * *

...Пушкин с молодой женой поселился в доме Китаева, на Колпинской улице. Жуковский жил в Александровском дворце, а фрейлины помещались в Большом дворце. Тут они оба взяли привычку приходить ко мне по вечерам... Пушкин писал, именно свои сказки, с увлечением; так как я ничего не делала, то и заходила в дом Китаева. Наталья Николаевна сидела обыкновенно за книгою внизу. Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас нас зазывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе перед диваном находились бумаги и тетради, часто несшитые, простая чернильница и перья; на столике графин с водой, лед и банка с кружовниковым вареньем, его любимым (он привык в Кишиневе к дульцецам). Волоса его обыкновенно еще были мокры после утренней ванны и вились на висках; книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате, без гардин, была невыносимая жара, но он это любил, сидел в сюртуке, без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и прибирал всякую чепуху насчет своей соседки графини Ламбер. Иногда читал нам отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал нашего мнения. Он восхищался заглавием одной: «Поп — толоконный лоб и служитель его Балда». «Это так дома можно, — говорил он, — а ведь цензура не пропустит!» Он говорил часто: «Ваша критика, мои милые, лучше всех; вы просто говорите: этот стих нехорош, мне не нравится». Вечером, в 5 или 6 часов, он с женой ходил гулять вокруг озера, или я заезжала в дрожках за его женой; иногда и он садился на перекладину верхом и тогда был необыкновенно весел и забавен. У него была неистощимая живость ума. В 7 часов Жуковский с Пушкиным заходили ко мне; если случалось, что меня дома нет, я их заставляла в комфортабельной беседе с моими девушками. «Марья Савельевна у вас аристократка; а Саша, друг мой, из Архангельска, чистая демократка. Никого в грош не ставит». Они заливались смехом, когда она Пушкину говорила: «Да что же мне, что вы стихи пишете — дело самое пустое! Вот Василий Андреевич гораздо почетнее вас». — «А вот за

то, Саша, я тебе напишу стихи, что ты так умно рассуждаешь». И точно, он ей раз принес стихи, в которых говорилось, что

Архангельская Саша
Живет у другой Саши.

Стихи были довольно длинны и пропали у нее.

(А. О. Смирнова. «Записки»).

* * *

Жена его ревновала ко мне. Сколько раз я ей говорила: «Что ты ревнуешь ко мне? Право, мне все равны: и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев,— разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня». — Я это очень хорошо вижу, говорит, да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает.

(Рассказы А. О. Смирновой о Пушкине,
записанные Я. П. Полонским).

* * *

Россети черноокая хотела тебе писать, беспокоясь о тебе, но Жуковский отсоветовал, говоря: он жив, чего же вам больше? Однако она поручила было мне переслать к тебе 500 р. какой-то запоздалой пенсии. Если у тебя есть мои деньги, то заплати из них — и дай мне знать сюда, а эти 500 р. — я возьму с нее.

(Пушкин — Плетневу, 11 июля 1831 г.,
Царское Село).

* * *

Поблаговари Россети за ее ко мне дружбу. Ее беспокойство о моей судьбе трогает меня не на шутку... В ней так много человеческого прекрасного, так много предупреждающего и столько душевной делимости, что, право, об ней нельзя говорить просто, как о других. 500 р. получи от нее для себя, а я из твоих (когда увижусь со Смирдиным и возьму от него) отдам эту пенсию.

(П. А. Плетнев — Пушкину, 19 июля 1831 г.,
Спаская Мыза).

* * *

Третьего дня государыня родила великого князя Николая. Накануне она позволила фрейлине Россети выйти за Смирнова.

(Пушкин. Дневник, 29 июля 1831 г.).

* * *

Пушкин мне сказал: «Какую глупость вы делаете. Я его очень люблю, но он никогда не сумеет вам создать положения в свете. Он его не имеет и никогда не будет иметь». — «К черту, Пушкин, положение в свете. Сердце хочет любить, а любить совершенно некого».

(Смирнова. «Автобиография»).

* * *

Россети вижу часто; она очень тебя любит, и часто мы говорим о тебе. Она гласно сговорена. Государь уж ее поздравил.

(Пушкин — Плетневу, 3 августа 1831 г.,
Царское Село).

* * *

Все играли на мелок. Один Николай Михайлович платил тот час, и Пушкин ему говорил: «Смирнов, ты жену проиграешь в карты». — «Если Россети, то не проиграю».

(А. О. Смирнова. «Автобиография»).

* * *

Передай мой сердечный поклон Dona Sol¹, и скажи, что брат ее в Москве много успел по части каламбуров... попроси ее, то есть Dona Sol, сжечь до замужества своего всю мою поэзию и мою прозу, а что они у нее залежались, знаю я потому, что она для смеха их кому-то показывала.

(П. А. Вяземский — Пушкину, 24 августа 1831 г.,
Остафьево).

У Dona Sol был я вчера; писем твоих у ней здесь нет; она не намерена их сжечь et vous accuse de fatuité². Дело в том, что она чрезвычайно мила, умна и в лицах представляет генеральшу Ламбер и камер-лакея немца — в совершенстве.

(Пушкин — Вяземскому, 3 сентября 1831 г.).

* * *

Графиня Ламбер, которая жила в доме Олениной против Пушкина и всегда дичилась его, узнавши, что Варшава взята, уведо-

¹ Dona Sol — героиня драмы Гюго «Эрнани», ее именем называли друзья-поэты А. О. Россети.

² и обвиняет тебя в фатовстве (фр.).

мила его об этом, тогда так нетерпеливо ожидаемом происшествии. Когда Пушкин напечатал свои известные стихи на Польшу, он прислал мне экземпляр...

(А. О. Смирнова. «Записки»).

* * *

Quoique vous connaissiez déjà ces vers, comme je viens d'en envoyer un exemplaire à M^{me} La Comtesse de Lambert, il est just que vous en ayez un pareil.

От вас узнал я плен Варшавы

Вы были вестницею славы

И вдохновеньем для меня.

Vous aurez le second vers des que je vous l'aura trouvé¹.

(Надпись Пушкина на брошюре «На взятие Варшавы»,
СПб., 1831, подаренной им Россети).

* * *

Пушкин честный человек во всем смысле этого слова, несмотря на минувшие проказы; мы с ним вместе проживаем в Царском и вместе проводим вечера у смуглой царсосельской невесты, которая также честный человек.

(В. А. Жуковский — А. И. Тургеневу, август 1831 г.).

* * *

У Жуковского болят зубы, он бранится с Россети; она выгоняет его из своей комнаты, а он пишет ей арзамасские извинения гекзаметрами.

(А. С. Пушкин — П. А. Вяземскому, 3 августа 1831 г.).

* * *

В 1832 году Александр Сергеевич приходил всякий день почти ко мне, также и в день рождения моего принес мне альбом и сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои записки», — и на первом листе написал стихи: «В тревоге пестрой и бесплодной» и пр. Почерк у него был великолепный, чрезвычайно четкий и твердый.

(А. О. Смирнова. «Записки»).

¹ Хотя вы уже знаете эти стихи, но так как я сейчас послал экземпляр графине Ламбер, будет справедливо, если у вас будет такой же. Вы получите второй стих, как только я его для вас отыщу (фр.).

* * *

У Пушкина родилась дочь. Мы вчера должны были обедать с ним у Смирновой, но он прислал сказать, что по поводу дочери ему быть нельзя.

(П. А. Вяземский — В. Ф. Вяземской, 20 мая 1832 г.)

* * *

О лучшем из поэтов наших (об Александре Осиповне) вы, конечно, слышали. Она очень несчастна была своими родами. Пушкин ей напороочил богатыря, которого надобно было по частям вынимать, чтобы спасти ее жизнь. Месяца два лежала она без всякой надежды, теперь посылают ее в Берлин, и, кажется, скоро она туда отправится. Но сколько она показала душевной силы в этом страдании!

(П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому, декабрь 1832 г.)

* * *

Письмо это передаст вам г-н Россети (Клементий.— Н. К.), весьма достойный молодой человек, который покидает блестящий свет и ветреное и рассеянное существование для сурового ремесла грузинского солдата. Мы рекомендуем его вам и уверены, что вы поблагодарите нас за это знакомство.

(А. С. Пушкин — П. С. Санковскому, 3 января 1833 г.)

* * *

Жаль, что ты Смирновой не видела; она должна быть уморительно смешна после своей поездки в Германию.

*(А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной,
8 октября 1833 г., Болдино)*

* * *

С первого года (женитьбы.— Н. К.) Пушкин узнал нужду, и, хотя никто из самых близких не слышал от него ни единой жалобы, беспокойство о существовании омрачало часто его лицо. Я помню только однажды, что, недовольный нянькою детей своих, он грустно изъявил сожаление, что не в состоянии взять англичанку. Домашние нужды имели большое влияние на нрав его; с большой грустью вспоминаю, как он, придя к нам, ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял: «грустно! тоска!» Шутка, острое слово оживляли его электрическою искрою: он громко захохочет и обнаружит ряд белых, прекрасных зубов, которые с толстыми губами были в нем остатками полуарабского происхождения. И вдруг снова, став к камину, шевеля что-нибудь в своих широких карманах, запоем про-

тяжно: «грустно! тоска!» Я уверен, что беспокойствия о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиною той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти.

(Из памятных записок Н. М. Смирнова).

* * *

Писем от Пушкина я никогда не получала. Когда разговорились о Шатобриане, помню, он говорил: «Из всего, что он написал, мне понравилось одно. Хотите, чтобы я написал вам это в альбом? Если бы я мог еще верить в счастье, я бы искал его в однообразии житейских привычек».

(А. О. Смирнова. «Записки»).

* * *

Обед у Блая, вечер у Смирновых.

(А. С. Пушкин. Дневник, 14 декабря 1833 г.).

* * *

Князь П. А. Вяземский, Жуковский, Александр Ив. Тургенев, сенатор Петр Ив. Полетика часто у нас обедали. Пугачевский бунт, в рукописи, был слушаем после такого обеда. За столом говорили, спорили; кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово. Его живость, изворотливость, веселость восхищали Жуковского, который, впрочем, не всегда с ним соглашался. Когда все после кофья уселись слушать чтение, то сказали Тургеневу: «Смотри, если заснешь, то не храпеть». Александр Иванович, отнекиваясь, уверял, что никогда не спит: и предмет и автор бунта, конечно, ругаются за его внимание. Не прошло и десяти минут, как наш Тургенев захрапел на всю комнату. Все рассмеялись, он очнулся и начал делать замечания как ни в чем не бывало. Пушкин нисколько не оскорбился, продолжал чтение, а Тургенев спокойно проспал до конца.

(А. О. Смирнова. «Записки»).

* * *

Пушкина сделали камер-юнкером; это его взбесило, ибо сие звание было неприлично для человека 34 лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно дано было, чтоб иметь повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателен, малодушен, и он, дороживший своею славою, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикою

и не лишило его народности. Словом, он был огорчен и взбешен и решился не воспользоваться своим мундиром, чтоб ездить ко двору, не шить даже мундира. В этих чувствах он пришел к нам однажды. Жена моя, которую он очень любил и очень уважал, и я стали опровергать его решение, представляя ему, что пожалование в сие звание не может лишить его народности, ибо все знают, что он не искал его, что его нельзя было сделать камергером по причине чина его, что натурально двор желал иметь возможность приглашать его и жену к себе и что государь пожалованием его в сие звание имел в виду только иметь право приглашать его на свои вечера, не изменяя старому церемониалу, установленному при дворе. Долго спорили, убеждали мы Пушкина; наконец полуубедили. Он отнекивался только неимением мундира и что он слишком дорого стоит, чтоб заказать его. На другой день, узнав от портного о продаже нового мундира князя Витгенштейна, перешедшего в военную службу, и что он совершенно будет впору Пушкину, я ему послал его, написав, что мундир мною куплен для него, но что представляется его воле взять его или ввергнуть меня в убыток, оставив его на моих руках. Пушкин взял мундир и поехал ко двору.

(Из памятных записок Н. М. Смирнова).

* * *

А завтра я именинник, и будет у меня ввечеру семейство Карамзиных, Мещерских и Вяземских и будут у меня два изрядных человека графы Вьельгорские, и попрошу Смирнову с собственным ее мужем... вследствие сего прошу и тебя с твоею грациозною, стройносозданною, богинеобразною, мадонистою супругою пожаловать ко мне завтра (во вторник) в 8-м часам...

(В. А. Жуковский — А. С. Пушкину, 29 января 1834 г.).

* * *

Разговоры несносны. Слышишь везде одно и то же. Одна Смирнова по-прежнему мила и холодна к окружающей суете. Дай Бог ей счастливо родить, а страшно за нее.

(А. С. Пушкин. Дневник, конец апреля 1834 г.).

* * *

Знаешь ли, что Пушкин всегда тоскует весной. Плетнев сказал: «Ты все повторяешь: грустно, тоска, ничего не пишешь и не читаешь». «Любезный друг, — отвечал он, — вот уж год, что я, кроме Евангелия, ничего не читаю».

(А. О. Смирнова. «Автобиография»).

* * *

Вчера обедал у Смирновых с Полетикой, с Вельгорским и с Жуковским.

(А. С. Пушкин. *Дневник*. 21 мая 1834 г.).

* * *

Смирнова на сносях. Брюхо ее ужасно; не знаю, как она разрешится; но она много ходит и не похожа на то, что была прошлого году.

(А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной, 3 июня 1834 г.).

* * *

Смирнова родила благополучно, и вообрази: двоих. Какова бабенка и каков красноглазый кролик Смирнов? — Первого ребенка такого сделали, что не пролез, а теперь принуждены надвое разделить. Сегодня, кажется, девятый день — и слышно, мать и дети здоровы.

(А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной, 27 июня 1834 г.).

* * *

В свете я не бываю. Смирнова велела мне сказать, что она меня впишет в разряд иностранцев, которых велено не принимать.

(А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной, 27 июня 1834 г.).

* * *

Видел я Смирнову; она начинает оправляться, но все еще плоха и желта.

(А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной, 3 августа 1834 г.).

* * *

Пушкин, Жуковский, Вельгорский, ваши братья (всех чаще Клементий) да еще три-четыре лица обоих полов от времени до времени проводят у нас последние часы суток. Один Клементий владеет тайной рассмешить меня иной раз, в особенности, когда я бываю в мрачном настроении: в такие минуты вспыхивает и развивается с наибольшею силою и свежестью все своеобразие, весь россетизм ума его.

(П. А. Вяземский — А. О. Смирновой, 1835 г.).

* * *

...Разговор одушевляется: Клема пускается в анализ своего характера и своей жизни; память об Арнольди, Киеве, о Херсонесе

Таврическом, все выходит на сцену, и тут он, как говорит всегда Пушкин, удивительно хорош.

(А. О. Россет — А. О. Смирновой, 1835 г.)

* * *

Я подписываюсь на «Современник» и прошу вас высылать мне его. Просите Пушкина начать постом или после Пасхи, чтобы не делать, как наши литераторы, изготавливающие подарки добрым детям на праздники. Надеюсь на его вкус: он не будет держаться формата «Библиотеки для чтения», им громко осуждаемой; внешний вид Blackwood's Magazine очень приличен — совершенно европейский. Вы видите, я совершенно матерински забочусь об этом дитяти хорошего общества, потому и надеюсь получить известие немедленно по его появлении. Опасаюсь, чтобы название «Современник» не щекотало целомудренных ушей Греча, Булгарина и К^о, и они отомстят, указывая на слишком современную аллюру нашего издания. Скажите Пушкину, что я могу ему сообщить все, что происходит в литературном мире Берлина, хотя я не вижу рецензентов и альманашиков.

(А. О. Смирнова — П. А. Вяземскому, начало 1836 г.)

* * *

«Арзерум» — вылитый Пушкин, когда он расположен болтать и заинтересовать, так что все эти истории мне слишком известны, и потом зачем упоминать о тех французах, которые о нем говорили худо ли, хорошо ли? У нас об этом никто бы и не знал, не стоило и защищаться: о нем говорили люди темные. Скажите ему, что ему надо путешествовать, чтобы познакомить с собой Европу: это единственное средство, да вдобавок едва ли стоит того.

(А. О. Смирнова — П. А. Вяземскому, 1836 г.)

* * *

Сидя за столом у Смирновых, мне вручили ваше письмо... прочел, вскрикнул и сообщил Смирновым. Александра Осиповна горько плакала.

(А. Н. Карамзин — Е. А. Карамзиной, из Парижа, февраль 1837 г.)

* * *

Умирая, Пушкин продиктовал записку, кому он что должен; вы там упомянуты. Это единственное его распоряжение.

(П. А. Вяземский — А. О. Смирновой, февраль 1837 г.)

* * *

Вы должны были бы сообщить мне еще несколько подробностей о горестном событии. Правда, для друзей Пушкина и для друзей России все уже высказано. В сегодняшней «Revue de Paris» есть статья «Légendes des poètes». В ней припоминаются все великие гении: все они несчастные, преследуемые или обществом или правительством, непризнанные, оклеветанные, умирающие в тюрьмах или в нищете. В статье не упоминается Пушкин, а, однако, ничего нет более раздирающе-поэтического, как его жизнь и его смерть. Я так же была здесь оскорблена и глубоко оскорблена, как и вы, несправедливостью общества. А потому я о нем не говорю. Я молчу с теми, которые меня не понимают. Воспоминание о нем сохраняется во мне недостижимым и чистым. Много вещей имела бы я вам сообщить о Пушкине, о людях и делах, но на словах, потому что я побаиваюсь письменных сообщений.

(А. О. Смирнова — П. А. Вяземскому, 1837 г.)

* * *

Мне стало совестно, что я так напал на бонтонное петербургское общество, но теперь, после письма Аркадия Россет к сестре его, я не только мысленно повторяю все сказанное мною, но мне еще кажется мало. Как вспомню, так злость и негодование раздирают, тем более, что и здесь есть хорошие образчики. Так, например, Медем, член нашего немецкого посольства, чуть не выцарапал глаза Смирнову за то, что он назвал Пушкина самым замечательным человеком в России.

(А. Н. Карамзин — С. Н. Карамзиной)

* * *

Я поплакала, перенеслась в наш серый, мрачный Петербург, который для меня озарился воспоминанием милых сердцу моему друзей. Я перенеслась к вам, с живым желанием и надеждой вас всех увидеть. Братя, Карамзины, Вяземские, вы: тут все слилось в одно чувство дружбы и преданности. Одно место в нашем круге пусто, никогда и никто его не заменит. Потеря Пушкина будет еще чувствительнее со временем; вероятно, талант его и сам он развились бы с новою силою через несколько лет.

(А. О. Смирнова — В. А. Жуковскому, весна 1837 г., Париж)

* * *

Обедал у Смирновой... Там дети были в танц-классе: две девочки Смирновой да четверо детей Пушкина (2 сына и 2 дочери).

(П. А. Плетнев — Я. К. Гроту, декабрь 1841 г.)

* * *

Вчера вечером не могла тебе писать — Россет пришел пить чай с нами. Это давнишняя, страстная и взаимная любовь Сашиньки. Ах, если бы это могло кончиться счастливо... Прежде отсутствие состояния было препятствием. Эта причина существует и теперь, но он имеет надежду вскоре получить чин генерала, а с ним и улучшение денежных дел, и потом Сашинька должна получить 300 душ. С этим можно прожить, по крайней мере, вполне прилично. Оба они не любят света и смогут поладить... По моим наблюдениям, он сохранил к ней много дружеских чувств: я не решаюсь сказать, что это любовь, но он с удовольствием ее видит, с ней встречается, и вот уже два вечера, что он провел с нами, не будучи приглашенным...

(Н. Н. Ланская — П. П. Ланскому, 1849 г.).

* * *

Мы веселимся здесь так, как еще никогда не развлекались; танцуем, катаемся верхом, делаем прогулки в Красное Село и ведем в высшей степени веселый образ жизни.

(М. А. Пушкина — О. Н. Смирновой, 1852 г.).

* * *

Что касается до магнетизма, то все заняты верчением столов. Я не знаю, возможно ли в это верить или нет. Но ответы иногда получаются поистине удивительные. Вызывают мертвых, спрашивают их души. В Москве, говорят, Нащокин вызывал дух моего отца, который ответил ему стихами.

(М. А. Пушкина — О. Н. Смирновой, 1853 г.).

* * *

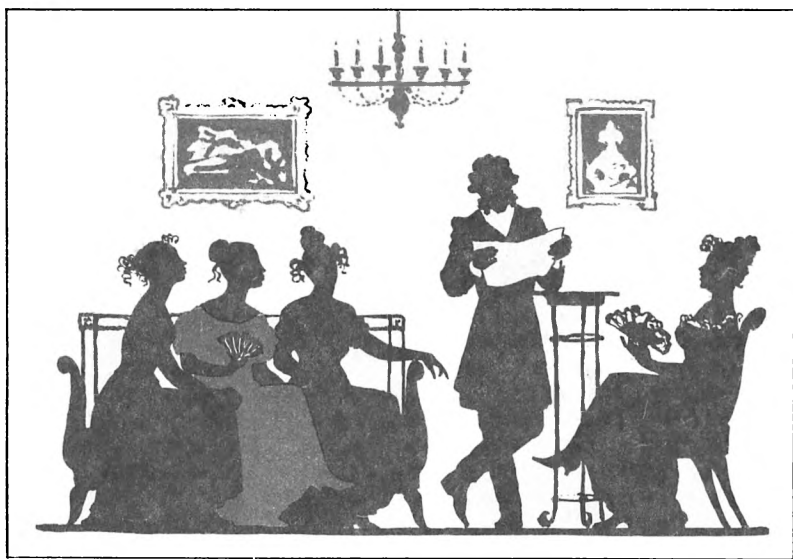
Хорошо делаешь, что Олю не пустила в свет, как впуски; не следует ей это, да и приносит гораздо меньше пользы, чем думают... Придет время, и дело устроится; Пушкина вовсе не выезжала, а нашла жениха... Радуюсь за Наталию Николаевну и за Ташу; Дубельт очень хороший мальчик, хотя и был, что называется разбитой, у него, как мне казалось, хорошая натура.

(А. О. Россет — А. О. Смирновой, 1853 г.).

* * *

Кулиш, кажется, спятил с ума. 100 лет пройдет, а Гоголь все будет нов, у него внутреннего содержания <нераз> слишком много, чтобы устареть. Он и Пушкин вечны.

(А. О. Смирнова — К. С. Аксакову, 1858 г.(?).)



«ЭТО НАМ ЧИТАЛ ПУШКИН, ПОЭТ, У ФИКЕЛЬМОН...»

(Из переписки Бакуниных 1836—1837 гг.)

И. Сидоров

17 ноября 1836 года в Петербург из Москвы приехали Варвара Ивановна Бакунина и ее младшие дочери Прасковья и Екатерина.

Обратим внимание на дату их приезда. Именно в этот день завершился ноябрьский этап дуэльной истории А. С. Пушкина, начавшийся получением анонимных писем. Несколько экземпляров пасквиля, пачкавшего честь поэта и его жены, были посланы кем-то по адресам пушкинских знакомых с просьбой передать поэту. Первое такое письмо он получил утром 4 ноября через Елизавету Михайловну Хитрово.

Любимая дочь М. И. Кутузова, энергичная и эмоциональная, даже несколько экстравагантная женщина, Елизавета Михайловна была горячей почитательницей Пушкина, который, в свою очередь, ценил ее ум и доброе к нему отношение, хотя и позволял себе в разговорах и в переписке с друзьями насмешливо пошутить над ее экстравагантностью. Высоко ценил поэт и общество ее дочери — графини Дарьи Федоровны Фикельмон, жены австрийского посла в Петербурге, в доме которой Пушкин бывал и на официальных раутах, и на балах, и на неофициальных вече-

рах. Бывал и в эти тяжелые для него дни. Поэтому, если я сообщу, что Варвара Ивановна Бакунина была двоюродной сестрой Е. М. Хитрово и, приехав в Петербург, часто виделась и с ней, и с Д. Ф. Фикельмон, то читателю, думаю, станет понятен интерес к письмам Варвары Ивановны и ее дочерей, писанным из Петербурга зимой 1836/37 г. Мать писала в Москву мужу — Михаилу Михайловичу Бакунину, а дочери, впервые в сознательном возрасте (а им ко времени поездки исполнилось: 26 лет — Паше и 25 лет — Кате) оказавшиеся в Петербурге, ежемесячно отправляли совместные послания старшей сестре Евдокии, художнице, жившей в это время в Париже (заметим, что и младшие сестры не были лишены талантов: Паша писала стихи, Катя пела и рисовала).

Письма их сохранились в архиве, но до сих пор не публиковались. Правда, судя по приложенным к архивным делам «листам использования», письма сестер двадцать лет назад кто-то из исследователей просмотрел, но, вероятно, искал что-то другое. А писем Варвары Ивановны, похоже, кроме архивных хранителей, никто не касался. Когда я впервые с ними знакомился, между их листами еще сохранялись остатки того тончайшего песка, которым Варвара Ивановна присыпала исписанные страницы, чтобы на них скорее просохли чернила. Временами создавалось впечатление, что письма только что получены, но... часть почтовых листов была уже тронута тлением. Теперь они, к счастью, отреставрированы и даже перепле-

тены (но зато и песка того на них уже не осталось).

Для этой публикации я выбрал из писем лишь то, что имеет непосредственное отношение к Пушкину и к кружку Хитрово — Фикельмон¹.

В Петербурге наши путешественницы сразу же оказались втянуты в суету светской столичной жизни: бесчисленные визиты (один из первых — к Е. М. Хитрово), приемы гостей, балы... Уже 22 ноября они на балу у родственника Варвары Ивановны — президента Российской Академии А. С. Шишкова, еще через день — на обеде и балу у управляющего I отделением собственной его императорского величества канцелярии А. С. Таисева.

23 ноября, после первого бала, Варвара Ивановна сообщила мужу новости: «<...> в южной Италии холера, а в Неаполе дурачатся итальянцы при сей верной оказии <...>. В <еликий> к <нязь> М <ишаил> П <авлович>, которого ожидали со дня на день, осталась за границей на целый год, потому что нездоров. Говорят,

¹Письма хранятся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции в Москве, в фонде Бакуниных (ф. 825, опись 1, письма Варвары Ивановны — ед. хр. № 24, Паши и Кати — № 247, М. М. Бакунина — № 49).

Тексты писем даются в современной орфографии, за исключением отдельных характерных выражений; даты — по старому стилю. Подавляющая часть знаков препинания проставлена мною (в некоторых письмах они практически отсутствовали). В угловые скобки заключены слова, части слов и даты, вставленные мною и раскрывающие сокращения или поясняющие текст. Многоточие в угловых скобках заменяет опущенный в публикации фрагмент текста. Звездочками ограничены части писем, в оригинале написанные по-французски.

Большую помощь при прочтении и переводе французских фрагментов писем оказал А. Д. Вентцель, которому я очень благодарен.

*что проведет зиму в Ницце. Но что здесь говорят, всего не переслушаешь; толкуют об самых мелочных вещах с важным видом, а сплетнями перещеголяли нашу Белокаменную. Вчера ваши дочки деботировали на п<етер>бургском паркетe у Ал<ександра> Сем<еновича> Шишкова», и дебют был очень удачный: с паркету не спускали, окружали, знакомились; очень было живо и весело, компания 135 человек: несколько штук генералов, генерал-адъютанты, военных и штатских, старых и молодых; разумеется, в П<етер>бурге больше мужчин, нежели женщин. Завтра будем у Танеевой на именинном обеде; Ан<на> Мих<айловна>, сестра Е. М. Хитрово» говорит: *у Шишковых бывают всех сортов, у Танеевых — уже более знатные*; а высранных-то нам покажут у Фикельмона. Там бывают всякую неделю, через раз, бал или раут. Надобно по разику посмотреть и то и другое; а Лизавета Мих<айловна> Хитрово» говорит: *Поверьте, что вы больше получите удовольствия у Шишковых и у Олениных, чем в высшем обществе, в шуме и гаме. Здесь больше умных людей, и я предпочитаю бы их, но в моем положении ... Мне не хватает вещества времени*».*

Холера и волнения в Италии — это важная для Бакуниных новость, так как туда собирается переехать из Парижа Евдокия. Почти все остальное, о чем говорят в петербургских гостиных, Варвара Ивановна относит к «мелочным вещам» и сплетням, которые она не собирается пересказывать. Весьма вероятно, что среди этих сплетен и рассказы о предстоящей свадьбе Екатерины Гончаровой, а может быть, и слухи об анонимных письмах, полученных

Пушкиным 4 ноября. В день приезда Варвары Ивановны в Петербург Пушкин взял обратно посланный Дантесу вызов на дуэль, и вечером на балу у Салтыковых было объявлено о помолвке Дантеса и пушкинской свояченицы. Если вызов Пушкиным Дантеса на дуэль сохранялся в это время знавшими о нем в тайне, то распространению слухов об анонимных письмах воспрепятствовать было труднее. Надо думать, что в небольшой степени распространению этих слухов способствовали те, кто распространял и сами письма.

Говорила ли что-нибудь об этом Варваре Ивановне Елизавета Михайловна Хитрово, сама передавшая Пушкину анонимное письмо, можно только гадать. Дело в том, что первой реакцией Хитрово, когда она узнала от поэта содержание переданного ею послания, была записка, содержащая, в частности, слова: «На коленях прошу Вас не говорить никому об этом глупом происшествии», — но при этом Елизавета Михайловна еще не знала, что она не единственная получила такое письмо, и поэтому даже заподозрила, как видно из той же ее записки, что анонимное письмо было написано, чтобы досадить не столько Пушкину, сколько ей, зная ее отношение к поэту и сделав ее переносчиком клеветы на его жену.

Как повела себя Елизавета Михайловна, когда узнала, что писем было несколько, нам неизвестно. Поэтому нельзя с определенностью предполагать, молчала ли она об этих письмах или, может быть, со свойственной ей активностью

пыталась что-то предпринять для нейтрализации клеветы. По той же причине вряд ли правомерно на основании этой записки, отразившей только первую ее реакцию, обвинять Елизавету Михайловну в эгоцентризме, в том, что она «осталась к Пушкину безучастной». А такое мнение получило распространение среди пушкинистов.

Вернемся к нашим путешественникам. Следующие за первым балом дни также заполнены визитами, встречами, знакомствами, разговорами. Пашу и Катю многое удивляет. Удивляют непривычная темнота, сырость и при этом толпы гуляющих на модной Английской набережной. Удивляет, что здесь во многих домах не принято ужинать. Удивляет поведение Елизаветы Михайловны Хитрово...

Вечер 23 ноября они провели у Прасковьи Михайловны Толстой, старшей сестры Е. М. Хитрово. В письме от 24—28 ноября Паша рассказывала Евдокии: «Сидим мы преспокойно у Кат^и Толстой^и в комнате: я — на большом кресле, Катинька лежит на кушетке, Катя^и Тол^{стая} — на низенькой табуретке между нас. Я ей читаю стихи довольно удачные <...>. Влетает Лиз^{авета} Мих^{айловна} >. Поразила: шея раскрыва; затянута; короткие рукава; перчатки спущены; надеты браслеты. *Что вы делаете, дети мои? Не стесняйся, Катрин, лежи!* В руке у нее кисейный платок с кружевами, стоит 65 руб. Она держит его, *как какая-то трагедийная актриса* — страх смешно! Мы пошли с ней в гостиную, чтобы посмотреть на нее. Заставили меня чи-

тать. Она сидит *в театральной позе. Восхищаясь, выжимает слезы и вытир <ает> ¹ глаза платком. Говорит, что, если б знала, * <что> ² услышит такие трогательные вещи*, взяла бы др <угой> ³ платок, а вот в этом выморкаться нель <зя> ⁴».

На следующее утро графиня Фикельмон, с которой Бакунины уже познакомились, приехала к ним вместе со старшей дочерью Прасковьи Михайловны — Аннетой Толстой поздравить Катю с днем именин, так как 24 ноября — Екатеринбургский день.

В очередном письме мужу Варвара Ивановна, рассказывая о событиях прошедших дней, писала 26 ноября: «У Ел^{изаветы} Мих^{айловны} > познакомилась с графом и граф^{иней} > Фикельмон; он человек очень приветливый и приятный, и она очень мила, *без жеманства, без претензий* и очень ласкова к Паше и Кате, а Ел^{изавета} Мих^{айловна} > *охвачена страстью к Паше*. Их и все ласкают как нельзя более, и на двух балах, где мы были, *их обласкали*, и, как говорят, *они произвели впечатление*. Это было два общества разного разряда: у Танеевых несколько помоднее, нежели у Шишковых, но еще не совсем, а будет бал у гр. Фикельмон, где уж мы увидим *сливки и цвет общества*».

Насыщенным оказалось воскресенье 29 ноября: после обязательного воскресного посещения церкви — поездка в Академию художеств, где выставлена картина К. П. Брюллова «Последний день Помпеи»; обед у Д. А. Державиной, вдовы по-

¹⁻⁴ Фрагменты приходится на утраченный край письма.

эта и двоюродной сестры М. М. Бакунина; затем Варвара Ивановна уже без дочерей едет с визитом к Фикельмонам.

30 ноября Варвара Ивановна писала: «Видели вчера после обеда картину Брюлова. <...> Заходили к нему, но не застали дома, оставили записку. Говорят, он все нездоров и нигде не бывает. Вчера гр <аф> и гр <афиня> Фикельмон жаловались, что не могли его никак к себе залучить».

С Бакуниными К. П. Брюлов близко познакомился в начале этого же года во время пребывания в Москве. С Фикельмонами у художника, похоже, отношения сложились непростые. Он создал впоследствии портреты мужа и дочери Дарьи Федоровны, но ее собственного так и не написал.

В конце письма Варвара Ивановна еще упомянула о визите к Фикельмонам: «Там был князь Бутера, за которого вышла бывшая Шаховская, Шувалова и пр. и пр.'. Он министр неаполитанский при нашем дворе, ему нечем похвастать: при сей верной оказии — холере — у них были ужасные беспорядки. Тут не только не говорили об политике, но даже об Европе, а все об России, об Москве, которая очень нравится и Ф <икельмонам> и Б <утере>».

И в последующие дни — непрерывная череда визитов, обедов, вечеров. 6 декабря Бакунины были на одном из первых представлений оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). 14 декабря на обеде у Дарьи Михайловны Опочининой (еще одной сестры Е. М. Хитрово) видели писателей

В. А. Жуковского и А. Н. Муравьева, «но разговор был самый обыкновенный и самый светский» (из письма В. И. Бакуниной от 16 декабря). Почти каждый день и сами кого-нибудь принимали. 16 декабря у них была Елизавета Михайловна со своей старшей дочерью Екатериной Федоровной Тизенгаузен, любимой фрейлиной императрицы.

21 декабря москвички впервые в жизни попали на раут. На следующий день Варвара Ивановна писала: «в одиннадцатом часу отравились к Опочининым. Было не более еще 40 человек, но мы так и хотели приехать, чтобы видеть, как будут собираться. Говорят, было более 200 или и до 300 гостей, которых звали потолкаться; впрочем толкотня была в зале, где нельзя было продраться, а в гостиных и кабинетах было просторно и даже пусто, и там играли в карты; в шахматы — гр <аф> Литта с *Барантом*, фр <анцузским> послом. Были и прочие иностранные министры, кроме нашего Фикельмона, который нездоров; гр <афиня> Ф <икельмон> была одна. Жаль, что не было Лизав <еты> Мих <айловны Хитрово>, она также больна; хотелось мне ее тут посмотреть».

Приближались рождественские праздники, а с ними — поздравительные визиты, званые обеды, праздничные вечера.

23 декабря Варвара Ивановна «поехала проведать Ел <изавету> Мих <айловну>, которая эти дни лежала в постели. У ней свехалась с гр <афиней> Фи <икельмон>, которая также просила назначить день у ней обедать. Оставался вторник <29 декабря>, потому что в среду надобно

¹ Варвара Петровна Бутера, это был ее третий брак.

обедать у Алек <сандра> Сем <е-новича Шишкова>, а в четверг — у Пр <асковьи> Ми <хайловны Толстой>».

К обеду у Д. Ф. Фикельмон 29 декабря мы и обратимся. Там, как обычно, происходило оживленное обсуждение политических новостей, которыми Варвара Ивановна затем делится



Рисунок
И. Эндера.
Вторая
половина
1820-х гг.

Д. Ф. Фикельмон.

с мужем в письме от 1 января 1837 г.: «Конечно, вы уже знаете, что стреляли по короле Фр <анции> и стеклами ранили его сыновей, когда он ехал * в Палату*. Это произвело для него прекрасное действие, и он и там был принят с восторгом, и на возвратном пути — народом. Это нам читал Пушкин, поэт, у Фикел <ьмон> перед обедом — его заставили, только что получили газету».

Известно, что в эту зиму Пушкин бывал у Фикельмон неоднократно: на рауте 16 ноября, на вечере 6 января, на балу 21 января, но о его присутствии на обеде 29 декабря до сих пор известно не было. Современные

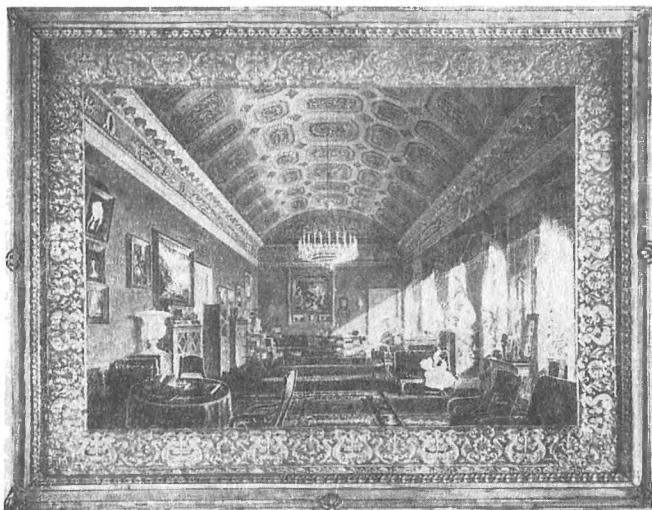
исследователи также с сожалением отмечали, что неизвестно содержание ни одного политического разговора у Фикельмон с участием Пушкина. Письмо Варвары Ивановны впервые, хотя и скупо, сообщает и об этом.

27 декабря (по новому стилю) в Париже было совершено покушение на короля Луи-Филиппа. Молодой человек по имени Жан-Франсуа Менье стрелял в короля из пистолета, когда тот ехал в карете на торжественное открытие заседания Палат. Пуля никого не задела, но разбила стекло в окне кареты, и осколки его оцарапали лица герцогов Орлеанского и Немурского, ехавших вместе с королем. Менье был тут же схвачен, а король продолжил свой путь и с восторгом был встречен членами Палат и публикой, которые уже знали о совершенном на него покушении. На следующий день (28 декабря) об этом было сообщено в парижских газетах, прежде всего в официальных «Moniteur», которая выходила по утрам, и «Journal de débats», причем в последней, в разделе утренних известий, уже цитировалось сообщение из «Moniteur».

В Петербург иностранная почта приходила три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. От Парижа до Петербурга почта шла 12—13 дней, так что как раз во вторник 29 декабря (по старому стилю) в Петербург, вероятно, были доставлены парижские газеты (во всяком случае, «Moniteur») с сообщением о покушении. В петербургских газетах 29 декабря о покушении на французского короля известий еще не было. В «Северной пчеле»

и «Санкт-Петербургских ведомостях» такие сообщения появились 30 декабря, а в «Journal de Saint-Petersbourg» и «St. Petersburgische Zeitung» — 31 декабря. Заметим, что в «Journal de Saint-Petersbourg» это сообщение приводилось со ссылкой на «Moniteur» (в других петер-

ции. В 1830 году он внимательно следил за событиями, развертывавшимися после июльской революции. О Луи-Филиппе, провозглашенном тогда королем, он писал в письме Е. М. Хитрово 11 декабря 1830 года: «Я боюсь, как бы победители не увлеклись чрезмерно и как бы Луи-Филипп не ока-



Гостиная
Д. Ф. Фикельмон
в Петербурге.
Акварель
И. Сотирь.
1835 г.

бургских газетах источник сообщения не указан). Таким образом, весьма вероятно, что заметку именно из этой французской газеты и читал Пушкин вслух перед обедом у Фикельмон.

Что значит «его заставили»? Вряд ли бы Пушкин оказался в роли чтеца, если бы сам не проявил к сообщению о покушении на Луи-Филиппа никакого интереса. Естественнее предположить, что он первым увидел это сообщение, обратил на него чье-то внимание, и его попросили прочитать заметку вслух, так как никто ее еще не видел.

Пушкин всегда интересовался политической жизнью Фран-

зался королем-чурбаном», а 21 января 1831 года — ей же: «Их король с зонтиком подмышкой чересчур уж мешанин». Приступив к изданию «Современника», Пушкин в первом же томе публикует большую подборку материалов о Франции из парижских писем А. И. Тургенева. Характерно, что значительное место в отобранных им для публикации материалах уделено судебному процессу Фиески, организовавшего неудачно закончившееся покушение на Луи-Филиппа 28 июля 1835 г. Можно предполагать, что и интерес Пушкина к заметке о покушении Менье на Луи-Филиппа также не был случайным.

Судя по тону упоминания о Пушкине в письме Варвары Ивановны и по тому, что Катя с Пашей даже не упомянули об этой встрече в письмах к Евдокии, можно предположить, что встреча с Пушкиным не была для них такой новостью, как, например, встреча с Муравьевым и Жуковским. Вероятно, им уже случалось видеть поэта в Москве.

Итак, наступил 1837 год, прошло Крещение, закончились святки, в Петербурге — грипп, но балы, вечера, обеды не иссякали.

*«В субботу <9 января> дочери ездили поздравлять Анеточку Толстую с рождением, заезжали к Катеньке Тизенгаузен и к Опочининым, а я сидела дома <...>. Получила записку от гр<афини> Фи<кельмон> — зовет на вечер, <...> притуалетились и в 11-ть часов поехали к Ф<икельмон>. Ожидали родственный вечер для рождения Анеточки — стоят жандармы. Входим. Жара, теснота — раут, не самый большой, среднего разбора. Потолкались, насилу нашли хозяина и хозяйку. Дети были с кузинами. Кой-кого нашли знакомых и московских: Шереметьеву, гр<афиню> Ростопчину. Многие спрашивали об наших, а об Паше — *с эпитетом: кто эта хорошенькая особа?** А вчера Марья Яковлевна Нарышкина, жена Кирилы Алекс<андровича>, говорила Баркову: **На рауте у графини Фи<кельмон> было две поэтессы: графиня Ростоп<чина> и мадемуазель Бак<унина>**.

В этом письме Варвары Ивановны, писанном 12 января, упоминаются фрейлина Анна Сергеевна Шереметева, поэтесса Евдокия Петровна Ростопчина, обер-гофмаршал двора

К. А. Нарышкин и близкий знакомый Бакуниных Дмитрий Николаевич Барков, театральный критик и переводчик, ныне чиновник, а когда-то гвардейский поручик и вместе с Пушкиным член общества «Зеленая лампа». Пушкинства на этом вечере у Фикельмон не было — Наталья Николаевна была в хлопотах накануне венчания ее сестры с Дантесом, назначенного на 10 января.

Вечер 11 января Бакунины провели у Прасковьи Михайловны Толстой, отмечавшей свой день рождения. Съехались все ее сестры с детьми, в том числе и Е. М. Хитрово с обеими дочерьми. Надо думать, не обошлось без разговоров о состоявшейся накануне свадьбе Дантеса.

А утром в субботу 16 января Варвара Ивановна писала мужу: *«В четверг <21 января> у Ф<икельмон> бал. Прислали билет спозаранку, чтобы успели приготовиться. Но на этом бале двора не будет, а потом будет другой бал для двора».* За день до бала, 19 января, Варвара Ивановна с Катей поехали «к Ел<изавете> Мих<айловне> Хитровой, у которой бывает *кружок* с 3-х часов пополудни до 5-ти. Мы просидели до пятого <часа>. Были разные фигуры, но мне хотелось видеть и Элизу и гр<афиню> Ф<икельмон> перед балом, чтобы шутя просить покровительства москвичкам в таком большом и незнакомом обществе, а Ел<изавета> Ми<хайловна> — мастерица этого дела». Это из письма Варвары Ивановны от 20 января, а Катя в письме к Евдокии сразу же по возвращении от Е. М. Хи-

трово так описывала этот визит: «Мы просидели часа с полтора. Была графиня Фикельмон да еще семь мужчин. Ну, уж какие уроды и почти все точно разбойники! Один — француз, и я думала, что ты теперь окружена эдакими фигурами. Он очень недурен, но одет или, лучше <с> казать, причесан, точно русский мужик. <А>² борода-то! Ежели у вас в Париже эдак <...>³, то тебе должен быть префрия <тны> и¹ сувенир России». В России в это время дворяне, находившиеся на военной или штатской службе, бород не носили.

И вот — четверг 21 января. «В десять часов оделись по-балльному и поехали к Пр<асковье> М<ихайловне> Толстой, которая хотела видеть туалет Паши и Кати и мой, об котором очень заботилась. <...> Мы отправились в одно время с Анеточкой <Толстой>, которая заезжала за Ел<изаветой> Мих<айловой>, и мы вслед за ними приехали к послу».

На этом я прерву письмо Варвары Ивановны от 23 января, чтобы отметить один факт, вроде бы не очень существенный, но все-таки представляющий интерес. Дело в том, что среди пушкинистов бытует мнение, будто Елизавета Михайловна Хитрово примерно с 1831 года и до своей кончины в 1839 году постоянно жила в доме дочери — графини Фикельмон. Приходится предположить, что это не всегда было так и что зимой 1836/37 года, во всяком случае, они жили врозь. Если читатель взглянет чуть назад, то увидит, что, описывая свой визит к больной Е. М. Хитрово 23 де-

кабря, Варвара Ивановна писала: «у ней съехалась с графиней Фикельмон», то есть дочь тоже приехала (а не пришла из другой комнаты или с другого этажа) к Елизавете Михайловне. И в последнем письме, цитирование которого я только что прервал, сказано, что по дороге к Фикельмон Аннета Толстая захала за Е. М. Хитрово и они все вместе приехали к дому австрийского посла. А если это так и если Елизавета Михайловна в эту зиму жила не в доме Фикельмон, то позволю себе на некоторое время возвратиться к анонимным письмам, адресованным Пушкину в ноябре 1836 году.

В 1971 году было опубликовано донесение о гибели Пушкина, отправленное из Петербурга Геверсом, голландским поверенным в делах, в котором он, в частности, писал: «Задолго до гибельной дуэли анонимные письма на французском языке, марающие добродетель его жены и выставляющие Пушкина в смешном виде, были разсланы всем знакомым поэта, либо через неизвестных слуг, либо по <городской>¹ почте. Некоторые пришли даже из провинции (например, письмо к госпоже де Фикельмон), причем под адресом, явно подделанным почерком, стояла просьба передать их Пушкину».

Опубликовавший донесение Н. Я. Эйдельман писал: «Это единственное известие об анонимном пасквиле против Пуш-

¹ В публикации слова «городской» не было, но во французском тексте — «le petit poste», что переводится именно как «городская почта». Это существенно для дальнейшего.

¹⁻¹ Фрагменты приходятся на утраченный край письма.

кина, полученном женой австрийского посланника <...>.

Подробности о самом пасквиле, разных почерках на конверте и прочее обнаруживают значительную осведомленность нидерландского дипломата во всей этой истории. Поэтому почти не вызывает сомнения, что существовал экземпляр диплома, отосланный Д. Ф. Фикельмон».

Однако не все согласились с этим выводом, выдвигая против него следующие контраргументы. Во-первых, Е. М. Хитрово жила в доме Фикельмон; известно, что она получила анонимное письмо, следовательно, письмо, адресованное в дом Фикельмон, было предназначено не ее дочери, а ей, а Геверс этого просто не знал. Во-вторых, Геверс ошибается, когда пишет, что просьба передать письмо Пушкину была написана прямо под адресом, так как все анонимные письма посылались в двойных конвертах и эта просьба была написана на внутреннем конверте, следовательно, Геверс имел недостаточно точную информацию об этих письмах. Наконец, в-третьих, из дневниковой записи графини Фикельмон известно, что она не знала точного содержания пасквиля, следовательно, она его «не держала в руках».

Публикуемые письма Варвары Ивановны Бакуниной ставят под серьезное сомнение справедливость первого контраргумента, а я позволю себе сказать несколько слов и о двух других.

Действительно, все анонимные письма, сведения об оформлении которых дошли до

современных исследователей (до опубликования донесения Геверса), рассылались в двойных конвертах, но общим для них является и то, что все они были доставлены по городской почте. В донесении же Геверса слова о том, что просьба о передаче письма Пушкину находилась прямо под адресом, вполне определенно относятся именно к письмам из провинции, так как если соответствующую французскую фразу перевести менее литературно, но ближе к тексту, то она будет звучать примерно так: «Некоторые пришли даже из провинции (например, письмо к госпоже де Фикельмон) и несли под адресом, явно искаженным почерком, просьбу передать их Пушкину».

Отличаясь от писем, присланных по городской почте, каналом доставки, письмо, полученное Фикельмон, могло отличаться от них и своим оформлением. Действительно, отправление по городской почте одновременно нескольких писем, адресованных разным лицам, с написанной прямо на внешнем конверте просьбой передать их Пушкину, могло бы привлечь к ним нежелательное для посылавших внимание до того, как письма дойдут до адресатов. В то же время посылка письма из провинции в Петербург на имя лица, адрес которого автору письма известен, с просьбой (прямо на конверте) передать письмо другому лицу, адрес которого писавшему неизвестен, — это было тогда обычным явлением и не должно было привлечь ничего внимания.

Наконец, о неосведомленности графини Фикельмон относительно содержания анонимного пасквиля. Заметим, что Е. М. Хитрово, несомненно, уж «держала в руках» этот пасквиль, но ведь она тоже не знала точного его содержания, так как он был запечатан в конверте, и получила представление о нем только из письма Пушкина. Это же полностью можно отнести и к графине Фикельмон, которая (если она действительно получила письмо, адресованное Пушкину), конечно, также не распечатывала его, а следовательно, не могла знать и его содержания, хотя в отличие от Елизаветы Михайловны не передала этого письма поэту. Возможно, именно мать и предупредила ее, уже получив ответ от Пушкина, тем более что анонимное письмо, отправленное не по городской почте, а из провинции (даже хотя бы пригорода), могло быть доставлено не только несколькими часами, но даже и несколькими днями позже.

Итак, между сообщением Геверса и другими известными фактами видимых противоречий не обнаруживается.

Но от истории с анонимными письмами вернемся к рассказу о бале в доме Фикельмон 21 января. Мы оставили Варвару Ивановну с дочерьми и Аннесту Толстую с Е. М. Хитрово при подъезде к дому австрийского посла на Дворцовой набережной.

*«Вместо лестницы, устланной коврами и украшенной цветами, где по обеим сторонам стоят лакеи (*целая галерея*), ведут нас на грязное крыльцо, встречают мужики с салыми огарками, — точно во сне, но*

*зато вошли через спальню. Это было сделано, чтобы не попасть в веревку. Большой бал, великолепный. Как всегда бывает, — тесно, жарко. Богатые наряды, много брильянтов, все послы и министры, но мужчины — ленты по камзолу. Гр<афиня> Ф<икельмон>, Ел<изавета> Мих<айловна> и Анеточка нянчились с П<ашей> и К<атей>, представляли им кавалеров, и они много танцевали. После мазурки мы уехали — было уже три часа» (из письма В. И. Бакуниной от 23 января). В этот вечер Паша и Катя могли увидеть Пушкина и его красавицу жену, но, вероятно, не увидели. Уже после гибели поэта, 2 февраля, Паша писала об этом бале Евдокии: «был большой <бал> у *Фикельмон*. Народу — тьма, *преблистательно*, тесно, жарко, скучно, хотя и танцевали». Это был один из последних балов, на котором присутствовал Пушкин. Решение о дуэли еще не принято, но до нее осталось уже меньше шести дней...*

И вот наступила среда 27 января 1837 года, но почти никто в Петербурге не подозревал о назревавшей трагедии. *«В среду по обыкновению обедали у Ал<ександра> Сем<еновича> Шишкова, чай пили и ужинали у брата» (из письма В. И. Бакуниной от 30 января). В этот вечер известие о дуэли и ранении Пушкина не успело еще распространиться широко, но на следующее утро эта весть разнеслась уже по всему городу.*

Узнала Елизавета Михайловна Хитрово, кинулась к раненому поэту. Александр Иванович Тургенев в письме-дневнике, писавшемся прямо в квартире Пушкина, отметил: «2-й час полудни. <...> Пушкин сам се-

бе пощупал пульс, махнул рукой и сказал: «смерть идет». <...>

Приехала Е. Мих. Хитрова и хочет видеть его, плачет и пеньет всем; но он не мог видеть ее.

Два часа. Есть тень надежды, но только тень <...>».

Кроме А. И. Тургенева, в квартире в это время находились также Жуковский, Вяземские, Виельгорский, Данзас. От них Елизавета Михайловна наверхня узнала подробности о дуэли, о состоянии поэта и, вероятно, отправилась к дочери — графине Фикельмон (во всяком случае, на следующий день она поступила именно так). От них эти подробности стали известны, конечно, и другим их родственницам, в первую очередь, надо думать, Праксovie Михайловне и Аннете Толстым, с которыми они были особенно близки. У Толстых в этот день обедали Бакунины. За обедом, без сомнения, дуэль была основной темой разговора.

29 января, в тот же час, что и накануне, Елизавета Михайловна вновь приехала к умирающему поэту, и А. И. Тургенев отметил в очередном письме-дневнике: «1 час. Пушкин слабее и слабее. <...> Приезжает сей час Элиза Хитрова, входит в его кабинет и становится на колена». Когда она покинула квартиру поэта, он был еще жив, но жизни его оставалось меньше часа. Варвара Ивановна перед обедом поехала к графине Фикельмон и застала у нее Елизавету Михайловну, но весть о кончине поэта в этот день до Бакуниных еще не дошла.

Утром 30 января Варвара Ивановна села писать мужу

письмо с изложением дуэльной истории.

«<Те> перь¹ во всех обществах <...>² разговор об ужасном дуэле Пушкина и об его неизбежной кончине. Не знаю, жив ли он еще, но говорили, что до нынешнего дня не проживет. Я вчера поутру³ была у гра<фини> Ф<икельмон>, которая с своего бала все нездорова, и нашла там Ели<завету> Мих<айловну>, которая в отчаянии. Она была у Пушкина поутру и говорит, что он * в агонии. Вся эта история ужасна* и точно во вкусе нынешних романов. Рассказывают подробности различным образом, но вот главные обстоятельства. * Дантес*, француз из Эльзаса, появился <здесь!?!>⁴ два года назад, имел ре<коменда>цию⁵ и принят в кавалергардский полк офицером. Говорят лов<ок>. Я его !?!>⁶ не видала. Пушкин <приревновал?!>⁷ его к жене и хот<ел с>⁸ ним драться. Он отказался от дуэля и объявил, что он влюблен в старшую сестру Пушкиной, Катерину Гончарову, которая тотчас согласилась за него выйти, быв, говорят, в него влюблена. Свадьба их была после Крещения. Пред оной голландский министр при нашем дворе его усыновил, дал имя *барон Эжерн* и все свое имение ему упрочил. Об свадьбе этой поили толки: иные говорили *это — трусость*, другие — великодушие, что он пожертвовал собой для оправдания и спокойствия той, в которую был влюблен. Впро<чем>⁹, говорят,

¹ „ „ — Фрагменты приходится на утраченный край письма.

² Чтобы слово «поутру» не вводило читателя в заблуждение, напомним слова П. А. Вяземского о том, что утра Е. М. Хитрово продолжались «от часу до четырех пополудни».

что она виновата только от простоты и легкомыслия, потому что сама, говорят, <сказал?!> а¹ мужу, что *Дантес* ею еще <...> ется², хотя и женат на ее сестре. Вдобавок Пуш<кин по>лучил³ по городской почте <неско>лько⁴ без подписи писем, где самыми колкими словами над ним шутили. Он взбесился и написал письмо к названному отцу барону Эжерну, где разругал их обоих и закончил тем, что ежели после этого он не пойдет с ним драться, он ему плюнет в глаза при первой встрече, где бы то ни было. 27-го числа они дрались на пистолетах на Черной речке. Секундантами были у Пушкина — Данзас, брат московского Д<анзаса>, а у Дантеса — француз из миссии *Д'Аришак*. У Дантеса прострелена рука и контузия в грудь или бок, не помню. У Пу<шкина пул>я⁵ в животе. Ее <...>⁶ <хот>ели⁷, Арндт сказал, что это будет лишнее и напрасное мучение. Пушкин просил Жуковского ехать от него к государю испросить ему прощенье, также и Данзасу, и Дантесу, и покровительства жене и детям. Государь отвечал, что ему прощает и ежели богу угодно, чтобы он более не видал в сем мире, то желает, чтобы он умер христианином, а жену его не оставит, а дети будут его детьми. На просьбу об Дант<есе> и Данз<асе> ничего не сказал, почему и полагают, что они будут наказаны. Все жалеют об Пушкине как об чело<веке>⁸, который делал честь России. Многие взбешены на Да<нтеса>⁹, а многие и за него вступаются. Пушкина тоже нельзя оправдать: сгубить себя, жену, детей и бедную свояченицу, которая богу душой не виновата. Пушкин исповедовался и приобщился. Подумал ли он об этом прежде или только исполнил желание государя,

не знаю. Вот вам самое истинное повествование об несчастном и ужасном этом случае. Для того так подробно написала, чтобы вы могли опровергнуть разные глупые подробности, которые, вероятно, будут ходить по Белокаменной. Очень жаль Але<ксандра> Серге<евича>, хотя с некоторого времени его дарование дремало. Может быть, от этих домашних тревог, которые его мучили. Я полагаю, что не <столь> ко¹⁰ любовь и ревность его побудили, как оскорбленное насмешками самолюбие. Кабы можно узнать этих анонимов, право, не грех порадоваться их наказанию».

В последние дни января Петербург прощался с поэтом. Отпевание было назначено на 1 февраля. В этот день Катя делает приписку к письму Варвары Ивановны: «Пушкин умер в пятницу в 3 часа пополудни. Сегодня его отпевают в Адмиралтействе, а хоронить повезут в деревню к отцу в Псковскую губернию. Государь взял на себя долги, что на этой деревне, и еще дал жене его 6 тысяч пенсиону, дочерям — по 3, а сыновьям — по полторы, а у него два сына и две дочери».

А 2 февраля сестры пишут письмо Евдокии в Париж: «Верно ни одного француза не примут в русскую службу по ужасной истории *Дантеса* и его дуэли с Пушкиным, который через два дня умер. Этот *Дантес* был принят в службу в Кавалергардский полк. *Он влюбился в мадам Пушкину*. Пушкин это заметил, а что еще хуже — получил тьма писем *анонимных по городской почте* и какое-то приглашение в общество *обманутых мужей*. Это вывело его из себя*. Он спросил *Дантеса*, зачем

^{1—10} Фрагменты приходятся на утраченные края письма.

так часто у него бывает. Он сказал, что влюблен в сестру его жены. Ну, так женитесь! Тот женился. Иные говорят — *из великодушия, чтобы спасти репутацию Пушкиной, другие — чтобы не драться*. Но что всего ужаснее, что через недели две или еще менее после свадьбы они дрались. Ту <т>¹ опять столько разных рассказов, но <...>² говорят, что *Пушкин* просил жену с н <им>³ не говорить и застал, что она <...>⁴ говорит и смеется с ним, а что <хуже?!>⁵ — продолжались письма, и она сама ему сказала, *что, несмотря на то, что он женат на ее сестре, он всегда смотрит на нее*. Какова дура! Когда уж он взбешен. *Все обвиняют ее в кокетстве и глупости. Пушкин, умирая, говорил, что она не должна упрекать себя за дуэль, что она неповинна*. Но все-таки она виновата. Какой ужас! *Она — причина его смерти*. Он просил государя об ней, об детях. Им даны пенсии, но об прощении его секунданта государь не отвечал, а до похорон велел на место ареста быть ему при теле и всех принимать. Вчера его отпевали. *Была, говорят, толпа. Все иностранные министры. Его положили в склеп и увезут, чтобы похоронить в его деревне в Псковской губернии*. Непонятно, как сестра ее вышла замуж. Нельзя, чтобы она не знала. Все знали, что он влюблен в Пушкину. Есть люди, которые оправдывают ее, *находят ее интересной, преследуемой, винят Пушкина, его африканский нрав. Говорят только об этой истории. Но она ужасна тем, что дрались два свояка*).

4 февраля и Варвара Ивановна сообщала мужу: «На похоронах Пушкина было несметное множе-

ство не только из аристократического сословия, но даже и народу. Сперва отпевание было назначено в Адмиралтейской церкви, и туда звали по билетам, а потом переменяли и отпевали в Конюшенной, а часть народа ждала у Адмиралтейства. Звали архиереев, но не поехали, да мне кажется — напрасно и звали: это было бы неприлично. Также и речи никакой не говорились».

Тем временем известия о дуэли и кончине Пушкина достигли Москвы, и здесь, как и предполагала Варвара Ивановна, они начали обрастать домыслами. Не получив еще письма от 30 января, М. М. Бакунин писал жене из Москвы в тот же четверг 4 февраля: «Обищий здесь разговор — о трагической кончине Пушкина. К прискорбию — истинный роман в новейшем вкусе просвещенного время. Вариантов много, в заключение — что супруга пошла в монастырь. Он имел талант. Я надеялся, что лета и опытность образуют его и насчет религии и что он обратит многих из тех, которых прежде...» Эта фраза в письме Михаила Михайловича так и осталась недописанной. Слух об удалении Натальи Николаевны в монастырь держался в Москве упорно, и даже через неделю, 11 февраля, Н. В. Станкевич писал из Москвы в Петербург Я. М. Неверову: «Говорят здесь, будто она посажена в монастырь».

Получив письмо мужа, Варвара Ивановна отвечала ему 8 февраля: «Об Пушкине уже меньше теперь говорят, и хотя жена идет в монастырь, это уж сочинено в Москве». Это — последнее упоминание о Пушкине в переписке Бакуниных этой зимы.

¹—⁵ Фрагменты приходится на утраченный край письма.

Позволю себе прокомментировать некоторые из их сообщений о Пушкине (опытные пушкинисты, думаю, извлекут из этих сообщений значительно больше).

В письме от 30 января Варвара Ивановна отмечает, что графиня Фикельмон «с своего бала все нездорова», т. е. с 21 января, надо полагать, никуда не выезжает. Н. А. Раевский, подробно анализировавший взаимоотношения Д. Ф. Фикельмон и поэта, пишет: «Ее мать могла войти в кабинет Пушкина и при всех опуститься на колени перед умирающим гением. Жена австрийского посла не могла себе этого позволить». Может быть, это и так, но не исключено, что графиня не навестила раненого поэта только потому, что была больна.

Выскажу еще одно предположение. В 1908 г. в шестом выпуске сборника «Пушкин и его современники» была опубликована записка на французском языке, адресованная неизвестной женщиной А. И. Тургеневу. Вот ее начало: «Я больна, совершенно больна; когда Вы пойдете к князю В <яземс> кому, моему соседу, зайдите ко мне, прошу Вас; я хотела бы видеть Вас не затем, чтобы Вы говорили о печальном дуэльном деле, но буду рада видеть Вас ради Вас самих». Дальше говорится об отношении пишущей к этой дуэли. Судя по всему, писалось это 29 января. Не была ли автором этой записки графиня Фикельмон? Факты, упомянутые в записке («я больна», «Вяземский, мой сосед»), а также то, что известно об отношениях А. И. Тургенева и Д. Ф. Фикельмон, не противоречат тако-

му предположению, но и недостаточны для его подтверждения. Наверное, следует попытаться разыскать эту записку (если она сохранилась) в архиве Тургеневых в Пушкинском Доме и сличить почерк, которым она написана, с почерком графини Фикельмон.

Остановимся снова на анонимных письмах. Варвара Ивановна пишет об анонимных письмах, послуживших якобы непосредственным поводом для написания Пушкиным письма Геккерену, которое привело к дуэли, т. е. о каких-то январских анонимных письмах. Можно было бы предположить, что она просто не разобралась и в своем рассказе перенесла ноябрьские анонимные письма в январь. Но в письме Паши вполне определенно говорится отдельно об анонимных письмах, приведших к свадьбе Дантеса, т. е. о ноябрьских, причем она явно имеет достаточно правильное представление об их содержании («какое-то приглашение в общество обманутых мужей»), и отдельно — об анонимных письмах («продолжались письма»), полученных якобы Пушкиным уже после свадьбы Дантеса.

Существовали ли январские анонимные письма, до сих пор остается неясным. Неопределенность сведений о них может быть объяснена тем, что в отличие от ноябрьских писем, полученных не только Пушкиным, но и другими людьми, январские (если они действительно существовали), согласно всем известным сообщениям, посылались только самому Пушкину, а следовательно, в обществе и не могли знать о них столько

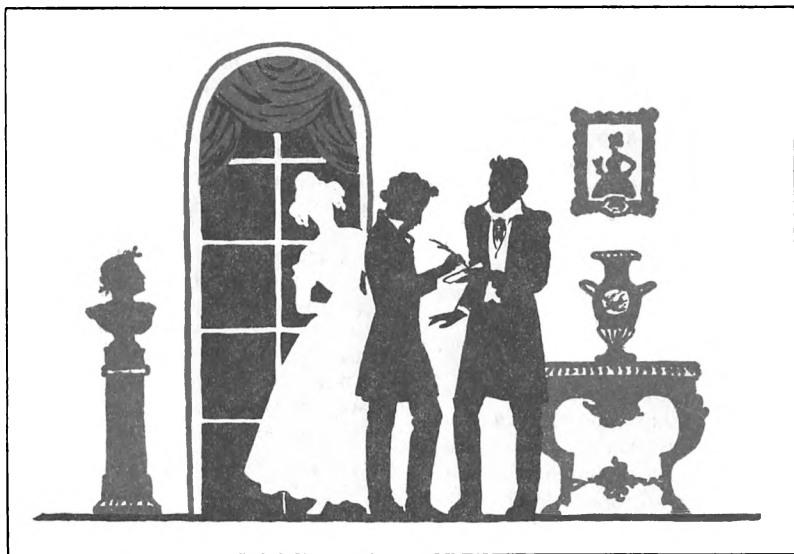
же, сколько о ноябрьских. Хочется еще раз привлечь внимание к следующему факту.

П. Е. Щеголев в своей книге «Дуэль и смерть Пушкина» опубликовал биографический очерк Дантеса, написанный внуком последнего. Из этого очерка, в частности, видно, что, согласно семейной традиции Геккеренов, восходящей, несомненно, к самому Дантесу и его приемному отцу, *единственной* причиной, побудившей Пушкина написать последнее оскорбительное письмо барону Геккерену, считается получение поэтом в январе многочисленных анонимных писем. Умный и расчетливый Геккерен вряд ли стал бы поддерживать версию о январских письмах как о единственной причине, вызвавшей дуэль, если бы таких писем вовсе не было. Вероятно, он был уверен в их существовании. Именно Геккерены могли узнать об этих письмах скорее, чем кто-либо другой. С одной стороны, могла рассказать о них

Александрина Гончарова, которая жила в доме Пушкина, была хорошо осведомлена обо всем, что там происходило, и в то же время, хотя и нечасто, бывала в доме Геккеренов, навещая сестру. С другой стороны, не был ли сам Геккерен причастен к появлению январских анонимных писем? Не было ли это одним из способов его мести Пушкину? Все это, конечно, предположения, но существование январских анонимных писем представляется все-таки вероятным.

Я не стану комментировать мнение Варвары Ивановны о Пушкине или мнение Паши о Наталье Николаевне, так как эти мнения не опираются на близкие личные отношения. Но эти мнения доносят до нас живое эхо петербургских гостиных тех дней, так же, как все эти письма доносят до нас атмосферу той трагической петербургской зимы. И в этом их основное значение.





МАДРИГАЛ КНЯЗЮ ШАЛИКОВУ

А. Никитин

I

В собственный дом Петра Вяземского, что стоял в Чернышевском переулке Москвы¹, почтальон доставил письмо из села Михайловского. Еще томившийся в ссылке Пушкин писал 19 февраля 1825 года: «Литература мне надоела — прозы твоей брюхом хочу». Но главное было в другом — в радостном известии о том, что состоялось рождение нового литературного героя Евгения Онегина, которому суждена была долгая и славная жизнь. «Онегин напечатан, думаю, уже выступил в свет, — писал Пушкин. — Ты увидишь в Разговоре Поэта и Книгопродавца мадригал князю Шалико-

ву. Он милый поэт, человек достойный уважения, и надеюсь, что искренняя и полная похвала с моей стороны не будет ему неприятна. Он имянно поэт прекрасного пола». И далее явная ирония по-французски: «У него большие заслуги перед прекрасным полом, и я очень рад, что публично об этом заявил» (XIII, 144—145)¹.

Пусть не удивляет современного читателя, что Пушкин, говоря о Евгении Онегине, говорит одновременно и о своем знаменитом «Разговоре книгопродавца с поэтом». Дело в том, что «Разговор...», публикуемый теперь отдельно, первоначально

¹ Этот дом стоит там до сих пор (ныне улица Станкевича, 9).

¹ Цитаты приводятся по академическому Полному собранию сочинений Пушкина в 16 томах. Цифры римские означают том, арабские — страницу.

печатался как полемическое вступление к роману в стихах. Вступление оказалось важным для всей истории русской литературы. Пушкин обнажил два полярных взгляда на поэзию преддекабристской эпохи: как на честное и свободное служение высоким гражданственным идеалам общества и как на легкое, развлекательное чтение в угоду скучающих дам и девиц. Пушкин иронически относился к слащавым стихам, которые писал московский поэт и журналист Шаликов. Хотя для кого-то эти вирши еще и казались милыми, зато были слишком уж пусты и старомодны.

Но сердце женщин славы
просит:
Для них пишите; их ушам
Приятна лесть Анакреона:
В молодые лета розы нам
Дороже лавров Геликона.

Петр Иванович Шаликов, выходец из обедневших грузинских князей, писал свои слезливые стихи не только по призванию, но и по ... обязанности. Он был издателем московского «Дамского журнала» отчасти псевдосентиментального, отчасти псевдоромантического направления. Программа журнала определялась им как проповедь «нежной чувствительности, сопряженной с моралью». Но еще любопытнее, что сей образец запоздалого сентименталиста, в жизни порой очень раздражительный, будучи военным, штурмовал в молодости Очаков, усмирлял бунтовавших крестьян в Тульской губернии.

Князя-поэта нередко высмеивали не только молодые вольнолюбивые романтики, но и ли-

тературные «староверы». Будучи неудачным эпигоном сентиментализма, он компрометировал сходящее уже с исторической арены это литературное направление. Шаликов же часто воспринимал адресованные ему эпиграммы и мадригалы за похвалу.

Откровение Пушкина в письме к Вяземскому станет особенно понятным, если вспомнить, что литературный соратник и друг поэта еще в 1811 году написал одну из самых ядовитых сатир на Шаликова — «Отъезд Вздыхалова».

С собачкой, с посохом,
с лорнеткой,
И с миртовой от мошек веткой,
На шее с розовым платком,
В кармане с парой мадригалов
И чуть с звенящим кошельком
По свету белому В з д ы х а л о в
Пустился странствовать
пешком...¹.

С тех пор меткая кличка Вздыхалов прочно пристала к Шаликову. Позднее Вяземский хотел продолжить описание сих сатирических странствий, в частности, изобразить встречу своего Вздыхалова с Фигляриным (Булгариним), другими литературными противниками пушкинской плеяды. Замысел остался неосуществленным.

Но при чем тут Анакреон? Древнегреческий придворный поэт не жалел красок, воспевая праздную жизнь и чувственную любовь. Противопоставляя лесть и розы Анакреона лаврам Геликона, вершины истинной поэзии, Пушкин как бы говорил и о своем собственном возмужании, и о возросшей гра-

¹ Вяземский П. А. Сочинения, т. I.—М., 1982, с. 43.

жданственной зрелости российской поэзии накануне восстания декабристов. В этой ситуации поиск издателем Шаликовым анакреонтических стихов, коим отдал некогда дань и юный Пушкин, значительно усложнялся.

Да и многое надо было менять в художественном воспитании женщин. Изъяны этого воспитания как раз и нашли яркое отражение не только на страницах «Разговора...», но и на страницах «Евгения Онегина». Поэтому Пушкин, наверное, и назвал свой полемический «Разговор...» мадригалом князю Шаликову и, конечно, всем тем, кто разделял его взгляды.

II

Как отнесся сам адресат к пушкинскому мадригалу?

Своеобразным ответом на этот вопрос нам послужит со вкусом (так и хочется сказать: с дамским вкусом) переплетенная книга-конволют из восьми отдельных первоизданных глав «Евгения Онегина», бережно хранимая ранее в семье Шаликовых, а ныне — в фонде редких книг научной библиотеки Московского университета. А оказалась она здесь сравнительно недавно вместе с личной библиотекой покойного профессора МГУ, историка К. В. Базилевича¹. К сожалению,

сам он ничего не успел написать о своей находке.

Возьмем теперь в руки и развернем эту редчайшую книгу-коллекцию. Шаликов сумел за восемь долгих лет издания глав «свободного романа» подобрать их одну к одной. И не просто подобрать. Под



Князь Шаликов.
Рисунок Пушкина.
1829 г.

красочной оранжевой обложкой сохранился на предтитульном листе автограф чернилами: «От Автора. А. Пушкин». Над автографом в верхнем правом углу листа, но уже другой рукой сделана пометка на французском: «Февраль 1832». Ниже пушкинского автографа чернилами и тоже по-французски начертано: «Наталье Шаликовой».

¹ Семья К. В. Базилевича, согласно его завещанию, передала в библиотеку МГУ 304 экземпляра книг. Среди них есть и другие издания пушкинской поры. (Подробнее см.: Карпова Е. С. Прижизненные издания А. С. Пушкина в собрании отдела редких книг научной библиотеки Московского университета. — Сб.: Из истории фондов научной библиотеки Московского университета. М., 1978, изд. МГУ, с. 49—71.)

Место, на которое нанесен пушкинский автограф, словно говорит о том, что поэт держал в руках уже переплетенный оранжевый томик своего романа, составленный из отдельных глав. Первая из них вместе с «Разговором книгопродавца с поэтом», о чем Пушкин спешил сообщить в письме к Вяземскому, вышла в Петербурге в начале 1825 года. Разрешение на публикацию цензора А. Бирукова было получено 29 декабря 1824 года.

С третьей главы «свободного романа» вместо цензорской подписи появляется строка: «С разрешения правительства». Началось личное цензурирование царем, а чаще Бенкендорфом пушкинских произведений. Восьмая, заключительная глава поэмы, тоже вклеенная в конволют, вышла из печати в начале 1832 года под заголовком «Последняя глава Евгения Онегина». Когда же именно появилась новинка в продаже? Вопрос закономерен потому, что в оранжевом конволюте Шаликовых она была уже переплетена вместе с другими главами в феврале 1832 года.

Заглянем в выходные данные главы. Итак, цензурное разрешение получено 16 ноября 1831 года. А уже 30 января 1832 года в «Московских ведомостях» появилось объявление московского книгопродавца А. Ширяева о поступлении в его магазин последней главы «Евгения Онегина». Заметим, что Шаликов был одновременно и редактором «Московских ведомостей». Известие о выходе в свет восьмой главы, а равно и саму главу он мог получить от Пушкина из Петербурга или из рук того же

книгопродавца Ширяева раньше, чем появилось извещение в газете.

Но один вопрос все-таки остается открытым: пушкинский автограф и надписи на французском, видимо, сделаны не сразу. Дата как раз и рождает это предположение. Пушкина не было в Москве в феврале 1832 года. Автограф мог появиться или раньше этой даты, скажем, на одной из предтительных страниц любой главы «Евгения Онегина», скорее всего первой, которая стала потом предтительной страницей ко всему конволюту, или уже после его переплетения начертанную рукою Пушкина. Поэт в тридцатые годы бывал в квартире Шаликова, которая находилась в одном доме с университетской типографией на Страстном бульваре (ныне дом 10). В письме Вяземского к В. Ф. Одоевскому от 1 сентября 1837 года говорилось, что Пушкин посылал Шаликову журнал «Современник» в качестве подарка¹. Мог посылать и предыдущие свои издания — для ознакомления и рекламы.

В редактируемых Шаликовым изданиях печатались обычно восторженные отзывы о пушкинских произведениях. Восторженными, скорее комплиментарными, были и стихотворные послания к Пушкину самого Шаликова. Преклонялись перед лирой Пушкина и дочери Шаликова — Софья и Наталья, которые были, наверное, тоже знакомы с поэтом. Кстати, одна из владелиц оран-

¹ Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. — Л., 1975, с. 466.

жевого конволюта с пушкинским автографом, Наталья Шаликова, стала писательницей, выступавшей под псевдонимом Е. Нарская. А переплетен был онегинский конволют как раз в пору ее семнадцатилетия. Наталья родилась 2 февраля 1815 года. Возможно, с этим событием и связано появление надписей, как видим, до конца еще не расшифрованных.

А все ли ясно в пушкинском печатном тексте, скажем, в том же «Разговоре книгопродавца с поэтом»? Современники наши, несмотря на письмо Пушкина к Вяземскому, увы, все же не считают это стихотворение «мадригалом князю Шаликову». И потому, наверное, что в самом стихотворении нет прямого упоминания имени сентиментального князя. Во всяком случае, несколько поколений школьников, как и прочих читателей, это имя там не находят. А оно между тем было. И в белой пушкинской рукописи 1824 года, и в первом печатном варианте 1825 года, подаренном Шаликову.

Под оранжевым переплетом мы теперь и находим эту строку в рифмованной свите других пленительных пушкинских строк:

Самолюбивые мечты,
Утехи юности безумной!
И я, средь бури жизни шумной,
Искал вниманья красоты.
Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои...
Но полно! в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет;
Пускай их Шаликов поет,
Любезный баловень природы.

И тут вроде бы все становится ясным. Несмотря на колебания Пушкина, когда в черновиках он вставлял вместо фамилии то одну букву «Б» (Батюшков), то одну только «Ш», в первом печатном издании было полностью набрано: «Пускай их Шаликов поет, любезный...» Вот почему, наверное, в столь красочный наряд и одели Шаликовы свой конволют, вот почему берегли его как величайшую драгоценность, передавая из поколения в поколение. Увы, не каждый литератор, современник Пушкина, удостоивался столь любезных мадригалов!

III

Но что произошло потом? Почему исчезло имя Шаликова из адресованного ему же мадригала? Пушкин спустя десятилетие заменил эту строку более обобщенной: «Пускай их юноша поет...» Так и печатается до сих пор. Наверное, Пушкин посчитал не вполне уместным противопоставление элегий Батюшкова и Жуковского, как и ранних своих, элегиям Шаликова. Слишком уж большой была дистанция сравнений, а запальчивая, хотя и весьма учтивая ирония — не совсем понятной для тысяч российских читателей, далеких от тонкостей внутрилитературных отношений. И Пушкин оказался прав. Мало кто из читателей знает сегодня поэта Шаликова, читая преподнесенный ему когда-то пушкинский мадригал.

Загадочными на первый взгляд могут показаться и довольно многочисленные поправки карандашом в тексте поэмы. Особенно их много в пятой гла-

ве «Евгения Онегина», где описывается сон Татьяны. Поправки улучшают текст, дополняют его пропущенными словами. Что это? Своеобразное «соавторство» седовласого Шаликова или его семнадцатилетней Натальи? Вопросы разрешаются просто: читатели скрупулезно учли все те поправки, которые давал сам автор при публикации последующих глав. Что ж, похвально столь пристальное внимание даже к пушкинскому списку опечаток, которое проявили в доме Шаликовых.

А вот дополнения к строфам второй главы, сокращенным в печатном тексте, намного интереснее. Робкий карандаш нанес еле-еле различимое теперь начало шестистишия:

Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

Из наборного текста эти строки, намекающие о «бессмертной семье» декабристов, были исключены, видимо, по цензурным соображениям. Не было этих строк и в издании сочинений Пушкина 1838 года. Но они были в беловом автографе поэта, были в бесцензурных списках второй главы, ходившей по рукам. Надо иметь в виду, что вторая глава поэмы издавалась в Москве в 1826 году через посредство друга поэта С. Д. Полторацкого.

В связи с этим важно свидетельство П. И. Бартенева о том, что сам Полторацкий показывал ему тетрадь, в которую были занесены вторая глава «Ев-

гения Онегина» и отрывки из третьей. Тетрадка была написана так тщательно, заметил Бартнев, «что я полагаю, что она литографирована»¹. Не из такого ли московского списка бесцензурного пушкинского текста и появились потаенные строки в оранжевом шаликовском конволюте?

Цензура губила многие строки Пушкина и даже (смешно подумать!) предъявляла претензии к политически безобидным творениям Шаликова, к его тишайшему «Дамскому журналу». Однажды московские литераторы ради шутки пустили слух, что Шаликова назначают... цензором. Слух дошел до Петербурга. Начальник тайной полиции Фон-Фок решил навести надлежащие справки. Отзыв у жандармов был неслестным. А потому Пушкин, по свидетельству того же Соболевского, любил повторять свой стих: «Едва ли Шаликов не вредный человек...» — когда речь заходила о чрезмерной подозрительности полиции и цензуры. Это звучало в то время так же, как в наше знаменитое чеховское: как бы чего не вышло? Так что «Послание цензору», откуда Пушкин и цитировал свой стих, было отчасти в защиту Вдыхалова-Шаликова.

IV

Несмотря на почти приятельские отношения между Пушкиным и Шаликовым, им, однако, не удалось избежать литературной перебранки. Шали-

¹ Пушкин. Летописи Литмузея, кн. I.—М., 1936, с. 526.

ков, казалось, сначала простил вежливую иронию в его адрес со страниц «Евгения Онегина», особенно «Разговора книгопродавца с поэтом». Но вот в конце 1828 года выходит сборник «Две повести в стихах». На этот раз бластителю дамской нравственности не понравился ни пушкинский «Граф Нулин», ни «Бал» Е. А. Баратынского, в котором был слегка задет Шаликов. И князь разразился эпиграммой в четвертом номере своего «Дамского журнала» на 1829 год:

Два друга, сообщась, две
повести издали,
Точили балы в них и все нули
писали;
Но слава добрая об авторах
прошла,
И книжка вдруг раскуплена
была.
Ах, часто вздор плетут
известные нам лица,
И часто к их нулям мы ставим
единицы.

Да, было чему и втайне, и наяву завидовать Шаликову. Даже при высокой цене, назначаемой тогда за пушкинские книги, они быстро расходились, многие становились еще при жизни поэта библиографической редкостью. Зато «Дамский журнал», издаваемый эпигоном сентиментализма, терял подписчиков и превращался, говоря пушкинскими словами, в «пыльные громады лежалой прозы и стихов». Комически настороженное отношение Вздыхалова-Шаликова к так называемой «натуральной школе» в отечественной и зарубежной литературе было высмеяно в эпиграмме Пушкина и Баратынского:

Князь Шаликов, газетчик наш
печальный,
Элегию своей печалью,
А казачок огарок свечки
сальной
Перед певцом со трепетом
держал.
Вдруг мальчик наш заплакал,
запищал.
«Вот, вот с кого пример берите,
дуры!» —
Он дочерям в восторге
закричал. —
«Откройся мне, о милый сын
натуры,
Ах! что слезой твоей осребрило
взор?»
А тот ему: «Мне хочется на
двор».

Известный библиофил Н. П. Смирнов-Сокольский полагал, что эта эпиграмма явилась прямым ответом на эпиграмму Шаликова¹. Однако рождение язвительных строк в адрес издателя «Дамского журнала» на два года опережает появление эпиграммы Шаликова в печати. По свидетельству одного из участников дружеского застолья у М. П. Погодина, эпиграмму на печального Шаликова экспромтом сочинили Пушкин вместе с Баратынским 15 мая 1827 года «по случаю рассказанного анекдота»². С именем Шаликова связано и такое пушкинское стихотворение, как «Тень Фонвизина». Имя сентиментального князя не раз упоминается в письмах великого поэта. И опять же то с иронией, когда речь идет о творениях

¹ Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. — М., 1962, с. 200—201.

² Пушкин А. С. Эпиграммы. — М., 1979, с. 111, 159.

Шаликова, то с благородным великодушием, когда речь о Петре Ивановиче как о человеке.

Думается, тайну двойственного отношения Пушкина к Шаликову разгадал еще В. К. Кюхельбекер. Находясь в заточении, декабрист писал беспристрастно, не рассчитывая ни на публикацию своего дневника, ни на огонь ответных эпиграмм. 25 ноября 1832 года, заметим, в тот же самый год, когда в руках семнадцатилетней дочери Шаликова оказался онегинский оранжевый конволют, Кюхельбекер раскрыл чистую страницу дневника...

«Есть писатели такие, которые темны от богатства и глубины мыслей,— писал декабрист,— есть другие, которые так же темны от совершенного отсутствия мыслей. Первых человек неглупый наконец поймет, поломавши несколько над ними голову; но вторых не понял бы ни Гомер, ни Ньютон, ни Шеллинг, если бы и вместе стали их читать и сообщать друг другу свои догадки. Возможно ли, например, добраться до смысла некоторых фраз Шаликова? Невозможно, ибо в них ровно никакого смысла нет и не бывало. Это, конечно, справедливо; но есть у Шаликова иногда кое-что, показывающее, что он истинно добрый малый, хотя и плохой писака».

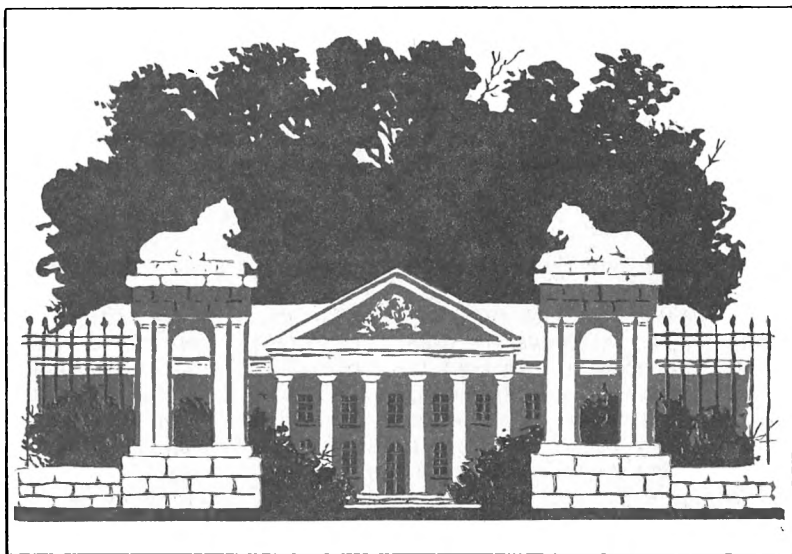
Таково, например, в «Вестнике Европы» на 1813 год было

его описание всего того, что некоторые его знакомые претерпели в Москве в роковой двенадцатый год и чему он сам был свидетелем. Эту статейку, отметил Кюхельбекер, нельзя читать без того, чтобы не зашевелилось в сердце. Таковы еще его известия о бедных — тут всякий раз видно, что он в них принимает искреннее участие. Таково, наконец, следующее правило (особенно если он ему следует): «Сносить терпеливо все неудобольствия и неприятности от человека, ссорившегося со мною». Завершалась запись декабриста заочным монологом: «Ну, князь Петр Иванович, думал ли ты, что злой, насмешливый Кюхельбекер посвятит почти целую страницу в дневнике своем рассуждению о тебе и, сверх того, искренней, вовсе не насмешливой хвале того, что в тебе достойно похвалы?»¹.

Вот о чем напомнил оранжевый конволют из собрания университетской библиотеки. Доподлинно знаем теперь и о том, что адресованный князю Шаликову мадригал дошел до него, был читан в семейном кругу и удостоился внимания вплоть до последней опечатки.

¹ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи.—Л., 1979, с. 204.





ВСТРЕЧА С ПУШКИНСКОЙ ЭПОХОЙ

А. Буторов

Пушкин, его творческий и человеческий облик волновали и будут волновать многие и многие поколения людей. Уже дети современников поэта воспринимали его имя как нечто совершенно особое, почти святое, жадно вслушиваясь в рассказы старших о былом. Многие из этих рассказов включались позднее в воспоминания, которыми, увы, не слишком была избалована сама пушкинская эпоха.

Среди мемуаристов поколения 1850-х годов — князь Владимир Михайлович Голицын, представитель московских Голицыных с Покровки или Петровских Голицыных, как их еще называли в Москве. Большая часть жизни этого человека прошла в Москве, где он зани-

мал ряд высоких постов — вице-губернатора, гражданского губернатора, городского головы. Это была его официальная жизнь, а в общественной — он был первым после смерти П. М. Третьякова попечителем его галереи (в память о чем сохранился превосходный портрет мемуариста работы В. А. Серова, также входившего в состав Совета галереи), первым председателем попечительного совета одного из наиболее передовых учебных заведений Москвы — Университета Шанявского, где учился Есенин, успешно выступал в качестве переводчика.

В первые годы жизни В. М. Голицын часто общался со многими людьми пушкинского круга, жившими в Москве и состо-

явшими в близком знакомстве с его родителями. В его мемуарах упоминаются имена С. А. Соболевского, А. Н. Равевского, С. Г. и М. Н. Волконских, П. А. Вяземского.

До сегодняшнего дня этот ценный мемуарный источник не был опубликован. Лишь доклад, послуживший основой для мемуаров, был прочитан автором на двух заседаниях общества «Старая Москва» в 1923 году. Председательствовавший на заседаниях А. М. Васнецов еще тогда выразил пожелание, чтобы доклад был напечатан, что и должно было осуществиться в издательстве братьев Сабашниковых в популярной серии «Записи прошлого». Однако ликвидация издательства без правопреемников помешала осуществлению этих планов.

* * *

Жизнь и смерть двух русских поэтов — Пушкина и Лермонтова — причудливо соединилась на страницах воспоминаний В. М. Голицына тремя именами — жены Пушкина Натальи Николаевны и двух заклеянных потомками убийц — Мартынова и Дантеса. Не многие из современников смогли оставить столь выразительные художественные портреты этих «героев своего времени».

В последние годы жизни Наталья Николаевна Пушкина, ставшая, как известно, через несколько лет после смерти поэта женою генерала Ланского, много болела и вынуждена была предпринимать путешествия для лечения на европейских ку-

рортах. В 1861 году вместе с мужем она жила в Ницце, где и встретила с семьей Голицыных. Свидетельством их знакомства стали не только эти воспоминания, но и последнее прижизненное изображение Натальи Николаевны — фотография, долгое время хранившаяся в семье Голицыных, а позднее попавшая в Исторический музей. Она послужила основой для известного гравированного портрета работы В. В. Матэ. Впервые же фотография была опубликована на страницах «Огонька» в 1976 году кандидатом исторических наук Н. Рабкиной. Историю появления фотографии в семейном архиве четырнадцатилетний мемуарист не запомнил или не знал, зато в его память на долгие годы запали образы людей, чьи имена всегда будут произноситься, когда зайдет речь о Пушкине и Лермонтове.

Публикуемый ниже отрывок из воспоминаний воспроизводится по авторской машинописи, хранящейся в собрании А. В. Буторова.

* * *

...С. А. Соболевский дожил до весьма преклонных лет и до самой своей смерти — он умер в начале 70-х годов — часто навещал моих родителей, с которыми очень был дружен, а кроме того, я встречал его в других домах и в английском клубе. Очень высокого роста, довольно полный, с белыми волосами и небольшою, белою же бородкой, он до конца своей жизни сохранил как физическую бодрость и подвижность, так и блестящее остроумие совсем

особенного характера, придававшее всем его речам какую-то необыкновенную привлекательность. По рукам ходили его эпиграммы и четверостишия, вызванные какими-либо событиями, местными московскими или общими, и многие из них впоследствии попали на страницы наших исторических журналов. Он жил одиноко на Смоленском бульваре, занимал довольно обширную квартиру, почти сплошь занятую богатейшей библиотекой и собранием рукописей, среди которых было много неизданных и даже нецензурных произведений писателей, его друзей и современников...

Можно было по целым часам заслушиваться его беседы. Он любил разговаривать, но и любил, чтобы его слушали. Немало говорил он о Пушкине и о своих дружественных с ним отношениях. Между прочим, в памяти у меня сохранились его слова, что если бы он был в 1837 г. в Петербурге, он никогда не допустил бы рокового поединка, причем он как-то особенно на это напирал. До водворения своего в Москве он подолгу жил за границей, общался там со многими знаменитостями, и, между прочим, он часто говорил об известном французском писателе Проспере Мериме... Он был знаком с Виктором Гюго, Вальтером Скоттом, навестил в Веймаре Гете.

Как я уже сказал, Соболевский жил на Смоленском бульваре. Рядом с занимаемым им домом был другой, принадлежавший тому же владельцу, и в этом втором жил кн. В. Ф. Одоевский, чье имя

высоко стоит в наших литературных летописях... Соболевский и Одоевский были неразлучными друзьями, жили, можно сказать, общей жизнью, и первый, не державший у себя кухни, столовался у второго. Не могу не отметить, кстати, что однажды я обоих их встретил в ... маскарade Большого театра! (который в те времена не было принято посещать представителям высшего света. — А. Б.). Одоевский был небольшого роста, худощавый, с очень тонкими чертами лица, чрезвычайно подвижный и веселый. На старости лет он увлекался музыкой, устраивал у себя музыкальные вечера, на которых выступали все знаменитости того времени, и даже изобрел какой-то новый музыкальный инструмент. Между прочим, он очень интересовался церковным пением и в сотрудничестве с известным в то время протоиереем Разумовским разработал крошечное пение, которое москвичи ходили слушать в церковь Георгия на Всполье на Мал. Никитской.

Последним литературным произведением Одоевского был прелестный очерк «Недовольно», написанный им в ответ на «Довольно» Тургенева. В этом очерке так и блестяще молодость души, высоко ценящей дар жизни, труд мысли, нежность сердца. Меня крайне удивляет, что это произведение как-то мало известно теперешней широкой публике.

Не без близкой связи с обликом Пушкина стоит в моих глазах граф В. А. Соллогуб. Последние годы своей жизни он жил в Москве, часто появлялся в разных гостеприимных

домах и забавлял общество своим блестящим остроумием, веселыми рассказами, а порою экспромтами на злобы дня. Этот последний, в то время уже очень преклонных лет, отличался феноменальной рассеянностью. Так, например, нам рассказывал наш домашний врач,



Портрет
В. Серова.
1906 г.

В. М. Голицын.

пользовавший и его, что однажды он поранил себе ногу и по рассеянности налепил прописанный ему пластырь на здоровую ногу.

Посвящу теперь несколько строк одной личности, весьма близкой Пушкину, хотя встречи мои с нею происходили не в Москве, а за границей. Зимой 1861—1862 годов я с родителями проводил в Ницце, и там жила вдова Пушкина, Наталья Николаевна, урожденная Гончарова, бывшая вторым браком за генералом Ланским. Несмотря на преклонные уже года, она была еще красавицей в полном смысле слова: роста выше сред-

него, стройная, с правильными чертами лица и прямыми профилем, какой виден у греческих статуй, с глубоким, словно задумчивым взором. Ничего более сказать я не могу и теперь, после стольких протекших лет, мне трудно связать ее, какую она мне вспоминается, с лучезарным образом Пушкина, каким является он нам в своих бессмертных творениях и каким живописала нам его история.

— Дабы покончить с современниками Пушкина, мне остается сказать, что мне случалось видеть две личности, которых наша история заклемила недобрыми эпитетами. Одну из них я видел, можно сказать, только мельком, другую же знал довольно близко. Первый из них был Дантес, убийца Пушкина. Видел я его в 1863 году в Париже, и в то время он был сенатором второй наполеоновской империи и носил фамилию своего приемного отца — барона Геккерна. Полный, высокого роста, с энергичным, но довольно грубым лицом, украшенным эспаньолкой по моде, введенной Наполеоном III, он казался каким-то напыщенным и весьма собою довольным. Мне показали его на церемонии открытия законодательных палат, на которой я с родителями своими присутствовал в публике. Он подошел к одной русской даме, бывшей вместе с нами и старой его знакомой по Петербургу, чрезвычайно любезно ей о себе напомнил, но та встретила эти любезности довольно холодно, и, поговорив минут пять, он удалился.

— Другой был Мартынов, которого жертвой пал Лермон-

тов. Жил он в Москве уже вдовцом, в своем доме в Леонтьевском переулке, окруженный многочисленным семейством, из коего двое его сыновей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в этом доме и не могу не сказать, что Мартынов-отец как нельзя лучше оправдывал данную ему молодежью кличку статуи командора. Каким-то холодом веяло от всей его фигуры, беловолосой, с неподвижным лицом, с суровым взглядом. Стоило ему появиться в компании молодежи, часто со-

бравшейся у его сыновей, как болтовня, веселие, шум и гам разом прекращались и воспроизводилась известная сцена из «Дон-Жуана». Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причем его партнеры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой его натуре.





ПЕРСТНИ - ТАЛИСМАНЫ

А. Звягинцев

Перстень — талисман великого поэта — породил немало легенд, затем и сам превратился в легенду. Было много попыток проследить его судьбу. К сожалению, и до настоящего времени в судьбе перстня и связанных с ним стихотворений еще много загадочного.

Пушкин любил повторять: «Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различие» (Пушкин, т. 4. — М.: АН СССР, 1937. — С. 543). Поэтому постараемся проследить судьбу этого перстня Пушкина как бы в совокупности с другими фактами и доказательствами, ведь этот перстень был не единственный, были и другие.

В подавляющем большинстве исследователи сходятся на

том, что перстень-талисман, которым Пушкин дорожил и не расставался всю жизнь, представлял собой сердолик-инталью, резной камень с углублением. Ему он был подарен Е. К. Воронцовой в Одессе, перед отъездом в ссылку в Михайловское.

Обычно резные камни-инталью служили печатками на сургуче или воске, которыми в то время запечатывали письма, конвертов еще не существовало.

Первые документальные сведения о перстне с сердоликом принадлежат В. А. Жуковскому. В письме С. М. Соковнину 20 июля 1837 года Жуковский сделал приписку: «Печать моя есть так называемый талисман; подпись арабская, что значит — не знаю. Это Пушкина

Перстень, им воспетый и снятый мной с мертвой руки его» (Жуковский В. А. Сочинения, 7-е изд. — Спб., 1878. — Т. 6. — С. 547).

В 1880 году в Петербурге в сентябре проводилась первая пушкинская выставка. На ней среди других реликвий Пушкина экспонировался перстень, но уже как собственность И. С. Тургенева. К перстню была приложена записка: «Перстень этот был подарен Пушкину в Одессе княгиней Воронцовой. Он носил постоянно этот перстень (по поводу которого написал стихотворение «Талисман») и подарил на смертном одре поэту Жуковскому. От Жуковского перстень перешел к его сыну, Павлу Васильевичу, который подарил его мне. Иван Тургенев. Париж. Август 1880».

Описание знаменитого перстня-талисмана было сделано одним из посетителей выставки, которое было напечатано в «Лодзинском листке» в 1899 году: «Этот перстень — крупное золотое кольцо витой формы с большим камнем красноватого цвета и вырезанной на нем восточной надписью. Такие камни со стихом корана или мусульманской молитвы и теперь часто встречаются на Востоке» (см.: Февчук Л. П. Личные вещи Пушкина. — Л., 1968. — С. 68).

В 1887 году 8 марта в газете «Новое время» было напечатано письмо В. Б. Пассека, русского вице-консула в Далмации. В этом письме он удостоверял, что умерший в Буживале под Парижем в доме Полины Виардо И. С. Тургенев действительно владел перстнем великого поэта. Пассек приводил сказан-

ные при нем слова писателя: «Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему так же, как Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы перстень был передан графу Л. Н. Толстому, когда настанет час, граф передал этот перстень по своему выбору, достойному последователю пушкинских традиций между новейшими писателями».

После смерти Тургенева Полина Виардо через В. Н. Герарда в 1887 году передала Пушкинскому музею Александровского лица перстень Пушкина. Он был вложен в футляр, заказанный, очевидно, для петербургской выставки в 1880 году. На крышке футляра были вытеснены золотые буквы «П. Б. А. Л.» (Пушкинская библиотека Александровского лица).

Из музея перстень с сердоликом был украден, по этому поводу в газете «Русское слово» от 23 марта 1917 года сообщалось: «Сегодня в кабинете директора Пушкинского музея, помещавшегося в здании Александровского лица, обнаружена кража ценных вещей, сохранившихся со времен Пушкина. Среди похищенных вещей находится золотой перстень, на камне которого была надпись на древнееврейском языке».

От украденного перстня остались отпечатки на воске и сургуче, которые сейчас находятся во всеобщем музее. По отпечаткам можно сказать, что в кольцо был вставлен восьмиугольный камень-инталь с надписью на древнееврейском языке. Надпись хотя и «магическая», но довольно грубого на-

чертания, снизу и сверху обрамлена орнаментом.

Пушкин, очевидно, не знал, что означает надпись на камне, где «слова святые начертала на нем безвестная рука». Жуковский также не знал, что она означает, и ошибочно относил ее к арабской. Тургенев делал

в это время еврей-караимы. Перстни с подобными изречениями, вырезанные на камнях, еще можно было купить на базаре в городе Бахчисарае в 30-х годах нашего столетия.

В том же 1880 году с 4 июня проходила московская юбилейная выставка, которая по времени несколько предшествовала пушкинской выставке в Петербурге. На ней был представлен другой принадлежавший Пушкину золотой перстень, со вставленным в кольцо изумрудом квадратной формы. Перстень на выставку был представлен родственниками писателя и врача Владимира Ивановича Даля. Даль не отходил от Пушкина до самой его кончины, наступившей в 2 часа 45 минут пополудни 29 января 1837 года.

«Мне достался от вдовы Пушкина, — пишет В. И. Даль в своих воспоминаниях, — дорогой подарок, перстень с изумрудом, который он всегда носил в последнее время и называл — не знаю почему — «талисманом». Так же, как и Жуковский, и Тургенев, В. И. Даль этому памятному подарку придавал большое значение. В письме В. Ф. Одоевскому от 4 апреля 1837 года из Оренбурга, через два месяца после смерти поэта, он пишет: «Перстень Пушкина, который звал он — не знаю почему — талисманом, для меня теперь настоящий талисман — Вам это могу сказать. Вы меня поймете. Как глину на него, так пробежит по мне искорка с ног до головы, и хочется приняться за что-нибудь порядочное» (Пушкин в неизданной переписке современников. — М.: АН СССР, 1952. — Т. 58. — С. 145).



Рисунок
Пушкина.

Е. К. Воронцова.

попытку расшифровать надпись, когда в 1878 году ездил в Англию для получения степени доктора Оксфордского университета. В поездку он взял с собой перстень, чтобы кто-нибудь из ориенталистов помог прочесть таинственное изречение.

В настоящее время в статье, касающихся перстня-талисмана, обычно принимается перевод: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да будет благословенна его память». Надпись сокращенная и могла быть сделана в Чуфуг-Кале в Крыму, где действительно проживали

На выставку перстень был доставлен дочерью Даля О. В. Демидовой. После выставки перстень с изумрудом находился у президента Императорской Академии Наук вел. князя Константина Константиновича и был им завещан Академии. В 1915 году поступил в Пушкинский дом. В настоящее время золотое кольцо с изумрудом хранится в фондах Всесоюзного музея А. С. Пушкина в Ленинграде.

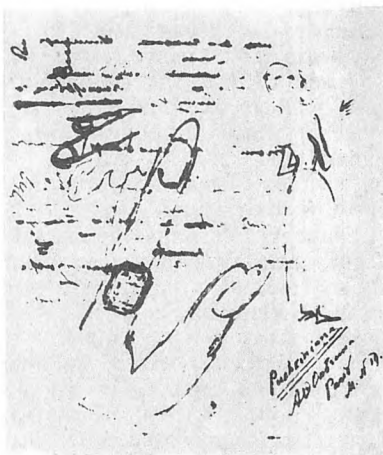
Изумруд вставлен в массивное золотое кольцо с гладкой поверхностью. На кольце справа и слева от камня имеется пять каплевидных вмятин. Сам драгоценный камень квадратный, со слегка закругленными углами и слегка выпуклой лицевой поверхностью, огранки типа «кабошон» — камень имеет одну из сторон выпуклую или вогнутую, что делается для придания игры света в камне.

Сохранился еще один перстень с сердоликом, принадлежавший поэту. Этот перстень со скромным, слабо окрашенным сердоликом так же, как перстень, подаренный Воронцовой, служил печаткой. Сейчас он тоже находится в фондах Музея А. С. Пушкина в Ленинграде.

Кольцо было положено по этому в лотерею, которая разыгрывалась в доме Раевских. Кольцо выиграла Мария Раевская, младшая дочь генерала Н. Н. Раевского, впоследствии княгиня Волконская, последовавшая за мужем-декабристом в сибирскую ссылку. Внук ее, С. М. Волконский, в 1915 году передал в Пушкинский дом тонкое золотое кольцо, в которое был вставлен сердолик. На

камне вырезаны три амура, садящиеся в ладью.

Как великую драгоценность носила М. Н. Волконская это кольцо во время пребывания в Сибири, а перед смертью передала сыну. Кольцо сопровождалось письмом внучки Волконской на имя известного пуш-



Перстень-талисман с сердоликом. Рисунок Пушкина.

киниста Б. Л. Модзалевского: «Прошу Вас принять и передать в дар Пушкинскому Дому Императорской Академии Наук прилагаемое кольцо, принадлежащее Александру Сергеевичу Пушкину. Оно было положено в лотерею, разыгранную в доме Н. Н. Раевского, и выиграно бабушкой моей — Марией Николаевной — женой декабриста и подарено мне моим отцом кн. Сер. Волконским, когда я окончила гимназию... в 1880 г.» (см.: Февчук Л. П. Личные вещи Пушкина. — С. 34).

Амур, или Купидон, в римской поэзии и искусстве соответствовал греческому Эросу. В пушкинское время бытовал

как сюжет любовной страсти в поэзии и искусстве. Вырезанные на камне три амура в ладье как бы усиливали символику любви этого кольца.

По выходе из лица Пушкин служил в коллегии иностранных дел в Петербурге. В петербургский период жизни он стал членом литературного общества «Зеленая лампа», именуемого так по цвету лампы, висевшей в зале, где собирались его члены. Хотя общество не имело никакой политической цели, но девиз его «Свет и Надежда» имел двусмысленное подражание. Статут приглашал на заседаниях объясняться и писать свободно, и каждый член еще давал клятву хранить тайну. Общества, подобные «Зеленой лампе», были характерны для того времени, и в них еще сохранились традиции масонских лож. Члены общества, опять же следуя традициям масонских братств, обязаны были иметь у себя специальный перстень с печаткой. Был такой перстень и у членов «Зеленой лампы» с печаткой в форме античного светильника. Очевидно, подобный перстень с печаткой был и у Пушкина. Оттиск этой печати был обнаружен на письме поэта к члену кружка «Зеленой лампы» П. Б. Мансурову, отправленном 27 октября 1819 года из Петербурга в Новгород. Красивый и довольно ясный оттиск маленькой печати на сургуче, на котором изображен сосуд в форме античного светильника с выступающей справа высокой ручкой в форме птичьей или змеиной головы на длинной шее. Аналогичное изображение, какое вырезано на этом перстне, воспроизведено на ти-

тульном листе сборника стихов Я. Н. Толстого «Мое праздное время», изданного в 1821 году в Петербурге. Толстой был приятелем юных лет Пушкина и вместе с Никитой Всеволожским был одним из учредителей и председателем «Зеленой лампы». В сборник включены стихотворения, читавшиеся на заседаниях общества. Здесь светильник помещен в составе гравированной виньетки между лирой и якорем в облаках и попал сюда не случайно, а как один из атрибутов увлечений Толстого. По свидетельству старшего сына поэта А. А. Пушкина, перстень с печаткой светильника был потерян его отцом в кишиневский период жизни.

Был у Пушкина браслет, который он носил выше запястья на левой руке. В письме к В. П. Зубкову 1 декабря 1826 г. из Пскова в Москву он делает приписку: «Я дорожку моей бирюзой, как она ни гнущая» (Пушкин. — Т. 13. — С. 563). Это был золотой браслет, и, как выяснилось позже, в него была вставлена не бирюза, а зеленая яшма с какой-то восточной надписью, очевидно, турецкой. В пору увлечения Пушкиным Екатериной Ушаковой он подарил ей этот золотой браслет с яшмой. Жених Ушаковой в пылу ревности сломал браслет. Но ее отец уже после смерти Пушкина велел вырезать на другой стороне камня инициалы поэта и вставить его в кольцо. Дальнейшие следы перстня затерялись.

В своих воспоминаниях А. П. Керн рассказывает, что после возвращения Пушкина из михайловской ссылки свои именины он отмечал в доме роди-

телей в Москве, в Петербург ему разрешили приехать только в 1827 году. На именинах присутствовала Керн. Пушкин в этот день был весел и много шутил. После обеда поэт и переводчик А. С. Норов подвел Пушкина к Керн и сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарите, а он так много вам писал прекрасных стихов». — «Вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Как пишет А. П. Керн: «Он взял кольцо, надел на свою маленькую прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое». Обещанное кольцо с тремя бриллиантами Пушкин привез на следующий день (Керн А. П. Воспоминания о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. — Л., 1936. — С. 332). Других сведений о кольце, подаренном Керн и где оно сейчас, не имеется.

Но известно, например, что у Пушкина было золотое кольцо с бирюзой, подарок П. В. Нащокина, большого друга поэта. Как пишет в своих воспоминаниях жена Павла Воиновича, Нащокин сделал два одинаковых кольца и одно преподнес в подарок Пушкину в последний его приезд в Москву в мае (3—20) в 1836 году. Перед смертью поэт это кольцо подарил Данзасу, лицейскому товарищу, бывшему секундантом на дуэли. По свидетельству Нащокиной, Пушкин протянул кольцо Данзасу и сказал: «Возьми и носи это кольцо. Мне подарил наш общий друг, Нащокин. Это талисман от насильственной смерти». К великому огорчению Данзаса, талисман с бирюзой был им потерян.

Взамен кольца с бирюзой, подаренного Нащокиным, поэт обещал прислать В. А. Нащокиной браслет с бирюзой. Браслет Нащокина получила уже после смерти поэта с письмом Натальи Николаевны Пушкиной, в котором она сообщала, как беспокоился муж, чтобы подарок был вручен как можно скорее.

В России и Европе в XVIII и начале XIX века было повальное увлечение символикой камней, не избежал этого увлечения и Пушкин. Он достаточно хорошо разбирался в «значении» камней и, как видим, не раз сам дарил их друзьям и знакомым.

Несомненно, для людей пушкинской эпохи кольца, перстни и браслеты были не только украшениями, а скорее всего памятью о ком-то или о чем-то, то есть тем, что мы сейчас зовем сувенирами. В это время были выпущены многочисленные лапидарии — книги с описанием как самих камней, так и объясняющие их чудодейственные свойства. Большинство руководств были старинными, чаще всего написанными по-латыни, как, например, «История украшений и драгоценных камней», составленная придворным врачом А. Voetius de Boot, изданная в Голландии в 1647 году. Это руководство часто цитировалось. В библиотеке Пушкина имелся знаменитый двадцатитомный труд Кая Плиния Старшего «История ископаемых тел» на французском языке, изданный в Париже в 1829—1833 гг., три тома этого труда были специально посвящены камням и металлам и их

употреблению в медицине и искусстве, и, наконец, описание драгоценных камней и о том, где их находят и применяют.

Интерес к драгоценным камням так был велик, что несколько ранее известный минералог В. Н. Севергин эти три тома перевел на русский язык и издал в 1807 году в Петербурге.

Согласно лапидариям — книгам, содержащим описание драгоценных и самоцветных камней, и, по поверьям, пришедшим из далекой древности, — указывалось, что изумруд служит талисманом людей, посвятивших себя искусству, аметист дает власть над ветрами и покровительствует мореплавателям, лунный камень считался талисманом воинов, алмаз — воинов. Но «значение» камней в разные периоды истории и у разных народов приобретало разное значение. Аметист, например, у древних греков предохранял также от опьянения и даже отравления. Арабы приписывали сердолику лечебные свойства.

Изумруд же во все века был призван вдохновлять поэтов, художников и музыкантов. В средние века в Европе им награждали победителя в состязании бардов. Во Франции его вручали вновь избранному королю менестрелей. И, как сказано в лапидариях, изумруд помогает остроумию и предвидеть будущее. Трудно найти другой цветной камень, который бы так высоко ценился в древности, как изумруд, часто называемый камнем сияния.

Изумруд (древнерусское название «смарагд») окрашен в красивый зеленый цвет раз-

ных оттенков. Чистые изумруды, как их называют ювелиры, «чистой воды», ценятся, и часто дороже алмаза.

В «Естественной истории ископаемых тел» еще римлянин Кай Плиний Старший писал: «Нет цвета, который был бы приятнее для глаз. Ибо мы с удовольствием смотрим также на зеленую траву и листья деревьев, а смарагды тем охотнее, что в сравнении с ними никакая вещь зеленее не зеленеет, только смарагды нежностью зелени смягчают утомляемость».

До открытия в 1830 году месторождений на Среднем Урале в России изумруд был сравнительно редким камнем. В то время в Европу они привозились главным образом из Южной Америки. Испанцы при завоевании государств захватывали здесь сказочные богатства и изумруды. Наряду с южноамериканскими были распространены индийские изумруды, которые добывались в Египетских копях. Европейские ювелиры в то время предпочитали для изумрудов ступенчатую, так называемую смарагдовую, огранку, индийские ювелиры обычно гранили их в форме кабошона.

Изумруд в перстне Пушкина огранен в форме кабошона. Изумруд по календарю «счастливых камней» приписывается людям, родившимся в мае месяце. Как известно, Пушкин родился 26 мая по старому стилю. Во все времена изумруд был одним из наиболее драгоценных камней. Да и по красоте он почти не уступает бриллианту. На изумруде почти не делали печатей, известны единичные камни с печатями на нем.

Один из наиболее легендарных изумрудов в виде печати был в перстне Поликрата Самосского — богатого и щедрого тирана, правившего в середине 6 века до н. э. на острове Самос. Поликрат окружил себя пышным двором. При дворе было много известных певцов, музыкантов, поэтов. В окружении Поликрата находился известный врач древности Демонад. Жил при дворе также и выдающийся греческий поэт-лирик Анакреонт родом из города Теоса в Малой Азии. Поэзии Анакреонта отдал свою дань Пушкин. Великим мастером, резчиком камней Диодором с Самоса на изумруде была вырезана лира, окруженная пчелами. Среди древних греков существовала легенда, что этот перстень стоил столько же, сколько остров Самос. Впоследствии император Август будто бы пожертвовал этот перстень богам, которые ему покровительствовали. Август бросил его в море. На этой основе Ф. Шиллер написал балладу «Поликратов перстень». На русский язык она была переведена Жуковским.

Начиная с древних времен изумруду, как и другим драгоценным камням, придавались лечебные свойства. Большой популярностью пользовался лечебный лапидарий Мардоба Реннского, жившего в XI веке. Что интересно, его многочисленные теологические труды в прозе и стихах были забыты, а вот лапидарий «Поэма о геммах или драгоценных камнях» переиздавалась много раз. Достаточно сказать, что только в XVI столетии ее переиздавали восемь раз. В поэме немало суеверий и ле-

генд, но одновременно по всем минералам, описанным в поэме, даются и практические советы медицинского толка. Очевидно, есть какая-то доля истины о воздействии минералов на самочувствие человека, поэтому эта книга и другие подобного рода труды пользовались успехом. Многовековой опыт народной медицины обратил внимание древних и средневековых врачей. Но затем, как это бывает, о них забыли. Но ведь не отрицает же современная наука полезности ношения янтаря или магнитных браслетов. Причина их воздействия на человека неизвестна, и современная медицина еще только ищет объяснения этим вопросам.

Но вернемся к изумруду, вот как описываются его свойства Мардобом Ренским в «Поэме о геммах или драгоценных камнях», перевод с латинского сделал московский профессор-медик Ю. Ф. Шульц:

...Лучшая форма у тех, что имеют
ровное тело.
Камень удобен такой, говорят,
испытателям тайнств,
Если PROVIDIT хотя и давать
по воде предсказанья.
Множит сей камень богатство,
нажитое благочестиво,
В случаях всех наделяя слова
убеждающей силой.
Словно само красноречье
находится в камне подобном,
Если подвешен на шею, — смирит
лихорадки свирепость,
Способом тем же лечить и
падучей страдающих может,
Лечит лекарством зеленым
поникише в дряхлости узы,
И полагают, что он отвращает
неистовство бури.

И сладострастия он, говорят,
 умеряет порывы.
 Зелени он может достичь и
 красы совершенной,
 Если вином орошен и намазан
 зеленой оливкой.

Обычно пропитка драгоценных камней различными растворами делалась с целью улучшения их окраски. Плиний Старший при характеристике мидийских изумрудов писал, что они зарождаются не совсем зелеными, но становятся лучше от вина и оливкового масла. Этот способ улучшения качеств и использовал Мардоб Реннский в своей поэме.

Изумруд — очень устойчивый камень и не изменяется ни от солнца, ни от тени. Кроме того, при одном взгляде на него глаза наслаждаются, но не насыщаются, и даже зрение, утомленное другими предметами, вновь обретает свою ясность при взгляде на изумруд.

Сердолик, или карнеол, относится к самоцветным разновидностям камней группы халцедона. Это камень красного цвета разных оттенков. Он может быть розовым, светло-оранжевым или темно-красного, вишневого цвета.

«Сердолик» — слово русского происхождения, что означает — радующий, напоминающий сердце. Название «карнеол» происходит от латинского — кизил. Одна из разновидностей халцедона, близко примыкающая к сердолику, носит название «сардер» — окрашенный в каштаново-бурый, коричневый с красным просвечиванием цвет. Происхождение названия точно не установлено, вероятнее всего, от греческого «сар-

дион» — сорт красно-коричневой рыбы.

Сердолик обладает глубокой просвечиваемостью, а неоднородность окраски придает ему неисчерпаемую привлекательность. Это более распространенный камень, чем изумруд. Ему приписывалось много особых свойств, в том числе и лечебных. Это камень цвета крови, цвета жизни и радости, в связи с чем, например, арабы были убеждены, что сам Магомет объявил его лечебным камнем. Некоторые народы Востока верили, что он предохраняет живых от болезней и смерти, дарит счастье, благополучие.

С незапамятных времен многими народами сердолику за его красный цвет приписывались такие лечебные свойства, как способность понижать горячку или легко унимать разбушевавшуюся кровь и даже останавливать кровотечение, ведь эти недомогания связаны с кровью, а по цвету этот камень напоминает кровь.

В средние века в Европе было убеждение: тем, кто обладает сердоликом, он придает храбрость и может вызвать любовь и симпатию. Вот как описываются исцеляющие свойства карнеола в той же «Поэме о гемах...» Мардоба Реннского:

Упомянуть средь камней мне
 не стыдно теперь карнеолы;
 Хоть и являютя те в своем
 темно-красном обличье,
 Но, как считают, их сила отнюдь
 не достойна презренья.
 Ведь этот камень, когда его
 носят на пальце иль шее,
 Ярости вспышки смиряет,
 которые в споре возникли.

Кажется, также хорош он и для омовения мяса; Кровотечения он прекращает из органов; если ж Женщина этим страдает, то он помогает сугубо.

Как указывает переводчик поэмы Ф. Ю. Шульц, значение выражения «омовение мяса» в оригинале непонятно, возможно, речь идет о ранах на мягких тканях, которые приходилось исцелять при помощи снадобий с сердоликом.

Известный арабский философ и врач Ибн Сина, живший в Средней Азии в конце X и начале XI века, приводил описание рецепта снадобья, где карнеол входил как составная часть в изобретенную им лекарственную кашку, которая, по его утверждению, помогала против сердечной тоски, перебоев и слабости сердца, при заболеваниях мозга, желудка, печени, селезенки, от болей в суставах и при хронических лихорадках. Правда, предупреждал, что пропись принятия в каждом отдельном случае очень сложна. Наряду с карнеолом в лекарственную кашку Ибн Сина рекомендовал включать также красную яшму и красный яхонт (рубин).

На Руси же красный камень сердолик считался талисманом любви и страсти. Его старинное название «смазень». Было у него и другое имя — «каднос». В некоторых руководствах его называли «сардий», очевидно, по аналогии с сардером. Еще в средневековом «Азбуковнике» говорилось, что сердолик красным цветом напоминает огонь и кровь, изображает пламень веры. Считалось, что он может

содействовать любви. Вот почему его носили как талисман. В средние века даже различали мужской — красно-коричневый — и женский — розово-оранжевый — разновидности сердоликов.

Сердолик был излюбленным камнем резчиков, на котором вырезались различные печати, особенно много прославленных камней и инталий, вырезанных на сердолике и его разновидностях, дошли к нам из античного мира.

Печать-интальо была на сердолике в перстне Пушкина, подаренном Воронцовой. Сестра поэта Ольга Сергеевна Павлицева рассказывала первому биографу Пушкина Анненкову, что в 1824 году, примерно через месяц после приезда Пушкина в Михайловское, он получал письма из Одессы с печатью, изукрашенной точно такими же каблистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата, — он запирался к себе, никуда не выходил и никого не принимал.

Несмотря на утверждение О. С. Павлицевой, все-таки достоверно невозможно установить, был ли у Воронцовой перстень точной копией пушкинского перстня, или на нем возможно было другое изречение, так как ни одного оттиска с печати этих писем не сохранилось. Письма от Воронцовой по ее просьбе все были уничтожены Пушкиным. Нет никаких сведений и о самом перстне, которым Е. К. Воронцова запечатывала свои письма к Пушкину. Вероятнее всего предположить, что Воронцова этим перстнем запечатывала только письма к одному адресату — Пушкину.

В Государственном музее А. С. Пушкина в Москве хранится слепок на гипсе скульптурного профильного портрета Воронцовой в овальной рамке. Слепок сделан Луиджи Пихлером в 1820 году с печати-инталии, вырезанной им же на карнеоле. Пихлер — итальянский резчик по камню, созданный им портрет интересен по своей фактуре и мастерству исполнения. Эта гемма могла служить и печатью. Нужно отметить, что печать-инталия, принадлежавшая Пушкину, не относится к произведению, выполненному Л. Пихлером.

В обширной переписке Пушкин свои письма чаще всего запечатывал гербовой печатью рода Пушкиных или печаткой на сердолике. Первое дошедшее до нас письмо, запечатанное перстнем-талисманом с печатью на красном сургуче, было написано А. А. Дельвигу в Михайловском 8 июня 1825 года. В дальнейшем Пушкин часто запечатывал свои письма, особенно к друзьям и близким знакомым, перстнем-талисманом. Поэтому он был известен широкому кругу его корреспондентов. Печатка на сердолике была необходима чаще, а перстень с изумрудом покоился в шкапулке и был известен ограниченному кругу людей.

В литературе, особенно в последнее время, можно встретить совершенно бездоказательное утверждение, что перстень с сердоликом Пушкин носил постоянно. Однако это мнение основано только на свидетельстве, правда, исходящем от очень близкого ему В. А. Жуковского. Как-то забылось, что В. И. Даль в своем письме

к Одоевскому утверждал, что перстень с изумрудом также был на руке Пушкина постоянно.

С перстнем, который подарила поэту Воронцова, связано несколько стихотворений, написанных в разное время. Где-то в декабре 1824 года или в январе следующего года Пушкин пишет «Сожженное письмо». Некоторые исследователи предполагают, что в этом письме Воронцова писала о его будущем отцовстве, но, как бы то ни было, она просит уничтожить письмо. Письмо Пушкин сжег, но память об этом письме вылилась в стихотворение. Письмо было запечатано печаткой, которая была ему хорошо знакома, — «Уж перстня верного утра-тя впечатленье, растопленный сургуч кипит». Как следует из самого стихотворения, печатка была с «перстня верного». Но в то же время это определение еще не дает права говорить о точной копии перстня Воронцовой, что утверждала сестра Пушкина Анненкову в своих воспоминаниях. Вероятно, Воронцова только письма к Пушкину запечатывала печатью, известной им обоим. Посылал ли Пушкин ответные послания, неизвестно. Возможно, форма и стиль написания печатей были идентичны, но были ли идентичны надписи, мы никогда не узнаем.

В ноябре 1827 года чета Воронцовых проездом из Англии заехала в Петербург, где в это время находился Пушкин. К этому времени и относится стихотворение «Талисман», под ним стоит дата: 6 ноября, ночью 1827 г.

Стихотворение проникнуто любовью. В нем точно указана география событий и ряд других обстоятельств, связанных с пребыванием Пушкина на юге.

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней
мглы.

Где в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.

И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.

И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит:
И тебя на лоно друга
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...

Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя —
Милый друг! от
преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!»

Талисман «волшебницы» беспомощен от превратностей судьбы, не спасет он головы ни в бурю, ни в ураган. Ведь его назначение — внушить любовь,

и дан он любовью, и только «когда коварны очи очаруют» — тут и выступает его чудодейственная сила, связанная с камнем.

На сохранившихся листках черновиков, на оборотной стороне листа с текстом Пушкин поставил пять печатей. Многие считают, что это оттиски перстня-талисмана, о котором написано стихотворение. Это заблуждение прочно вошло в литературу и кочует по страницам Пушкинианы до наших дней.

Но еще в 1937 году в научном описании рукописей Пушкина, составленном Л. Б. Модзалевским и Б. В. Томашевским, указывалось, что эти пять печатей не являются оттиском перстня-талисмана (Рукописи Пушкина. — М., Л.; АН СССР, 1937. — С. 9). На всех оттисках имеются разные аллегорические изображения с девизами на французском языке. Так, на первой печати — треугольник с отвесом и девиз: «всегда справа»; на второй — букет и надпись: «to... ou»; на третьей печати стрела и девиз: «в мою цель»; на четвертой — пламя, девиз: «живое и чистое»; на пятой — бабочка над цветком и надпись: «я ожидаю».

Как видно из описания, никаких следов перстня-талисмана среди печатей нет.

В черновых набросках Пушкина сохранилось неотделанное стихотворение, которое он написал, находясь в ссылке в Михайловском. Набросок стихотворения относится к концу 1825 года и связан с Одессой и Воронцовой.

В пещере тайной, в день
гоненья,
Читал я сладостный Коран,

Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.

Его таинственная сила
Слова святые начертила
На нем безвестная рука.

В стихотворении точно сказано, что талисман он получил «в день гоненья», когда узнал, что одну ссылку заменили другой, еще более жестокой.

В основе каждого из этих двух приведенных произведений лежат одни и те же реальные события. Очевидно, этот сюжет был не только внутренне близок, но и важен для него, как нечто интимное, связанное с ним. 31 июля он выехал из Одессы, нигде не задерживаясь. 9 августа был в Михайловском, 5 сентября получил письмо от Елизаветы Воронцовой. Получение письма было событием в уединенном Михайловском, поэтому после XXXI строфы 3-й главы «Евгения Онегина» он делает приписку на французском языке («I письмо»).

На оборотной стороне чернового автографа стихотворения «О бедности затвердил я наконец» Пушкин нарисовал кисть левой руки с перстнем-талисманом на указательном пальце. Это рука самого поэта, о чем свидетельствуют длинные ногти на указательном и больших пальцах, что не раз отмечалось современниками. Печатка на кольце восьмиугольная. Внутри печатки поэтом нарисованы различные знаки, что, очевидно, должно отражать вырезанные на камне знаки. Стихотворение датируется 1835 годом.

Уже после смерти поэта в 1839 году по памяти Карлом Мазером был нарисован портрет

Пушкина под присмотром его ближайшего друга П. В. Нащокина, проживавшего в Москве. Нащокин очень болезненно переживал смерть Пушкина. Портрет интересен документальностью аксессуаров. Мазер бывал в доме Натальи Николаевны, где сделал наброски для будущей картины, зарисовав личные вещи поэта. Пушкин изображен в красном клетчатом архалуке, подаренном Натальей Николаевной после смерти мужа Нащокину. На большом пальце левой руки надет перстень-талисман. Но какой перстень — определить невозможно. Вставленный в кольцо камень прорисован красным, очевидно, сердолик.

В 1827 году в январе — феврале Пушкин, будучи в Москве, позировал художнику В. А. Тропинину. Тропинин в это время жил на Волхонке, куда приходил в мастерскую художника на сеансы Пушкин. Тропининым сделаны два эскиза, небольшой этюд и затем известный портрет, в домашнем халате, с перстнем-талисманом на правой руке. Если костюм на этом «домашнем» портрете скорее всего был выбран Тропининым, так как есть по крайней мере семь портретов разных людей и даже автопортрет самого художника в одном и том же халате, то перстень и кольцо на правой руке выбраны скорее всего Пушкиным, причем в перстне камень прорисован зеленой краской и, следовательно, напоминает изумруд. И не случайно оттенена правая рука с бросающимся в глаза перстнем с изумрудом на большом пальце с длинным ногтем. Рука положена на столик поверх пач-

ки белой бумаги, все это только подчеркивало призвание портретируемого.

Изумруд для Пушкина являлся не только счастливым камнем по рождению в мае месяца по старому стилю, но и жизненному призванию и вытекает из тех исторических предначертаний, которые приписывались изумруду по символике камней.

На этом же портрете, на той же правой руке, но на указательном пальце надето кольцо витой формы. Кольцо прорисовано желтой краской, оно, очевидно, золотое и очень напоминает кольцо с перстнем, подаренным Воронцовой, что так подробно было описано одним из посетителей выставки в «Лодзинском листке» в 1889 году. Только камень сердолик с печатью повернут в противоположную от зрителя сторону. До сих пор на это не обращалось внимания, да и других колец витой формы у Пушкина современниками не отмечалось. Обычно витая форма колец характерна для ювелиров-мусульман. А это хотя и косвенный признак, но может служить аргументом в пользу того, что такое желание могло возникнуть только у заказчика, то есть у Пушкина.

Точно неизвестно, когда появился у Пушкина перстень с изумрудом. Но находясь в ссылке в Михайловском в первой половине ноября 1824 года, он в письме просит брата Льва прислать «Рукописную мою книгу, да портрет Чаадаева, да перстень» и добавляет: «мне скучно без него» (Пушкин. — Т. 13. — С. 120). В списке поручений, данных брату, среди дру-

гих Пушкин еще раз напоминает «bague» — перстень (*фр.*). А несколько позднее, 20—23 декабря 1824 года, опять настойчиво просит Льва Сергеевича: «Да пришли мне кольцо, мой Лайон». О каком кольце-перстне здесь идет речь, не указано. Известно, что этим кольцом поэт дорожил не меньше, чем перстнем с сердоликом. Но кольцо, подаренное Воронцовой, в это время находилось у него. Естественно предположить, что это был перстень с изумрудом, который с такой настойчивостью просил прислать Пушкин в Михайловское.

Стихотворение «Храни меня, мой талисман» связывают с перстнем, подаренным Воронцовой. Например, в книге Л. П. Февчук «Личные вещи Пушкина» (1968) или в большой работе Т. Г. Цявловской, посвященной отношениям поэта с Воронцовой (Прометей. — 1975. — № 10), и совсем недавно вышедшей книге Б. И. Бурсова «Судьба Пушкина» (1985), и в ряде других это стихотворение также относят к циклу, связанному с перстнем-талисманом с сердоликом.

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи,—
Храни меня, мой талисман.

В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,
 Души волшебное светило...
 Оно сокрылось, изменило...
 Храни меня, мой талисман.

Пусть же в век сердечных ран
 Не растравит воспоминанье.
 Прощай, надежда; спи, желанье;
 Храни меня, мой талисман.

Если сравнить его со стихотворением «Талисман», написанным гораздо позже, по своему строю и назначению оно резко отличается. Т. Г. Цявловская убедительно доказывает, что это стихотворение является антитезой стихотворению «Талисман».

Едва ли какое-либо другое стихотворение Пушкина в XIX веке имело такой резонанс. Интерес к чему-то сверхъестественному и необычному не утихал, и поэтому амулеты-талисманы были в чрезвычайном ходу. Талисман, или амулет, — предмет, снабженный известными фигурами, знаками или надписью, — обычно носили с собой. Впервые характеристику амулету дает Плиний Старший в своем знаменитом труде, и значение его было как средство против яда. Это как бы заколдованный предмет, дающий его обладателю совершать сверхъестественное или предохранять от несчастья. Плиний так и характеризует его как отражение чар. Арабы подобные предметы характеризовали словом, которое в переводе обозначало «носить», а к нам перешло как «талисман». Поэтому в таком почете у греков был аметист, который они носили в перстнях.

В средние века христианская церковь запрещала носить амулеты и карала за это вплоть до сжигания. Но бороться с этим

было настолько трудно, ведь обычай носить предметы уходил своими корнями еще в языческие греко-латинские обряды. На Востоке, наоборот, ношение предметов считалось нормальным явлением.

Надписи на предметах, которые должны были служить талисманами, делались так, чтобы можно было прочесть, не переводя на бумагу в виде оттиска. Надпись на перстне с сердоликом была сделана обратно. Княгиня Воронцова, очевидно, была в заблуждении относительно качества перстня. Но это заблуждение послужило источником незабываемых поэтических строф Пушкина от такого, казалось бы, обыкновенного предмета.

Поэтому когда появилось стихотворение «Храни меня, мой талисман», то его по традиции стали причислять к тому же циклу произведений как еще одно доказательство существования перстня-талисмана, подаренного Пушкину Воронцовой.

Как справедливо пишет А. А. Ахматова в своей работе о Пушкине: «Мы почти перестали слышать его человеческий голос в его божественных стихах. Из стихов может возникнуть нам проза, которая вернет нам стихи обновленными и как бы увиденными в ряде волшебных зеркал — во всей многоплановости пушкинского слова» (Ахматова А. О Пушкине. Волго-Вятское кн. изд., 1984. — С. 233).

Исследователей как-то не настораживало, что стихотворение «Храни меня, мой талисман» было написано на два года раньше, чем стихотворение «Та-

лисман». При этом игнорировалось, в какое время оно было написано. Не придавалось значения повседневной жизни поэта в Михайловском, его судьбе, одиночеству и неизвестности ссылки. Вот почему смысл и подтекст самого этого стихотворения трактовался ошибочно.

Возникновению ошибочного мнения, что у Пушкина был один перстень-талисман, который годился на все случаи жизни, способствовали авторитетные свидетельства В. А. Жуковского и И. С. Тургенева. При этом просто забыто столь авторитетное свидетельство В. И. Даля о существовании другого перстня-талисмана. Но если о нем и знали, то не делали различий между ними.

Сошлемся только на П. В. Анненкова, который, издавая в 1855 году «Материалы для биографии А. С. Пушкина», писал: «Он (Пушкин)... соединял даже талант свой с участью перстня, испещренного какими-то кабалистическими знаками и бережно хранимого им. Перстень этот находится теперь во владении В. И. Даля» (М., 1984. — С. 175).

Жуковский так был очарован перстнем с сердоликом и вырезанными на нем таинственными знаками, что носил

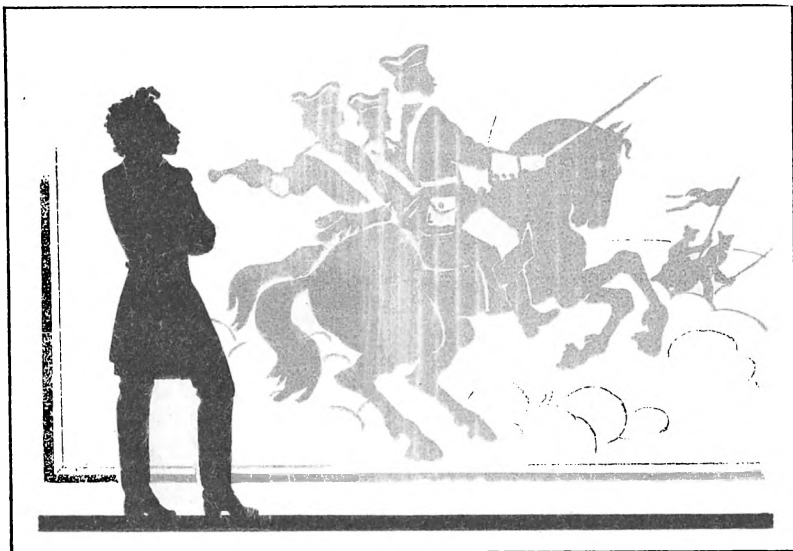
его постоянно на среднем пальце правой руки рядом с обручальным кольцом. Как он говорил, Пушкин и жена занимали равное место в его сердце. На портрете, написанном художником Рейтерном, тестем Василия Андреевича, за границей в Дюссельдорфе, где проживал последние годы Жуковский, 57-летний поэт нарисован в полный рост. На среднем пальце правой руки изображен перстень-талисман с сердоликом, на безымянном пальце — обручальное кольцо. Таково было желание Жуковского. Если он и знал, что у Пушкина был перстень с изумрудом, то, как и другие, не придавал ему должного значения.

Пропал бесследно перстень-талисман романтической любви поэта. Но след его в жизни и творчестве Пушкина был огромный.

Перстень-талисман с изумрудом сохранился. В творчестве Пушкина он сыграл свою роль, с ним связано стихотворение «Храни меня, мой талисман», тесно переплетающееся с судьбой самого поэта.

Подтверждением этому служит заказанный самим Пушкиным в 1827 году портрет, где на большом пальце правой руки отчетливо виден талисман-изумруд.





ПОЛТАВА

А. Басманов

*Habent sua fata libelli**

Книги имеют свою судьбу: от первого чернильного слова до наборной литеры — жизнь. В 1917 году в подмосковной Лопасне, отправляя деревенские припасы в город, владелец усадьбы бросил взгляд на благородную желтизну обертки, мерцавшую лиловыми строками. Послали за кухаркой, потом ринулись в кладовую. Так были найдены материалы к истории Петра Великого — черновики труда, к которому Пушкин готовился по крайней мере пятнадцать лет: «Об этом государе, — говорил он своему приятелю Келлеру за три недели до смерти, — можно написать более, чем об истории России вообще».

Формальное (географическое и хронологическое) начало: Михайловское, 1827 год. Вульф, приехав 16 сентября отобедать к Пушкину, нашел его в кабинете, по-домашнему в халате и красной феске. Стол, как обыкновенно, был погребен под перемаранными тетрадами пополам с грудями книг: рядом с Монтескье, Альфьери и «Изъяснением снов» Вульф заметил «Журнал Петра I». Показал ему Пушкин и «только что написанные первые две

* Фраза из пушкинского «Опровержения на критики»: книги имеют свою судьбу (лат.).

главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал... присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет... неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь.

Мы пошли обедать, запивая рейнвейном швейцарский сыр...» — не забыл помянуть Вульф.

После обеда состоялся бильярд, и, загоня костью шар в лузу, Пушкин обронил ни с того ни с сего: «Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории»... Я непременно напишу историю Петра I...» Вот факт, на который ссылаются исследователи как на первое упоминание о главной работе Пушкина. Однако начало было значительно раньше, оно гнездилося в самом генезисе (прадед по матери оказался вознесен Петром, предка же его по отцу за участие в стрелецком заговоре государь повесил), в кругу родовых преданий, и даже осязание оказывалось зачастую в плену этой темы: тяжелая медная пуговица с камзола первого русского императора украшала набалдашник пушкинской трости. Начало было, и когда «мудрец — человек высокий», Николай Карамзин, выпустил в свет свою «Историю».

Девятый том «Истории государства Российского» появился в 1820 году, а в 1822-м, как бы принимая эстафету и включаясь в соревнование (которое будет продолжаться всю жизнь), Пушкин составляет так называемые «Заметки по русской истории XVIII века», где с присущей ему стремительной гениальностью промчался сквозь целое столетие, уместив его на полутора листах. Время Петра сформулировалось уже тогда: «все состояния, окованные без разбора, были равны перед его дуб и нкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось». Это камертон для настройки: именно отсюда перейметя словесная фактура, темп и ритм изложения последующих вещей о Петре.

А потом, в 1824 году, явились Бендеры — место, где Пушкин смог ощутить ту эпоху всей своей плотью: он познакомился здесь с Николаем Искрой, 135-летним малороссом, воочию видавшим Карла XII, поскольку еще хлопцем носил в шведский лагерь творог, молоко, масло и яйца, имея дело с самим королем, которого поначалу принял за лакея, так как тот «каждое яйцо брал в руку, взвешивал его и смотрел через оное на солнце».

Бендеры занимали Пушкина и еще по одной причине. Липранди вспоминает: «...Мы отправились на место бывшей Варницы, взяв с собой второй том Нордберга и Мотрея, где изображен план лагеря, окопов, фасады строений... и несколько изображений во весь рост Карла XII. Рассказ Искры о костюме этого короля поразительно был верен с изображением его в книгах. Не менее изумителен был рассказ его о начертании окопов, ворот, ведущих в оные, и некоторые неровности в поле соответствовали местам, где находились бастионы и т. д., но не это занимало Пушкина: он добивал-

ся от Искры своими расспросами узнать что-либо о Мазепе, а тот не только что не мог указать ему желаемую могилу или место, но и обьявил, что такого и имени не слышал. Пушкин не отставал, толкая, что Мазепа был казачий генерал, и православный, а не букурман, как писецы, — все напрасно».

Это начальваый отзыв «Полтавы». До поэмы еще далеко, целых четыре года, но ее видение вдруг замаячило где-то поблизости: узнав, например, что Рылеев задумал своего «Палея», Пушкин пишет в Петербург брату: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы», — однако предстоит еще писанье «Арапа Петра Великого». Лаконизм, блеск и живописность отделки первой прозаической пробы не поддаются сравнению до сих пор, но сам сюжет «семейного» романа забавал в тулук: Ганнибал приезжает из Франции после учения всего лишь за два года перед смертью преобразователя, и его основная судьба падает уже на послепетровскую эпоху. И Пушкин бросает перо в самом начале: на сцене появляется Мазепа.

Иван Степанович Мазепа-Колединский оказался замешан в украинской смуте первых лет восемнадцатого века, как изюм в кулич: православный шляхетский дворянин, воспитанный иезуитами, служил вначале польскому королю Яну Казимиру, присягнув на всякий случай и турецкому султану. В Малороссии его ждала головокружительная карьера: за несколько лет он прошел путь от войскового товарища до гетмана — и все сложилось бы, наверное, по-другому, если бы не старческая роковая любовь: казачий полковник Кочубей ответил за свою соблазненную дочь Матрену доносом царю. Мазепа казнил Кочубея и явился на переговоры к Карлу. Так шло: гетман подымает донских казаков, астраханских татар и турок, и вместе с королевским войском вся армада движется на Москву, чехлы и флаггов. Шведский же генерал Любекер с четырнадцатым тысячным корпусом бьет по Санкт-Петербургу из Финляндии. Однако «сия игра в божьих руках», — говорил Петр

Тут имеет смысл напомнить политическую и военную коллизию. Европа начала XVIII века — это: борьба Франции, Голландии, Англии за испанские владения; Польша под началом саксонского короля Августа; сначала страшное поражение русских под Нарвой, затем выход их к болотистым, но драгоценным берегам Балтики. Для самой России начало XVIII века — это: предательство бывшего союзника Августа; вступление в Польшу Карла XII; опасность на юге от Турции и одиночество в Северной войне против сильнейшей армии мира — шведской; наконец, смерть астраханского и булавинского восстания внутри.

Кроме того, начало XVIII века означает безрезультатные попытки России добиться дипломатического мира со Швецией и выкупа у нее за гигантские деньги крошечного пятка земли — устья Невы, знаменует превращение деревни Альтрандтад в предместье

Лейпцига, в политическую столицу Европы, поскольку именно здесь Карл XII устроил свою штаб-квартиру, куда гнали на поклон всех глав близлежащих государств и даже из Алголии; и еще начало XVIII века дает абсолютную ясность, что швед перейдет русскую границу и потому русские в ответ разрабатывают так называемый Жолковский план: неприятеля на свои земли пустить и не принимать генерального сражения до тех пор, пока не будет верных шансов на победу в таком сражении.

Все как бы связалось в узел: Европа, Швеция, Россия, и Швеция держит в этой триаде главную роль, несмотря на свое реальное положение в войне: русские забрали Ингрию и Карелию, смыли основные базы снабжения врага в Лифляндии и Эстляндии, нанесли ему множество сильных и быстрых ударов. Однако и Карл, и Европа жили еще впечатлениями от Нарвы: «бедный русский царь» — так называет в своих донесениях Петра I британский посланник Витворт.

Но весы уже явно перетягивали в другую сторону, и те же иностранцы не могли этого не замечать: герцог Мальборо, например, побывав в шведской армии, отметил малую артиллерию, отсутствие госпитальной службы, услышал унылые речи Карловых офицеров о предстоящей кампании. Но главное дело было настроение самого русского государя, держащего свой завоеванный «парадиз» из нескольких глинобитных мазанок — Петербург — мертвой хваткой и готового за него положить собственную жизнь. Цареве настроение пришлось к тому же и веселым, и чувством юмора не покидало его всю Северную войну: еще в 1705 году, узнав об избрании шведской марионетки Станислава Лещинского королем Польши, он устроил в Москве еще одну коронацию и назначил «императором швецким» своего шута под соответствующую помпезную церемонию в духе известного всепьянейшего и всешутейшего собора.

Король Карл XII являлся чрезвычайно талантливым полководцем, быть может, способным даже взять всю Европу. Он много думал об уничтожении России и досконально изучил, просидев месяцы с циркулем и линейкой, ее новейшую карту. Предполагалось: занять Москву, свергнуть Петра, забрать весь север России, юг ее подарить туркам, а Украину — Мазепе. С такими намерениями шведский король летом 1708 года из Польши двинулся на восток.

Стратегия русских, согласно Жолковскому плану, рождалась в уклонениях от генерального сражения, выжидания ошибок и промахов противника, к выбору момента его крайнего истощения: Петр понимал, что на карту поставлено все, что эта война означала решение вопроса о жизни и смерти России. И потому он решил действовать только наверняка.

3 июля шведы победили у Головчина отряд Репнина и Чамберса (Репнин и Чамберс были разжалованы за проигрыш в солдаты — царь сурово давал понять, что время поражений прошло и надобно воевать всерьез), но победа эта имела для них роковое

последствие. Ибо что могло уже окончательно втянуть в агрессию, как не прекрасная победа в самом начале похода. Но русские заманивали врага, оставляя за собой выжженную землю: кроме травы для лошадей, она не давала ничего. И король штыками пробивает заслон Шереметева и Меншикова, выходя к Могилеву в ожидании провиантского обоза Левенгаупта: армия настолько изголодалась, что полевые кухни варили жухлые ржаные колосья.

29 августа князь Голицын коротко ударил у местечка Доброе и тут же отступил, положив больше двух тысяч шведов при собственной потере в триста пятьдесят человек: начиналось уничтожение королевской армии по частям. В первых числах сентября Карл, никогда и ни у кого не спрашивавший советов, обратился вдруг к генералам с приказом дать ему совет, куда вести войско дальше.

В конце концов принимается решение отказаться от прямого движения к Москве и повернуть на Украину — во-первых, взять там провианту и корма, во-вторых, переманить на свою сторону как можно больше казаков. Однако и эта перспектива оказалась миражем: замороженные им шведы пренебрегли ценностью обоза из восьми тысяч подвод, который Левенгаупт осторожно вел из Риги. Для русских это был счастливейший из случаев.

28 сентября легкий и подвижный корпус в одиннадцать с половиной тысяч человек под командой самого Петра I прижал у деревни Лесной 16-тысячную, но малоподвижную из-за обоза армию Левенгаупта, лучшего шведского генерала, и разбил ее полностью; враг потерял десять тысяч солдат, пушки, заряды и съестное на все войско были оставлены на берегу Сожи.

В самый жар битвы при Лесной разыгралась вдруг снежная вьюга, и еще через день прихватила самая настоящая зима. Зима становилась холоднее день ото дня, и теперь, углубившись в просторы Украины, король метался в поисках теплых квартир для армии, которая непрерывно таяла, а вернее, замерзала. Но чем дальше шведы шли вглубь на восток, тем труднее становилось с боезапасами и едой: остававшаяся позади Европа помочь или не могла, или не хотела. Надеждой был один Мазепа.

Измена опытного политика, знавшего реальные украинские дела, как никто, но поставившего все на обреченного шведского короля, любопытна как психологический опыт. Почему могущественный властитель Украины, обладавший огромными богатствами и властью, всеми мыслимыми званиями и почестями, клюнул на эту очевидную и проигрышную авантюру, остается неизвестным истории, ибо, если говорить серьезно, то, конечно же, это произошло не из-за Матрены.

Но, как бы там ни было, Мазепа обещал королю с двадцать тысяч казаков. Надежда, однако, та была недолга: казаков оказалось не двадцать, а всего две тысячи. Рушились буквально все замыслы; более того, речь шла о полном физическом истощении армии, которой теперь осталось не более половины. Историки пи-

шут: следовало умирать от голода или брать Полтаву. Но как? Артиллерия почти без пороха — одни сабли. И все же голод не тетка, и выбор между смертью и в прямом смысле животом не заставил себя ждать: «В день 27 июня 1709 года поутру весьма рано, почитая при бывшей еще темноте, противник на нашу кавалерию как конницу, так и пехотой своею с такой фуриею напал, чтобы не токмо конницу нашу разорить, но и редутами овладеть...» А затем свился остервенелый клубок, сцепление живых и мертвых тел, окрашенное оранжево-желтым пушечным дымом и огненными искрами, кровью людей и животных, — клубок, который бешено вертелся на одном месте под аккомпанемент батарейного грохота, лягза железа, барабана и предсмертных хрипов.

Центр вел Шереметев, правое крыло — Боур, левое — Меншиков. Сам царь командовал лишь полком, но проявлял (единственный, между прочим, раз в жизни) чудеса храбрости: одна пуля пробила его треуголку, другая — седло, третья ударила в золоченый крест на груди.

Все окончилось через два часа. Русские уничтожили на месте девять тысяч врагов и три тысячи взяли в плен. Карла из-за раны в ногу уносили с поля на перекрещенных копьях (вначале соорудили носилки, но их разнесло в щепы); прикрывал короля своим эскадронам полковник Горн, получивший, кстати, вдогонку семнадцать пуль, застрывших на излете в его кожаном жилете. У Днепра ожидали две лодки: надо было разместить несколько офицерам и военной казне, собранной еще в Саксонии. Взяли с собой и фыркающего, косящего глазом Брандклипера — верного Карлова коня, сполна разделившего приключенческую судьбу своего господина: Брандклипер воевал в Турции, был пленен в Бендерах, возвращен, снова взят в плен в Стральзунде, опять возвращен и умер в 1718 году одномесечно с хозяином сорока двух лет от роду.

А Мазепа? Мазепа окончил свой век значительно раньше, почти сразу после Полтавской виктории: от отчаяния, как говорят русские источники; от яда, принятого им добровольно, как утверждают шведские.

* * *

— И грянул бой, Полтавский бой! — к месту и не к месту, в самые неожиданные минуты декламировал Пушкин: «Он делал это всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему или почему-то запавший ему в душу», — вспоминала Анна Керн. Санкт-Петербург, 1828 год, осень: Пушкин сочиняет «Полтаву».

Он был склонен к движению и рассеянности: когда звенел голубой день, не мог усидеть в четырех стенах, и потому осень со «своими отвратительными спутниками: дождем, слякотью и туман-

ном», заперев его в кабинете, давала разгуляться «бесу стихотворства». Пушкин рассказывал Юзефовичу: стихи «Полтавы» ему гресывались «даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их в потымаках». Потом, отвечая критикам, он скажет, что написал поэму в «несколько дней», но это не совсем так. Основная часть ее действительно создавалась с необычайной быстротой (из 1470 стихов 1250 были сделаны от конца сентября до 16 октября 1828 года, то есть меньше чем за три недели), однако начало черновика помечено еще «6 апр.» — днем, отстоящим от писания «Арапа Петра Великого» всего на три-четыре месяца и указующим на непосредственную связь этих двух вещей.

Апрельское, чисто историческое вступление «Полтавы»: «Была та смутная пора, когда Россия молодая...» (оно перенесено потом частями в середину Первой песни и в песнь Третью) — возникало в рабочей тетради как-то вдруг. Затем следовало несколько набросков, и дело останавливается: здесь можно видеть VII главу «Евгения Онегина», стихи, адресованные Олениной, «Воспоминание», «Подражание Анакреону», начало «Сказки о царе Салтане», первые строфы «Воспоминания в Царском Селе» и другое. И только к сентябрю «Полтава» объявляется вновь: «Но быстрый Карл поворотил в средину новых средств и сил...»; и столбцом: «Наталья? Мария. Между красавицами. Похищение. Отец? Мазепа» — так вступает в действие героиня поэмы. Далее опять и надолго черновики письма к Вяземскому, показания по делу о «Гавриилиаде», работа над «Анчаром» и неожиданно проза: «Гости съезжались на дачу гр. Л». Зато потом, подряд, на одном дыхании, в два столбца 62 страницы сплошного поэтического текста «Полтавы», которую мы знаем теперь и которую Пушкин написал «в несколько дней, долее не мог бы ею заниматься и бросил бы все».

Те полгода, пока поэма сочинялась, были для тридцатилетнего Пушкина необычайно сложны и запутанны, здесь смешались отчаяние, страсти, любовь, здесь внешние обстоятельства свелись в клин, который мог перекосить всю его судьбу. За это время он просил дважды об отлучке: на войну против турок и в Париж — его не пустили. Кроме того, «дело о стихах на 14-е декабря» оставалось еще не совсем замятым. Но и отказы в путешествиях и неприятности с «Андреем Шенье» не шли ни в какое сравнение с гремевшей эта история, ведал один бог. «Ты зовешь меня в Пензу, — пишет Пушкин 1 сентября Вяземскому, — а того и гляди, что я поеду далее.

Прямо, прямо на восток».

От тяжести в душе он спасается в те дни двумя средствами: крупной карточной игрой («не на жизнь, а на смерть») и любовью. Любовей было две: одна, возвышенная и идеальная, — к Аннет Олениной, другая, тягелая, как большой сон, — к «медной Венере» — Аграфене Закревской (ту и другую потом прочили в героини



*Полтавская баталия.
Мозаика Ломоносовской мастерской
(фрагмент) 1762—1764 гг.*

посвящения «Полтавы»). Стоит во все это вдуматься, чтобы оценить страшное напряжение нервов, которое преодолевал Пушкин в работе, тем более что работа эта была не просто художественным сочинением. Каждый стих, каждое выражение и даже почти каждое слово здесь строго документальны: «Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и немудрено и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальнойю».

Причем нет сомнения, что Пушкин с его воображением не только о своих героях все знал, он их «видел», плотью ощущал: Петра, сутулого, нервически дергающегося от тика, с бородавкой на правой щеке, в зеленом, толстого голландского сукна, преображенском кафтане с золотым галуном и большими роговыми пуговицами; Карла — прозрачные глаза, плетеная косичка парика опущена сзади в желтый кожаный кошелек, потертые замшевые штаны, длинная широкая шпага и грязные башмаки со стальными пряжками. А вот и Мария с Мазепой: она — «стройна. Ее движенья То лебедя пустынных вод Напоминают плавный ход, То лани быстрые стремленья. Как пена, грудь ее бела»; он — седой, широкий, весь какой-то львиный, в странном сочетании тесной немецкой одежды и свисающих запорожских усов.

Однако *Nabent sua fata libelli*. «Самая зрелая из всех моих стихотворных повестей та, в которой все почти оригинально, (а мы из этого только и бьемся, хоть это еще и не главное), «Полтава»... не имела успеха». Критики обвиняли поэму и в военных неточностях: «если кавалерия своя и неприятельская рубятся между собой, то ядра не могут между ними прыгать и разить...»; и в казусах психологических: «отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в старика». Сам же автор, говоря об оригинальности своего сочинения, ошибался вряд ли — вспомним лишь Мазепу: «отвратительный предмет», изображенный драматически, можно смело называть первым антигероем в русской литературе.

Новации «Полтавы» очевидны, но здесь важны не они, а то, что это была уже вторая, после романа о Ганнибале, попытка освоения Петровой темы: в первом случае государь появлялся заботливым сватом, в другом — боевым героем. Обе, только так поданные фигуры полностью, конечно, удовлетворять не могли, и уже в 1831 году прозвучала принципиально новая интонация, донесенная современником: «Пушкин только и говорит, что о Петре, которого не возлюбляет». Здесь, быть может, начало третьей попытки — «Медного всадника».

Один английский путешественник, побывавший у нас в царствование преобразователя, остроумно заметил, что в России «нет джентльменов, а только капитаны и майоры, ассессоры и регистраторы». Перенимая такой лексикон, можно согласиться, что все джентльмены, наверное, задержались позади восемнадцатого века, но зато, очнувшись через сто лет, поспешили прямо на Сенатскую площадь: «...что же значит наше старинное дворянство?.. Эдакой



«Медный всадник».
Рисунок
А. Бенуа.
1949 г.

страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне», — скажет Пушкин.

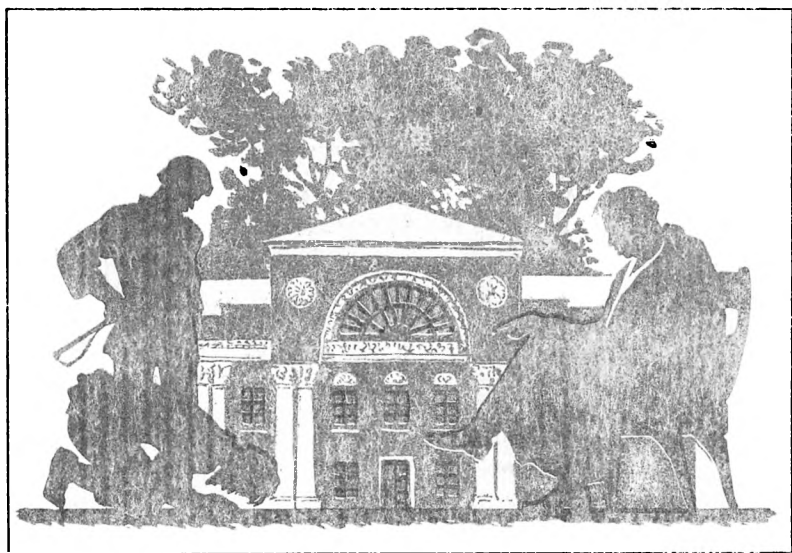
Майоры и регистраторы — истинные дети Петра, и потому в «Медном всаднике» Пушкин поставил в дикий час беды государя рядом со своим созданием, причем не лицом к лицу, но спинами друг к другу: «горделивого истукана» верхом на фальконетовом коне, Евгения, спасающегося от наводнения, «на звере мраморном верхом»: и этой чепепо-жуткой мизансцене, быть может, и выразился частично нравственный результат движения, «переданного сильным человеком... в огромных составах государства преобразователем».

То, что Пушкин стал «не возлюблять» Петра к концу жизни, не совсем точно, ибо он изначально ощущал трагическую двойственность преобразователя и его преобразований, говорил: вот «гениальный разрушительный и всесозидающий». В отличие от многих беллетристов, обращавшихся к Петру I, Пушкин искал здесь не тему для романтического писательства «по мерке и объему рам, заранее изготовленных», он искал разгадки всей судьбы современной России, а так как был ее неотъемлемой частью, то и разгадки своей собственной судьбы.

Поэма «Полтава» — между романом о Ганнибале и «Медным всадником» (по значимости и годам), середина творческого движения Пушкина к составлению истории Петра, то есть к осознанию того момента бытия, где «весь узел русской жизни сидит» (Л. Толстой). Сама же Полтавская баталия — точка отсчета, быть может, всей новейшей истории: не разгроми русские шведов, неизвестно, что было бы на Балтике, как сложились бы на века наши внешние и внутренние дела: от 1709 года диалектическая спираль причин и следствий ведет в сегодняшний день. И потому это не просто важная военная победа, но изъятие некой мировой миссии, для которой русские, казалось, были предназначены судьбой всегда. Миссия — слово трагическое. Оно означает вечные испытания, но оно означает и вечные надежды. Пушкин не забывал об этом ни на минуту. «... Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, — писал он в конце жизни, — ... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».

Вот, пожалуй, слова, которыми и могла бы кончаться книга самого лучшего русского поэта о самом сильном русском царе.





«ЗАСТУПНИКИ КНУТА И ПЛЕТИ...»

И. Фейнберг

В одной из черновых тетрадей Пушкина сохранился с трудом читаемый набросок эпиграммы, написанной в михайловской ссылке. Сатирические стихи эти обращены против «заступников кнута и плети», а может быть, и против самого царя. Но кто эти «заступники кнута», которых гневно обличает Пушкин, в черновике поэта не сказано.

Спор об этой эпиграмме, о том, в связи с чем она возникла и «на кого» из современников поэта была написана, идет уже полвека, с тех пор как пушкинский набросок, раньше никем не замеченный, был обнаружен (на полях рукописи стихотворения «Андрей Шенье»). Но так как строки наброска писаны наскоро, стремительно и многие слова в нем неясны, прочесть их возможно только предположительно. Поэтому многое в нем до сих пор остается непонятным. А между тем разъяснение загадки может, кажется нам, осветить яркую страницу политической биографии Пушкина.

Чтобы раскрыть сатирический замысел Пушкина, надо, конечно, уяснить прежде всего историческую обстановку, в которой родилась его смелая эпиграмма. И не только в общих чертах, — надо постараться выяснить, какие современные события заставили его в год, окончившийся восстанием 14 декабря, с таким негодованием восстать против «заступников кнута и плети».

I

«Сатирический бич поистине настигает современников поэта», — писал П. Е. Щеголев, обнаруживший в 1911 году не замеченный раньше пушкинский набросок, из которого ему удалось прочесть тогда лишь некоторые строки¹. На вопрос о том, кого из современников разумела эпиграмма Пушкина, впервые попытался ответить Валерий Брюсов, решившись дать реконструкцию ее. Вот в каком виде он в 1919 году напечатал ее:

Заступники кнута и плети,
О благодетели мои!
Все наши женщины и дети
(Семья, жена моя и дети)
Вам благодарны навсегда.
Благодарить вас...
Не позабудем никогда.

.
За вас молить я бога буду
И никогда не позабуду,
Когда для дела позовут
Меня на (царскую) расправу
За ваше здравие и славу
Влетит (царю) мой первый кнут!

«Повод к этим энергичным строкам не выяснен», — писал Брюсов. Слова «царю», «на царскую расправу» он прочел в пушкинском черновике по догадке, поскольку их в рукописи нет. Включая их в текст стихотворения (хотя и условно, в редакторских скобках), Брюсов утверждал тем самым, что стихотворение направлено против самого царя, которому Пушкин грозит кнутом, расправой².

Такое понимание пушкинской эпиграммы было принято позднее Большим академическим изданием сочинений поэта. Текст ее, предложенный Брюсовым, напечатан был в нем в 1949 году с некоторыми уточнениями, самым важным из которых было новое чтение начала пушкинского стихотворения. Теперь оно начиналось словами:

Заступники кнута и плети,
О знаменитые князья...³

Итак, оказывается, что сатира Пушкина обращена была против каких-то «знаменитых князей», «заступников кнута и плети» (кото-

¹ См.: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3-е. М.—Л., 1931, с. 326.

² См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Под ред. В. Брюсова. М., 1919, с. 256.

³ См.: т. II, кн. I, с. 416. (Предположительность чтения была отмечена здесь вопросительными знаками редактора этого текста.)

рые по именам здесь Пушкиным не названы); кончается же она, как и в издании Брюсова, угрозой царю.

То есть, когда настанет день расправы над самодержавием, — а Пушкин в 1825 году, по-видимому, думал, что день этот наступит вскоре, — поэт клянется вспомнить князей — «заступников кнута и плети». И грозит:

За ваше здравие и славу
Я дам царю мой первый кнут!

Этот уточненный текст эпиграммы был принят академическим изданием, а вслед за ним и другими авторитетными изданиями сочинений Пушкина, после работ Т. Г. Цявловской, много потрудившейся над чтением спорного пушкинского наброска и над комментариями к нему. Сумев прочесть в нем строку «О знаменитые князья», исследовательница, естественно, задалась целью выяснить, кого имел в виду здесь Пушкин: что это за «князья»? И вывод, к которому она пришла, был принят, к сожалению, кажется, во всех комментированных собраниях сочинений Пушкина, изданных за последнее двадцатипятилетие.

Согласно этому общепринятому объяснению, резкая эпиграмма Пушкина обращена против друзей, убеждавших поэта оставить мысль о побеге из михайловской ссылки, смириться и не отвергать «из упрямства и прихоти милости царской». А милость эта состояла в том, что Пушкину вместо лечения за границей, о котором он просил, предложено было лечиться во Пскове.

Смириться тогда советовали поэту вместе с Вяземским Плетнев и Жуковский. И вот, негодуя на них за то, что «дружба входит в заговор с тиранством», Пушкин пишет — будто бы на них — злую эпиграмму. Он иронически, «собираательно», по выражению Т. Г. Цявловской, называет всех их (вместе с Вяземским) «знаменитыми князьями». «Эх, вы... вяземские!» — как бы говорит, по словам исследовательницы, Пушкин. И называет в пылу негодования этих своих друзей «заступниками кнута и плети»...¹

Б. В. Томашевский согласился в общем с этим мнением Т. Г. Цявловской, но сомневался все же, что Пушкин грозит кнутом в своей эпиграмме самому царю. О последнем стихе ее: «Я (?) дам (?) царю (?) мой первый кнут» — исследователь заметил, что стих этот «внушает большие сомнения, как по чтению неразборчивых слов, так и по смыслу: вряд ли можно полагать, что призванный на расправу может дать кнут своим обвинителям. Вернее предположить, что Пушкин иронически благодарит друзей за те истязания, которым он может подвергнуться со стороны царской

¹ См.: Зенгер Т. Г. (Цявловская). Из черновых текстов Пушкина. — В сб.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.—Л., 1941, с. 31—47.

политической полиции, во власти которой он благодаря друзьям остался»¹.

В статье «О принципах и приемах чтения черновых рукописей Пушкина» академик В. В. Виноградов убедительно опровергал догадку о том, что «знаменитыми князьями» Пушкин назвал в своей эпитагме Вяземского, Жуковского и Плетнева — всех вместе. «Ведь князь П. А. Вяземский был один»², — замечает он. (Жуковский же и Плетнев были людьми весьма скромного происхождения.) Нет, пушкинская эпитаграмма обращена не против друзей поэта...

Но кто же в действительности были эти «знаменитые князья», «заступники кнута и плети»? Попытаемся ответить на этот вопрос. А затем выяснит, метила ли эпитаграмма Пушкина в царя?

II

«Его императорское величество, следуя благости сердца своего, еще в 1817 году изъявил желание свое, чтобы кнут, вырывание ноздрей и клеймение лица у преступников не были впредь употребляемы», — писал осенью 1824 года в одном из своих прославленных выступлений в Государственном совете адмирал Мордвинов³, а 24 октября того же года в Государственном совете оглашено было его мнение «О кнуте, орудии наказания». Вот эта замечательная речь:

«С того знаменитого для человечества и правосудия времени, когда европейские народы отменили пытки, истребили они и орудия, коими мучения производимы были. Одна Россия сохранила у себя кнут, орудие, в употреблении бывшее при пытках, коего одно наименование поражает ужасом народ российской и дает повод иностранцам заключать, что Россия находится еще в диком состоянии, без просвещения и нравственных понятий о человеке, существе в высшей степени чувствительном.

Кнут есть мучительное орудие, которое раздирает человеческое тело, отрывает мясо от костей, мечет по воздуху кровавые брызги и потоками крови обливает тело человека. Мучение лютейшее всех других известных, ибо все другие, сколь бы болезненны они ни были, всегда менее бывают продолжительны, тогда как для 20-ти ударов кнутом потребен целый час, и когда известно, что при многочислии ударов мучение несчастного преступника, иногда невинного, продолжается от восходящего до заходящего солнца.

Сила кнута есть столь велика, что возможно оным сокрушить каменную стену. Искусство палача дознается, когда он ударом кнута вырывает кирпич из стены; а тайным назначением, когда двумя ударами он может умертвить человека⁴.

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 т., т. II, с. 438.

² См. Сб. Проблемы сравнительной филологии. М., 1964, с. 277—290.

³ Архив графов Мордвиновых, т. V. СПб., 1902, с. 698.

⁴ Данный абзац сохранился в первоначальной редакции настоящего «Мнения» в виде приписки.— И. Ф.

При кровавом, паче отвратительном зрелище такового мучения, пораженные ужасом зрители приводимы бывают в то испуганное состояние, которое не дозволяет ни мыслить о преступнике, ни рассуждать о соделанном им преступлении. Каждый зритель видит лютость мучения и невольно болезнует о страждущем, себе подобном. Меньшей степени было бы его поражение, менее лютейшим нашел бы он наказание, когда бы видел острый нож в руках палача, которым бы он разрезывал тело человеческого кнута. Вместо того, что он пролагает полосы ударами терзающего кнута. При наказании кнутом многие из зрителей плачут, многие дают наказанному милостыню, многие, если не все, трепещут и негодуют на жестокость мучения.

Кнут, по своему составу, по долговременности своего действия, по глубокому язvam, им соделываемым, и по преданию преступника на волю палача в умеренности и жестокости наказания, не долженствовал бы быть орудием исправительного наказания.

Он был и есть орудие мучения, которое донныне было частым и особым зрелищем для российского народа и которое потому только существовало, что высшие правительственные лица никогда не присутствовали при сих бесчеловечных и предосудительных для века нашего истязаниях.

Доколе кнут существовать будет в России, втуне мы заниматься будем уголовным уставом. С кнутом в употреблении напрасны будут уголовные законы, судейские приговоры и точность в определении наказания. Действие законов, исполнение приговора и мера наказания останутся всегда в руках и воле палача, который ста ударами соделает наказание легким, десятью жестоким и увечным, если не смертельным.

Как сила наказания зависит от палача, то обыкновенно он торгуется с присужденным к оному, и требования его всегда бывают велики...

...Адмирал Мордвинов предлагает уничтожить навсегда кнут, орудие наказания, не соответственное настоящей степени просвещения высших в отечестве нашем сословий и общему благонаравию и мягкосердию российского народа...

При наказаниях чувства зрителей должны быть возбуждены к презрению преступника, к отвращению от злодеяний и к познанию пагубных от законопреступления последствий, без ожесточения сердец зрителей...

И для чего терзать тело того, кто лишается свободы, осуждается вечно в тяжкую работу и который с потерю всех прав гражданских и с расторжением всех связей семейственных и родственных, из человека, которому природа предопределила наслаждения жизни, превращается в существо, как бы в составе своем сокрушенное, духом и телом уже страждущее и вечно на страдания осужденное? Все просвещенные народы оставили мучительные зрелища. Наступило и для нас время отменить оные при кротком царствовании Александра I, чадолюбивого отца подданных своих.

Да скажут бытописания всех народов, что сиявший добродетелями великий монарх, положивший конец страданиям чуждых и отдаленных стран, еще более ознаменовал милосердия и величия души в отечестве своем»¹.

III

«Мордвинов заключает в себе одним всю русскую оппозицию», — писал Пушкин весной 1824 года Вяземскому².

Его смелые «мнения», показал во время следствия над декабристами Николай Бестужев, ходили по городу как образцы государственного красноречия и любви к отечеству.

Мордвинова, как известно, декабристы прочили в состав Временного правительства в случае победы восстания. И он был единственным членом Верховного суда над декабристами, отказавшимся подписать смертный приговор вождям восстания. Это было удивительной смелостью в то время, когда Сперанский (так же, как и Мордвинов, намечавшийся декабристами в состав Временного правительства) играл во время суда над ними важнейшую роль и по поручению царя намечал жесточайшие казни и наказания тем же декабристам.

К этому нужно, конечно, добавить, что против введения в Уголовное уложение смертной казни Мордвинов выступал в Государственном совете еще до декабрьского восстания.

«Мнение» Мордвинова, столь красноречиво выражавшее взгляды противников кнута и плети, как мы убеждаемся теперь, знакомясь с эпиграммой Пушкина, стало известно ссыльному поэту. Но нашлись, видимо, в Государственном совете империи несогласные с отменой кнута — «заступники кнута и плети». Они, скажем заранее, взяли верх. Александр I, предполагавший еще в 1817 году отменить наказание кнутом, положил теперь, в 1824 году, проект об отмене кнута под сукно, и кнут в России был сохранен еще надолго.

Эта позорная страница в истории царствования «Александра благословенного» не нашла достойного отражения ни в казенной историографии, ни в истории Государственного совета империи, ни в трудах по истории телесных наказаний в России. Для того чтобы осветить эту мрачную историческую страницу александровского царствования, понадобилось обратиться к переписке современников и архивам, и прежде всего, конечно, к переписке и дневникам братьев Тургеневых — Александра и Николая Ивановичей. Оба они в свое время занимали видные места в Государственном совете: первый был в нем помощником статс-секретаря, а второй — статс-секретарем, трудившимся к тому же над проектом реформы русского уголовного процесса.

¹ Архив графов Мордвиновых, т. V, с. 684—687.

² Пушкин и н. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 91.

В то время, когда проект об отмене кнута обсуждался в Петербурге, Николай Иванович Тургенев был подвергнут опале и путешествовал по странам Западной Европы. Это был тот самый «хромой Тургенев», о котором Пушкин, изображая декабристов, в своей сожженной, так называемой десятой главе «Онегина» сказал:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал .
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян¹.

Дневник Николая Ивановича Тургенева за 1824—1826 годы сохранился только в двух печатных экземплярах (он должен был составить выпуск 7-й известного «Архива братьев Тургеневых» и выйти в свет в 1930 году, но по каким-то причинам не вышел).

Переписываясь с братом Александром Ивановичем, оставшимся в Петербурге, Николай Иванович иногда писал в своем заграничном дневнике о новостях, которые становились ему известны из писем брата. Но о спорах, разгоревшихся в Государственном совете об отмене кнута, в дневнике Николая Ивановича нет ни слова...

Николай Иванович Тургенев, декабрист (так же, как Мордвинов и Сперанский, намечавшийся, как сказано, в случае победы восстания в состав Временного правительства), в дни восстания продолжал еще свое заграничное путешествие, он отказался, как известно, явиться в Петербург на суд, был заочно приговорен к смертной казни — и до старости прожил за границей.

В конце своей жизни он подготовил к печати изданные в Лейпциге в 1872 году письма брата, сбереженные им, но и в этой переписке нет ничего касающегося обсуждения в 1824 году в Государственном совете вопроса об отмене в России кнута и плети. Оставалось попробовать обратиться к неизданной части обширного архива братьев Тургеневых, хранящегося теперь в Ленинграде, в Пушкинском Доме. Письма Александра Ивановича к брату Николаю за 1824 год сохранились и тут, к сожалению, не полностью. Но среди них-то и отыскалось (я нашел его там в 1968 году) неизданное письмо Александра Ивановича к брату Николаю от 6 ноября 1824 года, содержащее интересные для нас сведения². Вот оно:

«Теперь начались любопытные прения в нашем общем Собрании о кнуте, плетях и смертной казни. Мордвинов подал голос: умный, благородный и человеколюбивый. Большинство за отмену кнута и смертной казни. Со временем прочтешь журнал и голоса (то есть «Журнал», или протокол общего собрания Государственного совета, и «голоса», т. е. мнения, поданные членами Сове-

¹ Курсив в стихах мой. Подчеркивания Пушкина оговариваются особо.—И. Ф.

² Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309. № 230-б, л. 10.

та.— И. Ф.). Для тебя не может быть это теперь тайной, ибо ты советский (т. е. числишься на службе в Государственном совете.— И. Ф.) и законодательный» (то есть состоишь в Департаменте законов того же Государственного совета.— И. Ф.). Итак, обсуждение вопроса об отмене кнута оставалось государственной тайной, и Александр Иванович Тургенев лишь очень осторожно писал обо всем этом брату за границу.

«Большинство за отмену кнута и смертной казни», то есть большинство членов Государственного совета, сообщает в этом своем письме Александр Тургенев, не называя в своем письме «заступников кнута и плети». Но кто же составлял меньшинство? И нельзя ли установить имена «заступников кнута и плети», которые составили это меньшинство и выступили против смелого мнения Мордвинова? В литературе, связанной с историей русского уголовного права, мы встречаем при поисках ответа на этот вопрос только цифры, а не имена, к тому же разноречивые.

В «Лекциях по уголовному праву» Н. С. Таганцева мы читаем: «На основании представленной Мордвиновым записки о кнутах, как орудии казни, была большинством голосов (18 против 14) предложена отмена этого наказания»¹.

В книге Н. Евреинова «История телесных наказаний в России» читаем: «В Государственном Совете при голосовании: отмены кнута и клеймения 13 членов высказались в пользу этой реформы, четверо были против, один воздержался. Но варварские истязания после такого решения Государственного Совета не уничтожились. Оно осталось лишь на бумаге, не имея никакого практического значения»².

Имена и «голоса», то есть «мнения», «заступников кнута и плети» следовало искать, казалось бы, в архиве Государственного совета империи. Но, как ни странно, отвечающих нам на вопрос исторических документов там нет. В печатном «Архиве графов Мордвиновых», изданном в начале нашего века с примечаниями историка В. А. Бильбасова (т. V, СПб., 1902, с. 684), где собраны «мнения» адмирала Мордвинова, в том числе его мнение об отмене кнута, обсуждавшиеся в Государственном совете в 1824 году, мы читаем:

«В архиве Государственного Совета хранится «Дело Государственного Совета, общего собрания, об отмене наказания кнутом и вырывания ноздрей» (*Журналы*, № 3), причем никакого дела нет, а есть лишь следующая заметка на обложке: «В общем собрании 24-го октября 1824 года слушано внесенное графом Аракчеевым мнение комиссии, учрежденной в 1817 году для суждения об отмене наказания кнутом и вырывания ноздрей. По выслушании этого мнения положено: передать оное Члену Государственного Совета по департаменту Законов тайному советнику Сперанскому для при-

¹ Таганцев Н. С. Лекции по уголовному праву. Часть общая. Вып. I. СПб., 1887, с. 170.

² Евреинов Н. История телесных наказаний в России. т. I, СПб., с. 97.

соединения к прочим бумагам по проекту, от Комиссии Составления законов представленному. Исполнено по отношению к тайному советнику Сперанскому 2-го декабря 1824 г.»¹.

Итак, уже к началу нашего столетия «Дело», которое могло бы дать ответ на интересующий нас вопрос, в архиве Государственного совета империи отсутствовало. Оно исчезло отсюда, и от него осталась только его обложка... Ну, а теперь? Случается, что «дело», почему-либо исчезнувшее из архива или затерянное, много лет спустя возвращается на свое место, в тот же архив.

Со времен, когда Бильбасов обнаружил отсутствие этого архивного дела, прошло три четверти столетия. Следовало поэтому снова поискать его — прежде всего в том же архиве Государственного совета, который хранится теперь в составе Центрального Государственного исторического архива в Ленинграде. Архив этот помещается в великолепном доме графа Лавалья, который давно приобрел историческую известность — его можно назвать одним из архитектурных чудес старого Петербурга. Он стоит на набережной Невы, рядом со зданием Сената.

Итак, надо было подняться по великолепной гранитной лестнице дома Лавалья в читальный зал Центрального Государственного исторического архива. Потолочные плафоны этого прекрасного зала сохранили яркость своей изящной росписи. Архив огромен. Весьма обширен и являющийся ныне частью его архив Государственного совета империи.

«Дела», об отсутствии которого (как и об отсутствии в нем «журналов» Государственного совета за 1824-й и 1825 годы) сожалел еще в начале нашего века Бильбасов, в нем нет, как выяснилось, и поныне...

Но Бильбасов в свое время, как сказано, прочел на обложке этого пропавшего «Дела» заметку о том, что содержащиеся в нем документы были пересланы Сперанскому 2 декабря 1824 года.

Оставалась, таким образом, надежда, что эти пропавшие исторические документы, до сих пор нам недоступные и неизвестные, могут обнаружиться среди бумаг Сперанского, которые хранятся ныне также в Центральном Государственном историческом архиве, где мне довелось вести свои розыски, — в том же особняке Лавалья.

И документы эти здесь действительно обнаружилились — они напечатаны в «Деле № 22», озаглавленном «Мнение Комитета относительно отмены наказания кнутом. Начато 1817 год. Кончено 1827 год. 36 листов». Архивный «Лист использования документов» в нем чист: никто, по-видимому, к этим документам, пролежавшим полтора столетия в бумагах Сперанского, до сих пор еще не обращался.

Среди этих бумаг и сохранились «Мнения, принадлежащие к журналу Государственного Совета о наказаниях; мнение адмирала И. С. Мордвинова «О кнута — орудии наказания» (от 6 октября 1824 года), мнение о том же князя Д. И. Лобанова-Ростовского от

¹ Архив графов Мордвиновых, т. V, с. 684.

20 октября 1824 года и другие пропавшие, казалось, документы, в том числе и извлечения из «журналов» Государственного совета, в которых запротоколированы были итоги обсуждения вопроса об отмене в России кнута и плетей...¹.

Здесь под заголовком «О казни кнутом», на листе 33-м этого архивного дела, и приведено было решение общего собрания Государственного совета, о котором сказано:

«По предложению адмирала Мордвинова, большинством головос полагается казнь сию отменить, заменив ее самым большим числом ударов плетей и выставкою (преступника.— И. Ф.) на эшафод.

Три члена: князь Лобанов (надо читать «князя Лобановы»; как увидим, здесь явная описка писца.— И. Ф.) и г. Генерал Сукин полагают не отменять»².

А на следующем листе, 34-м, под заголовком «О плетях» читаем:

«...Два члена (князя Лобановы) полагают оставить плети по-прежнему». Это были два брата: князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский, министр юстиции, ставленник Аракчеева, и князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский, член Государственного совета, председатель Департамента законов этого Совета (и член Комитета министров).

Да, Пушкин, как мы убеждаемся, был обо всем этом деле осведомлен и исторически точен в своих стихах. Эти-то «знаменитые князья» Лобановы-Ростовские, «заступники кнута и плети», и были заклеены поэтом.

Теперь приведем найденное нами в архиве «Мнение» князя Лобанова-Ростовского в защиту кнута, которое дошло, судя по всему, до Александра I и вопреки решению большинства членов Государственного совета одержало верх! Царь согласился, как мы убеждаемся, не с большинством Государственного совета, поддержавшим «мнение» Мордвинова о необходимости отмены кнута — орудия казни, а с мнением «заступников кнута и плети».

Вот это мнение министра юстиции князя Д. И. Лобанова-Ростовского (писарская копия, в конце которой означено: «подписал князь Лобанов-Ростовский» — «октября 20-го дня 1824 года»)³.

«Читанное в здешнем Собрании, истинно трогательное описание действия кнута, тревожа всякого воображение, нудит и меня признаться в невежестве, в коем пребывал я о возможности разрушать тем поносным орудием каменные даже стены, и хотя постигнуть ту степень искусства я и поныне не умею, остерегусь однако все повествуемое о том опровергать, но признавая и сам то орудие жестоким, не могу не находить у нас его народу полезным, и в отмене его видеть соблазное преступникам послабление; ибо вдруг скрыть от глаз невежд (зрелище.— И. Ф.) страшились, на кое толи-

¹ ЦГИАЛ, ф. 1251, оп. I, д. № 22, л. 37, сл.

² См. названное выше «дело», л. 33.

³ ЦГИАЛ, ф. 1251, оп. I, д. 22, л. 17 и 17-об.

ко лет взирая, не перестали содрогаться, было б по мнению моему то же, что борзому коню поводья бросить.

Добавить еще должен, что и просвещение, смягчая нравы, уменьшать может злодеев только число (л. 17), а не уничтожить оных появление, следственно, как правительству, к поражению их, не угрожать им самосильнейшей строгостью закона в то наипаче время, в коем повсеместно и само просвещение бессильно случилось отклонить порождение извергов всякого рода в таком числе, что и среди сущего мрака больше их не бывало. Одним словом, где гроза, тут и честь; я, держась сей истины, заключаю, что не отмена кнута нужна, но лучшее только распределение случаев употребления его».

Александр I, как сказано, согласился с мнением, изложенным в этом поистине щедринском документе, и кнут, орудие жестокого наказания, отменен не был.

* * *

Находясь в сентябре 1825 года за границей и осматривая в Германии один из средневековых замков, Александр Иванович Тургенев видел выставленные там как «памятники невежества и ожесточения, между древностями» орудия пыток и казней и записал под впечатлением этого зрелища 13/1 сентября в своем дневнике:

«Мордвинов! Когда кнут будет у нас лежать с древностями, хотя бы и в Грановитой палате, то имя твое перейдет в потомство», «а кн. Л-Р-х (то есть князей Лобановых-Ростовских.—И. Ф.) герб украсится изображением кнута с девизом: близ царя — близ кнута!.. Историк — ибо и подвиги подлости принадлежат иногда истории — объяснит 'смысл сего девиза!'»¹.

Эта обличительная запись показывает, что «подвиги подлости» князей Лобановых-Ростовских были А. И. Тургеневу хорошо известны. А обратившись к его подлинному дневнику, который хранится в Пушкинском Доме², в нем над словами этой записи: «близ царя — близ кнута» можно прочесть: «близ царя — близ грозы», и это показывает, что Тургенев, по-видимому, не только знал содержание «Мнения» в защиту кнута, но и читал его (поскольку в последнем было сказано: «где гроза, тут и честь» — и отмена кнута поэтому не нужна).

Нам остается объяснить значение пушкинского стиха, адресованного «заступникам кнута»: «Все наши женщины и дети Вам благодарны, как и я». Дело в том, что женщины беременные или «питающие младенца грудью», по закону, пытке и наказанию кнутом не подвергались³. Против этой льготы «знаменитые князья» не возражали, за что Пушкин саркастически и благодарит их. Впрочем,

¹ Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). Под ред. М. И. Гиллельсона. М.—Л., 1964, с. 298—299.

² Дневник А. И. Тургенева с 8 августа по 4 сентября 1825 г. Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 3, л. 59 и 59-об.

³ См.: Архив Государственного совета, т. IV, ч. 2. СПб., 1874, с. 859—862.

и эта «льгота» не всегда соблюдалась: об одном из таких ужасающих случаев, происшедшем во время следствия по делу об убийстве любовницы Аракчеева Настасьи Минкиной, вспоминал позднее в «Былом и думах» Герцен¹.

Когда Пушкин напечатал свою сатиру на графа Уварова, врага великого поэта и автора знаменитой формулы «православие, самодержавие и народность», Александр Тургенев заметил: «Другого бы забыли, но Пушкин заклеил его бессмертным поношением. — Поделом вору и вечная мука!»².

«Бессмертным поношением» заклеил он в своем так долго оставшемся загадочным наброске «заступников кнута и плети» — братьев Лобановых-Ростовских, имена которых стали нам теперь известны. Герб их, по слову Тургенева, должен был «украшаться изображением кнута и девизом: «близ царя — близ кнута». Он, как помнит читатель, добавил: «Историк — ибо и подвиги подлости принадлежат иногда истории — объяснит смысл сего девиза!» Смысл его теперь объяснился.

1968

Выводы настоящей работы, как можно отметить в заключение, полностью приняты в новом десятитомном собрании сочинений Пушкина, выпускаемом издательством «Художественная литература» (т. II, 1974, с. 616—617. Примечания Т. Г. Цявловской); здесь указывается, со ссылкой на нашу работу, в связи с чем и на кого была в действительности написана эпиграмма «Заступники кнута и плети».

Мне кажется, что, не ограничиваясь этим верным, новым комментарием, нужно печатать теперь оставшуюся так долго загадочной пушкинскую эпиграмму под заголовком «На князей Лобановых-Ростовских».



¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 9, М., 1956, с. 88—89.

² Тургенев А. И.—П. А. Вяземскому, 9/21 марта 1836 г.— «Литературное наследство», т. 58, с. 120.



ЛЕСТНИЦА ЧУВСТВ

В. Берестов

1

Читая народные песни в записях Пушкина, я и представить себе не мог, что найду среди них два стихотворения, принадлежащих перу самого поэта. Я искал лестницу чувств. Что это такое?

В 1832 году Пушкин набросал план статьи о русских песнях. За «Вступлением» обрывочное: «Но есть одно в основании». Поэт с кем-то и с чем-то спорит своим «но» и почти все пункты плана посвящает своеобразию наших народных песен, тому, что выделяет их в мировом песенном творчестве.

Тут и «оригинальность отрицательных сравнений» (вспом-

ним «Не белы снежки» и т. п.), и оригинальность осмысления народом своей исторической судьбы («Исторические песни»), и самобытность народного обряда («Свадьба»), насыщенного песнями, от тоскливых причитаний невесты до разгульного застолья свадебного пира.

Далее «Семейственные причины элегического их тона». Речь, конечно, уже идет не о свадебных, а о протяжных внеобрядовых семейных песнях, о которых Пушкин скажет потом в «Путешествии из Москвы в Петербург»: «Вообще несчастье жизни семейственной есть отличительная черта во нравах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновен-

ное их содержание — или жалоба красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене». К народной лирике, конечно же, относится и заключительный пункт пушкинского плана «Лестница чувств».

Не здесь ли то «одно», что лежит в «основании»? Не в ней ли, не в лестнице ли чувств, нашел поэт самую отличительную, самую оригинальную, самую русскую черту нашей песни?

Рискну сформулировать пушкинскую характеристику лестницы чувств, своего рода закон лестницы чувств: «Национальное своеобразие русской народной лирики выражается в том, что в традиционной необрядовой песне одни чувства постепенно, как по лестнице, сводятся к другим, противоположным».

Как сказал Баратынский, «сначала мысль воплощена в поэму сжатую поэта». Закон лестницы чувств я вывел, сопоставив два стихотворных отрывка, один — из «Зимней дороги», другой — из «Домика в Коломне»:

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

...Известная примета!
Начав за здравие, за упокой
Сведем как раз.

«Что-то родное» и есть национальное своеобразие. «Сведем» — вот и лестница! По ней сводят чувства: от разгулья удалого (за здравие) к сердечной тоске (за упокой). И обычно

(«Известная примета!») в одной и той же песне.

Но есть песни, тоже очень русские («родные звуки звонкой песни удалой»), где чувства не сводятся, а поднимаются по лестнице. Пушкин в стихах про-сит ямщика:

Пой: «Лучинушка, лучина,
Что же не светло горишь».

А вот текст «Лучинушки» в пушкинской записи. Удивителен почти кинематографический монтаж «Лучинушки». Сначала крупным планом лучина, время глагола настоящее, тон лиричный:

— Лучина-лучинушка
березовая!
Что же ты, лучинушка, не ясно
горишь,
Не ясно горишь, не
вспыхиваешь?

И вдруг голос здравого крестьянского смысла:

Али ты, лучинушка, в печи не
была?

Далее средний план: молодая женщина перед лучиной, время глагола прошедшее, тон сказочный (лучина ответила!):

— Я была в печи вчерашней
ночи,
Лихая свекровушка воду
пролила,
Воду пролила, меня залила.

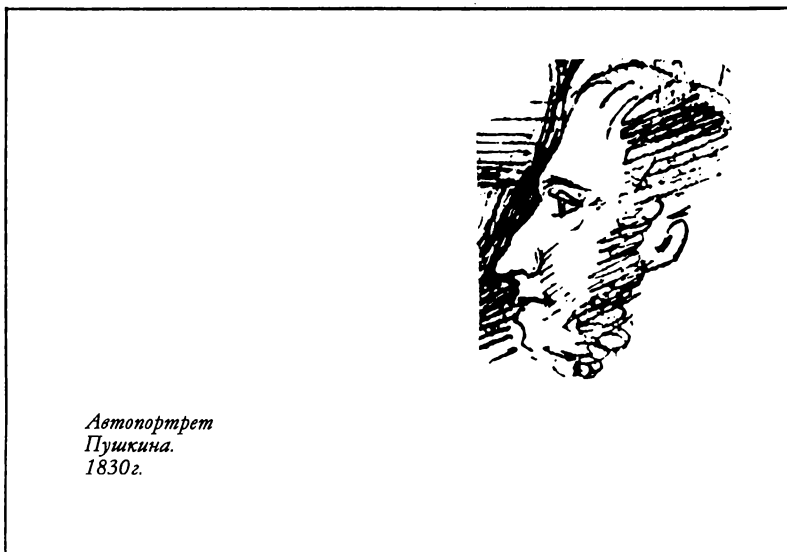
Затем мы видим освещенные слабым светом догорающей лучины лица подруг, разговор идет уже в повелительном наклонении, интонация бытовая:

— Сестрицы голубушки,
ложитесь спать:
Ложитесь спать, вам некого
ждать.

Далее глаголы в неопределенной форме, а на самом деле — в будущем времени (подразумевается «предстоит»), ме-

щего резко переходит в прошедшее:

Первый сон уснула — без
миленького;
Второй сон уснула — без
сердечного;
Третий сон уснула — зоря
белый день.



*Автопортрет
Пушкина.
1830г.*

няется план: красавица одна
в темной избе:

А мне, красной девице, всю
ночку не спать:
Кровать убирать, мила дружка
ждать.

Снова будущее время глагола, красавица ложится спать:

Убравши кроватушку, сама лягу
спать.

Потом три пробуждения, окно все светлее, и наконец залитые зарей изба и двор за окном, время глагола от буду-

И наконец в последних трех стихах — настоящее, но уже другое, то ли сбывшееся, то ли приснившееся, то ли пригрезившееся когда-то при свете догоравшей лучины. Крупным планом — приближающийся возлюбленный. Интонации праздничные, плясовые, удалые:

Из-под белой зорюшки мой
милый идет,
Собольей шубочкой
пошумливает,
Пуховой шляпочкой
помахивает,
Сафьянны сапожки
поскрыпывают...

Переключение планов, времен, тона, бытового и сказочного, драматического и игрового, — это и есть лестница чувств.

Песня начинается «сердечной тоской»: догорающей лучиной и лихой свекровью. А заканчивается «разгулем удалым»: белой зарей и нарядным возлюбленным. Между беспробудной тоской и беззаветной радостью — ступени лестницы чувств: и обида на свекровушку, и прощание с подругами, и жалость к ним, что им некого ждать (а мы-то собрались жалеть героиню песни!), и любовные томления, и «расота зари».

Лестница чувств отличает традиционную народную лирику от песни литературного происхождения и наших «авторских» стихов, где в каждом стихотворении развивается и нагнетается какое-то одно чувство. И если в прекрасной песне литературного происхождения (ее автор — поэт Стромиллов, современник Пушкина) слышится «догорай, гори, моя лучина», значит, и начнется она тревожно: «То не ветер ветку клонит» — и кончится безнадежно: «в тихой келье гробовой».

Чтобы в «авторской» лирике «разгулье удалое» сменилось «сердечной тоской», нужно горестное событие, идущее следом за радостным, нужен сюжет. Но даже в повествовательной лирической песне, как отмечает Н. П. Колпакова в книге «Русская народная бытовая песня», «четкая сюжетность, наличие драматического конфликта, динамичность в разработке сюжета, острый трагизм тематики... отсутствуют». В прочей же традиционной лирике «преобладает эмоциональный элемент,

а сюжет, почти как правило, совершенно отсутствует».

Он заменяется лестницей чувств, сменой не событий, а сюжетных построений или сюжетных ситуаций, как их называют фольклористы. Аналогий этому, как говорит та же исследовательница в другой своей книге «Песни и люди», «в мировом песенном материале нет». Вот какое удивительное явление открыл Пушкин!

Зная закон лестницы чувств, закон движения песни, от «разгуля удалого» к «сердечной тоске» и наоборот, начинаешь с захватывающим интересом следить за ее композицией. Вот, к примеру, сборник «Лирические народные песни» в малой серии «Библиотеки поэта» (1956 г.). Здесь даже самая короткая песня — по пушкинской формуле:

А молодость, молодость!
Девичья красота,
Молодецкая сухота.

За здравие! Но легкое переключение тона, плана, времени глагола:

А чем тебя, молодость,
При старости вспомнать?

И поминание делается, так сказать, заупокойным:

Вспомнать тебя, молодость,
Тоскою-кручиною,
Тоскою-кручиною,
Великой печалию.

Кто герой песни? Юная красавица? Молодец, кого она «ушищит»? Старуха оглянулась на свою юность? Зрелый муж встретился с молодостью, ждет ее

рости? В короткой песне все эти судьбы. Несколько незавершенных, «открытых» сюжетных ситуаций. Каждая по-своему тронет каждого, заденет в душе те или иные струны, поведет по лестнице чувств.

Теперь уже ясно, что, начавшись «разгулем удалым» («За Кубанью, за рекой, там казак гулял»), песня непременно сведется «за упокой», к «гробовой доске». А если другая песня начнется символом «разгулья» («Тут построили кабак»), то в конце жди «реченьки кровавой», «струечки слезяной». А третья, наоборот, от непроглядных туманов, «как печаль-тоска ненавистных», прямоком приведет к «разгулю удалому» вольницы: «Мы рукой махнем — девицу возьмем». А есть песня, где женщина просит буйные ветры для веселья раскатать горы. Но в конце песни они уже в низине будут качать, как траву, ее горе, взошедшее «черной чернобылью, горькою полынью». И напомнит нам сейчас о трагедии Чернобыля!

Народы, когда им требуется лирика индивидуальной судьбы и любви, развитой личности, создают себе поэтов. На Руси XV—XVII веков вышло так, что профессиональные артисты, музыканты, поэты — скоморохи, из среды которых, может быть, появились бы русские вийоны, ронсары и петрарки, жестоко преследовались и даже истреблялись. Да и книжный язык еще не годился, скажем, для любовной лирики. И тогда народ создал лирическую песню особого склада, лестницу чувств, задевавшую у каждого самые затаенные струны, формировавшую свободно и широко

то то разнообразие личностей, без которого народ оскудел бы.

За внешней бессюжетностью — внутренней многосюжетностью. И если лестница чувств вела к «сердечной тоске», то это была острота, с которой переживались отклонения от общинного, народного идеала, в том числе и в самой народной жизни. Если же она вела к «разгулю удалому», то наступала, пусть в мечтах, пусть на миг, возможность осуществления народных, общечеловеческих идеалов добра, справедливости, красоты.

Пушкин не был бы Пушкиным, если бы сам не воспользовался своим замечательным открытием. И верно. Прямо в той же «Зимней дорожке» он соединил лестницей чувств дорожную скуку, одиночество, неприютность в снежном поле с безмятежностью и домашним уютom счастливой любви («забудь у камина, загляжусь, не наглядясь»). Ступенями лестницы были чувства, вызванные в душе поэта народной песней.

И вот октавы «Осени», так не похожие на народный стих. Монтаж еще прихотливей, чем в «Лучинушке». Начав с осени, поэт переходит сразу к весне, когда его «чувства, ум тоскою стеснены» («сердечная тоска?»). Потом — к зиме, к лету, снова к осени. Мы радуемся охоте, ночной санной прогулке с возлюбленной, блестящим тревогам зимних праздников, жалеем нелюбимое дитя в семье родной, страдаем обреченной чахоточной деве и чуть влюбляемся в нее. И, наконец, «в камельке забытом огонь опять горит» (не от «Лучинушки» ли?), и мы пе-

реживаем чувства гения в пору его высшего подъема:

Громада двинулась и рассекает
волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?..

Вот уж, как говорится в народной песне, и впрямь «не одна во поле дороженька пролежала!» (Кстати, именно эту песню поет Яков Турок в рассказе Тургенева «Певцы», и в ней звучит «и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и слабость, и какая-то увлекательно-беспечная грустная скорбь», то есть лестница чувств.) По лестнице чувств, переклюкая тон, планы, стили, времена глагола и времена года, сюжетные ситуации, Пушкин поднимает нас, как по трапу, на океанский корабль поэтического воображения и вдохновения.

Теперь понятны термины Ю. Н. Тынянова, какими он пользуется в своей статье «Пушкин», предназначенной для энциклопедии, говоря о причинах быстрой и даже, как он выразился, катастрофически быстрой эволюции пушкинского творчества: «внефабульная динамика», «внесюжетное построение», «вместо прямого развития темы... осложнение темы противоречащими мотивами», «переключение из одного плана в другой, из одного тона в другой», которое «само по себе двигало». Типичная лестница чувств народной лирики! Но это находит Тынянов и в «Руслане и Людмиле», и в «Кавказском пленнике», и в «Полтаве», и в «Борисе Годунове», и, конечно же, в лирике Пушкина.

Тынянов открыл у Пушкина то, что сам поэт и в стихах, и в наброске плана теоретиче-

ской статьи открыл у народа. «Евгений Онегин» — это «собранные пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных», — Пушкин прямо ссылается на народные источники своего стиха, на лестницу чувств.

Пушкин не просто вывел лестницу чувств из народной поэзии и сделал ее явлением литературы. Он сочетал ее с сюжетом, с фабулой, с иными, не песенными жанрами, с нерусским жизненным материалом. Так поэт реализовал вклад русского народа в мировую литературу. Так создал он то, что Твардовский уже в применении к Бунину и Чехову назвал русской формой. Тут нет никакой мистики. Русской формой можно пользоваться так же, как итальянской формой сонета или японской «хоку». В любой литературе. В том числе и в русской.

В дни войны К. Симонов, написав «Каретный переулочек», открыл для себя лестницу чувств:

Начинаются русские песни
запевочкой
Ни с того ни с сего о другом.

Мы-то теперь знаем, с чего эта «запевочка». Да и Симонов, дав «запевочку» в середине стихотворения, соединил лестницей чувств «пепелища, дома черноробрые» с безмятежностью довоенного детства. И все же не зря Твардовский открыл русскую форму именно в прозе. Из поэзии, если не считать его же «Василия Теркина», она почти ушла.

В июне 1968 года Корней Чуковский записал в дневник:

«Вновь в тысячный раз читаю Чехова. О Чехове мне пришлось в голову написать главу о том, как он, начав рассказ или пьесу минусом, кончал ее плюсом. Не умею сформулировать эту мысль, но вот, например: водевилъ «Медведь» начинается ненавистью, дуэлью, а кончается поцелуем и свадьбой. Для того, чтобы сделать *постепенно* переход из минуса в плюс, нужна виртуозность диалога». Постепенно, то есть как по лестнице. Чуковский обнаружил у Чехова то, что Пушкин открыл у народа, — лестницу чувств.

Под влиянием статьи Твардовского о Бунине фольклорист Д. Н. Медриш в талантливой статье «Сюжетная ситуация в русской народной песне и в произведениях А. П. Чехова» и в книге «Литература и фольклорная традиция» увлеченно исследует русскую форму в фольклоре, у Пушкина, у Чехова. Правда, лестницу чувств Медриш мимоходом назвал целью народной песни. С таким же успехом целью любовной лирики Петрарки можно назвать сонет. Лестница чувств — прежде всего художественное средство. Главный вывод фольклориста — гимн безвестным крестьянским поэтам, современникам Ронсара и Шекспира: «То, что завязалось в народном творчестве времен Колумба и Афанасия Никитина, отозвалось в литературном развитии нашего времени».

2

Эту песню очень легко читать вслух, словно создана она для чтения, а не для пения. А лестница чувств в ней сочета-

ется с сюжетом, что характерно для произведений самого Пушкина. Сначала — сюжет:

Уродился я несчастлив,
бесталанлив;
Приневолили меня,
малешенька, женили;
Молода была жена, я глупенек,
Стал я молодцем — жена стала
старенька.
Полюбилась мне молодка
молодая,
Иссушила мое сердце ретивое.
Как вечер меня молодка
огорчила,
Мне несносную насмешку
насмеяла:
Отступися, — мне сказала, —
отвяжися,
У тебя своя жена, с ней и
целуйся!

Участь героя незавидная: женили его, может, и на красавице, да не в пору. Вырос, а жена постарела. Полюбил молодую, а та отсылает его к постылой жене. Этот сюжет изложен размером, близким к размеру «Песен западных славян» или «Сказки о рыбаке и рыбке». Там встречаются строки такой длины, например, «Я неволен, как на привязи собака» или «Здравствуй, барыня-сударыня дворянка!»

А дальше — переключение ритма, вместо женских окончаний строк — мужские и гипердактилические; переключение плана от семейной песни к удалой, бурлацкой, разбойничьей; переключение времен глагола — от прошедшего к настоящему. И наконец переход от четкого реалистического сюжета к сюжетной ситуации, кото-

рая скорее грезится герою песни,
чем происходит наяву:

Во бору ли во сыром ли
 стук-треск:
Бурлачки сосну подрубливают,
Подрубливают, поваливают;
Из сыра бора по лугу волокут,
По крутому берегу

 покатывают,
Середь лодочки устанавливают,
Тонкий парус навешивают,
Уплывают вниз по Волге по
 реке.

И — возвращение к первоначальному размеру (шестистопный хорей), но уже насыщенному внутренними рифмами и интонациями горячей мольбы:

— Вы стойте, добры
 молодцы, погодите,
Вы с собой меня возьмите,
 посадите,
Разлучите с опостылой со
 женою.

Вот каким, оказывается, может быть выход из «неволи браков»! Побег, вольница...

«Стал я молодец — жена стала старенька» и «тонкий парус навешивают» — этого не только не споешь на один народный мотив, но и не прочтешь в одном ритме, в одном ключе. Песня, какую заведомо нельзя спеть, каким образом она оказалась среди записей Пушкина, а не среди его сочинений?

Занявшись историей вопроса, я обнаружил, что нечаянно нашел ответ на так называемую «загадку Пушкина».

В 1833 году Пушкин передал Киреевскому свои записи народных песен и, по словам Ф. Буслаева, предложил ему «когда-нибудь от нечего делать»

разобраться, «которые поет народ», а которые «смастерил» он сам, Пушкин. А по свидетельству П. Бартенева, поэт еще до передачи песен предупредил: «Там есть одна моя, угадайте». Киреевский не угадал. Буслаев он сказал, что не сладил с задачей и в книге «песни Пушкина пойдут за народные». А позже, при встрече с Бартевым, Киреевский уже думал, что Пушкин пошутил, «ибо ничего поддельного не нашел в песнях этих».

Вот загадка моя: хитрый
 Эдип, реши!

Загадка Пушкина решалась так же просто, как загадка Сфинкса, которую разгадал хитрый Эдип! Помните ее? «Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, вечером на трех?» Сколько путников упало в пропасть, не догадавшись, что каждый из них и был ответом на загадку. Ведь каждый в детстве ползал на четвереньках, а в старости ему бы пришлось опираться на палку.

Киреевский недаром заподозрил в загадке подвох. И не зря Пушкин, формулируя условия задачи, начал легкомысленным «когда-нибудь от нечего делать».

Ответом на загадку Пушкина была сама переданная им пачка записей. Это из них поэт смастерил песню, которую народ не мог бы спеть, раз ее нельзя положить на какой-то один мотив. Ученые, как я убедился, искали песню, не похожую ни на какую другую, а она была похожа на все песни сразу.

Из трагической песни про то, как жена мужа убила, Пушкин взял зачин:

молодца, молодку и постылую жену. Но никто не обратил внимания на молодку, пожалевшую свою горемычную соперницу. А ведь Пушкин и ей собрался посвятить стихи в народном духе, начав их такими словами:

Друг сердечный мне наемдни
говори́л:
По тебе я, красна девица,
изныл,
На жену свою взглянуть я не
хочу —
А я все-таки...

Все-таки, как мы видели, ответит возлюбленному: «У тебя своя жена, с ней и целуйся».

Песня «Уродился я...» связана с обоими отрывками. Так же, как с темой волжской вольницы в «Песнях о Стеньке Разине» (1826 год). Задолго до передачи песен поэт уже нашел у народа и сам по отдельности набросал то, что составит три части его «загадки»: муж-малолетка, совестливая молодка, мечта о воле. Осталось лишь выстроить единую судьбу. Тут Пушкину-поэту помог Пушкин-публицист.

По пути в Арзум (1829 год) Пушкин спросил казаков, все ли у них в доме благополучно, услышал про измены, про побои, начал доискиваться до причин: «Каких лет у вас женят?» Узнав, что четырнадцать, произнес как бы в песенном ритме: «Слишком рано, муж не сладит с женою». Мужья, как оказалось, обречены на измены женам, а жены — мужьям.

«Стал я молодцем — жена стала старенька» — такого стиха не найдешь в народных песнях. Это вывод из исследования нравов, предпринятого поэтом. «Мужчины женились обыкно-

венно, — сказано в «Истории села Горюхина» (1830 год), — на 13-м году на девицах 20-летних. Жены били своих мужей в течение 4 или 5 лет. После чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено».

Дворянских мальчиков не женили на взрослых барышнях. Но «неволя браков» (пушкинская формула) не пощадила и это сословие. В год передачи песен писался «Дубровский». «Бедная, бедная моя участь», — слова Владимира о предстоящем браке Маши со стариком князем. «Вы были приневолены», — атаман останавливает свадебную карету. Вот вам и «Уродился я несчастлив» и «приневолили!» И выход тот же: дочь Троекурова, в ужасе перед неволей брака, чуть не стала атаманшей у разбойников.

Зачем Пушкин разыграл Киреевского, коли предмет столь серьезен? Хотел ли поэт подшутить над ученым, как Гете над Гердером, когда вместе с записями немецких песен вручил знатоку своего «Фульского короля» и «Дику розу»? Но ведь и Пушкин мог дать Киреевскому, скажем, прелестную песню из «Русалки» «По камушкам, по желтому песочку». Но взял из нее лишь интонацию:

Как вечер у нас красна девица
топи́лась,
Утопая, мила друга проклинала.

Взял у отвергнутой, отдал отвергающей:

Как вечер меня молодка
огорчила,
Мне несносную насмешку
насмеяла.

Можно было дать Киреевскому «Песни о Стеньке Разине». Не угадал бы! Несколько поколений ученых считали их фольклором.

Дело, наверное, вот в чем. Раз уж «отличительной чертой во нравах русского народа» поэт счел «несчастье жизни семейственной», сославшись на народные песни, то он пожелал изменить эти нравы. Жалоб «красавицы, выданной замуж насильно» в любом песеннике нашлось бы сколько угодно. А вот другая тема, «упреки молодого мужа постылой жене», мужская доля, могла бы пройти мимо сознания читателей, принадлежащих к образованному слою.

Вот почему поэт собрал в одну необычную подборку (это отметила в 1953 г. Т. Акимова) столько песен на эту тему. И вдобавок сам «смастерил» обобщающую песню, где несчастны все: и мальчик, и девушка, выданная насильно, и молодец, и его постаревшая жена, мать его детей, и возлюбленная, и ее немилый муж, если та замужем. В одной судьбе — беда целого народа. А выход? Вольница, чуть ли не бунт. Этим он пугает и общество, и правительство.

«Неволя браков — давнее зло». Определить его причины, поэт жаждет их устранить: «Недавно правительство обратило внимание на лета вступающих в брак, — пишет он в 1835 году. — Это уже шаг к улучшению». Но «крестьянские семейства нуждаются в работах», вот и женят малолеток.

В 1834 году, уже после того как песня «Уродился я...» надолго осела в архиве Киреевского, Пушкин в своей поэзии вернул

ся к ее сюжету. Вновь ранняя женитьба, потом любовь к красной девице, разлука с любимой, мечта о воле... Своего «Соловья» Пушкин нашел в сборнике сербских песен. Но там герой жалеет, что до сих пор не женат. А в переводе:

Как уж первая забота —
Рано молодца женили.

Но вместо лодки на просторе он согласен на совсем другую ладью и другой простор:

Вы копайте мне могилу
Во поле, поле широком.

Сюжет песни, переданной Киреевскому, нашел-таки совершенное художественное выражение. Теперь уже «Уродился...» как бы черновой набросок для «Соловья».

Как мы видели, П. В. Киреевский все же понял, что Пушкин подшутил над ним, но не догадался, в чем состояла шутка. Это не был розыгрыш, как у Гете с Гердером или как вышло у Мериме с Пушкиным. Поэт был настолько уверен в своем владении народным стихом и знании народной жизни, что весело предупредил Киреевского, какие именно вольности в обращении с этим стихом он себе позволил. Отрывка «Уродился я бедный недоносок», найденного лишь в 1912 году, Киреевский не знал.

Зато пушкинист Н. О. Лернер, изучая в архиве Киреевского копию пушкинской записи «Уродился я...», сразу вспомнил беднягу «недоноска». А заодно припомнил и «рано молодца женили», и «Историю села Горюхина», и «неволю браков».

Песня вошла в собрание сочинений Пушкина (1915 год) с таким примечанием: «По крайней мере первые десять стихов скорее принадлежат Пушкину, чем народу, и, быть может, эта песня из тех, о которых великий поэт говорил великому знатоку: «Разберите-ка, которые поет народ, а которые смастерил я сам».

Погодите. Великий поэт предлагал великому знатоку заняться этим «когда-нибудь от нечего делать». Но именно эти слова опущены. Фольклористика и пушкинистика стали к тому времени столь серьезными науками, что никакой шутки, никакого подвоха в пушкинской «загадке» Лернер не посмел и предположить. В статье «Генезис Песен Западных славян» Лернера поддержал Б. В. Томашевский: «Десять первых стихов и три последних — результат литературной обработки народной песни». А остальные восемь стихов?

Пушкин, как мы видели, взял для них интонацию из одной, а ситуацию из другой песни. Но у народа муж с плотниками готов построить корабль, что ответит жену «на свою сторону». А здесь у удалцов готовая лодка с готовым парусом. Нет только мачты. Вся картина рубки сосны и установки мачты, в сущности, развернутая метафора. Она передает душевное состояние героя.

Тут поэт создает нечто абсолютно народное, но фольклору не известное. Вот смысл необычайной пушкинской метафоры: «Найдите меня в людском множестве, как нашли в бору одну-единственную сосну, и я по-

служу вам, как эта сосна, ставшая мачтой». Вот что и сторонники, и противники пушкинского авторства, не задумываясь, не ссылаясь на какую-то определенную песню, безоговорочно считали народным!

Ритм, звуковая игра здесь разработаны так, что в этих «бору ли-бурл-рубл» слышится, как бурлят волны, как рубят топоры. А записав одну из строк лесенкой:

Из сыра
бора
по лугу
волокут,—

попадаем в XX век к Хлебникову и Маяковскому. И все это написано как бы шутя, играючи.

Но шутка вместе с записью Буслаева была отвергнута. Постановили верить лишь Бартеневу: «Там есть одна моя, угадайте». Загадка обрела категоричность и академическую солидность. «Впредь нужно искать лишь одну, написанную Пушкиным в стиле народных песен»,— сказано в сборнике «Рукою Пушкина» (1935 год). Слово «моя» нужно, как нам кажется, понимать в том смысле, что песня была целиком сочинена Пушкиным, а не явилась результатом разного рода переделок и подправок текста подлинно народной песни. Никаких шуток, никаких «смастерил» и «от нечего делать»!

Поди догадайся, что не одна песня пошла в дело, а много, и что 8 строк, не вызывавших сомнения в их народности, целиком сочинены Пушкиным, а в результате переделок и под-

правок возникло нечто совершенно новое, небывалое.

Проницательная Т. М. Акимова в статье «Пушкин о народных лирических песнях» (1953 год) назвала песню «чрезвычайно народной», то есть народной с избытком, сверх меры. Акимова подошла к самой сути «загадки Пушкина».

А в 1966 г. в статье «Рождение реализма в творчестве Пушкина» наш замечательный пушкинист С. М. Бонди даже восхитился тем, что «до сих пор не могут установить, которая из этих песен написана самим Пушкиным. Так умело «смастерил» Пушкин свою «подделку», так прекрасно овладел он и языком, и стилем, и всем духом народной песни! Можно думать, что для самого Пушкина это был своего рода экзамен, который он блестяще выдержал. Вспомним, что и пушкинские «Три песни о Стеньке Разине» (1826 год) до недавнего времени вызывали сомнения исследователей: написаны ли они самим Пушкиным или представляют собой отредактированные им подлинные народные сочинения».

Стихи «Уродился я...» до сих пор иногда входят в сборники народных песен с примечанием: «Запись и литературная обработка А. С. Пушкина». Мы видели, что это за «обработка»!

Согласимся с С. М. Бонди, что экзамен Пушкин блестяще выдержал, датируем «песню» 1833 годом, годом передачи песен Киреевскому, и она встанет рядом со стихами «Сват Иван, как пить мы станем», где тоже использованы строки подлижных народных песен.

И еще одна песня, поразившая меня звучанием и содержанием. К тому же она записана рукою Пушкина:

Как за церковью, за немецкою,
Добрый молодец богу молится:
— Как не дай, боже, хорошу
жену,—

Хорошу жену в честной пир
зовут,

Меня, молодца, не
примолвили*.

Молоду жену — в новы саночки,
Меня, молодца, — на запяточки.
Молоду жену — на широкий

двор,
Меня, молодца, — за воротички.

Итак, в большом городе, где есть иноверческие церкви и где православный почему-то молится за немецкою церковью, живет человек, женатый на красавице. За молодость и красоту ее то и дело зовут на зимние праздники к некоему лицу, столь могущественному, что от приглашения не откажешься. А мужа красавицы унижают какие-то ОНИ. Смотрят ОНИ на него как на холопа, ливрейного лакея, которого можно поставить на запятки саней, везущих красавицу во дворец. Вопреки народному обычаю ОНИ могут позвать ее одну, без мужа, а если он явится с ней, то выставят его за ворота. Чья это судьба? И кто ОНИ?

Если это стихи Пушкина, то они по-новому освещают события, описанные им в Дневнике и в письмах. Если же это народная песня, то она их предсказывает.

* пригласить (Примечание Пушкина).

«Теперь они смотрят на меня как на холопа, — пишет поэт жене после того, как его пожаловали в камер-юнкеры, — с которым можно им поступать как им угодно». А в Дневнике — о причинах этого: «Двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове». Вот вам и ОНИ, и «двор», и «хороша жена», которую «в честной пир зовут». И обращение с мужем как с холопом: «меня, молодца, — на запяточки».

Неужели ОНИ Пушкина выставляли за ворота? Запись от 26 января 1834 г.: «В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал в мундире...» Ненавидный придворный мундир поэт по-народному величал полосатым кафтаном, а себя в нем — шутом. Читаем дальше: «Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал, оставя Наталью Николаевну». Опять ОНИ за безличным «мне сказали». Вот оно — «меня, молодца, — за воротнички».

Еще запись: «Описание последнего дня масленицы (4-го мар.) даст понятие и о прочих. Избранные званы были во дворец на бал утренний, к половине первого. Другие на вечерний, к половине девятого. Я приехал в 9. Танцевали мазурку, коей оканчивался утренний бал». Итак, в число избранных «меня, молодца, не примолвили». А жену? Читаем дальше: «Дамы съезжались, а те, которые были с утра во дворце, переменили свой наряд. Было пропасть недовольных: те, которые званы были на вечер, завидовали утренним счастливицам. Все это кончилось тем, что жена моя выкинула. Вот до чего доплясались». Всю масленицу

ей пришлось танцевать на обоих балах.

Какие унижения, какие беды! «Как не дай, боже, хорошу жену», то есть прекрасную, любимую, — вот что вырвалось у автора песни... Рука Пушкина, судьба Пушкина, точные факты из Дневника, из писем. Вот так ОНИ могли унижить, сжить со свету и молодца из песни, и великого поэта:

С богатырских плеч
Сняли голову —
Не большой горой,
А соломинкой...

Так писал о НИХ и о гибели Пушкина Алексей Кольцов. О НИХ — и у Лермонтова («Смерть поэта»): «И прежний сняв венюк, они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него... И для потехи раздували...»

Выходит, о такой «потехе» рассказал и сам Пушкин в форме народной песни излюбленным кольцовским размером, кольцовским пятисложником, как называют его стиховеды. У Пушкина есть еще 8 строк, написанные тем же размером, — плач Ксении Годуновой по погибшему жениху:

Что ж уста твои
Не промолвили,
Очи ясные
Не проглянули?..
Аль уста твои
Затворилися,
Очи ясные
Закатилися?

Продолжаю исследовать свою неожиданную находку. Замечаю, что песня «Как за церквью...» куда трагичней, чем

Дневник и письма 1834 года. «Я уехал, оставя Наталью Николаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к С. В. Салтыкову. Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне».

Слова царя, конечно, совпавшие с «мнениями света», против которых восстал поэт, в переводе с французского звучат так: «Он мог бы взять себе труд надеть фрак и возвратиться. Попеняйте ему». Так и слышишь чей-то голос: «Гости во фраках». Жена остается, муж уходит и не возвращается. Все знают об этом, обсуждают слова царя. Никто не удивляется, не возмущается. Обычная николаевская формалистика. Кто-то просто передал слова царя поэту, кто-то от имени царя попенял ему.

Но песня говорит о смертельном оскорблении, а Дневник — лишь о недоразумении, пусть обидном, унижительном. Царь, встретив его жену на балу у Трубецких, выражает недовольство: «Из-за сапог или из-за пуговиц ваш муж не явился в последний раз?» (Здесь французское выражение «из-за сапог» означает «без повода, по капризу»). И — пояснение Пушкина: «Мундирные пуговицы. Старуха гр. Бобринская извиняла меня тем, что у меня не были они нашиты».

В Дневнике Пушкин как бы отмщен: не вернулся на этот бал, не поехал на следующий, да и сам пустил в ход формалистику: из-за мундира не пустили, из-за пуговиц сам не поеду... В песне обида несмыслимая, неотмщенная, да и нанесенная всеми ИМИ, в том числе и царем, всеми, кто сделал так, что-

бы великого поэта — «за воротнички».

День 4 марта описан как типичный день масленицы 1834 г. О том же сказано и в письме к П. Нащокину: «Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На масленице танцовали уже два раза в день». Конечно, поэта «не пригласили» и на остальные утренние балы. «Наконец, — продолжает он, — настало последнее воскресенье перед великим постом. Думаю: слава богу! балы с плеч долой. Жена во дворце. Вдруг, смотрю, с нею делается дурно — я увожу ее».

Нет, не мог Пушкин в 1834 году писать стихи про свою участь в браке. Смертельная угроза жене важнее собственной смертельной обиды. Написав Нащокину: «Теперь она (чтоб не сглазить), слава богу, здорова», — поэт не мог произнести («чтоб не сглазить»): «Как не дай, боже, хорошу жену». К тому же у Пушкина в те дни еще есть будущее, есть выход: можно подать в отставку и бежать с семьей «в обитель дальнюю трудов и чистых нег». У автора песни выхода нет: «хорошу жену» так и будут звать в «честной пир», а с мужем поступать как с холопом. Тут нужен был опыт не одной, а всех трех «придворных» зим.

Итак, новый зимний сезон. Запись от 18 декабря 1834 года: «Третьего дня был я наконец в Аничковом. Опишу все в подробности в пользу будущего Вальтер-Скотта». На что же должен обратить внимание будущий романист, подобно Шекспиру, Гете, Вальтеру Скотту, не имеющий, как выразился Пуш-

кин, «холопского пристрастия к королям и героям», сочиняя роман о Пушкине? Да опять — на пригласительный билет, на сцены в подъезде (как много сказал художник Н. Ульянов, изобразив такую сцену!), описание которых занимает в лаконичном пушкинском Дневнике непомерно много места.

Читаем: «Придворный лакей поутру явился ко мне с приглашением быть в 8½ в Аничковом, мне в мундирном фраке, Наталье Николаевне как обыкновенно». «В честной пир зовут», — так это выглядело внешне, приглашение как повестка. Заметим, что не указано, в какой шляпе быть Пушкину.

«В 9 часов мы приехали. Опять подъезд Аничкова. Тогда был январь («Я уехал, оставя Наталью Николаевну»), потом март («Я приехал в 9»), и вот декабрь («Мы приехали»). Сейчас кто-то проверит, все ли у поэта по форме, нет ли повода, чтоб опять его «за воротнички». Но Пушкин спасен: «На лестнице встретил я старую графиню Бобринскую, которая всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот». Графиню мы знаем по эпизоду с мундирными пуговицами, но таких эпизодов было куда больше («всегда»). Старуха спешит оглядеть поэта раньше тех, кто может унижить его, выставить на посмеяние: «Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме... но это еще не все)».

Далее будущий Вальтер Скотт может вместе с поэтом заглянуть в залу: «Гостей было уже довольно, бал начался контрдансами. Государыня была вся в белом, с бирюзовым го-

ловным убором; государь в кавалергардском мундире...» Поэт замечает головной убор императрицы, а все глядят на его собственный: «Граф Бобринский, заметя мою треугольную шляпу, велел принести мне круглую. Мне дали одну такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели». Дневник рассчитан на то, что его дополнит и додумает потомство: там есть и «примечания для потомства», есть и «шиш потомству».

Потомство, конечно, учтет, что граф А. А. Бобринский, внук Екатерины II, кузен царя, не только «основатель свеклосахарной промышленности в России, пропагандист устройства железных дорог, добычи каменного угля и торфа, развития сельского хозяйства, приятель Пушкина», как указано в комментариях Л. Б. Модзалевского под редакцией Б. В. Томашевского, но и, что важно для нас, церемониймейстер на дворцовых балах. Шляпу принесли из его реквизита. Бобринский и его мать знают о неизбежных, намеренных издевательствах над поэтом в подъезде Аничкова дворца и делают все, чтобы «вывести его из хлопот» и обид.

Одно лишь появление у дворца кареты Пушкина приводит в действие весь механизм этой игры, потехи над поэтом. Вот запись 1835 г.: «В конце прошлого года свояченица моя ездил в моей карете поздравлять великую княгиню. Ее лакей повздорил со швейцаром. Комендант Мартынов посадил его на обвахту, и Катерина Николаевна принуждена была без шубы ждать 4 часа на подъезде».

Павел Петрович Мартынов, санкт-петербургский комендант, то есть смотритель императорских дворцов. Обратим на него внимание, как это сделал и Пушкин, записав в конце 1833 г.: «Мартынов комендант». Зловещая роль его как бы подчеркнута песней «Как за церковью...». Все три последние зимы поэта Мартынов — на подъезде. Кто он? Золотая шпага за 1812 год... 14 декабря 1825 года. Два человека в полковничьих мундирах Измайловского полка: Николай и П. П. Мартынов. Полк во главе с Мартыновым принял участие в кровавой расправе, за что Мартынову — чин генерал-адъютанта. Итак, герой 1812 года, палач декабристов, а потом глава надо всеми дворцовыми лакеями и швейцарами. Видимо, не раз и не два он пользовался служебным положением, безнаказанностью, точным знанием того, как относятся к поэту и его жене, рассеянностью Пушкина, мелочами придворного этикета, чтобы задеть, унижить поэта перед всеми и особенно перед женой. Есть такой способ ухаживания или мести за неудачу — унижить мужа в глазах жены.

Пушкин завершает запись: «Комендантское место около полустолетия занято дураками, но такой скотины, каков Мартынов, мы еще не видали». Пушкин понимает, что оскорбление нанесено не только ему, но и жене. И на дуэль не вызовешь этот маховик казенной машины.

А теперь пришла пора объяснить, почему в песне добрый молодец молится русскому богу за немецкой церковью. В 1836 году Пушкин перевел на фран-

цузский для Лёве-Веймара плач по погребенному императору.

Во соборе Петропавловском Молодой матрос богу молится.

Матрос на часах у гроба Петра I — единственный представитель народа на этом погребении... В песнях такого рода всегда указывается название храма. А может, в песне названа Немецкая церковь с большой буквы, единственная из многих протестантских церквей Петербурга, которую народ именно так и называет? Немецкой церковью, как подтвердил мне историк архитектуры, ленинградец родом, А. Ф. Крашенинников, до сих пор называют в народе церковь святого апостола Петра на Невском. За ней — набережная Мойки, последняя квартира Пушкина. Но ведь могла так называться не только лютеранская, а и реформатская церковь. Что ж, здания этой церкви, построенной Фельтеном, при Пушкине занимали целый квартал, от Большой Коношенной до набережной Мойки. В песне, таким образом, дан адрес автора вместе с датой написания: не раньше осени 1836 года, когда была снята последняя квартира Пушкиных.

В это время уже во всем ее ужасе шла дуэльная история, что привела поэта к гибели. Зачем было вспоминать о сценах в подъезде дворца? Но вот что пишет С. А. Абрамович в книге «Пушкин в 1836 году»: «На 15 ноября Наталья Николаевна была приглашена на бал в Аничков дворец. Этот вечер в Аничковом, где она должна была появиться в избранном великосветском кругу впервые после

истории с анонимными письмами, был, конечно, для жены поэта трудным испытанием. Как выясняется, Наталья Николаевна не сразу решилась принять приглашение, хотя не явиться на вечер, которым царская чета открывала зимний сезон, значило вызвать неудовольствие императрицы».

История, развлекавшая свет («для потехи раздували...») с января 1836 года, с виду завершилась мирно. Назавтра Дантес уже должен был появиться в роли жениха свояченицы поэта. И ОНИ как ни в чем не бывало принимаются за прежнюю потеху: зовут жену без мужа.

Пушкину и его жене уже ясен оскорбительный смысл игры с приглашениями и неприглашениями, мундирами, шляпами, каретой и т. д. Но даже Жуковский этого не чувствует. С. А. Абрамович приводит его записку: «Разве Пушкин не читал письма моего? Я, кажется, ясно писал ему о нынешнем бале, почему он не зван и почему вам непременно надобно поехать. Императрица сама сказала мне, что не звала вашего мужа оттого, что он сам ей объявил, что носит траур и отпускает жену всюду одну: она прибавила, что начнет приглашать его, коль скоро он снимет траур. Вам надобно быть непременно. Почему вам Пушкин не сказал об этом, не знаю; может быть, он не удостоил прочесть письмо мое».

«Один как прежде», говоря стихами Лермонтова, один, как величавый дуб в траурном «Лесе» Кольцова, один, как матрос у гроба Петра, среди совсем другой публики, один, как добрый молодец, представитель на-

рода, из песни «Как за церковью...». Даже Жуковский не видит ничего неприличного в этой истории, которая тянется еще с того вечера, до камер-юнкерства, когда графиня Нессельроде привезла Наталью Николаевну, одну, без мужа, на бал в Аничков. И опять. Муж в трауре по недавно похороненной матери, почему бы жене не повеселиться без него на балу? Народные правила приличия для двора ничего не значат.

Зовут в «честной пир», чтобы бесчестить обоих. Раньше стояло «часто в пир зовут», Пушкин исправил на «честной». Видимо, Пушкин вспомнил песню вроде той, какую записал Киреевский:

Мою жену/ часто в гости зовут,
Мою жену/ во колясочке везут,
Меня, мужа, на веревочке
ведут.

Жена приглянулась барину, но обычай таков, что мужа не звать нельзя, хоть на веревочке да приведут. Ни одной народной песни про то, как жену зовут в честной пир без мужа, до сих пор не найдено. Вот что утверждают фольклористы, говоря о песне «Как за церковью...»:

«Во всех знакомых мне сборниках песен я не мог найти соответствующей параллели» (П. Шейн, 1900 год). «Песня семейная, вариантов к ней, к сожалению, подыскать ни Шейну, ни мне не удалось» (Н. Трубицын, 1910 год). И наконец: «Только нахождение в произведениях народного творчества близких вариантов к этой песне могло бы удостоверить, что в бумагах Пушкина мы имеем

запись, а не сочинение (В. Чернышев, 1929 год). Правку «в честной» вместо «часто» В. Чернышев увидел на фотокопии. Пушкинисты легко опровергли фольклориста.

Поправка, считал М. Цявловский, «легко объяснима тем, что Пушкин хорошо не расслышал, как пропела или сказала ему Арина Родионовна». Выходит, няня предсказала поэту судьбу на десяток лет вперед. Ведь песня найдена в старой тетради поэта, которую он вел в Михайловском, в том разделе, где он записывал народные сказки и песни. Няня предсказала и женитьбу на первой красавице, и камер-юнкерство, и «честные пиры» в Аничковом, и эпизоды с утренними и вечерними балами, и даже последний адрес поэта! Но Чернышев не связал песню с биографией поэта, и если песня и впрямь написана в 1824 году в Михайловском, то, значит, Пушкин предсказал все это себе сам!

Песне долго не везло. Даже в академическом десятитомнике 1957 года четыре ее стиха из девяти читались неправильно. Только в 1968 г. Р. Е. Теребенина изучила и опубликовала в «Литературном наследстве» (т. 79) точный текст песни, которая и вправду выглядит как фольклорная запись: «хо же» вместо «хорошу жену», «мол» вместо «молоду», сноска с подчеркиванием. Полевая запись фольклориста! Правда, песня записана черными чернилами, а черновики произведений поэта — коричневыми. Но зачем Пушкину было оформлять свое сочинение как фольклорную запись? Причины были. Разгар дуэльной истории. Загляни кто-

нибудь в тетрадь с новыми стихами и найди там «Как не дай, боже, хорошу жену», и пошли бы толки, что Пушкин сожалеет о своей женитьбе на Гончаровой. Но ведь стихи совсем не о том!

В 1836 году, написав «Памятник», Пушкин взглянул на свою поэзию как бы из будущего глазами народа. А в стихах «Как за церковью, за немецкою» он глазами народа взглянул на свою судьбу. И понял удивительную вещь: его уникальная для нас и для современников житейская драма, с точки зрения народа, не представляет собой ничего особенного. Одна из народных судеб! Так могло быть и с мужиком, чья жена пригласилась барину, и с купцом, чья жена понравилась опричнику...

С. М. Бонди, прочитав мою статью в «Вопросах литературы» (№ 8, 1981 год), сказал, что я забыл сослаться на «Золотого петушка». В этой сказке та же тема — трагическая власть красоты. И «добрый молодец» оттуда. Сказка, как и песня, — «добрым молодцам урок».

И все же был один очень серьезный аргумент, что перед нами запись, а не сочинение. Письмо Пушкина жене, написанное в 1832 году, еще до камер-юнкерства: «Грех тебе меня подозревать в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc. etc. Знаешь русскую песню —

Не дай бог хорошей жены,
Хорошу жену часто в пир
зовут».

Тут «Не дай бог хорошей жены» — конечно же, шутливая

реплика на свои стихи: «Творец/ Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна». Раньше «творец ниспослал», а теперь не дай бог ни красавицы, ни ангела прелести, ни мадонны, то есть хорошей жены. А еще здесь поэт переиначил знаменитую русскую песню, как переиначил в одном письме «Горную дорогу» Жуковского: вместо «туда бы от жизни умчал, улетел» — «туда бы от жизни удрал, улизнул», как в другом письме превратил строки народной песни: «Во беседах, во веселых не засиживайся, на хороших, на пригожих не заглядывайся» в шутейную нотацию: «Не таскайся по гуляниям с утра до ночи, не пляши на бале до заутрени».

Песня свадебная. «У голубя, у сизого золотая голова». Ею величают в честных пирах мужа самой красивой женщины (конечно же, Пушкин, женившись, отнес ее к себе). Величают таких, как он, по всей Руси, приплясывая, хлопая в ладоши: «Как бы мне бы, как бы мне бы хороша такая жена!.. Я бы в лете, я бы в лете в карете ее катал, я бы в зиме, я бы в зиме в новых писанных саях». Это уральская запись Даля, друга Пушкина. А на Псковщине поют, что счастливец сам бы «на запяточках стоял», «белы руки у перчаточках держал».

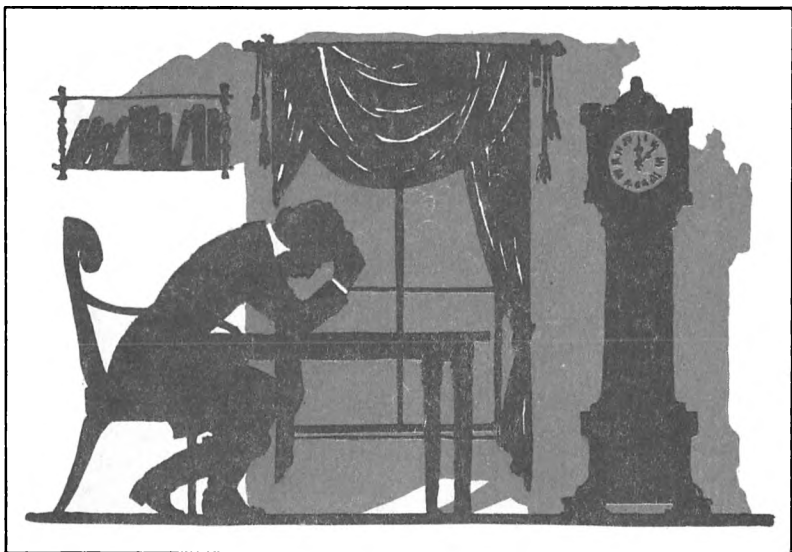
Пушкин переиначил не только «Как бы мне бы хороша такая жена», другой смысл появился и в «новых писанных саях» и в «запяточках».

Первым, кто установил авторство Пушкина, был П. В. Анненков. Он напечатал в 1857 году в 7-м томе собрания сочинений «Песенку, записанную Пушкиным» (такое название он дал стихам «Как за церковью...»), снабдил пояснением: «Нельзя ручаться, чтоб эта песенка не была составлена самим Пушкиным. Во всяком случае, она позднейшее произведение народа, если принадлежит народу». То есть это песня о судьбе Пушкина, плач по Пушкину, народ сложил бы его лишь после смерти поэта. Значит, кто «записал», тот и «составил»! Намек, запутавший не только цензуру XIX, но и пушкинистику XX века.

У Анненкова были основания морочить цензуру. Ведь в первых изданиях Дневника эпизодов с мундиром и фракком, с утренним и вечерним балами не было. Династия как бы брала на себя ответственность за них.

Стихи «Как за церковью, за немецкою» нужно печатать под 1836 годом следом за «Памятником».





«НА ТАЙНЫЕ ЛИСТЫ...»

(Из наблюдений над текстом «Евгения Онегина»)

А. Чернов

Наткнувшись в пушкинском романе на странный, какой-то не пушкинский, эпитет к слову «думы», я взял томик К. Ф. Рыльева и вскоре убедился, что целый пласт мыслей как бы зашифрован в «Онегине» при помощи рылеевских аллюзий и реминисценций.

Итак, Пушкин — «через» Рыльева, онегинские строфы — сквозь атмосферу тех лет и биографию самого поэта, ибо то, чем поэт живет, осознанно или бессознательно питает его стихи автобиографией.

«Поэтической тайнописью» называла А. А. Ахматова такой способ писания стихов, при котором от мнемонического столкновения строки со строкой другого поэта возникает искра нового, зачастую совершенно неожиданного смысла, и образуется нечто и впрямь напоминающее «шифр», но шифр особый — поэтический. Его принципиальная уникальность в том, что ключ может найти только тот, кто помнит стихи наизусть. И значит, только тот, кто стихи любит. И значит, только друг, только «свой брат». При этом совершенно не важно, какой век на дворе. Потому что: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит!»

Покажем, что «свободный роман» можно читать и как своеобразный потаенный дневник поэта, как бесценный документ пушкинской автобиографии.

Методом «конкретного литературоведения» (термин Д. С. Лихачева) мы прочтем посвященные декабристам страницы романа. Но речь пойдет не о X, а о IV—VII его главах.

...11 января 1825 года Пущин приезжает к Пушкину. Открыл ли Пущин тайну декабристского заговора? Считается, что пушкинские записки умалчивают об этом. Перечитаем же их:

«Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть».

Итак, «опять» заговорили об Обществе, и Пущин признался, что «не он один...». И вдруг поэт вскакивает, перебивает догадками про заговор и, наконец, не дав продолжить: «...не заставляю тебя говорить... не стою...»

Пушкин отказался. Такова логика записок Пущина.

Пущин ничего не умалчивает и ничего не забывает. Он слишком честен, фотографическая память его крепка и на склоне лет. Он сумел тактично, то есть точно и без комментариев, поведать потомкам щекотливую, с его точки зрения, истину, этим-то как раз и сбив комментаторов с толку.

Вспомним, как Жуковский, еще в 1819 году прочтя устав Союза благоденствия, отвечал Трубецкому, что устав заключает в себе мысль такую благодетельную и такую высокую, что для выполнения ее требуется много добродетели, и что он «счастливым бы себя почел, если б мог убедить себя, что в состоянии выполнить его требования, но что он, к несчастью, не чувствует в себе достаточно к тому силы».

Пушкин отвечает менее витиевато, но способ отказа тот же, да и формула почти совпадает: «не чувствую силы» — «не стою».

Но недаром в Михайловском Пущин расцеловывает друга, недаром ходят они обнявшись, и «обоим нужно было вздохнуть».

Поэт не присоединен, но посвящен. И ему понятен смысл секретной миссии друга, смысл врученного ему рылеевского письма, которое Ю. Г. Оксман называл «конспиративным мандатом»: «Рылеев обращается к Пушкину не просто как собрат по перу (...), а как вождь тайной организации, имеющий тем самым право рекомендовать (...) определенную линию политического и литературного поведения (...) Многозначительная строка «Пущин познакомит

нас короче» не оставляет никаких сомнений, что именно Пушкин должен был информировать Пушкина (...) Без этой дополнительной устной информации самая тональность письма (...) была бы исключительно бестактной...»

Но, сохранив независимость, поэт все же должен чем-то платить. И он в конце разговора «...просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить его за патриотические «Думы». С точки зрения поэзии для Пушкина «Думы» — «дрянь». Но с точки зрения патриотической он не покривил перед другом душой.

Полемическая переписка Пушкина и Рылеева вспыхнет сразу после пушкинского отъезда. Рылеев требует декабристской гражданственности, Пушкин последовательно отстаивает право поэта писать по-своему. И когда Рылеев удивится, почему Пушкину из «Наливайки» понравилась не агитационная «Исповедь», а более лирическая «Смерть Чигиринского старосты», тот ответит: «Об Исповеди Наливайки скажу, что мудрено что-нибудь у нас напечатать истинно хорошего в этом роде». И впрямь, хорошая прокламация не может пройти цензуру, как не могли пройти ее многие пушкинские стихи. А плохая прокламация не нужна ни поэзии, ни Обществу.

И тут же IV глава «Онегина» наполняется скрытым от невнимательного глаза спором с Рылеевым.

Под XXIII строфой дата — «1 января 1825». Дату XXX строфы примерно можно установить, сопоставив строки «Толстого кистью чудотворной Иль Баратынского пером...» с двумя письмами брату: «Что, если б волшебная кисть Ф. Толстого...» (15 марта), «Уведомь о Баратынском — свечку поставлю за Закревского, если он его выручит» (14 марта). В тот же день в письме: «Элегии мои переписаны», а в двух следующих строфах речь об элегиях, а потом полемика с Кюхельбекером, продолжающаяся и в XXXIII строфе.

Но вот пришли в Михайловское письма от Бестужева и Рылеева (написанные 9 и 10 марта), а в них — атака на I песнь «Онегина». И, спеша оправдать собственный вопрос в письме к Бестужеву (24 марта): «Где у меня сатира? (...) Дождись других песен...», поэт контратакует издателей «Полярной звезды». Вот как он это делает...

XXXIV строфа начинается так:

Поклонник славы и свободы
В волненьи бурных дум своих
Владимир и писал бы оды...

Два года назад Пушкин писал брату: «...тревожных дум — слово, употребляемое знаменитым Рылеевым, но которое по-русски ничего не значит». Это Пушкин прочел в «Полярной звезде» свои стихи с рылеевской правкой. Вместо «моих привычных дум» — «моих тревожных дум».

Для Пушкина «дума» — синоним спокойного размышления. А вот у Рылеева «думы» в стихах всегда «тревожат», «кипят»: «Державин»: «И, мрачною тревожим думой...» (И тут же, что важно для нас: «Томяся жаждой чистой славы...», «Поклонник пламенный добра».)

«Видение»: «В ол н у ю т в нем и кровь и ум (...) Огонь с л а в о - л ю б и в ы х д у м». И ниже: «Настанет век борений бурных».

Дума «Богдан Хмельницкий». В первой же строфе: «В нем мрачные кипели думы». (Тут же и «полуденный луч денницы», который еще блеснет в предсмертных стихах Ленского.)

Итак, в XXXIV строфе Пушкин впервые, до восстания, но уже после приезда Пущина и после атаки Рылеева и Бестужева на I главу романа, дает Ленскому пародийно-рылеевскую характеристику, словно составляя две собственные строки из лексикона рылеевских штампов.

Это именно характеристика, указание для узкого круга посвященных на параллель Ленский — Рылеев, как раньше другие намеки указывали на параллель Ленский — Кюхельбекер, выявленную в свое время Тыняновым. Тут каждое слово — штрих к шаржу на Рылеева. А особенно к месту «бурные» его «Думы», вышедшие, кстати, отдельным изданием и посланные по просьбе Рылеева Пущиным Пушкину 12-го числа того же марта.

Когда мы всмотримся в строфы, в контексте которых произнесена «рылеевская» характеристика Ленского, мы убедимся, что они (XXXIII—XXXIX) — полемика с Рылеевым. Но Рылеев — объект полемики, а материалом для нее оказалось рылеевское стихотворное послание «Пустыня», опубликованное еще в 1821 году.

«Пустыня» — подражание «Моим пенатам» Батюшкова и лицейскому стихотворению Пушкина «Городок». В «Пустыне» упомянут и Пушкин. Да еще как упомянут: «...Пушкин своенравный, Парнасский наш шалун...»!

«Пустыня» заканчивается так:

Для пылкого поэта
Как больно, тяжело
В триумфе видеть зло
.....

И в перечислении прочего наконец:

Досужих журналистов,
Которые тогда,
Как вспыхнула война
На Юге за свободу,
О срам! о времена!
Поссорились за оду!..

Но после того как в «Мнемозине» за 1824 год появилась статья Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии...», где автор восстал против эгегического тона поэзии и горячо призывал российских поэтов слагать оды, эти рылеевские стихи, опубликованные тремя годами ранее, превратились в ответ Кюхельбекеру.

И вот Пушкин, в XXXII и XXXIII строфах пародийно пересказав читателю статью из «Мнемозины», отвечает обоим в последних строчках XXXIII строфы: «...Тут бы можно Поспорить нам, но я молчу: Два века ссорить не хочу».

Кюхельбекер назван почти по имени: «Критик строгий Пове­ле­ва­ет сбросить нам Элегии вен­ок убогий...». Рылеев обозначается стилистической характеристикой, которая и прозвучит сразу же вслед за «ссорить не хочу»: «Поклонник славы и свободы...»

Как две предыдущие строфы полемизируют со статьей Кюхельбекера, так пять следующих — с «Пустыней» и с самим Рылеевым.

Рылеев, описывая приятелю свою деревенскую жизнь «в тиши уединенной», сообщает: «Твой друг, младой поэт Вдруг стал анахорет».

Пушкин, как он признается в письме Вяземскому, в IV главе тоже рассказывает о своей жизни в деревне. Тут и «Уединенье, тишина», и «Онегин жил анахоретом».

Ни в «Моих пенатах», ни в «Городке» слово «анахорет» не встречается. За него-то и цепляется Пушкин, «переписывая» и этим еще больше пародируя условно-романтическое изображение жителя молодого помещика в пустыне, то бишь в собственном имении.

Рылеев утверждает, что ведет жизнь анахорета — святого отшельника: ему вода заменила вино, он «спит на одиноком ложе». Обед у него «скромный». Но тут же и проговаривается: «Приятный фимиам От сочных яств курится...» И Пушкин этого не спускает. У анахорета Онегина на столе «Обед довольно прихотливый, Бутылка светлого вина...» А двумя строчками раньше — нечто ну уж никак несовместимое со званием анахорета: «Младой и свежий поцелуй» черноокой белянки. И потому до пародийности комичен пушкинский вывод: «Вот жизнь Онегина с в я т а я», которой герой предается, кстати, еще и «в беспечной неге», пародийно звание «анахорета».

Далее: если Рылеев перефразировал стих из пушкинского «Городка» «Душистый пью чаек» и о себе сказал: «Пью ароматный чай», то Пушкин милостиво дарит чай автору «Пустыни» и усугубляет «грех» анахорета: «Потом свой кофе выпивал...» (Для патриархально воспитанного русского человека кофе и в начале XIX века ни с чем хорошим ассоциироваться не мог.)

Даже невинное сообщение про то, что Онегин встает летом «в седьмом часу» — полемика с «Пустыней». Ведь герой Рылеева «встает, «зарю предупреждая». Это летом-то, когда, как известно, «Одна

заря сменить другую...», то есть герой «Пустыни» поднимается с «одинокого ложа» чуть не в полночь!

Рылеев традиционно долго перечисляет круг своего чтения, начиная его как раз с «парнасского шалуна». «Шалун» отрезает: «Плохой журнал перебирая...»

Рылеев в «легком сне» видит «приятелей певцов» и возвещает: «Они все в Петрополе». Пушкин в этот круг, очевидно, не входит (сослан за год до публикации «Пустыни»). Потому-то он в первой строке XXXIV строфы передразнивает «сон глубокий» (конечно, аж до седьмого часа утра!), а в двух последних стихах замечает даже раздраженно: «Забыв и город, и друзей, И скуку праздничных затей».

Он обещал Бестужеву сатиру в «следующих песнях Онегина», вот и выполняет обещанное.

Пародируется Пушкиным и жанр, вернее — длина стихотворных посланий в духе «Моих пенатов». Это еще и самопародия, ведь у Батюшкова и Рылеева на живописание их бытия в «уединении» ушло по триста стихов трехстопного ямба, а у Пушкина в «Городке» — более четырехсот. В «Онегине» поэт предупреждает:

...Кстати, братья!
Терпенья вашего прошу:
Его вседневные занятия
Я вам подробно опишу.

Предупреждает... и укладывается в три строфы, одну из которых к тому же выпускает, заменяет номером.

Но и это еще далеко не все.

Рылеев «грозно» отправляется на охоту: «Иду с ружьем на бой Иль с зайцами, иль с дичью!» — и, вернувшись, встречает «зашедшего» к нему в гости соседа-майора. Здесь тоже сказывается влияние Пушкина, ведь рылеевский сосед в том же чине, что и сосед из пушкинского «Городка». Но — о ужас! — майор Рылеева «Поэзию ругает И приступом Парнас Взять с бою обещает!»

«Парнасский шалун», как мы уже убедились, оставшийся за кругом «приятелей-певцов» Кондратия Федоровича, видимо, внимательно перечитал «Пустыню» летом 1825 года. Он сопоставил и увидел (думал ли Рылеев, что так выходит!): майор намерен атаковать именно Пушкина!

И вот в «Онегине» появляется сосед (но уже статский), и Пушкин его «душит трагедией в углу», т. е. чтением «Годунова». Александр Сергеевич, как известно по крестьянским воспоминаниям, сам на охоту никогда не ходил, хотя, прогуливаясь у озера, мог напугать случайного прохожего тем, что размахивал руками и громко читал сам себе «на разные голоса». Это и описано в XXXV строфе:

Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,

Бродя над озером моим,
 Пугаю стадо диких уток:
 Вняв пенью сладкозвучных строф,
 Они слетают с берегов.

«Невинное» описание сельской прогулки продолжается в изъятой из окончательного текста полной «Онегина» XXXVI строфе. Что же стоит за четырнадцатью строчками точек?

Уж их далече взор мой ищет...
 А лесом кравшийся стрелок
 Поэзию клянет и свищет,
 Спуская бережно курок.
 У всякого своя охота,
 Своя любимая забота:
 Кто целит в уток из ружья,
 Кто бредит рифмами, как я,
 Кто бьет хлопущей мух нахальных,
 Кто правит в замыслах толпой,
 Кто забавляется войной,
 Кто в чувствах нежится печальных,
 Кто занимается вином:
 И благо смешано со злом.

В. В. Набоков в своем комментарии к «Онегину» называет это место «исключительно бедной строфой», «смесью изломанных образов». Действительно, без ключа «Пустыни» и двух мартовских писем от Рылеева и Бестужева можно лишь развести руками: что за странное, бессистемное перечисление?

Бестужев Пушкину 9 марта: «...убить в высоте орла, надобно и много искусства, и хорошее *ружьё*. *Ружьё* — талант, птица — предмет — для чего же *из пушки* (какой неаккуратный каламбур, это же *Пушкину* пишется! — А. Ч.) стрелять в бабочку? ...дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов?»

Рылеев Пушкину 10 марта: «Не знаю, что будет Онегин далее (...) чем *дальше в лес*, тем больше дров; но теперь он ниже Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника. Я готов спорить об этом до второго пришествия».

Итак, Пушкин защищается в «Онегине» от нападков на «Онегина». Рылеев, охотник, грозно ходивший на бой с дичью, и Бестужев, с его не совсем удачным примером про ружье и птицу, превращаются в тексте в одного стрелка.

А теперь обратимся к черновикам поэта, которые, по словам Т. Г. Цявловской, «...кладезь драгоценностей, так часто помогающий понять намеки, выраженные в беловике более общо». Что же мы находим вместо «Кто бредит рифмами, как я, Кто бьет хлопущей мух нахальных»?

Кто травит рифмами, как я
Исподтишка зверьков журнальных

И еще, ближе к печатному тексту:

Кто бьет хлопущей мух журнальных...

Это пишется за несколько месяцев до восстания на Сенатской. Позже, готовя главу к печати, Пушкин сначала откажется от «журнальных мух», а потом, видимо, по соображениям нравственным (Рылеев казнен, Бестужев сослан), снимет всю строфу. Но летом, в Михайловском, эти строки еще надеются увидеть свет и поразить тех, кому они адресованы.

И вот если в «Пустыне» про майора сказано «Поэзию ругает И приступом Парнас Взять с бою обещает» (а на Парнасе-то — Пушкин!), то здесь *крадущийся лесом* стрелок «Поэзию клянет и свищет». А в вариантах и того яснее: «Стихи мои клянет и свищет».

Что же, «у всякого своя охота». И пять следующих строк прозрачно намекают: Пушкин знает, с кем он спорит.

«Кто целит в уток из ружья». Это, помимо намека на двух стрелков, почти цитата из апрельского письма Пушкина Жуковскому: «Ты спрашиваешь, какая цель у «Цыганов»? Вот та! Цель поэзии — поэзия... Думы Рылеева и *целят*, и все *невпопад*».

«Кто правит в замыслах толпой». Заметим: не в мыслях, в замыслах! Такая формулировка относится, пожалуй, лишь к тому, кто сам метит в Пугачевы, либо в Наполеоны.

«Кто забавляется войной» — см. концовку «Пустыни».

«Кто в чувствах нежится печальных». Может быть, намек на эпистолярную полемику с Бестужевым о влиянии Жуковского на дух российской поэзии.

И как красноречивы строки письма к брату от 14 марта: «У вас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное... должно з а р а - н е е истребить это гонением, кнутом, кольями...» Интересно, что Пушкин имел в виду под «заранее»? Заранее до чего? До того, как это станет модой? чумой? официальной постреволюционной идеологией?

Недобрые предчувствия клубятся в этой, напечатанной сначала в заграммированном варианте, а в конце концов и вовсе выпущенной строфе. Когда она писалась? Видимо, в конце марта или в апреле. Во всяком случае, вряд ли позже. Даты «параллельных» цитат из переписки с издателями «Полярной звезды» говорят, что мы имеем дело с чем-то вроде лирического дневника Пушкина.

Уместно тут вспомнить и эпиграмму «Совет», относящуюся тоже к весне — лету 1825 года:

Поверь, когда и мух, и комаров
Вокруг тебя летает рой ж у р н а л ь н ы й...

Противоречие поэтик — противоречие мировоззрений. И это несмотря на общность, историческую близость гражданских позиций. Но то, что кажется близким с вершины XX века, вовсе не было бесцветно-скупной однородностью чувства и мысли. Даже уж если Онегин с Ленским — «волна и камень», что говорить о Пушкине и Рылееве.

Чтобы стала ясна вся резкость спора, кажущегося по переписке вполне деликатным, напомним рылеевские стихи того же лета:

Хоть Пушкин суд мне строгий произнес
И слабый дар; как недруг тайный, взвесил;
Но от того, Бестужев, еще нос
Я недругам в угоду не повесил.

Рылеев раним не меньше Пушкина. И вот даже чудится ему, что михайловский ссыльный — тайный недруг.

А Пушкин отдает себе отчет: спорить с заговорщиками едва ли не опасней, чем с царями. Опасней при любом исходе заговора.

Только в контексте спора с идеологами декабризма можно объяснить, почему весной или в начале лета того же 1825 года написан Пушкиным «Андрей Шенье». Поэт понимает, что его судьба может по воле северян «срифмоваться» с судьбой французского поэта. Но сравнить себя с Шенье — бросить вызов петербургским «якобинцам». И не потому ли в первой половине июня Рылеев пишет: «Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством? И тут вижу маленькое подражание Байрону. Будь, ради бога, Пушкиным. Ты сам по себе молодец».

Мы вновь вернемся к XXXVII строфе, где каждая строка — полемика:

Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...

В следующей строфе поэт словно говорит: вот мой аристократизм — русская рубаха и татарский армяк (он и впрямь иногда являлся в таком виде). Вот мое подражание Байрону: мой герой, конечно, переплывает приусадебную речку, подражая тому, кто переплыл Дарданеллы ровно 15 лет назад. И пусть огорчатся Дури-

на и Мизинчиков — «своих обыкновений» ни поэт, ни его герой «в угоду ближним» не изменят.

Мы убедились: после приезда Пущина поэт многое знает про декабристское общество. О том же говорит нам и страница черновой тетради, где той же весной к «наполеоновскому» портрету Пестеля Пушкин красноречиво подверстывает наискось обращенные к Рылееву и Бестужеву стихи: «Напрасно ахнула Европа...»

Проходит лето. Умирает Александр I. В XLV строфе IV главы поэт поминает только что усопшего царя, сообщая, что отдавал за шампанское «Последний бедный лепт» — то есть грош. Как указал Ю. М. Лотман, это «иронический намек на стих из послания Жуковского «Императору Александру»: «Последний бедный лепт» отдавался у Жуковского за царский портрет.

В следующей строфе «шумной пене» шампанского противопоставлено «спокойное» «Бордо»:

Но ты, «Бордо», подобен другу,
Который в горе и в беде,
Товарищ всегда, везде,
Готов нам оказать услугу,
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует «Бордо», наш друг!

После этой строфы в беловой рукописи помета «Смотр. X». Десятая строфа? Не годится. Очевидно, перед нами еще одно, до сих пор не замеченное упоминание о сожженной X главе, указывающее на то же пущинское посещение Михайловского. Сопоставим это место романа и черновик (вкпе с окончательной редакцией) послания к Пущину с текстом «19 октября» 1825 года: «Пущин мой; мой друг — Наш друг. Ты день изгнания, день печальный — Ты в день унынья и в беде. С другом разделил — Разделить досуг. Да озарит — Да здравствует. Но ты счастлив — Неизменяющему в счастье. Ты усладил — Услугу».

Сопоставление показало, что приезд Ленского к Онегину — воспоминание о другом зимнем приезде «на тройке чалых лошадей».

Лишь три недели назад, получив от Пущина условленное при последней встрече письмо, Пушкин собрался и самовольно отправился в Питер. Но приметы — заяц и поп — «не пустили».

3 января, заканчивая IV главу, Пушкин думает о Пущине. Попыткой объяснения и звучит апелляция к «бедному лепту». Обращаясь «Помните ль, друзья?», поэт словно напоминает сразу о двух своих стихотворениях.

Первое — «В. Л. Давыдову» — написано в 1821 году. Это там Пушкин приветствовал революцию. Это там «И за бутылками аи Сидят Раевские мои», а поэт бравитурет: «Что бог простит мои грехи, Как государь мои стихи». (Вот он, «лепт»!) Это там «Аи» бьет

«беспенной мерзлую струею» за «тех» и «ту» — за карбонариев и свободу. Правда, народы хотят тишины...

Но нет! — мы счастьем наладимся,
Кровавой чашей причастимся...

Второе — те же стихи «19 октября». Там за два месяца до восстания поэт отказался от «кровавой чаши», процитировав собственный стих из послания «В. Л. Давыдову»: «До дна, до капли выпивайте»... но уже не за «тех» и «ту»... «Но за кого? о други, угадайте... ура, наш царь! так! выпьем за царя. Он человек...»

И если в стихах «В. Л. Давыдову» желудок поэта не варит причастия, то в этом месте «Онегина» простывшее «Аи» изменяет его желудку шумной пеной.

Он отказался от «кровавой чаши» в пользу дружбы. Но как раз потому и тяжело: ведь не приехал, когда друзья звали. И что там с ними? Вновь перед глазами Пушкин. Две заснеженные бутылки шампанского в его руках.

Обратимся вновь к черновикам:

Да, да, ты зван на именины
Татьяны — Оленька и мать
Велели звать — и нет причины
Тебе со мной не приезжать —
— Но куча будет там народу —
И всякого такого сброду —
— И! никого — уверен я —
Ну кто? — одна своя семья, —
Поедем, сделай одолженье —
В четверг — Согласен — Как ты мил —
При сих словах он осушил
Стакан — дружбе приношенье
Накинув синюю шинель
И
Салфетку бросил
и ускакал

Не зарифмованная и тут же замаранная концовка замечательно совпадает с записками Пушкина: «...Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилоь: как будто чувствовалось, что в последний раз вместе пьем и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сени».

В дорогу шубы надевались поверх шинели. В шинели надворного судьи выйдет Пушкин и на Сенатскую. Кстати, именно синими были мундиры и шинели лицейстов.

Один из исследователей недавно упрекнул Пушкина в извинительной неточности: больше не увиделись, и через тридцать лет ка-

жется, что оба предчувствовали это. Но Пушкин тут словно вступается за друга в следующей же строфе: «Но жалок тот, кто все предвидел». Эта горькая в контексте первых январских дней строка прожигала черновик. Это кто предвидел? Ленский? Онегин? Поэт правит: «Но жалок тот, кто все предвидит».

«Одна своя семья...», «Велели звать — и нет причины...» Пушкин должен был, по его собственным словам, приехать именно на квартиру Рылеева, так как у того не бывает посторонних. И попал бы он как раз не в «свою семью», а на совещание 13 декабря. А значит, и на Сенатскую. Но поэт в последний момент отказался от поездки, а вот Онегин согласился и поехал, встретив в доме Лариных всю округу в придачу с «полковой музыкой». Следствием была злость на Ленского, флирт с Ольгой, дуэль, замужество Татьяны...

Известно, как помнил Пушкин различного рода годовщины. Но ведь он провожал Пущина в 3 часа ночи 12 января, то есть в Татьянин день.

Недаром и в романе Татьянин день начинается «пародией известных стихов Ломоносова». Пушкин не только спародировал хрестоматийные строки, но и сам указал на это в примечании. И вот в журнале «Атеней» в 1828 году появился донос: «Так, кажется, старик начинает Оду свою на день восшествия на Престол Императрицы Елизаветы».

Помянув пародией на Жуковского отошедшего царя, Пушкин встречает его преемника пародией на Ломоносова «Заря багряною рукою...», а ответ утра на Сенатской с первой же строки ложится на «веселый праздник именин».

И вновь черновик:

Когда падучая звезда
По небу тихому летела
И рассыпалась — тогда
Она в смятеньи торопилась,
Пока звезда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть —
Когда случалось как-нибудь
Ей встретить черного монаха
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей,
Не зная что начать со страха
Предчувствий горестных полна
Ждала беды себе она...

Варианты: «Она предвидела беду», «Беду предвидела». На ум приходит написанное только что «Но жалок тот, кто все предвидел», ведь вся строфа с монахом и зайцем автобиографична. А прозив «падучей звезды» первый пушкинский профиль Рылеева. Ведь

ни «Полярная звезда», ни «Звездочка» никогда уже не выйдут. А в «Звездочке» шел «Ночной разговор Татьяны с ее няней».

Еще один профиль Рылеева — внизу следующего листа. Перевернув этот лист, чтобы начать сон Татьяны, поэт, видимо, вспомнил прочитанный им недавно «Сон Жолкевского» — пророческий сон из «Наливайки»: там герою снилась собственная казнь.

Опубликованный в 1825 году «Сон Жолкевского» начинался так: «Над ним летает чудный сон...» Сон Татьяны: «И снится чудный сон Татьяне...»

А вот параллели сна Татьяны и первой встречи Миллера с Войнаровским, представшим перед путешественником в зимней тайге да еще почти в медвежьем обличье: «Окутанный дахою черной И в длинношерстном чебаке»: «Убежать — Вбежал. Лес — Лес. Сосны — Сосны. Их ветви — Ветви их. Сквозь вершины... луч (лиственный лес зимой) — Непроницаемым шатром (тайга зимой). Дороги нет — Не видно... дороги. Кусты, стремнины метелью... — Хворост кочки и снега. Занесены — Несется. Бежит — Быстрый бег. Упала в снег — На снег... упадет. Кругом все глушь — Кругом все дичь, в глуши. Шалаш убогий — Заимка скудная. Здесь... погрейся у него — Там... ты отдохнешь».

Замечательна точная текстовая последовательность этих параллелей. И еще лишь несколько примеров. Пушкинские стихи «Кругом все глушь, отсюда он Пустынным снегом занесен» составлены из рылеевских «Кругом все дичь», «Пушистым снегом занесло». (Это последний стих поэмы: мертвый Войнаровский на могиле жены.) Пушкин: «И что же видит...» Рылеев: «И что же видит...»

Остановимся. И так уже ясно, что Мартын Задека не решит сомнений Тани: надо бы ей листать Рылеева...

Глава VI. Под предпоследней строфой дата — 10 августа. Две недели назад Пушкин узнал о казни декабристов. И уже эпитафия из Петрарки указывает на события 14 декабря: «Там, где дни облачны и кратки, рождается племя, которому не больно умереть». (Именно «умереть», а не «умирать», как обычно переводят.) Вспомним «Исповедь Наливайки»:

Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...
Но радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

«Племя...» Да разве Ленский — племя? Разве ему, гибнущему от ненависти и ревности, не больно? Мглистый шпиль Петропавловского собора поднимается из-за строки «Там, где дни облачны и кратки», но Пушкин усиливает намек внешне невинным сокращением. Он подписывает эпитафию «Петр.», и это читается как Петроград, Петрополь. Здесь та же игра, что и в другом «онегинском» эпитафие: «O rus!.. Ног. O Русь!» Действительно, целый хор «вто-

рит» Горацию! (Эпиграфы к остальным главам подписываются полностью.)

В строфах гибели Ленского Пушкин оплакал Рылеева:

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навывлет ранен,
Дымясь из раны кровь текла.

Рылеев о Войнаровском:

Лежал я мрачный и унылый,
Катился градом пот с чела,
Из раны кровь ручьем текла...

Внимательный читатель отыщет еще реминисценции к гибели Ленского в «Войнаровском». Известно, что Рылеев подражал Пушкину, он, например, заимствовал целый стих «Погасло дневное светило» и включил в свою поэму. Пушкин не подражает: его «заимствования» правят, полемизируют, «шифруют».

Глава VII. Мы вновь сталкиваемся с поэтической тайнописью. Ключ к ней — не публиковавшийся при жизни Рылеева и Пушкина отрывок из «Наливайки» — «Весна». Видимо, уже после казни декабристов Пушкин прочел его.

Рылеев: Пестреет степь, цветет долина,
Оделся лес, стада бегут...
Пушкин: Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят...

Эти строки похожи лишь внешне, ведь Рылеев просто перечисляет приметы весны, и степь противопоставлена у него поэтому долине, стада бегут... сквозь лес.

Полемика и в самом восприятии весны. Для Рылеева весна — пробуждение. Для Пушкина — сон. Рылеев о Наливайке:

Один в степи пустынной бродит
Нередко он по целым дням:
Ему отрадно, сладко там,
Он грусть душевную отводит...

Строки о Татьяне явственно спорят:

Как тень она без цели бродит,
То смотрит в опустелый сад...
Нигде, ни в чем ей нет отрад
И облегченья не находит...

Жизнь трагичнее романтического описания. И полемика вновь перерастает в поэтическую тайнопись. Рылеев:

Быть может, я еще могу
 Дать руку личному врагу;
 Но вековые оскорбленья
 Тиранам родины прощать
 И стыд обиды оставлять
 Без справедливого отмщенья —
 Не в силах я: один лишь раб
 Так может быть и подл и слаб.
 Могу ли равнодушно видеть
 Порабощенных земляков?..
 Нет, нет! Мой жребий: ненавидеть
 Равно тиранов и рабов.

Приведу записанные М. Корфом слова Николая I: «На мой вопрос, переменялся ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он (...) только после длительного молчания протянул руку...»

Как же страшен должен быть такой укор с того света. И вот пушкинский ответ Рылееву. Татьяна про Онегина. Пушкин про себя и царя:

Она его не может видеть,
 Она должна в нем ненавидеть
 Убийцу брата своего.
 Поэт погиб — но уж его
 Никто не знает...

О Ленском в отличие от Рылеева так сказать нельзя: он и напечатать-то ничего не успел. Найдено более просторное слово: «никто не помнит». Это — и о Рылееве, и о Ленском.

Поэта память пронеслась
 Как дым по небу голубому —
 О нем два сердца, может быть,
 Еще грустят... На что грустить?..

Два сердца: Татьяна о Ленском. Пушкин о Рылееве. И та же интонация в письме: «Повешенные повешены...»

* * *

Из донесения М. Я. фон-Фока А. Х. Бенкендорфу. Декабрь, 1827:

«В день св. Николая журналист Николай Греч давал обед для празднования своих именин и благополучного окончания грамма-

тики. (...) Под конец стола один из собеседников, взяв бокал в руки, пропел следующие забавные куплеты, относящиеся к положению Греча и его грамматики:

В отчаяньи уж Греч наш был,
Грамматику чуть-чуть не съели:
Но царь эгидой осенил,
И все педанты присмирели.
И так, молитву сотворя,
Во-первых, здравие царя!

(...) Пушкин был в восторге и беспрестанно напевал прохаживаясь:

И так, молитву сотворя,
Во-первых, здравие царя!

Он списал эти куплеты и повез к Карамзиной».

Фон-Фок несколько удивлен таким усердием поэта. Недаром среди всех гостей лишь его и выделяет. Так чему же радовался Пушкин?

Тому, что неизвестный пиит невольно «зашифровал» в своем панегирике *вот что*:

А молитву сотворя —
Третий нож — на царя.

Пройдут годы, и эта песня Рылеева и Бестужева будет опубликована по списку, хранящемуся у Вяземского.

Бенкендорф ее тоже знал: два года назад Бестужев, спасая Рылеева на следствии, взял авторство этой песни на себя. Но у главного жандарма империи «много дел» и слишком много стихов, которые необходимо читать по службе: всех не упомнишь.

Мы лишь коснулись проблемы лирической тайнописи. Много, верно, мы никогда уже не прочтем. Но если верить пушкинской строке из черновика «Андрея Шенье» «На тайные листы записывал я жизнь», мы еще можем задавать вопросы Пушкину. И «тайные листы» будут отвечать нам. Потому что при всей кажущейся «разработанности» темы «Пушкин и декабристы», едва ли мы сегодня можем утверждать, что тема закрыта. Мучительно мы дорастаем до пушкинского понимания конфликта поэта и революции, трудно дается постижение и того, что объединяет, и того, что исторически и нравственно разъединяет Пушкина и Пущина, Пушкина и Рылеева. И здесь внимательное «реминисцентное» чтение, то есть чтение поэтов друг через друга (равно как и чтение Пушкина через

Пушкина) может привести к неожиданным выводам, к новым на-
блюдениям и сопоставлениям.

У гения нет случайных сближений. Это прекрасно понимала
Ахматова, когда, сопоставив описание «острова малого» из «Медно-
го всадника» с отрывком «Когда порой воспоминанье...» и первой
страницей титовской повести «Уединенный домик на Васильев-
ском», сделала вывод о том, что Пушкин искал тайную могилу каз-
ненных декабристов. Поверив Ахматовой, мы сделали попытку
пойти вслед ее поиску и убедились, что пушкинские стихи могут
быть бесценным историческим документом даже с точки зрения
конкретного краеведческого исследования. Стихи в сочетании с ри-
сунками поэта, свидетельствами современников и планом Петер-
бурга Ф. Ф. Шуберта позволили уточнить место могилы казнен-
ных на Голодае (см. «Огонек» №№ 23 и 35 за 1987 и № 6 за 1988),
установить дату первого пушкинского посещения этого места, до-
казать, что «остров малый» — не Голодай и не Вольный, как счита-
лось ранее, а крохотный островок, входивший в состав Голо-
дая — остров Гунаропуло (или Гоноропуло). И прочитать пушкин-
скую запись «14 июля 1826 Гонор...»

Таким образом, исследуя параллель Ленский — Рылеев, мы
пришли к выводу о том, что не для красного словца Ленский
мог «быть повешен, как Рылеев». И не случайно в черновой те-
тради поэта строки о могиле Ленского соседствуют с рисунком
рылеевской могилы. На этом и замкнем покуда круг нашего ис-
следования.





ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПУШКИНА

А. Озеров

I

Снова и снова — о Пушкине.
Доколе?

...доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

* * *

Стихотворение 1835 года «Вновь я посетил» всего более известно строками «Здравствуй, племя младое, незнакомое!».

Пишет тридцатилетний Пушкин, в тоне его чувствуется умудренность. Через год завершится стремительно и ярко прожитая жизнь.

В вариантах этого стихотворения читаем: «Поэзия как ангел-утешитель, — спасла меня;

и я воскрес душой». Так вот в чем дело!

Поэзия спасала его, спасла его. К этим, хотя и отвергнутым автором, строкам следует прислушаться. В тревогах и неурядицах, в тяготах людских отношений, в разъездах, в светской жизни, в суете, отрывавшей поэта от его замыслов, дробившей и подчас опрокидывавшей их, он отдавал должное и поклонялся своему «ангелу-утешителю» — Поэзии.

* * *

Всем, читающим по-русски, всем, знакомым с лирикой Пушкина в оригинале, даровано высшее благо войти в непосредственное личное общение с поэтом. Счастливицы внятно слы-

шат живые переливы его голоса и, вода пальцем по строке, нащупывают пульс поэта. Этим счастливым дано от страницы к странице блуждать по неоглядным просторам поэтического мира Пушкина.

Непосредственный разговор с таким человеком, как Пушкин, дает ощущение богатырских сил его души, сил, важных уже не столько для самого поэта, сколько для нынешнего и будущего его читателя.

При чтении (разумеется, при пристальном чтении) поэт оказывается совсем рядом. Пушкин подпускает читателя близко-близко к себе, но сохраняет при этом дистанцию достоинства и чести. Он требует, чтобы высоко ценимое братство не переходило в панибратство, а дружба, или, как сам бы он сказал, дружество, не становилось неким непотребством, свинством.

Пушкин требует немногого, но это многое оказывается на поверку многим. Он требует, чтобы его собеседник был человеком. И собеседник всеми силами души старается ответить Пушкину на эту его веру, на это его требование.

Все читатели, которые счастливо выбрали Пушкина еще в детские годы своим наставником, своим учителем, своим советчиком, свидетельствуют, что их душевный опыт, их поведение среди людей стали более совершенными, чем у тех, кто прошел мимо Пушкина.

Именно в своей лирике Пушкин раскрывается полно и сосредоточенно, доверительно и молитвенно. Именно своей лирикой Пушкин дает нам возможность понять существо это-

го жанра. Жанра, в котором человек равен себе, в котором он осуществляет весь свой душевный опыт, свои связи с внешним миром.

В лирике Пушкина «Я» расширяется до размеров «Мы». Опыт поколений, уроки истории становятся его личным опытом. Вчитываясь в лирику Пушкина, мы узнаем не только его жизнь, ее течение, противоборство страстей, но и колоссально много узнаем о людях его времени, старших и младших, о человеке вообще. Читая лирику Пушкина в хронологическом порядке, видишь дневник его души, видишь, как пылкий юноша постепенно становится «усталым рабом». За пятнадцать — семнадцать лет происходит это драматическое действие его жизни, действие исключительной напряженности. Душа, исторгавшая песнь о восторге перед чудом бытия, жалуеться: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана...»

Даже не зная подробностей биографии поэта, можно прочитать лирику Пушкина как самый достоверный свод сведений о нем самом, о его друзьях и недругах, его желаниях, страстях, мечтах, затаенных мыслях, полуночных видениях. Можно почувствовать в се струны его лиры. Лиры, которая, по слову его современника, исторгала «пламенные звуки». Да что там говорить, перед нами жизнь исключительной ценности одного из лучших людей России, человека, сказавшего не только о себе и за себя, но и за нас с вами. Вот почему любовь к Пушкину — это больше, чем любовь к великому поэту. Это любовь

к народу, имеющему такого поэта. Россия невысказана без Пушкина.

И в лирике, именно в лирике, Пушкин находит новый способ разговора с читателем. Так до него никто не говорил. Свобода обращения со словом, вообще с языковыми средствами, так называемыми стилями («стилями», как говорили в те времена), дает Пушкину возможность выразить то, что до него оставалось невыраженным. Человек в его лирике раскрывается естественно и полно. А ведь именно этой естественности и полноты не хватало допушкинской поэзии. Свободе волеизъявления в стихе, живости речи, раскованной интонации поэтической беседы уже уготовано было большое будущее.

А вот еще возьмем, к примеру, пушкинское выражение «чахоточная дева» — прозаизм «чахоточная» и высокое «дева» дают взрыв смысла. Эта совместимость несовместимого подсказывает читателю нужную для поэта краску. «Вонь, грязь — весной я болен» и «чувства, ум тоскою стеснены» — здесь, в двух этих периодах, выражен тот же стилиевой закон, что и в «чахоточной деве», — равновесие поэзии и прозы, определенность слова, привлеченного для выражения беспредельного содержания. В «Осени» дано двойное и двойственное движение: человек входит в природу, и природа входит в человека. Мысль поэта и ход корабля взаимосвязаны и не могут друг без друга. Так же не могут друг без друга проза и поэзия, высокие стилиевые ряды и так называемые «низкие». Но стилиевое новше-

ство тогда лишь имеет силу закона, когда выражено оно в совершенно художественном произведении.

Став образцовым, художественное произведение тем самым делает общезначимыми стилиевые принципы, которым следовал автор сознательно или бессознательно. Вся жизнь и деятельность Пушкина показывают, что при всей неизмеримой силе его стихийного дарования в его произведениях все глубоко продумано, как бы взвешено на невидимых весах вкуса и такта.

Многообразию душевных переживаний, несметному богатству мыслей и чувств соответствует и жанровое многообразие лирики Пушкина. Наряду с посланием к Чаадаеву, Дельвигу, Давыдову, Языкову находим жанровые картинки деревни, дороги, гор; рядом с гневной инвективой «Клеветникам России» — раздумчивая элегия («Безумных лет угасшее веселье...»).

Рядом с обращением «К морю...» или «Фонтану Бахчисарайского дворца» — торжественная «Вакхическая песня»; рядом с «Воспоминанием о лицейской годовщине» — песня о Степане Разине. Рядом с балладой — ода, рядом с пейзажем — любовное признание. Можно сказать, что нет такого жанра и вида лирики, в которых Пушкин не оставил бы образцовых произведений.

* * *

Ему не угрожали ни пессимизм, ни оптимизм, он верил только в правду бытия. Он не шел от категории чувства, а не-

посредственно от них самих. Потому лирика Пушкина так человечески достоверна, она запечатлевает переживания человека в чистом виде.

Разумеется, мы не вправе изымать Пушкина из стесненных рамок его времени, мы чувствуем, мы слышим поступь ша-



*Автопортрет
Пушкина.
1821 г.*

гов истории. 1812 год — Отечественная война проходит рядом. 1825 год — декабристы, Сибирь проходят рядом. Далекое приближено. И все же — везде! — выход в вечность.

* * *

Дыхание поэзии Пушкина — глубокое, для такого дыхания нужен свежий воздух. Свобода! Пушкин — по определению Блока — умер от отсутствия воздуха, он задохнулся. Но таково свойство поэзии Пушкина, особенно лирики, что нам она дает возможность дышать широко и глубоко. Эти запасы пушкинского кислорода неисчерпаемы, в чем убедились многие поколения.

* * *

Лирика Пушкина — это не только жанр или вид, или род литературы. Это стихия его творчества. Лиризм присущ всем его произведениям, прежде всего поэмам и роману в стихах «Евгений Онегин». Это значит, что Пушкин присутствует в них не только как автор, художник, повествующий о братьях-разбойниках, кавказском пленнике, цыганах, полтавской битве, статуе Петра, бедном чиновнике Евгении, но и как действующее лицо — лирик.

* * *

Пушкинские устойчивые словосочетания, его самоповторы много значат в его поэтике.

Забавы — «юные», власть — «роковая», душа — «нетерпеливая», берег — «дальный», ветрило — «попослушное», океан — «угрюмый», заря — «прекрасная», мечты — «ревнивые», взор — «нежный», припевы — «вакхальные», стихия — «свободная», мгновенье — «чудное», грусть — «безнадежная», терпенье — «гордое»... Можно намного увеличить этот перечень. Особенно за счет синонимов. Скажем, в «Пророке» пустыня — «мрачная», а в «Анчаре» — «чахлая» и «скупая». Важна система определений, повторяемых, как в народной поэзии. В контексте эти более или менее устойчивые сочетания подкрепляют друг друга:

И может быть — на мой закят
печальный
Блеснет любовь улыбкою
прощальной.

«Закат» и «улыбка» скреплены зарифмованными эпитетами — «печальный» и «прощальный».

Это создает особую пушкинскую мелодию стиха. «Брожу ли я вдоль улиц шумных» — первая строка. «Сижу ль меж юношей безумных» — третья строка. Принцип тот же.

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный.

Звучание рифмы укреплено сочетанием двух существительных: «день» и «друг». В «Дорожных жалобах» шестая строфа:

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?

Здесь возникают в добавление ко всему смысловые параллелизмы, некий контраст, производящий сатирический эффект. То же в «Воспоминании»: «шумный день» и «ночи тень» — первая и третья строки...

Мелодическое волшебство Пушкина является всюду. Особенно в стихах такого склада и достоинства, как «Послание к А. П. Керн» («Я помню чудное мгновенье» и «Как мимолетное виденье», «В сомненьях грусти безнадежной», и «Звучал мне долго голос нежный»).

Когда мы читаем про себя или вслух «Для берегов отчизны дальней» и «В час незабвенный, час печальный», вместе со словами возникает мелодия, некий магический пушкинский распев, который сопровождает нас всю жизнь.

Можно сделать заключение, что во многих случаях эпитет не опережает существительное, а следует за ним и, рифмуясь, создает тот музыкальный строй, который утвердил Пушкин и передал его своей плеяде и своим последователям вплоть до наших дней. Неполные десять лет отделяют «Вакхическую песню» (1825) от стихотворения «Пора, мой друг, пора!» (1834). Но как много изменилось в жизни и поэзии Пушкина!

Было:

Да здравствуют музы,
да здравствует разум!

Стало:

Давно, усталый раб, замыслил
я побег
В обитель дальнюю трудов
и чистых нег.

От пылкого молодого человека до «усталого раба». Это вразумляет куда больше, чем подробная последовательная биография.

Пора, мой друг, пора! Покоя
сердце просит.

Словно Пушкин вел длительный житейский разговор и вдруг на самом ответственном отрезке этого разговора заговорил стихами.

От «День веселья, верь, настанет» (1825) до «На свете счастья нет...» (1834) — огромный тернистый путь человека. Не пойдем Пушкина, если не почувствуем мятежность его умонастроения.

* * *

В стихотворении «К моей чернильнице» (1821) Пушкин писал:

Подруга думы праздной,
Чернильница моя,
Мой век разнообразный
Тобой украсил я.
Как часто друг веселья
С тобою забывал
Условный час похмелья
И праздничный бокал.

Чернильница — бокал. Две эмблематически выраженные чаши, два сосуда. Каждому из них — свое время, свой черед. В отличие от многих поэтов, записывавших свои уже сочиненные стихи, Пушкин в подлинном смысле слова писал (а не записывал) пером на бумаге. Вот почему на рукописях запечатлен весь процесс создания его произведений. По рукописям Пушкина исследователи восстанавливают этапы работы поэта. Исследователи (первым из них надо назвать П. В. Анненкова) работали над пушкинскими рукописями не только с интересом, но и с упоением.

Чернильница была не пузырьком с чернилами, а прекрасным сосудом, который радовал глаз, инструментом поэта — «сокровища мои на дне моем таятся».

Этажи помарок, поля сражений мысли и чувства, беглые зарисовки, заметки по поводу — все это увлекало и увлекает. Мысль следует по стопам гения и многому научается...

Так создалась целая наука, которой отдали и отдают свои знания, свои таланты, свое время примечательные исследо-

ватели русской литературы. «Пушкинская текстология сделалась представительницей русской текстологии вообще», — справедливо утверждает С. М. Бонди.

Нет лучшей школы для поэта, чем эта школа — чтение рукописей Пушкина и сличение вариантов, установление последовательных этапов работы, поиск истины высказывания, точности и красоты, выражающих суть.

* * *

Наш слух привык к сочетанию имен: Батюшков и Пушкин...

Лицеист Пушкин познакомился с Батюшковым в 1815 году. В следующем году автор «Опытов в стихах и прозе» Константин Николаевич Батюшков пытается предостеречь юношу Пушкина от увлечения вакхическими мотивами, внушенными ему стихами... Батюшкова.

Заметки Пушкина — читателя любимого им Батюшкова — сделаны на экземпляре книги «Опыты в стихах и прозе», изданной в Петербурге в 1817 году (часть вторая).

Известно стихотворение «К друзьям».

Вот список мой стихов,
Который дружеству быть
может драгоценен.

Я добрым гением уверен,
Что в сем Дедале рифм и слов
Недостает искусства.
(И т. д.)

На полях против этих строк Пушкин пишет: «Весьма дурные стихи». Слова «драгоценен» и «уверен» подчеркнуты, очевидно, потому, что Пушкин не считал их рифмой. И верно:

другу Батюшкова) Пушкин делает саркастическое замечание.

Батюшков пишет Гнедичу:

Твой друг тебе навек отныне
С рукою сердце отдаст.

Пушкин подчеркивает вторую строку и остроумно замечает: «Б(атюшков) женится на Г(неди)че!»

В стихотворении, где говорится о том, что слепец Гомер нигде в Элладе не находил пристанища, Пушкин отметил: «противоречие». Это противоречие Пушкин видит в том, что мир в отношении нигде не находящего пристанища Гомера назван у Батюшкова «гостеприимным».

Пушкин находит у Батюшкова двойную ошибку — мифологическую (оказывается, не Тифей (Тифон) и Энкелад, а Прометей «питает жадных птиц утробой своей») и грамматическую: имеется в виду употребление сказуемого в единственном числе при двух подлежащих.

* * *

Сохранилось письмо няни Пушкина Арины Родионовны из Тригорского, написанное 6 марта 1827 г.

«Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское — всех лошадей на дорогу выставлю...» Она ждет Пушкина и молится, чтобы он приехал. «За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружок, хорошенько, самому слоботся».

Вот она — «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя». Письмо и стихи подкреп-

ляют друг друга, дают почувствовать живые их интонации.

Стихи сложены годом раньше, чем письмо, — в 1826 году.

Глядишь в забытые ворота
На черный, отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь —
То чудится тебе...

Что чудится? Из письма ясно: чтобы в «забытые ворота» все выставленные на дорогу лошади въехали с Пушкиным...

* * *

Его прозвали Гром-Камень, и весом он был более ста тысяч пудов. Четыреста силачей везли его из деревни Лахты на специально построенном корабле к набережной Невы. На этом Гром-Камне французский скульптор Фальконе воздвиг конную статую Петра Великого. Она стоит на площади между Исаакиевским собором и Невой. Это — место действия «Петербургской повести», как назвал Пушкин свою поэму, написанную между 6 и 31 октября 1833 года в Болдине.

В основу «Медного всадника» положено действительное событие, происшедшее 7 ноября 1824 года. Нева вышла из берегов и, «как зверь остервенясь, на город кинулась». Затопило и площадь, на которой высится Медный всадник. Стихия свирепствовала, но бронзовый Петр продолжал неколебимо стоять посреди площади, посреди Петербурга, посреди России.

Через год с лишним после наводнения, 14 декабря 1825 года, на той же Сенатской площади, где стоит Фальконетов

Петр, вспыхнуло восстание декабристов. В наши дни эта площадь и носит имя Декабристов. Для Пушкина, написавшего свою «Петербургскую повесть» через девять лет после наводнения и через восемь лет после восстания декабристов, образ Медного всадника, стоящего на скале, обрел воистину символический смысл.

Петр предстает перед нами во «Вступлении» к поэме, предстает во весь рост, исполненный дерзких замыслов — «дум великих полн».

В черновике поэма начиналась так:

На берегу пустынных волн
Стоял, задумавшись глубоко,
Однажды царь...

Автор укрупнил образ. «Он» дается с прописной. Не царь, а «Он», историческое лицо, личность. Бытовая, жанровая картина заменена фреской. Пушкин выписал героя своего «крупным планом»:

На берегу пустынных волн
Стоял Он, дум великих полн,
И вдаль глядел...

Парная рифма закольцевала образ, сделала его афористичным.

Собственно, в поэме действуют два Петра — тот, «чьей волей роковой над морем город основался», и памятник, скачущий из прошлого в будущее. И тот и другой Петр едины в монолитном поэтическом замысле, и тот и другой властно расправлялись со стихией — побеждали природу и человека, если они становились поперек царевых замыслов.

Поэма разворачивается с невиданной стремительностью. Все в ней напряженно, остро, драматично. В «Петербургской повести» сочетаются дотоле не сочетавшиеся героическая песнь и бытовой рассказ, ода и жанровая сцена.

Посвятив Петру «Стансы» («В надежде славы и добра...»), строки «Полтавы», «Пира Петра Великого», «Арапа Петра Великого», наброски «Истории Петра», Пушкин в «Медном всаднике» создал ему памятник еще более внушительный и мощный, чем Фальконе.

В поэме Петр выступает как основатель Петербурга, как дерзостный творец, который «Россию поднял на дыбы». Пушкин любит Петром и размышляет над существом и смыслом его реформ и над их последствиями. Отрицательному отношению к Петру Адама Мицкевича («царь-кнутодержец») Пушкин противопоставляет свое. Оно не безоговорочно, это противопоставление. Пушкин продолжает размышлять о Петре.

Царь показан Пушкиным во всей противоречивости своего характера и своей исторической миссии. Восторг поэта сменяется мятежной думой о «держителе полумира». Он рисует в тетради этой поры Фальконетов памятник, но коня изображает без всадника...

Интерес к Петру Великому роднит Пушкина с другими русскими поэтами, в том числе с его старшим современником и учителем Константином Батюшковым. В «Прогулке в Академию художеств» Батюшков говорит: «У нас перед глаза-

ми Фальконетово произведение, сей чудесный конь, живой, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостью мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: «Он скачет, как Россия!»

Это сказано прозой до пушкинских стихов:

О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной,
Россию поднял на дыбы?

В поэме есть внутренний монолог, дума и молчание думающего. Думает и Евгений. «Прояснились в нем страшно мысли», — говорит автор о герое. Евгений титится понять бег времени. Но разум Евгения не выдерживает столь тяжкого испытания. Домик Параша сметен, она погибла, гибнет Евгений. Все ли это безнаказанно даже для такого «властелина судьбы», как Петр? Ответ дает дальнейшая история России. С Петра спросится и за Парашу, и за Евгения. Не сразу.

Наше время позволило прочитать поэму по-новому. Столетие проходит от живого Петра к Медному всаднику. Еще одно столетие пройдет до свержения дома Романовых. Так, спрессованное до отказа время действия поэмы расширено необычайно, и предел ему не положен даже нашей эпохой. Исполненная историко-философского, социального, психологического смысла, написанная совершенными стихами, являющими русскую речь на ее недосыгаемых вершинах, «Петербургская повесть» достойна названия поэмы поэм. Редко до-

стигалась такая гармония речи и стиха, чувства и мысли, постижения прошлого и прозрения будущего.

Судьба пушкинского рода тесно связана с Петром: сам поэт был правнуком Ганнибала, «арапа Петра Великого». Поэт дорожил своей родословной. Но он не мог не сочувствовать и Евгению.

Пушкин, так же как и Евгений, должен был трудом зарабатывать самое дорогое для него — «и независимость и честь». И Пушкин гибнет, по слову Лермонтова, как «невольник чести»...

Токи истории бегут от Петра к Пушкину и от Пушкина к Петру. Герцен метко сказал, что Петр бросил России вызов и она ответила ему песнью Пушкина. Имя Петра мы сопрягаем с именем поэта не только как имя героя и его певца.

Человек маленький, в чиновничьей шинели, Евгений «где-то служит, дичится знатных». У Петра Великого и Евгения Малого есть черты общности — оба они представители знатных русских родов. О царе знают все. Об Евгении — никто, «прозванья нам его не нужно», хотя в прошлом его имя «блистало и под пером Карамзина».

Оба героя зовутся по имени: царь и один из граждан его государства. Но на этом общность Петра и Евгения кончается. Начинается их роковой поединок, историческая дуэль. Различия их ставят друг против друга. Обозначился конфликт, обозначилась трагедия. На одном полюсе — смятенная Нева, смятенный Евгений, а на другом полюсе — гранит Невы и железная узда Петровой власти.

Евгений (любимое имя Пушкина) поначалу замышляет достойную жизнь: он хочет жениться, готов день и ночь работать, придет время и, думает он, «местечко получу, Параше препоручу семейство наше и воспитание ребят...». Так будут жить они, а там — «внуки нас похоронят...». Он хотел бы стоять в стороне от большого мира, но не может, он волей-неволей вовлечен в водоворот истории. Малый человек — не сторонний человек, он участник исторического действия.

Наводнение топит надежды Евгения, хоронит его мечты. Петр во время наводнения восседает на медном коне спиной к Евгению. А Евгений «на звере мраморном верхом», на льве, гордо сидит в наполеоновской позе — «руки сжав крестом». В маленьком человеке пробуждается Наполеон.

Беда делает его мыслителем («...иль вся наша и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей?») и мятежником, — он замышляет бунт против царя («ужо тебе!...»). Но он испугался своего бунта. Воспаленному несчастьем воображению Евгения показалось, что гневное лицо Петра повернулось в его сторону. Евгений бежит и явственно слышит «тяжелозвонкое скаканье». Теперь уже Петр оказывается за спиной Евгения. Но — ненадолго: царь не потерпит протеста и растопчет протестующего.

Столкновение Петра и Евгения имеет и реальный и символический смысл. Наводнение служит фоном повествования. Но этот фон не безучастен к действующим лицам повести.

Кто виноват? — вечный вопрос русской литературы.

Поэма приводит читателя к важному выводу: наводнение только ускорило все то, что могло и должно было бы все равно произойти. Петр на скале незыблем. Евгений срывается и гибнет в тщетной попытке протеста. Пушкин понимает его трагедию и напряженно думает о ней.

Поэт показывает нарастание трагедии бедного Евгения: реальный памятник — видение — сумасшествие. «Захохотал» — одно только слово, но оно, как и «ужо тебе!..», полно трагического смысла и передает душевное состояние героя.

Петрополь всплывает, «как тритон» — древний морской демон, а Евгений гибнет. Маленький человек обречен сперва на прозябание, потом на гибель.

В истории Петр обрел громоподобное имя, а Евгений похоронен «ради бога» в безымянной могиле. Историк Петра, поэт, не позабыл малых сих и вовлек их в историческое повествование. Историк Петра, Пушкин, стал и историком Евгения, открыл в русской литературе новую страницу. В поэзии род Евгения окажется куда более долговечным, чем род Петра.

В «Медном всаднике» поэтическая стихия подчинена железной воле плана. Поэт легко переходит от быта к патетике, от летописи к драме, ему в равной степени подчинены панорамная историческая фреска и дума отдельного человека. Переходы от низкого к высокому, от повествования к лирике всегда глубоко мотивированы. Здесь речь

и стих даны в единстве, достижением могущества. И все это на площади всего лишь 461 строки...

Четырехстопный ямб — стих «Медного всадника» — наследие Ломоносова, Державина, Батюшкова, Жуковского, любимый стих самого Пушкина — достигает в «Медном всаднике» совершенства.

Такого литого звона, такой чистоты звучания русский ямбический стих не знал ни до Пушкина, ни после него. «Медный всадник» — это самый гулкий колокол русской поэзии. Легкое естественное шевеление пушкинских губ, а всюду слышно. Чудо!

* * *

На протяжении двух недель осени 1830 года Пушкин написал четыре произведения, каждое из которых могло бы прославить любого поэта. 23 октября — «Скупой рыцарь», 26 октября — «Моцарт и Сальери», 4 ноября — «Каменный гость», 6 ноября — «Пир во время чумы». Надо добавить, что в эту пору Пушкин написал «Повести Белкина». Помимо «Маленьких трагедий» и «Повестей Белкина», в Болдинскую осень завершена многолетняя работа над романом в стихах «Евгений Онегин», написана поэма «Домик в Коломне», закончена «Сказка о попе и работнике его Балде». «Сверх того написал около 30 мелких стихотворений», — сообщает Пушкин Плетневу 9 декабря 1830 года. В редкую минуту удовлетворения созданным поэт пишет Дельвигу 4 ноября 1830 года: «Скажи Плетневу, что он расцеловал бы ме-

ня, видя мое осеннее прилежание...»

«Маленькие трагедии» создавались всего две недели, но замысел их вызревал в душе поэта исподволь и не один год. На обороте одной из рукописей лета 1826 года Пушкин дает перечень волнующих его тем: «Скупой. Ромул и Рем. Моцарт и Сальери. Д. Жуан. Иисус. Беральд Савойский. Павел I. Влюбленный бес. Димитрий и Марина. Курбский». Не все эти темы по этому воплощены. Но три из четырех «Маленьких трагедий» здесь уже упомянуты.

Свои «Маленькие трагедии» Пушкин хотел назвать то «Драматическими сценами», то «Драматическими очерками», то «Драматическими изучениями» и, наконец, «Опытами драматических изучений». Ни одно из этих названий не утвердилось. Удержалось то, которое поэт мельком дал в письме к Плетневу (декабрь 1830). Пушкин общал, что вместе с другими произведениями он создал «несколько драматических сцен, или маленьких трагедий».

Для познания этой пушкинской тетралогии очень важны и предыдущие определения: «сцены», «очерки», «изучения». Они раскрывают существо «Маленьких трагедий»: каждая из них и все вместе — это художественное исследование жизни, страстей, характеров.

Первым в цепи «Маленьких трагедий» оказался «Скупой рыцарь». Между последней ремаркой «Бориса» («Народ безмолвствует») и последней репликой «Скупого» («Ужасный век, ужасные сердца!») видится существенная связь. Как извест-

в 1836 году за подписью Р. (латинское П) — Пушкин.

Гибнут в ужасный век не только обыкновенные люди, гибнет гений — может стать, прежде всего он. В «ужасных сердцах» не только корысть, но и зависть. Так — «Зависть» — в начальных набросках было названо произведение, получившее окончательное название «Моцарт и Сальери».

Все говорят: нет правды на земле
Но правды нет — и выше.

* * *

В «Скупом» говорилось о людях, чьи страсти и надежды кровно связаны с золотом. В «Моцарте и Сальери» рассказано о людях, находящихся в сфере духовной и творящих искусство. Каков символ их веры?

Два друга — Моцарт и Сальери, два музыканта. Непомерная зависть Сальери делает его тайным врагом Моцарта. Враг из числа друзей, Сальери боготворит Моцарта («Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; я знаю, я»). Боготворит — и отправляет на тот свет, боготворит — и обвиняет небо, ниспославшее людям такого гения («...Нет правды на земле. Но правды нет — и выше»).

Моцарт доверчив и наивно-незащищен. Он называет Сальери «сыном гармонии», гением: «Он же (речь о Бомарше. — А. О.) гений, как ты да я». Он веряет ему замыслы, доверяет только что набросанные сочинения (Сальери же с Моцартом не делится ни своими замыслами, ни сочинениями).

Даже выпив без опаски стакан отравленного вина (он пьет его без Сальери, до того, как тот возьмет бокал), Моцарт провозглашает тост за здоровье Сальери, за искренний (он верит в это) союз с ним. Он не может бросить тени подозрения на дружбу, творческую дружбу, он предан ей: ведь «гений и злодейство — две вещи несовместные».

Пушкин знал из журналов того времени, что на смертном одре Сальери, переживший своего друга на 34 года (он умер в 1825 году), признался будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта.

В пьесе Моцарт, не сознавая, что говорит в последний раз перед смертью, произносит: «Прощай же!», а остающийся жить Сальери: «До свиданья». В свое время Катенин обвинял Пушкина, что он оклеветал Сальери. Споры о виновности или невиновности продолжаются. Исследователи утверждают, что в «Моцарте и Сальери» дана зависть — «болезнь дружбы», как в «Отелло» ревность — «болезнь любви».

В драматическом портрете Моцарта мы узнаем черты Пушкина. Мы чувствуем, что Моцарт симпатичен и близок Пушкину. Уж очень они — Моцарт и Пушкин — похожи, в самом существенном похожи: в характере, отношении к людям, к жизни, к дружбе, особенно творческой дружбе. Легкий, пылкий, озаренный, дружелюбный Пушкин так же, как и его Моцарт, еще не знает, что обречен.

Стремительность действия «Моцарта и Сальери» делает

каждую строку и каждое слово трагедии весомыми и существенно важными для действия. Слово — первоэлемент пушкинской трагедии, малая клетка ее, воспроизводящая весь организм. Все в «Моцарте и Сальери» на контрасте, на совмещении в душе героев двух зарядов — положительного и отрицательного. Сальери влюблен в искусство, и он испытывает неприязнь к тому, кто владеет этим искусством в большей степени, чем он.

В драме, помимо Моцарта и Сальери, есть еще одно действующее лицо. Оно эпизодично, но важно. Старик скрипач, которого Моцарт приводит к Сальери. Старик слеп. Значит, он знает музыку Моцарта со слуха. Значит, Моцарт популярен. Это не может не ранить Сальери. Старик неумело играет арию из «Дон Жуана» (кстати, за «Моцартом и Сальери» следует «Каменный гость» — о Дон Жуане и с эпиграфом из моцартовской оперы). Сальери в ужасе, он восстает против профанации великого искусства. Моцарту же весело, он хохочет. Эта сцена проводит видимый водораздел между замкнутостью и обособленностью Сальери и открытостью любящего простых людей Моцарта. Искусство уходит корнями не в схоластику, не в цифирь, а в живую жизнь.

* * *

В «Каменном госте» сказано, что «из наслаждений жизни одной любви музыка уступает». О музыке уже шла речь в «Моцарте и Сальери». Здесь же идет речь о любви.

Из всех четырех «Маленьких трагедий» «Каменный гость» самая протяженная — в ней четыре сцены (в «Скупом» — три, в «Моцарте и Сальери» — две, в последней, «Пир во время чумы», — одна).

Дон Гуан (Пушкин называет Дон Жуана на испанский манер — Дон Гуаном) влюбляется в Дону Анну, мужа которой он убил на поединке. Многочисленные и разнообразные любовные похождения Дон Гуана меркнут и отступают перед силой этого чувства.

Трагедийный узел завязан туго. Верность памяти мужа борется у Доны Анны с ответным чувством к Дон Гуану. Дона Анна религиозна, но не лицемерна: она чувствует, что пришла ее любовь, она готова отшатнуться от этой любви, но не может.

В разговоре Дон Гуана с Доной Анной выясняется, что она вышла замуж по воле матери: «...Мать моя велела мне дать руку Дон Альвару, мы были бедны. Дон Альвар богат». Снова в трагедии входит мотив расчета, который был и в «Скупом», и в «Моцарте». И Дон Гуан отвечает Доне Анне:

Счастливец! он сокровища
пустые
Принес к ногам богини, вот за
что
Вкусил он райское блаженство!

Дон Гуан, сластолюбивый и по существу циничный, не хочет обмануть Дону Анну, как обманывал предыдущих своих возлюбленных («Ни одной доньне из них я не любил»). Внушенное ему этой женщиной чувство несовместимо с ложью.

«...На жизнь я осужден», — высказывает свой парадокс Дон Гуан, хотя общежитейский здравый смысл мог бы ему подсказать слова: «На смерть я осужден». Но и на жизнь осуждает жестокий век. Отчаянье жизни, «недуг бытия», как говорил Баратынский. Жизнь и смерть идут рядом, на самом краю пропасти. Даже любовь, даже страсть — жажда наслаждений — таят в себе гибель. Любовь — борьба, любовь — «поединок роковой», как скажет Тютчев. У Тютчева из двух сердец гибнет одно — то, что нежней и чувствительней. У Пушкина гибнут оба сердца.

Дон Гуан ведет себя как дуэлянт. Он задирает Командора. А задирает потому, что сознает бесцельность желаний вступить в связь с вдовой убитого им Командора. Он бросает ему вызов еще раз сразиться за нее, за ее честь. И — гибнет.

При свидании с Доной Анной, назвавшись сперва Дон Диего, Дон Гуан признается в своей вине перед нею. «Вы ненавидеть станете меня», — говорит он. Дона Анна хочет знать, в чем же его вина. Дон Гуан медлит с признанием:

Не желайте знать
Ужасную, убийственную тайну.

Тайна действительно убийственная, так как это тайна убийства ее мужа. Но доверие и сильное чувство к Доне Анне заставляет Дон Гуана сказать чистую правду, которую в другом случае он скрыл бы. Правдивость Дон Гуана несла несчастье и его возлюбленной, и ему. Открытие правды влечет за собой трагическую развязку. Эту сто-

рону «Каменного гостя» не замечали, а она существенная. Сильное чувство влечет за собой откровенность. Откровенность, в свою очередь, ведет к трагической развязке. Только Доне Анне мог Дон Гуан сказать: «...На совести усталой много зла». Он раскрылся, и он понят, но пришла месть. Он наказан на пороге «погибельного счастья» (выражение Пушкина, 1821).

Есть у пушкинского Дон Гуана особенность, которой не было у Дон Жуанов — его предшественников: он слагает стихи и называет себя «импровизатором любовной песни». Он творец.

И еще одна важная черта пушкинского образа: у предшественников пушкинского «Каменного гостя» Командор — отец Доны Анны, а у Пушкина — муж ее. Трагизм обстоятельств тем самым усугублен.

* * *

Если «Каменный гость» — самостоятельная пушкинская трактовка вечного образа мировой литературы, восходящего к Тирсо де Молино, Мольеру, к опере Моцарта «Дон Жуан», то четвертая, последняя из «Маленьких трагедий» — «Пир во время чумы» — это вольный перевод сцены из пьесы английского поэта Вильсона «Чумный город» (1816). Однако песни Мери и Председателя — не перевод, а вполне оригинальные строки Пушкина. Пьесой Вильсона поэт заинтересовался за полгода до эпидемии холеры, свирепствовавшей в России в 1830 году и задержавшей

Это не столько монолог, сколько центральная партия в оратории. Председатель призывает рассматривать этот пир как бой у «бездны мрачной на краю». Он внушает мысль, что смерти бояться не надо.

«...Пушкин считал гибель только тогда страшной, когда есть счастье». Надо вдуматься в это тонкое и глубокое определение А. А. Ахматовой, важное для понимания личности поэта, его жизни, его творчества. Дон Гуан гибнет в миг, когда пришло счастье...

* * *

Отвага Пушкина проявлялась во всем — от слова до поступка. Не так: у Пушкина слово и есть поступок.

В 1821 году Пушкин писал: «.Кто смерти не видал, тот полного веселья не вкушал и милых жен лобзанья недостойн. Он хотел жить:

Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить
и страдать.
(«Элегия», 1830)

О ранней смерти Грибоедова Пушкин писал так: она «мгновенна и прекрасна».

Гимн Чуме, пропетый Вальсингамом «перед лицом смерти», так же прекрасен, как Реквием Моцарта, который по заказу «черного человека» писал его, смутно догадываясь о своем конце. Труд и творчество поднимают человека на такую духовную высоту, дают ему такое упоение, что смело вступают в единоборство со смертью.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит

Неизъясними наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь
волненья
Их обретаť и ведаť мог.

Эти «неизъясними наслажденья» из песни Председателя перекликаются с мотивом «И ведаю, мне будут наслажденья» из «Элегии», написанной в ту же осень 1830 года в Болдине.

Присутствующие на пиру Мери и Вальсингам поют каждый свою песнь. Священника Пушкин не удостоивает ни песни, ни гимна, ни молитвы. Он вещает о небесах, а Вальсингам славит хотя и обреченную, гибельную, но жизнь, понимая, что там, за пределами жизни, — яма, пропасть, ничто. Вальсингам, вслед за Пушкиным, не верит в небеса. Он призывает пить дыханье «девы-розы», «Быть может... полное Чумы!». Председатель Вальсингам обращается к Священнику:

Тень матери не вызовет меня
Отселе — поздно, — слышу
голос твой,
Меня зовущий, — признаю
усилья
Меня спасти... старик! иди же
с миром;
Но проклят будь, кто за тобой
пойдет!

Это «поздно» означает: где ты был раньше? Оно означает: теперь молитва не спасет. Этот мотив («поздно!») слышится во всех «Маленьких трагедиях». Дон Гуан наконец понял, что пришла истинная любовь. Поздно! Сальери пожалел, что бросил яд в стакан Моцарта: «Постой, постой, постой!..»

И это трехкратное «постой» звучит так же, как и «поздно». Альбер бросает отцу: «Барон, вы лжете». Слово сказано — поздно. «Сын принял вызов старого отца!» Поздно...

Священник удаляется от пирующих со словами, обращенными к Председателю: «Спаси тебя господь! Прости, мой сын». Благодарение заодно с извинением...

В «Пире во время чумы» тема, затронутая в трех предыдущих трагедиях, получает завершение. Пушкин всех героев ставит перед катастрофой. Все равно все должны решать для себя главный вопрос бытия, вопрос жизни и смерти. Вальсингам беседует со Священником, и если просит покинуть их пир, то говорит об этом весьма осторожно и умоляюще: «Отец мой, ради бога, оставь меня!» Он не разделяет мнения Священника и остается среди пирующих, видя в самой жизни победу над смертью.

Так трагедийное получает разрядку в героическом. Так в маленьких по объему и огромных по содержанию произведениях прошли перед нами века, события, характеры. «Маленькие трагедии» остаются для новых поколений кладезем мудрости и источником художественного наслаждения.

Искусство Пушкина — в мощи человеческой речи, в мастерстве художественного анализа сложнейших явлений. Пушкин как бы говорит: каждый человек — и обыкновенный уличный музыкант, и гений — достоин высокой судьбы, это надо помнить даже в жестокий век. И сам-то Пушкин, носитель этого идеала, жил в та-

кой век, и ему принадлежат вещице слова: «...в мой жестокий век восславил я свободу» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный», 1836). И в «Маленьких трагедиях» Пушкин славит свободу.

Его «Маленькие трагедии» — это четыре кратких трактата о природе страстей, о дружбе и любви, о богатстве и скупости, о жизни и смерти. Четыре пьесы, в которых действуют люди разных эпох и народов. И все же незримым, но главным их героем остается Пушкин, его жизненный идеал, его понятие о чести и достоинстве, о смысле бытия и небытия.

* * *

Вечные темы «Маленьких трагедий» служат современности, они и прочтываются как современные произведения на историческом материале. Пушкин не дает оценки конфликтам. Он их обнажает. Он показывает драму жизни. А мы, читатели, в меру своих сил делаем выводы. Вот почему любой из нас, обращаясь к «Маленьким трагедиям», на каждом новом возрастном этапе прочтывает их по-новому и открывает в них для себя все новый и новый смысл.

Современники и даже друзья поэта не поняли «Маленьких трагедий». Исключение составляет Белинский, восторженно отнесшийся к «Каменному гостю» и поставивший его в один ряд с шедеврами мировой литературы. С уходом века Пушкина «Маленькие трагедии»

торжественного лада назидательно-ироническим.

Пушкинская Муза могла еще только полгода пользоваться этой установкой. Она оказалась напущением. Предстоит выяснить, как воспользовалась ею русская поэзия дальнейших десятилетий.

Хвалу и клевету приемли
равнодушно
И не оспаривай глупца.

Фонетическую «поправку» этих слов мы знаем. Вместо «оспоривай» стали говорить «оспаривай». Помнится, мой учитель Дмитрий Николаевич Ушаков, автор толкового словаря, этой поправки не принял.

Но я здесь веду речь не о грамматике, а об этике, творческом поведении.

* * *

Пушкин... Как-то боязно, хотя и желанно-заманчиво говорить о нем. Столько уже наговорено. И какими людьми. А что ты скажешь нового?

Это первое неловкое чувство проходит, как только вступает в права любовь. Кто еще так любит Пушкина, как я? Поищите! Никого не найдете. Мой Пушкин! Эта любовь к нему дает право каждому из нас говорить о нем.

Знание имеет значение только при любви, не иначе. Знание Тургенева, Достоевского, Анненкова, Ахматовой, Бонди, Цявловского, Тьянянова, Томашевского, Гуковского, Вересаева, Фейнберга основывалось на любви. Замечал я, что пушкинисты даже ревновали Пушкина

друг к другу. Отсюда и остроумное предположение Пастернака: все они хотели, чтобы Пушкин женился не на красавице Наталии Гончаровой, а на позднем пушкиноведении.

Для меня идеал поэта — Пушкин. Это, наверно, скажут многие. Тем лучше. Таким и должен быть Поэт. Не только сочинитель в стихах и прозе, но и человек высокого достоинства, «невольник чести». Деятельность его так неохватно широка и общезначима, что Пушкин стал для меня вторым именем русской литературы. Не только зачинатель, но и участник всего дальнейшего — вплоть до нынешнего дня. Его именем можно клясться (о, сколько было ложных клятв!), но лучше всего быть верным ему и испытывать эту верность на своих современниках.

Какого вопроса поэзии, драмы, прозы, истории ни коснись — всенепременно вырulich к Пушкину. Покажу это на своем примере. Занимаюсь Тютчевым — возникает вызвавшая дискуссии проблема: отношение к нему Пушкина. Читаю Карамзина, и сами собой, как указующие и направляющие, появляются строки Пушкина о нем. Думаю о судьбе драмы, и тут как тут пушкинское сравнение Шекспира и Мольера. Говорю и пишу о Баратынском — как можно без Пушкина: «он у нас оригинален — ибо мыслит». Мне нужно определить для моих студентов различие стихов и прозы, и я за помощью обращаюсь к Пушкину: восьмая строфа «Осени», «Онегин», заметки. Спешно просят указать на пример емкости в по-

эме, немедленно даю ответ: «Медный всадник» — 461 строка.

Всю жизнь Пушкин был для меня идеалом труженика. Не натужливо сидящего за столом, не отбывающего положенные часы за писанием. Нет! Пылкий, веселый, глубокий, стремительный, строже всех других умеющий оценить свой труд. Самое слово «труд» — любимое. Князь Вяземский свидетельствует: «Труд был для него святыня», когда он «принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался». Он надеялся, что покинет Петербург, сбежит в деревню — «в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Удалось бы сбежать — спасся бы. Не спасся. Полтора столетия Россия и весь мыслящий мир оплакивают эту невосполнимую потерю.

Узнал я о Пушкине очень рано. Его облик запечатлелся по самым давним и глубоким впечатлениям детства. Стихи «Подруга дней моих суровых» и начальные строки («Посвящение») «Руслана и Людмилы» вошли в меня из уст матери Софьи Григорьевны (еще не умел читать). Первые ее рассказы о жизни и гибели Пушкина. На стене моего детства висела картина, написанная маслом: снег и — по диагонали — фигура смертельно раненного Пушкина. Первая боль, вошедшая в мое сердце. Первое мое стихотворение, из которого помню только две строки: «Снежинки по лицу секут (на рифме «секунд»), шаги считают секунданты» (не помню, что стояло на рифме, во всяком случае, не «таланты»). Далее — всю жизнь — попытка уговорить Пушкина отменить дуэль (он

решительно не согласен, обещаюсь к друзьям его), хочу преградить саням путь на Черную речку, но всегда опаздываю — моя роковая ошибка. Не поправимо!

Есть у нас завет Пушкина, услышанный последующей литературой: «Глаголом жги сердца людей». Это мы знаем с детства, но только с годами начинаем познавать смысл этих слов. Глаголом, то есть действием, то есть словом-действием, то есть словом, способным вести за собой людей. Надо помнить, что именно «Пророка» читал Достоевский в 1880 году на открытии памятника Пушкину в Москве.

Каким же надо быть самому Поэту, пожелавшему глаголом жечь сердца людей? Как жить ему? Чего желать?

Есть Пушкин веселый и иронический, легкий и подвижный, порывистый и решительный. У него стихи на все наши состояния и настроения. Но есть Пушкин проникновенный и глубокий, взывающий града и мудрый, доискивающийся истины. Ищущий ее прежде всего для себя и делающий читателя свидетелем и соучастником этого поиска, подобно тому, как это делали позднее Толстой и Достоевский, Чехов и Короленко, Платонов и Булгаков.

Прошло полтора века с того рокового дня, когда Россия потеряла Пушкина.

Однажды (наверняка не однажды) Пушкину не спалось. Во время бессонницы в 1830 году он сочинил стихи «Мне не спится, нет огня». Обращаясь к жизни («жизни мышья бегот-

ня...), Пушкин заканчивает это стихотворение:

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.

Мне попался и другой вариант концовки (вариант Жуковского?):

Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу.

И в том и в другом случае речь идет о постижении смысла жизни, тайного языка ее.

Одна из самых любимых тем для собеседования поэтов (где бы они ни происходили) — Пушкин. О нем в разное время (потому и перечень мой — в хронологическом порядке) доводилось говорить мне с Ахматовой и Пастернаком, Ушаковым и Антокольским, Асеевым и Эренбургом, Сельвинским и Тычиной, Леонидзе и Граши, Твардовским и Щипачевым, Кедриным и Кулешовым, Галкиным и Слуцким. С последним у нас было общее правило — ежегодно перечитывать «Евгения Онегина» и делиться новыми впечатлениями. Новыми — это не повторять прошлогодних. Пережитые события общей и личной жизни года связывались с новым ощущением текста романа в стихах. Разговор об «Онегине» превращался в разговор о нынешней жизни...

Пушкин — наша каждодневность и наш праздник.

II

26 МАЯ 1828 ГОДА

Это стихотворение Пушкина не относится к числу его хрестоматийных произведений. Оно зна-

чимо, оно ценно, как все, к чему бы ни прикасалась рука поэта. Но читатель часто проходит мимо него. А вместе с тем оно показательно для Пушкина, за ним стоит его судьба.

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомнением взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Прочитав это стихотворение, любой непредвзятый читатель скажет: автор сожалеет, что рожден на свет, он утверждает, что жизнь для него лишь «дар напрасный, дар случайный», что перед ним «цели нет», а «сердце пусто, празден ум», посему жизнь томит его тоскою.

Вновь и вновь взглядевшись в эти двенадцать строк, читатель заключит, может заключить, что автор пессимист, хотя стих его легок, изящен, мелодичен, он очаровывает.

Стихотворение написано четырехстрочным хореем с перекрестной рифмовкой. Четырехстрочным хореем написаны также знаменитое стихотворение «Мчатся тучи, вьются тучи» и «Снова тучи надо мною». Казалось бы, плясовой хорей не способен передать глубину сумрачной души поэта. Но власть пушкинской интонации столь велика, что заставляет звучать этот

хорей раздумчиво, скорбно, драматично. Элегический строй его так же убедителен, как элегический строй четырехстопного ямба.

При чтении «26 мая 1828 года» любой непредвзятый читатель скажет: эти стихи определяют жизнь не как благо, а как зло, как тягостное, кем-то вызванное «из ничтожества» существование, бесцельное бытие.

Мы поступим неверно, если примем поспешное решение: считать это стихотворение Пушкина пессимистическим, а автора — пессимистом. Это будет не только несправедливо, но грубо ошибочно. В мировой поэзии Пушкин — один из самых ярких жизнелюбов. И это подтверждается всем корпусом его произведений.

Попробуем проанализировать текст стихотворения и сопоставим его с другими произведениями поэта.

Надо помнить, что дата, поставленная в названии, — 26 мая 1828 года — день рождения Пушкина. В этот день ему исполнилось 29 лет. И он, по-видимому, задумался в стихах или стихами задумался над смыслом своей жизни — это с поэтами иногда случается, да и не только, к счастью, с поэтами.

Стихотворение «26 мая 1828 года» было напечатано в 1830 году в альманахе пушкинского друга Антона Дельвига «Северные цветы».

Прочитав это стихотворение и поняв из его текста, что автор, потерявший духовные ориентиры, пессимист и безбожник, тогдашний митрополит Филарет обвинял Пушкина в том, что он сам испортил свою жизнь «стра-

стями и сомнениями». Филарет написал послание в стихах, в котором призывал поэта обратиться к религии:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомнемьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный
мною!
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждется тобою
Сердце чисто, светел ум.

Напомню, что Филарет (Василий Михайлович Дроздов) — с 1812 года ректор Петербургской духовной академии, а с 1825 года — митрополит московский и конюшенский. Пушкин видел Филарета на переводных экзаменах в Царскосельском лицее (январь, 1815) и на выпускных экзаменах (май, 1817) по закону божьему.

Стихи, написанные Филаретом, были переданы Пушкину его приятельницей Елизаветой Хитрово, у которой бывал митрополит Филарет. Как известно, Хитрово — дочь полководца М. И. Кутузова и близкий друг Пушкина.

В начале того же 1830 года поэт, в свою очередь, ответил на стихи митрополита:

В часы забав иль праздной
скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа пала
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт...

Друзья Пушкина, любившие свободу и независимость его высказываний, недоумевали по поводу покаянного тона этих стихов. Князь П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу по этому поводу: «Ты удивишься стихам Пушкина к Филарету, он был задран стихами его преосвященства, который пародировал или, лучше сказать, полиподировал (т. е. вывернул наизнанку.— *Л. О.*) стихи Пушкина о жизни, которые нашел он у общей их приятельницы, Елизаветы Хитрово».

Митрополит читал текст как текст, вне зависимости от обстоятельств жизни Пушкина в эту пору, отдельно от других хронологически рядом стоявших произведений.

Май 1828 года. Прошло два с половиной года со дня восстания декабристов. Жизнь, что «на казнь осуждена», осуждение на казнь — это тайный словарь того времени, психологический шифр поэта, у которого не зажили еще раны совести. Годом

раньше, в 1827 году, Пушкин пишет стихотворение «Арион», в котором говорит о себе, о поэте — «таинственном певце», который «на берег выброшен грозою», о поэте, поющем прежние гимны и сушащем влажную свою ризу на солнце, так как он побывал в волнах. Как известно, это стихотворение было так же,



*Автопортрет
Пушкина.
1828 г.*

как и стихотворение 26 мая 1828 года, напечатано в 1830 году тем же Дельвигом, но не в альманахе «Северные цветы», а в издававшейся им «Литературной газете». Стихотворение Пушкина «Арион» появилось без подписи, потому что она, подпись Пушкина, могла бы обнаружить подтекст стихотворения, его тайный смысл. Любопытный читатель понял бы, что «вихорь шумный» и гибель кормщика и пловца намекали на события декабря 1825 года и последующие за ними.

Это стихотворение «Арион» и некоторые другие (например, «Стансы») («В надежде славы и добра»), «Предчувствие», «Город пышный, город бедный», «Анчар»), все, вместе взятые, дают картину переживаний Пуш-

кина в первые годы после декабря 1825 года. Он был подавлен, он искал выхода из сумрачного своего состояния, писал он и стихотворения, которые перекликаются с его ответом митрополиту. Таково, например, послание «Друзьям»:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Текст этого стихотворения надо уметь прочитать. В нем заключена скрытая полемика против царя и его «льстецов» из окружения. Пушкин предостерегает властителя от презрения к народу, он грозит «бедой» государству, в котором общественное мнение подавлено. «Льстец лукав», — говорит Пушкин. Льстец скажет царю: «Презирай народ, гнети природы голос нежный». Пушкин не таков. Он говорит:

Беда стране, где раб и льстец
Один приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Своими чрезмерными похвалами царю Пушкин не льстил ему, а как бы приглашал царя следовать по пути великодушия к политическим противникам и вернуть сосланных декабристов из Сибири. Пушкин много думал над этим, страдал и прибег к форме лжедифирамба для того, чтобы вызвать монаршую милость к декабристам. Цель, однако, не была достигнута: власти не пропустили в печать стихотворение Пушкина. Царь Николай I написал на стихотворении резолюцию: «Рас-

пространить можно, но печатать нельзя». Бенкендорф сообщает Пушкину, что «его величество» этим стихотворением «совершенно доволен, но не желает, чтобы оно было напечатано».

Одни увидели в стихотворении Пушкина только лесть. Чему оно учит? Служить царям? Резко неодобрительно отозвался об этом стихотворении поэт Николай Языков: «Стихи Пушкина к друзьям просто дрянь».

Другие увидели в стихотворении его тайный смысл. П. А. Катенин, бывший член тайного общества, отметил двусмысленность и сложность стихотворения Пушкина. Катенин говорил, что стихи эти «плутовские». Они, следовательно, учат не лести, а плутовскому умению обводить власть имущих вокруг пальца.

Вскоре — через несколько лет — Пушкин убедится, что и это все зря. Невольника чести ждала не казнь через повешение, а дуэль.

Я начал разговор свой со стихотворения 26 мая 1828 года. Оно должно быть теперь более понятно хотя бы потому, что выяснены обстоятельства жизни поэта, при которых оно создавалось, психологические предпосылки его появления, мотивы, вызвавшие его к жизни.

Можно ли на основании одного стихотворения сказать, чему оно учит?

И можно, и нельзя. Можно — потому, что в нем есть законченность *этого* мгновения, *этого* настроения чувств и мыслей. Нельзя — потому, что *это* мгновение, этот настрой *чувств* —

лишь звено в большой цепи образов художника.

О реке можно судить по ее глади, но и по срединным и донным струям. О реке можно судить по тихому течению и по водоворотам, по заливам и по перекатам. Все одна и та же река, но в разных местах ее течения она разная.

Ведь в том же 1828 году Пушкин вместе со стихотворением «Дар напрасный, дар случайный» пишет послание-сатиру на И. Е. Великопольского, с которым часто играл в карты, стихи о А. О. Россет — в ответ на стихи князя П. А. Вяземского, стихотворения «Не пой, красавица, при мне», «19 октября 1828» — о лицейской годовщине и другие. Если «Дар напрасный, дар случайный» сопрягать с этими стихами Пушкина, то его облик вырисовывается верней.

Самый скепсис, если он у него и появляется в иное мгновение, говорит об «избытке чувств и сил», о буйстве страстей, о многосторонности и богатстве деятельной природы, ущемленной произволом того, кто простер над судьбой поэта «царственную руку».

Пушкин переживал мрачные дни. Он назван Жуковским «солнце русской поэзии» не случайно. В нашей поэзии, в поэзии мира Пушкин стал синонимом всепоглощающей влюбленности в жизнь.

Да здравствует солнце,
да скроется тьма!

Этому, дающему свет, Пушкину веришь потому, что он во всех своих движениях естествен. Он мог жаловаться на «дар

напрасный» жизни с той же откровенностью, с какой славил «солнце святое».

Справедливости ради надо сказать, что у поэтов бывают стихотворения, весьма полно и целостно выражающие их взгляды на мир, на общественное развитие, на человека. Это



*Автопортрет
Пушкина
1829 г.*

подчас важные, важнейшие хрестоматийные стихотворения.

У Пушкина мы найдем «Деревню», «Вольность», «Пророка», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и другие; у Лермонтова — «Смерть поэта», «Бородино», «Дума» и другие; у Некрасова — «У парадного подъезда», «Стихи мои! Свидетели живые...», «Смокли честные, доблестно павшие» и другие. В этих или сходных с этими стихотворениях можно уловить концепцию автора; они, эти стихотворения, программны, то есть в них выражено кредо поэта. В этом особенность перечисленных стихотворений. Особенность, но ни в коем случае не преимущество перед другими стихотворениями непро-

граммными, не содержащими концепцию.

Остается сказать, что митрополит не ограничился ответом Пушкину. Известно, что он воспротивился венчанию Пушкина и Гончаровой в домово́й церкви князя Голицына. Известно также, что Филарет жаловался Бенкендорфу на стих Пушкина в «Евгении Онегине» («И стая галок на крестах»).

Полемика забылась, стихотворение осталось.

Среди отголосков на пушкинские строки выделяются стихи грузинского поэта-романтика Григо́ла Орбелиани. Он

писал в «Подражании Пушкину» (1847):

О жизнь моя,
Бесплодный дар пустой,
Зачем, зачем дана ты мне
судьбою?

Из тьмы небытия
Исторгнутый тобой,
Зачем я свылся с мукою
земною?
(Перевод Н. Заболоцкого)

Стихотворению предпослан эпиграф: «Дар напрасный, дар случайный», приведенный грузинским поэтом на русском языке.





ВДОХНОВЕНИЕ

Ю. Карякин

Критик смешивает
восторг с вдохновением.
Нет; решительно нет.

А. С. Пушкин.

Замечательно уже одно то, что Пушкин определяет вдохновение — вещь для многих до сих пор немислимая и даже кощунственная. Но еще более замечательно, как он это делает.

«Вдохновение?» есть расположение души к живому принятию впечатлений, следственно к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных.

Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии.

Критик (В. Кюхельбекер. — Ю. К.) смешивает восторг с вдохновением. Нет; решительно нет. — Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей частями в их отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следственно, не в силе произвести истинное великое совершенство — (без которого нет лирической поэзии)... Ода стоит на низших ступенях — не говоря уже об эпосе, трагедии, поэма, комедия, сатира все более ее требуют творчества (*fantaisie*) воображения — гениального знания природы. Но плана нет в оде и не может быть — единый план

«Ада» есть уже плод высокого гения. О да исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого... Есть высшая смелость. Смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью...»

Самые неожиданные слова здесь — «план», «объяснение понятий», «спокойствие», «постоянный труд», «сила ума»... — неожиданные для восторженных поклонников вдохновения.

Пушкинское определение — знак высочайшей культуры творчества, знак ясного самосознания творца. Это не «технологический» рецепт, не просто литературоведческий вывод, а жизненный, мировоззренческий принцип.

«Живое принятие впечатлений» и «соображение понятий», сила чувств и сила ума, смелость и план, воображение и труд — не во вражде, а в согласии.

И самое, самое главное: живая жизнь — как первоисточник вдохновения и окончательная проверка ему.

Один из источников глупейшего предрассудка в отношении пушкинского Моцарта и самого Пушкина — в излишней доверчивости к словам пушкинского же Сальери:

...О небо!

Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горячей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..

Будто и не Моцарт написал «Дон Жуана», будто и не Моцарт сочинял свои симфонии, будто не он автор Реквиема, один план которого тоже есть плод высокого гения. Или, может быть, сам Пушкин, создавая «Моцарта и Сальери», создавая все свои произведения, и не ведал, что творил? Не «рационалист» Сальери противостоит «интуитивисту» Моцарту (или Пушкину). Ничего подобного. Сальери и не подозревает о «силе ума», которая присуща Моцарту и которая питается «живым принятием впечатлений».

Пушкинское определение — само вдохновенно. Как и всегда у Пушкина, так и здесь, в рассуждениях о самых «метафизических» материях, — словно «речка подо льдом блестит...».

Не мистический экстаз, не восторженные фразы, не глубоко-мысленные намеки. Нет. Самые простые, ясные, деловые слова. Как в геометрии.

«Расположение души к живому принятию впечатлений». — Раз. «Быстрое соображение понятий» и «объяснение оных». — Два. А в итоге — «великое совершенство». — Три.

Открытость души плюс труд ума равняется «прекрасному».

Но, конечно, конечно, «слагаемых» здесь больше и связь между ними не «арифметическая».

Есть у Пушкина и такие слова: «Главное: истина, искренность». Есть слова об одном поэте: «Холод, натяжка, принужденность отзываются во всяком его творении, где никогда не видим движения минутного, вольного чувства, словом: где нет истинного вдохновения... Свойство, без которого нет истинной поэзии, т. е. искренности вдохновения». Пушкин говорит здесь о том ядре вдохновения, которое и обозначено словами «расположение души к живому принятию впечатлений». К «принятию» и — к выражению их, к «отдаче», а это и невозможно без искренности. Искренность тоже дар, тоже талант. Она не делается по заказу. Она есть или ее нет. Ее можно сдержатъ, но нельзя вызвать — будет отдавать фальшью. У Пушкина, если так можно выразиться, строгая дисциплина искренности. Дисциплина эта и есть целомудрие пушкинского слова.

Иное восторг — суррогат вдохновения.

Специфический жанр восторга — высокопарная ода (хотя и до Пушкина, и после него восторг пытался подчинить себе и другие, не «свои» жанры).

Восторг суетен и хаотичен, сентиментален и неумен, прекраснодушен и агрессивен. В нем — полупросвещенность чувств и ума. Восторг, главное, недисциплинирован, безмерен, безмерен во всем — в своей искренности, в количестве слов, а больше всего в своей апологетике. Но безмерность и есть лишь форма ограниченности, апологетика же всегда раболепна.

Вдохновение свободно. Оно свободно именно в той мере, с какой выражает самые безмерные чувства, именно в той дисциплине, с какой умеряет хаос, в той гармонии, которой подчиняет все самое негармоничное, в той сдержанной силе, которой обуздывает самый страстный порыв.

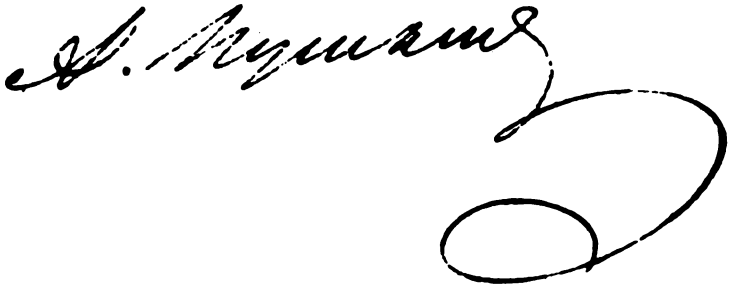
...Погоди; тебя заставлю
Я смириться подо мной:
В мерный круг твой бег направлю
Укороченной уздой.

«Мерный круг», «укороченная узда» — без этого нет вдохновения.

Вдохновение критично и, главное, самокритично. Восторг самовлюблен.

...Тайный труд
Тебе награда; им ты дышишь...

Это о вдохновенном человеке. Но восторженный нуждается прежде всего в явном восхвалении, в овациях. Восторг тщеславен, а тщеславие есть ложная награда за ложные заслуги (тщеславие



*Автограф
Пушкина.*

ведь от тщетности). Неудовлетворенное тщеславие порождает зависть с такой же неизбежностью, с какой зависть порождает явное или тайное желание мести. Вдохновение доброжелательно. Ему просто не до зависти. Ему некому, незачем, некогда завидовать.

Восторг не признает тайн. Восторженному всегда «все ясно». Вдохновенный — не только открыватель тайн, но и открыватель самого существования тайн.

И все это относится, согласно Пушкину, и к поэзии, и к геометрии, и к любви (как часто говорит он о поэзии — как о любви, в одних и тех же словах, одними и теми же образами). Все это относится к жизни вообще.

Живая жизнь для Пушкина — высший, всеобъемлющий акт творчества, по отношению к которому любое, самое прекрасное художественное произведение — лишь маленькая частичка. Но зато это такая частичка, которая и доказывает как возможность, так и невероятную трудность преобразования жизни по законам красоты, по законам вдохновения. И в неприязни к прекрасному видел он верный и страшный знак неприязни к живой жизни, к культуре. В смешении восторга с вдохновением видел он знак смешения творческого преобразования жизни с насиланием ее.

«Чем ярче вдохновение, — говорил Л. Толстой, — тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения. Мы читаем Пушкина, стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, что у него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он употребил труда для того, чтобы вышло так просто и гладко».

Но если даже один стих требует такого вдохновенного труда, то каких же трудов, каких несравненно больших усилий требует преображение всей жизни?

Это больше всего к языку восторга и относятся слова «грешный, празднословный и лукавый». Даже он сам, Пушкин, подобно всякому вдохновенному художнику, испытывал моменты восторга. Но как не любил он их, как стыдился, высмеивал. Как тайно казнил себя за них и как умел вытраивать их без остатка. Он знал, что «чистое» и в жизни, и в искусстве рождается из «нечистого» и не может родиться иначе: «Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродни мыслящему созданию. Бескорыстное признание в оном требует душевной силы». Нет бескорыстия, нет душевной силы — не признаешься — конец творчеству, конец движению, смерть.

«Пророк» — ведь это еще и беспощадная, но спасительная исповедь самого Пушкина, исповедь, которая была вознаграждена сторицею.

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы,
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

Вот оно — «расположение души к живому принятию впечатлений».

Пушкинские заметки относятся примерно к 1826 году, ко времени первой ссылки в Михайловское. Там-то он чуть раньше и написал: «Я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития и что я могу творить». Тогда-то и был создан «Про-

рок» — быть может, самый точный «перевод» пушкинского определения на язык поэзии, *вдохновенный образ вдохновения*.

И в это же примерно время Пушкин зачитывался Данте, тем Данте, который в финале своей «Божественной комедии» молил о вдохновении:

О Вышний Свет, над мыслью земною
 Столь вознесенный, памяти моей
 Верни хоть малость виденного мною
 И даруй мне такую мощь речей,
 Чтобы хоть искру славы заповедной
 Я сохранил для будущих людей!..

Но это же и есть та самая «мощь речей», та самая «искра», которая будет жечь сердца людей и в пушкинском «Пророке».

Отныне будет речь моя скудней,—
 Хоть и немного помню я,— чем слово
 Младенца, льнущего к сосцам груди...
 О, если б слово мысль мою вмещало,—
 Хоть перед тем, что взор увидел мой,
 Мысль такова, что мало молвить: «Мало!»...
 Как геометр, напрягший все старанья,
 Чтобы измерить круг, схватить умом
 Искомое не может основанья,
 Таков был я при новом диве том:
 Хотел постичь, как сочетаны были
 Лицо и круг в слиянии своем;
 Но собственных мне было мало крылий;
 И тут в мой разум грянул блеск с высот,
 Неся свершенье всех его усилий.
 Здесь изнемог высокий духа взлет;
 Но страсть и волю мне уже стремил,
 Как если колесу дан ровный ход,
 Любовь, что движет солнце и светила.

Не случайно, выходит, упоминает Пушкин в своих заметках о едином плане дантовского «Ада». Не случайно все это сходство мыслей-образов у Пушкина и Данте (вплоть до сравнения поэта с геометром).

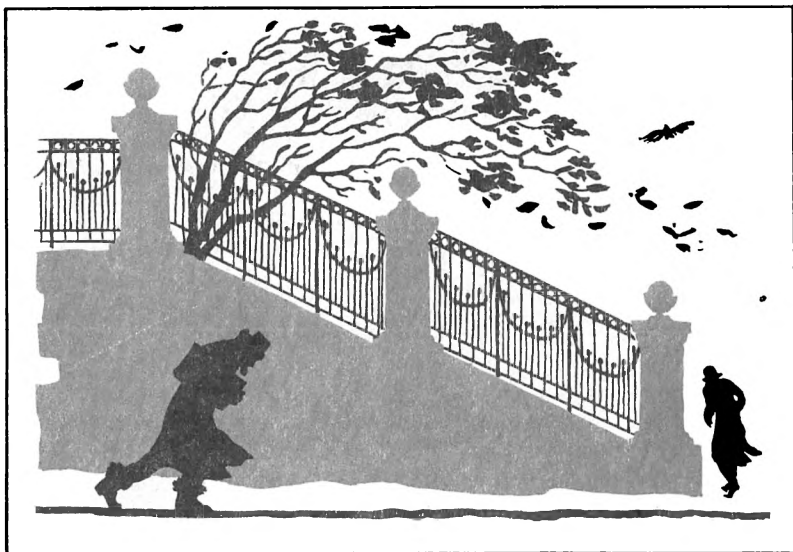
И какое, наверное, было у Пушкина счастливое узнавание своего — в Данте, узнавание своего как общего. Через века, через иноязычие пробилось родное.

И еще об одном совпадении. Достоевский говорил: «Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действи-

тельно (вспомним: «расположение души к живому принятию впечатлений». — Ю. К.) ...Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое» (вспомним: «сила ума, располагающая частями в их отношении к целому», «план обширный объемлется творческой мыслью». — Ю. К.).

Достоевский мог знать пушкинское определение, букву его. Не в этом дело. Как и Пушкин, постиг он собственным опытом опыт всей мировой культуры, которая и есть история вдохновенного творчества. И, кстати, недаром любимейшим стихотворением Достоевского и был пушкинский «Пророк».





ПРОПАВШИЙ ДНЕВНИК

И. Фейнберг

Когда бумаги Пушкина — через сорок пять минут после смерти поэта — были опечатаны Дубельтом, жандармы пронумеровали листы пушкинского дневника, сорвав стальной замок, которым замкнут был его переплет, и на внутренней стороне переплета помечено было: «№ 2». Но «такая же тетрадь, за № 1, взятая по смерти Пушкина... в III Отделение собственной его императорского величества канцелярии, не была возвращена наследникам поэта, до сих пор не разыскана и, может быть, уже не существует, — писал в 1909 году П. О. Морозов, поясняя: — Покойный академик Сухомлинов, имевший доступ во все архивы, говорил нам, что он всюду тщетно искал эту рукопись и ничего не мог узнать о ее судьбе»¹.

Так писал не только П. О. Морозов, ученый, которому удалось расшифровать листок с зашифрованными рукой Пушкина стихами десятой, «декабристской» главы «Евгения Онегина». Не сомневались в существовании пропавшего дневника поэта и такие авторитетные исследователи, как Н. О. Лернер, П. Е. Щеголев, Н. К. Козмин допускал, что дневник существует и находится, может быть, за границей. В отличие от них, Б. Л. Модзалевский и М. Н. Сперанский, а в наше время Н. В. Измайлов отрицали су-

¹ Соч. и письма А. С. Пушкина под ред. П. О. Морозова, т. VI. СПб., б/г., с. 697.

ществование неизвестного пушкинского дневника. М. А. Цявловский после некоторых колебаний пришел в конце концов к тому же отрицательному выводу. Но вопрос о судьбе дневника достаточно исследован не был и остается, в сущности, нерешенным.

Между тем в 1925 году за рубежом, в издававшемся в Праге эмигрантском историко-литературном сборнике «На чужой стороне», появилось неожиданное сообщение. «В 1937 году будет опубликован полностью не изданный еще большой дневник Пушкина (в 1100 страниц), — писал Модест Гофман в статье «Еще о смерти Пушкина». — Несомненно, что он прольет большой свет на историю дуэли и драму жизни Пушкина, подготовившую эту дуэль; сколько мы знаем, однако, этот дневник еще больше реабилитирует честь его жены, чем все те материалы, которые до сих пор были в распоряжении пушкинистов».

Но ни в 1937 году, когда истек столетний срок со дня смерти Пушкина, ни позднее неизвестный дневник поэта опубликован не был. Существует ли он действительно?

В конце прошлого столетия академик Сухомлинов, как сказано, тщетно искал его в секретном архиве III Отделения. Но разыскиваемый дневник мог там и не находиться. И не только потому, что мог быть уничтожен, поскольку Николай I предписал после смерти поэта: «Бумаги, могущие повредить памяти Пушкина, доставить для прочтения и, «ежели таковые найдутся» (а к числу их мог быть отнесен и неизвестный дневник поэта), по прочтении предать их огню»¹.

Неизвестный нам дневник Пушкина мог избежать секвестра и не попасть в III Отделение, если он в часы посмертного обыска почему-либо не находился в кабинете поэта. Вспомним, что письма Пушкина к жене (которые еще при жизни его чрезвычайно интересовали царя и поэтому перлюстрировались) хранились у Натальи Николаевны и она сама отдала их Жуковскому, которому пришлось потом оправдываться перед Бенкендорфом, доказывая, что только эти письма он и вынес в своем цилиндре (из гостиной, пояснял он, а не «из кабинета Пушкина, где стоял гроб его») ².

Поэт мог хранить неизвестный дневник вне своего кабинета и сознательно. Таким образом, уцелел он скорее всего, если не попал в число рукописей, изъятых жандармами, и оказался на руках у наследников поэта. Чтобы ответить на вопрос о причинах, которые могли побудить их сохранять дневник в тайне, надо вспомнить о судьбе другого, известного нам пушкинского дневника.

¹ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е, М.—Л., с. 229—230.

² Там же, с. 244.

* * *

Дневник («№ 2»), страницы которого пронумерованы жандармами, возвращен был вдове поэта, а затем перешел к его старшему сыну, Александру Александровичу Пушкину, который удержал его у себя, даже когда передал в 1880 году другие рукописи поэта в дар Московскому Румянцевскому музею. Несмотря на то что отрывки из этого дневника постепенно публиковались, старший сын поэта не любил показывать подлинный дневник даже своим сыновьям и внукам; об этом рассказывали мне правнучки Пушкина Татьяна Николаевна Галина и Наталья Сергеевна Шепелева.

Александр Александрович, тот самый «Сашка», о котором Пушкин когда-то сказал: «Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями»¹, — не склонен был оглашать страницы дневника, содержащие резкие отзывы поэта о царях — Николае I и Александре I — и их приближенных. Когда пушкинист В. Е. Якушкин, внук декабриста, прочел на одном из заседаний выдержку из дневника, содержащую такого рода строки, Александр Александрович, рассерженный, вышел из комнаты, хлопнув дверью. Однажды только, в 1903 году, по просьбе тогдашнего президента Академии наук великого князя Константина Константиновича, сын поэта решил переслать в Петербург рукопись дневника для снятия полной копии.

Александр Александрович Пушкин скончался в 1914 году, в день объявления войны, и принадлежавший ему пушкинский дневник перешел к старшей дочери поэта, Марии Александровне, вспоминая о которой П. И. Бартев писал: «Выросши, она заняла красоту у своей красавицы матери, а от сходства с отцом сохранила тот искренний задушевный смех, о котором А. С. Хомяков говаривал, что смех Пушкина был так же увлекателен, как его стихи»². Вспоминая впечатление, какое она произвела при встрече на Льва Толстого, Т. А. Кузминская рассказывала: «Знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а натурностью. Он сам признавал это»³.

Мария Александровна Пушкина (в замужестве Гартунг) дожила до Октябрьской революции; она умерла в глубокой старости в Москве в 1919 году, и рукописный дневник поэта перешел к внуку его Григорию Александровичу Пушкину, который был тогда командиром Красной Армии и находился на фронте. 11 октября 1956 года я записал рассказ вдовы его, Юлии Николаевны Пушкиной, о том, как она одна похоронила в тот трудный год Марию Александровну и взяла пушкинский дневник. Внуки решили наконец передать его в музей.

¹ Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XV, с. 130.

² «Русский архив», 1907, № 6 (2-я обложка).

³ Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, изд. 3-е, Тула, 1958, с. 465.

Юлия Николаевна Пушкина рассказала мне, вспомнив подробности, как она отвезла в Москву в конце июня 1919 года дневник поэта из Лопасни, где работала учительницей. Большой по формату и заключенный в переплет дневник она зашила в холст и спрятала из осторожности под платьем; время было такое, что ехать в Москву ей пришлось на крыше вагона, дневник торчал так, что кто-то, не разобравшись, сказал ей: «Туда же, беременная, а лезешь на крышу». Но доведен был дневник благополучно, и, честно сделав тогда свое дело, Юлия Николаевна показала мне бережно сохраненную ею расписку:

РУМЯНЦОВСКИЙ МУЗЕЙ

ХРАНИТЕЛЬ

Отделение Рукописей

Расписка

Собственноручный Дневник
поэта Александра Сергеевича Пушкина
принят мною от Юлии Николаевны
Пушкиной 20 июня 1919 года для Отделения
рукописей Румянцовского Музея и помещен
мною в Хранилище рукописей вместе
со всеми автографами поэта, пожертво-
ванными Музею Александром
Александровичем Пушкиным.

Хранитель Григорий Петрович
Георгиевский

Расписка хранителя Отделения рукописей
Румянцовского музея Г. П. Георгиевского.

«Собственноручный Дневник поэта Александра Сергеевича Пушкина принят мною от Юлии Николаевны Пушкиной 20 июня/21 июля 1919 года для Отделения рукописей Румянцовского музея и помещен мною в Хранилище рукописей вместе со всеми автографами поэта, пожертвованными Музею Александром Александровичем Пушкиным. — Хранитель Григорий Петрович Георгиевский». Несколько лет спустя, в 1923 году, дневник был наконец издан — не по копии, а по подлиннику — Государственным издательством РСФСР.

Юлия Николаевна скончалась 22 января 1967 года в Москве, а сын ее, Григорий Григорьевич Пушкин, родной правнук поэта, здравствует и поныне. В Москве живут правнучки и праправнучки

Пушкина. Но сведений о неизвестном нам дневнике поэта у них нет.

...Он оказался, по-видимому, за рубежом: по крайней мере первые сведения о нем, опубликованные в 1925 году Модестом Гофманом в пражском журнале, шли от внучки поэта Елены Александровны Пушкиной, уехавшей за границу и вышедшей в Стамбуле замуж за ротмистра Н. Розенмайера.

В 1922—1923 годах Елена Александровна писала советскому торговому представителю в Париже М. И. Скобелеву, предлагая приобрести у нее гербовую печать, принадлежавшую поэту, и некоторые другие пушкинские реликвии. В одном из писем она сообщала: «Что касается до имеющегося неизвестного дневника (1100 страниц) и других рукописей деда, то я не имею права продавать их, так как, согласно воле моего покойного отца, дневник деда не может быть напечатан раньше, чем через сто лет после его смерти, то есть раньше 1937 года».

Елена Александровна была дочерью Александра Александровича Пушкина, которому принадлежал известный нам пушкинский дневник («№ 2»), и потому сообщение ее о не изданном еще дневнике поэта не могло не привлечь внимания. С письмом ее вскоре ознакомился Модест Гофман, который был направлен в Париж Российской академией наук в связи с приобретением ею «Онегинского музея», то есть собрания пушкинских рукописей и реликвий, принадлежавших известному коллекционеру Отто-Онегину.

Модест Гофман вступил тогда в переписку с Еленой Александровной Пушкиной-Розенмайер, но лишь тридцатилетие спустя (так и не вернувшись в Россию) рассказал в печати о своей встрече с ней — в статье, напечатанной им незадолго до смерти, в 1955 году, в нью-йоркском «Новом журнале». «У меня есть все основания думать, — утверждал он здесь вновь, — что существует еще громадный неизданный дневник Пушкина», добавляя: «Считаю своим долгом рассказать все, что знаю по этому поводу и что, может быть, поможет найти этот ценнейший документ, если он еще уцелел».

«В марте 1923 года, — сообщал далее Модест Гофман, вспоминая свою встречу с Еленой Александровной Пушкиной-Розенмайер, — я получил от нее письмо, в котором она писала, что через две недели уезжает в Африку и просит поторопиться с приездом в Стамбул — «дабы я могла передать вам, как представителю Пушкинского дома, дневник и другие рукописи моего деда».

Получив от нее такое письмо, Модест Гофман выехал из Парижа в Стамбул. Внучка поэта, как оказалось, жила там с мужем в большой нужде. Она показала Гофману гербовую печать поэта и акварельный портрет Натальи Николаевны Пушкиной, но вслед за тем муж Елены Александровны сказал: «Что касается до неизданного дневника Пушкина, то тут недоразумение: Елена Александровна никогда не собиралась и не собирается никому передавать дневник своего деда». «Я пробовал снова убеждать, — пишет Гоф-

ман, — ссылаясь на то, что брать с собой дневник Пушкина в африканское путешествие — вещь слишком рискованная, но получил насмешливый ответ: «Не беспокойтесь, он находится в очень надежном и безопасном месте».

«В тридцатых годах, — продолжает Гофман, — я подружился с братом Елены Александровны, милейшим Николаем Александровичем, и очень хотел получить у него разъяснения, но безуспешно. «Я знаю наверное, — сказал Николай Александрович Пушкин, — что дневника у нее нет; где находится этот дневник, я не знаю, но помню, что в детстве видел его у отца». Николай Александрович Пушкин здоровствовал в Брюсселе до 1964 года. Но трудно решить теперь, видел ли он когда-то у своего отца неизвестный дневник поэта или вспоминал о дневнике «№ 2», хорошо нам известном. Сестра его, Елена Александровна Пушкина-Розенмайер (также скончавшаяся — в Ницце, в 1943 году), предлагая в 1923 году неизвестный дневник поэта, не являлась, по-видимому, его владелицей; если он действительно существует, то Елена Александровна могла скорее выступать посредницей, рассчитывая, что другие известные ей владельцы дневника согласятся — через нее — уступить или обнародовать его.

Что, однако, удерживает их поныне от опубликования дневника и не может ли ответ на этот вопрос помочь нам выяснить, кто эти владельцы?

Мы помним, как ревниво хранил Александр Александрович, старший сын поэта, пушкинский дневник («№ 2»), охраняя в нем согласно своим понятиям о долге тайну, семейную и политическую. Вспомним, как возмущен он был, когда младшая дочь поэта, Наталья Александровна, разрешила И. С. Тургеневу напечатать — с некоторыми пропусками — письма поэта к жене. «Вообразите! — писал тогда Тургенев. — Меня какой-то А. В. письменно предупредомил, что сыновья Пушкина нарочно едут в Париж, чтобы поколотить меня за издание писем их отца! Почему же меня, а не родную сестру, разрешившую печатание?»¹. Мистифицировал ли тогда кто-то Тургенева, но письмо, им полученное, отражало слухи, связанные с негодованием, овладевшим сыновьями Пушкина, и в мае 1882 года подлинники писем поэта к жене вместе с ответными письмами Натальи Николаевны были переданы Александром Александровичем Пушкиным Румянцевскому музею — с условием не предавать их гласности в течение пятидесяти лет.

Однако, прежде чем истек этот длительный срок, неопубликованные письма Натальи Николаевны, хранившиеся еще в первые годы после революции в Румянцевском музее, исчезли оттуда. Хра-

¹ М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III. СПб., 1912, с. 149.

нитель рукописей музея в ответ на расспросы говорил, как мне известно, что письма Натальи Николаевны возвращены были им наследникам поэта. Письма ее, по слухам, оказались затем, по-видимому, за границей — может быть, у тех же владельцев, к которым мог перейти и неизвестный нам дневник Пушкина.

В Англии живут поныне потомки младшей дочери поэта — Натальи Александровны. Дочь ее Софья вступила в конце прошлого века в мorganaticкий брак с великим князем Михаилом Михайловичем; таким образом, внучка Пушкина вышла замуж за внука Николая I, и ей дан был английский титул — графиня Торби. Брак этот вызвал гнев Александра III, великому князю был запрещен въезд в Россию, и внучка Пушкина осталась в Англии навсегда. Между тем ей принадлежали оставшиеся от матери подлинники французских писем Пушкина к невесте. Писем этих она никому не показывала (хотя текст их известен был в русском переводе, напечатанном в 1878 году И. С. Тургеневым по поручению ее матери). И лишь после ее смерти Сергей Лифарь получил возможность издать эти письма поэта по подлинникам в Париже в 1935 году.

Живущие в Англии потомки поэта принадлежат к высокому кругу английской аристократии. Одна из правнучек Пушкина, недавно скончавшаяся Надежда Михайловна, с тех пор как племянник ее по мужу, принц Филипп Греческий, стал супругом английской королевы Елизаветы II, была в близком родстве с королевой. Другая правнучка поэта, Анастасия Михайловна (в замужестве леди Вернхер), живет в Англии поныне.

Уехавшая из Москвы в Стамбул внучка поэта Елена Александровна Пушкина-Розенмайер, предлагая в 1923 году неизвестный дневник поэта, могла знать, где он находится; этим, вероятно, объяснялся ответ ее мужа Модесту Гофману, приехавшему в Стамбул за дневником: «Не беспокойтесь, он находится в очень надежном и безопасном месте». Не имел ли этот ответ в виду английских потомков поэта?

Продавать дневник, если он существует и находится в их владении, у английских потомков Пушкина нет действительно никакой необходимости. А взгляды и представления, им свойственные, могли побудить их беречь тайну дневника, как стремились утаить записки Байрона его наследники. Все это может, мне кажется, объяснить, почему пушкинский дневник остается неизданным.

Дневник, нам известный (тетрадь «№ 2»), охватывает время с осени 1833-го по февраль 1835 года, и потому дневник «№ 1» должен относиться, казалось бы, к предшествующим годам. Но сообщение Модеста Гофмана, утверждавшего, что неизвестный дневник Пушкина «еще больше реабилитирует честь его жены» и «прольет большой свет на историю дуэли», заставляет задуматься, не охватывает ли неизвестный дневник поэта и последние годы его

жизни — 1835—1837; предполагаемый же объем дневника может навести на мысль о том, что дневник поэта охватывал весь период 30-х годов. И может статься, что известный нам дневник «№ 2» представляет собой лишь переписывавшуюся поэтом набело часть его черновых ежедневных записок (то есть обширного и до сих пор неизвестного нам дневника 1830-х годов).

Все это, разумеется, не более чем предположения — предположения о самой возможности существования неизвестного пушкинского дневника, о месте его нахождения и о времени жизни поэта, которое могло быть охвачено этим дневником. (Не исключено, конечно, что дневник находится и не там, где мы предполагаем.)

Но возможно ли вообще в наше время обнаружить огромную рукопись Пушкина, относящуюся к потаенной части его наследия? Отвечаю: найти можно как раз то, что остается неизвестным, потому что было скрыто или потеряно. Нашли же в 1917 году внуки Пушкина рукопись его потерянной «Истории Петра», которая занимает теперь целый том в Собрании его сочинений. Не говорю уже об обнаруженной в Ленинграде пачке писем Пушкина к дочери Кутузова, Елизавете Хитрово, и о двух найденных после Октябрьской революции лицейских поэмах, которые обнаружены были век спустя после смерти поэта, когда изменились все условия жизни нашего общества. Но за рубежом прежние условия еще существуют, и борьба за пушкинское рукописное наследство, начатая у гроба поэта, еще не окончена.

Гераклит говорил, что тот, кто не надеется найти, не найдет, ибо без надежды нельзя выследить и настигнуть. Нам казалось полезным поэтому собрать и изложить в кратком очерке неизвестные либо труднодоступные читателю данные по вопросу о том, существует ли неизданный дневник поэта, и рассказать о своих предположениях и догадках, не выдавая их за окончательный вывод.

1962





«ПУШКИНИАНА» СЕРГЕЯ ЛИФАРЯ

И. Зильберштейн

Признаюсь, больше всего меня поразило, что пистолеты, которые участвовали в роковой дуэли Пушкина с Дантесом на Черной речке, находятся сейчас во Франции, в «Почтовом музее» небольшого городка Le Haut — Chantier Limegay. Пятьдесят лет назад они были выставлены в Париже на организованной знаменитым русским танцором, балетмейстером и коллекционером Сергеем Михайловичем Лифарем выставке «Пушкин и его эпоха», а в 1952 году проданы в «Почтовый музей».

История и судьба пушкинских реликвий, рукописей, книг и автографов за рубежом — тема очень широкая, часто тяжелая, но исключительно важная. Все, что связано с нашим великим национальным поэтом,

является частью отечественного культурного наследия. И потому поиск «зарубежной Пушкинианы», возвращение на Родину пушкинских реликвий — задача благородная и чрезвычайно актуальная. Об этом мы беседуем с доктором искусствоведения, лауреатом Государственной премии СССР И. С. Зильберштейном, инициатором, организатором и постоянным редактором уникального «Литературного наследства», автором знаменитого цикла научно-художественных очерков «Парижские находки. Эпоха Пушкина», исследователем русской культуры XIX и XX веков. И. С. Зильберштейну удалось разыскать за границей и вернуть на Родину, в государственные архивы и му-

зеи, тысячи документов, рисунков, рукописей деятелей русской культуры. Но во всех поисках и странствиях неутомимого ученого прежде всего интересовали материалы, связанные с Пушкиным.

— Лучшее из известных мне пушкинских собраний за границей, безусловно, принадлежало С. М. Лифарю. Пушкин был его кумиром с детских лет, а оказавшись за границей, Сергей Михайлович стал увлеченно и настойчиво собирать Пушкиниану. Так организовалась его чудесная коллекция. Я много раз встречался с Лифарем, посетил его в Лозанне и прошлой осенью, когда он уже был тяжело болен и жить ему оставалось всего несколько месяцев. Мы давно и активно переписывались. И всегда, и в письмах и в беседах, мы говорили о том, что необходимо, чтобы пушкинские реликвии вернулись домой, в Советский Союз. Сам Лифарь мечтал об этом.

— А какие наиболее интересные материалы были в коллекции С. Лифаря?

— О, Сергею Михайловичу принадлежали настоящие жемчужины. Во-первых, это, конечно, автографы писем Пушкина к невесте, Н. Н. Гончаровой. Наталья Николаевна бережно хранила письма Пушкина, а после ее смерти они перешли к их младшей дочери, графине Н. А. Меренберг, той самой, что в молодости была необычайно хороша и похожа на отца. В 1877 году графиня Меренберг передала их И. С. Тургеневу для публикации в «Вестнике Европы», где они и были на-

печатаны. Сыновья Пушкина так возмущались бестактной, по их мнению, публикацией семейных писем, что намеревались ехать в Париж, чтобы «поколотить» Тургенева.

Через некоторое время графиня Н. А. Меренберг передала письма отца к матери в Румянцевский музей, а письма Пушкина к невесте Н. Н. Гончаровой, кроме двух, различными путями оказавшихся в Пушкинском Доме, хранились у дочери графини Меренберг, графини Торби, вышедшей замуж за великого князя Михаила Михайловича. Вот эти письма и оказались впоследствии у Лифаря.

— Но вначале их приобрел Дягилев?

— Да, конечно. С. П. Дягилев, замечательный деятель русской культуры XX века, основатель творческого содружества и художественного журнала «Мир искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже, был и страстным, увлеченным, компетентным коллекционером. Страсть Дягилова к собирательству послужила для Лифаря, его ученика и друга, отправной точкой в его собирательстве. Вот как сам Лифарь рассказывал историю приобретения Дягилевым пушкинских писем.

И. С. Зильберштейн открывает подаренную ему автором книгу С. Лифаря «Моя зарубежная Пушкиниана», вышедшую в Париже в 1966 году.

— С. Лифарь писал: «В 1929 году Дягилеву удалось сделать наконец то приобретение, которое позже положило начало и моему активному «пушки-

нианству». В зимнем сезоне 1928 г. мы давали балетные спектакли в Монте-Карло, и здесь, на Лазурном берегу, на одном из благотворительных спектаклей в Каннах, 30 марта я познакомился с устроительницей этого спектакля — леди Торби. Для меня эта светская дама — жена великого князя Михаила Михайловича — была интересна главным образом тем, что она была... родной внучкой Пушкина. С Дягилевым леди Торби была исключительно любезна, к тому же он ее совершенно очаровал. Она рассказала ему, что хранит у себя неоценимое сокровище — письма своего великого деда к ее бабке, тогда его невесте — Наталии Николаевне Гончаровой, от которой к леди Торби и перешли по наследству эти письма. Леди Торби прибавила, что после того, как она вышла замуж за великого князя Михаила Михайловича и ему за этот брак было запрещено государем жить в России, она поклялась, что не только она сама, но и принадлежащие ей письма ее деда никогда не увидят России. Слово свое она крепко держала. Еще до революции Российская Академия наук неоднократно командировала своих представителей в Англию — леди Торби их не принимала. Писал ей и бывший президент Императорской Академии наук великий князь Константин Константинович, убеждая внучку Пушкина передать России русское достояние. Рассказывая об этом, графиня Торби возмущалась:

— Константин Константинович смел мне писать, что я обязана передать в их Академию мои письма, что они не

мои, а их, так как они чтут память великого поэта, который принадлежит не семье, а всей стране. Хорошо же они чтут память великого поэта: за то, что великий князь женился на внучке чтимого ими Пушкина, они выгоняют его из России, как будто он опозорил их своей женьтибой!

И тут же леди Торби обещала завещать Дягилеву для его коллекции один из этих бесценных автографов.

— Вы будете его скоро иметь, — прибавила она. — Мне недолго осталось жить.

Предчувствие не обмануло ее: она умерла через несколько месяцев после этого разговора, произведшего на Дягилева очень большое впечатление. Он стал буквально бредить этим письмом и поставил себе целью иметь его. В следующем году, уже совсем незадолго до своей смерти, он добился своего... Ему отчасти помогло то, что великий князь Михаил Михайлович, в распоряжении которого остались письма после смерти жены, в то время нуждался, постоянно болел и плохо разбирался в чем бы то ни было.

— Мне мои дочери не помогают и держат меня в черном теле, — говорил он Дягилеву. — Я уступаю Вам, Сергей Михайлович, все письма Пушкина. Мне не хватает на «красненькое»... Вы только ничего не говорите моим дочерям...

— Дягилев получил эти письма в конце июля, тут же со свойственной ему энергией стал строить проекты об их издании, — продолжает рассказ И. С. Зильберштейн, — но внезапно 19 августа * Дягилев



Пушкин
в воображении
С. Лифаря.
Рисунок
Г. Аусерга.
1937 г.

умер в Венеции. Его библиотеку и коллекцию выкупил С. М. Лифарь. Для того чтобы заработать достаточно денег для выкупа коллекции, Лифарь провел чудовищно напряженный сезон, танцуя в Лондоне и Парижской опере. «Средства на приобретение дягилевского архива и библиотеки я заработал «ногами», — шутил он, признаваясь, что боялся только одно-

го — как бы не вывихнуть ногу, ибо, не уплатив даже один взнос в течение года, он терял право на все, в том числе и на пушкинские автографы.

Так было положено начало коллекции, которую сейчас мы с полным правом можем называть «Пушкиниана Сергея Лифаря».

— В ней были не только автографы Пушкина?

— Нет, конечно. Хотя автографы составляли, пожалуй, наиболее ценную часть собрания.

Например, Сергею Михайловичу удалось приобрести у одного парижского антиквара тетрадку с написанным рукой Пушкина «Предисловием» к «Путешествию в Арзрум». Эта тетрадка была представлена Пушкиным в цензуру. С. Лифарь опубликовал факсимильно эту рукопись в изданной им в 1934 году в Париже книге «Путешествие в Арзрум», а затем подарил бесценный автограф Пушкинскому Дому в Ленинграде. А в 1961 году, приехав в Советский Союз, Сергей Михайлович передал в Пушкинский Дом «Подорожную» Пушкина, разысканную им у букиниста на набережной Сены. Ну, не чудо ли найти в Париже в середине XX века такой документ: «По указу Его Величества Государя Императора Александра Павловича Самодержца Всероссийского и прочая и прочая и прочая. Показатель сего, Ведомства Государственной коллегии иностранных дел Коллежский Секретарь Александр Пушкин отправлен по надобностям службы к Главному Попечителю Колонистов Южного края России, г. Генерал-Лейтенанту Инзову, почему для свободного проезда сей паспорт из оной Коллегии дан ему в Санкт Петербурге Мая 5 дня 1820 года. Граф Несельроде. У сего Его Императорского Величества Государственной Коллегии иностранных дел печать. Секретарь Яковлев. № 2295».

— А теперь, Илья Самойлович, мы переходим к вопросу

непростому, но который прояснить необходимо: почему, несмотря на не раз высказанные С. Лифарем пожелания, его пушкинское собрание не вернулось на Родину? Со стороны коллекционера ясно видно стремление, даже энтузиазм, он, безусловно, желал передать в Советский Союз свои пушкинские реликвии. Что же этому помешало?

— Я много лет был знаком с Сергеем Михайловичем. То, что вернул он России, неоценимо. Это и картина Лермонтова, и альбом балерины Тальони, и пушкинские автографы, о которых мы говорили. Но... главное все же осталось теперь у наследников Лифаря и вернется ли когда-нибудь на Родину, неизвестно. Все дело в том, что Сергей Михайлович Лифарь был человеком старого закала и ожидал за свою деятельность по собиранию и возвращению на Родину реликвий отечественной культуры элементарную благодарность. Он мечтал поставить на сцене Большого театра несколько своих балетов, особенно «Федру». Ему отказали. Абсурд — один из крупнейших балетмейстеров мира предлагает осуществить постановку балета, в признательность за это готов передать государству автографы Пушкина, а мы будто не слышим. Сколько же потеряла наша культура из-за чиновничьего равнодушия, некомпетентности, перестраховки. С. М. Лифарь мечтал о музее личных коллекций, который по моей инициативе должен быть создан в Москве. Он готов был передать туда жемчужины своего собрания. Сергей Михайлович го-

ворил об этом мне и заместителю Гостелерадио СССР В. И. Попову, когда мы были прошлой осенью у него в Лозанне. Но, несмотря на все решения, постановления, обещания, даже дом для музея личных коллекций в Москве освободить не могут. Музей остается пока на бумаге, а мы теряем и теряем наше национальное достояние. Зарубежные друзья и соотечественники готовы, я это хорошо знаю, передать в Советский Союз массу ценнейших вещей, документов, произведений искусства, но они хотят, чтобы эти реликвии были доступны людям, а не пылились в безвестности в запасниках. Желание, по-моему, вполне законное.

— Печально, что так происходит. Мы забываем хорошие примеры, которые были раньше в нашей стране. Достаточно вспомнить судьбу зарубежного пушкинского собрания А. Ф. Онегина. Он основал свой знаменитый Пушкинский музей в 60-х годах прошлого столетия в Париже. К началу XX века это уже было выдающееся собрание. В 1907 году был поднят вопрос о приобретении для Пушкинского Дома музея А. Ф. Онегина. В трудном и сложном деле участвовали руководители Императорской Академии наук, министры, ученые. Цель была одна — приобретение для государства пушкинских реликвий. И цель была достигнута. В 1909 году был подписан договор, по которому А. Ф. Онегин, оставаясь пожизненным хранителем собрания, уступил его в собственность Академии для Пушкинского

Дома. Свершилась революция, прошла гражданская война, и наконец вспомнили о Пушкинском музее в Париже. В 1922 году во Францию направился представитель Пушкинского Дома и убедился (а вокруг собрания Онегина после революции витало много слухов и домыслов), что, несмотря на



Пушкин.
Рисунок
Ж. Кокто.
1937 г.

все трудности и лишения, А. Ф. Онегин не только сохранил, но и приумножил свое собрание для России. После его кончины все материалы Пушкинского музея поступили в Пушкинский Дом.

Это ли не пример того, как должно сотрудничать с собирателями, пример, который не стал, а должен был стать правилом, государственной политикой по сбережению и возвращению на Родину культурных ценностей.

Быть может, теперь, когда создан Советский фонд культуры, членом Президиума которого вы, Илья Самойлович, являетесь, положение изменится?

— Я бы хотел надеяться на это. Но для начала надо незамедлительно открыть музей личных коллекций. Уже есть десятки предложений о передаче замечательных памятников культуры в этот музей, «наш музей», как пишут мне русские коллекционеры из-за рубежа, а дело по его созданию не движется. Перестройка в сознании бюрократов, я убеждаюсь, невозможна. Следует просто освободиться от тех, кто мешает нашему движению вперед, сознательно тормозит архиважное государственное дело.

— Следующий вопрос, наверное, фантастичен, но как, по-вашему, выглядел бы пушкинский зал С. М. Лифаря в музее личных коллекций? Что бы увидел там посетитель?

— Об автографах Пушкина мы уже говорили. К перечисленным можно было бы добавить автографы двух строф «Евгения Онегина», письмо Пушкина А. И. Беклешовой и другие. В собрании Лифаря находились уникальный прижизненный миниатюрный портрет Пушкина, приписывавшийся С. Лифарем Тропинину (некоторые исследователи предполагают, что его автор А. П. Елагина), портреты родителей Натальи Гончаровой, печать Пушкина с его родовым гербом, его расшитый бисером кошелек, один из вариантов картины Чаренцовых «Пушкин в Бахчисарайском фонтане», автографы Державина, Вяземского, Некрасова, множество других уникальных эпистолярных материалов и документов, картин, рисунков, гравюр.

Боюсь, что многие из этих реликвий утеряны теперь для

нас безвозвратно. У наследников С. М. Лифаря, кажется, нет его патриотической идеи передать пушкинское собрание в музей личных коллекций, которой был когда-то вдохновлен Сергей Михайлович.

— Перспективен ли дальнейший поиск зарубежной Пушкинианы?

— Безусловно, я уже писал о том, что за границей можно найти очень много материалов, связанных с историей русской культуры и общественной жизни, и с Пушкиным в частности. Мне самому посчастливилось вернуть на Родину немало таких материалов. В заключение, как пример, приведу одну из историй поиска пушкинских реликвий, о которой неоднократно рассказывал С. М. Лифарь.

В конце 1922 года советский торгпред в Париже М. И. Скобелев получил из Константинополя от некой Елены Александровны Пушкиной, называвшей себя внучкой поэта (она действительно была дочерью сына поэта Александра Александровича), письмо, в котором предлагала приобрести у нее гербовую печать Пушкина и некоторые другие реликвии деда. М. И. Скобелев передал это письмо М. Л. Гофману, который незадолго до того приехал в Париж в качестве официального представителя Российской Академии наук, командированного для переговоров о приобретении Пушкинского музея у известного коллекционера А. Ф. Онегина. М. Л. Гофман вступил в переписку с Е. А. Пушкиной, которая в то время уже вышла замуж и стала по мужу Розенмайер. В одном



Афиша
организованной
С. Лифарем
Пушкинской выставки
в Париже в 1937 г.
Рисунок Ж. Кокто.

из своих писем она перечисляла имеющиеся у нее реликвии и, между прочим, писала:

«Что касается до имеющегося неизвестного дневника (1100 страниц) и других рукописей деда, то я не имею права продавать их, так как, согласно воле моего покойного отца, дневник деда не может быть напечатан раньше, чем через сто лет после его смерти, то есть раньше 1937 года».

М. Л. Гофман, как пушкинист, знал, разумеется, о поисках неизданной части дневника и мог по достоинству оценить сенсационность этого открытия. После целого ряда перипетий ему удалось получить необходимые средства на поездку в Константинополь (от А. Ф. Онегина, пообещав ему передать в его музей найденный дневник), и он отправился в далекую Турцию с целью убедить Е. А. Пушкину-Розенмайер передать ему драгоценный манускрипт.

Увы, поездка Гофмана в Константинополь окончилась полной неудачей. Вместо самой внучки Пушкина Гофману пришлось говорить с ее мужем, офицером Розенмайером, который ему заявил:

— С неизданным дневником произошло недоразумение. Елена Александровна никогда не собиралась и не собирается передать дневник своего деда.

Это противоречило письму Е. А. Пушкиной-Розенмайер к Гофману, в котором она после длительной переписки наконец соглашалась передать дневник и просила «поторопиться с приездом в Константинополь, так как они собирались уезжать в Африку» и она хотела передать дневник Гофману как

представителю Пушкинского Дома.

Никакие уговоры и доводы не действовали, муж внучки Пушкина был непоколебим. Когда же Гофман заметил ему, что неосторожно вести такую драгоценность с собой в Африку, Розенмайер заявил:

— Не беспокойтесь. Дневник находится в очень надежном безопасном месте.

На этом фиаско и закончились поиски Гофмана. Возобновили эти поиски, увы, тоже безуспешно, я.

В 1935 году я был поглощен организацией Пушкинской выставки, которая должна была состояться в Париже в столетнюю годовщину смерти поэта, и собирал повсюду экспонаты. От Гофмана я много раз слышал рассказ о его посещении супругов Розенмайер в Константинополе, вместе с ним мы делили разные догадки, где мог находиться этот драгоценный памятник пушкинской жизни и творчества. И, конечно, в поисках экспонатов для моей выставки я решил возобновить и поиски неизданного дневника Пушкина.

Следует сказать, что незадолго до этого я виделся с Е. А. Пушкиной-Розенмайер в Ницце, куда она приехала по возвращении из Африки. У нее оказалось несколько реликвий деда, в том числе его печатка, гусиное перо и еще что-то. Все это я у нее купил. Разумеется, я ее спросил о дневнике Пушкина: история с неудачей Гофмана мне была, повторю, хорошо известна с его же слов. Е. А. Пушкина-Розенмайер сказала мне, что дневника этого у нее нет, но что она может

мне указать лицо, которому судьба этого драгоценного документа известна. Лицо это, по ее словам, проживало в Константинополе. Я послал специально человека в Константинополь, который разыскал там указанное Еленой Александровной лицо. Но дневника у него тоже не оказалось. По словам этого лица, сведения о дневнике можно было получить... в Гельсингфорсе.

Я послал моего эмиссара и туда. Тут у меня промелькнул луч надежды. Мой посланец, вернувшись, сказал мне, что дневник действительно находится в Гельсингфорсе, но что владелец его запрашивает за него какую-то астрономическую сумму. У меня в тот момент таких денег не было. Я бросился отыскивать их, но, когда — через некоторое время — мне эти средства были обещаны, мне было отвечено, что драгоценный документ ушел в какие-то другие руки...

Признаться сказать, я склоняюсь к мысли, что вся эта история с гельсингфорским следом была выдумкой. Кто-то меня, по-видимому, обманывал. Кто? Мой ли посланец, таинственные лица в Константинополе, сама ли Е. А. Пушкина-Розенмайер, или все они вместе? Так или иначе факт остается фактом: никакого дневника обнаружить не удалось. Несомненно, что какой-то элемент фантазии Е. А. Пушкиной-Розенмайер в этом деле был. Она приходила ко мне потом в Париже и предлагала приобрести якобы хранящийся у ней халат, чернильницу, гусиное перо. Производила она на меня впе-

чатление женщины неуравновешенной.

Умерла она в Ницце 14 августа 1943 года от рака, умерла в большой нужде. Это были тяжкие месяцы войны и оккупации, и смерть внучки Пушкина прошла никем не отмеченной.

Должен указать здесь на чрезвычайно любопытную гипотезу, высказанную советским пушкинистом И. Фейнбергом насчет местонахождения дневника, гипотезу, к которой я имею возможность дать некоторое дополнительное свидетельство. Согласно этой гипотезе, дневник Пушкина находится в Англии у английских потомков поэта.

В 1956 году, в лондонском театре Ковент Гарден, на гастролях Большого театра, когда Уланова танцевала впервые в Лондоне в балете «Ромео и Джульетта», в антракте ко мне быстро подошла элегантная дама. Это была леди Мильдфорхевен, дочь леди Торби. Обращаясь ко мне, она сказала по-французски:

— Лифарь, я знаю, что вы купили у французского правительства письма Пушкина. Ну так вот, я хочу, чтобы вы продали их обратно мне.

Я ответил ей, что эти сокровища принадлежат России, а не семье, и на этом наш разговор прекратился.

Дочь графини Торби, Надежда Михайловна, правнучка Пушкина, приходится по мужу теткой принцу Филиппу Эдинбургскому — супругу английской королевы Елизаветы.

Так создалось родство великого русского национального поэта с английским королевским домом.

Быть может, гипотеза о принадлежности дневника именно этой ветви потомков Пушкина имеет некоторое основание. Действительно, погруженные в другой мир, воспитанные в других интересах, эти потомки, возможно, даже не отдают себе отчета в том, что такое Пушкин для русской культуры. Дневник великого поэта для них, быть может, не больше, как семейная реликвия, семейный документ, который «никого не касается» и который они не желают предать гласности, так как они слышали от матери, что его не следует показывать «никому из посторонних».

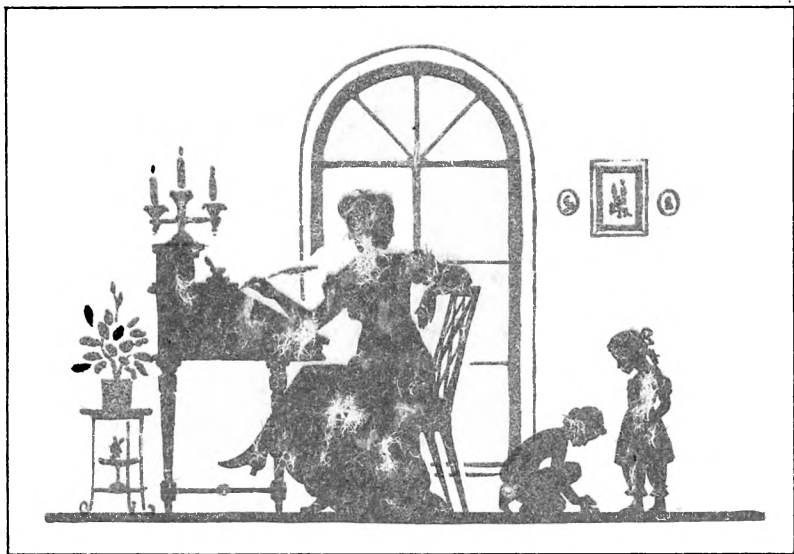
С. М. Лифарь провел интереснейший поиск. Мне представляется, что его отрицатель-

ный результат договорит о многом, и Сергей Михайлович в свое время стал жертвой мистификации. Видимо, все же так называемый «дневник № 2» не существует, хотя, безусловно, в Англии должны быть пушкинские документы.

Никогда нельзя терять надежду. По-видимому, Советскому фонду культуры следует по-деловому заняться спасением для нашей страны и пушкинского музея С. М. Лифаря, и поиском других пушкинских реликвий. Это будет настоящее патриотическое дело, которое найдет благодарный отклик у каждого человека.

Беседу вел Вл. Вельяшев.





ЗАГАДКА ПИСЕМ Н. Н. ПУШКИНОЙ

С. Энгель

Статья С. Г. Энгель «Загадка писем Н. Н. Пушкиной» является серьезной работой, основанной на упорном, скрупулезном изучении материалов печатных и рукописных, на расспросах старых сотрудников Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, на штудировании делового архива Румянцевского музея. Автор статьи не упоминает о дискуссии на тему «Судьба писем Н. Н. Пушкиной к Пушкину», организованной в 1967 году бывшей тогда заведующей отделом рукописей библиотеки С. В. Житомирской.

Вся литературоведческая общественность, за небольшим исключением, поддержала положения, высказанные к тому времени С. Г. Энгель в «Новом мире» (№ 11, 1966 год) в статье «Где письма Натальи Николаевны Пушкиной?». Сотрудники Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина были единогласны в отрицании положений С. Г. Энгель.

Доклад С. В. Житомирской в Пушкинском Доме в Ленинграде, а затем ее же статья в «Прометее» (№ 8, 1971 год) убедили многих в правильности аргументации Житомирской.

Как ясно показывает С. Г. Энгель в предлагаемой ниже статье, вопрос этот закрывать рано. Речь идет о важнейших материалах, касающихся биографии великого поэта. Этим все сказано.

*Т. Цяловская,
член Пушкинской комиссии
АН СССР*

Письма Наталии Николаевны к Пушкину были, но пропали.

Глухая сноска в собраниях сочинений А. С. Пушкина: «Все письма Наталии Николаевны к Пушкину остались неизвестными»¹. Но вот сотрудники Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (бывший Румянцевский музей) стали готовиться к ее столетнему юбилею. И обнаружили в своем архиве документ, возродивший жадное любопытство исследователей. Отчет издательской деятельности Румянцевского музея за 1920 год, где сказано: «Готовы к печати Письма Натальи Николаевны Пушкиной, 3 листа»².

Ни самих писем, ни следов работы над ними в фондах не было. Искали. Даже стены обследовали — не там ли замурованы. Исчезли письма. Как? Никто не знал. А были ли они? Достоверно и этого не знал никто.

Вопросу о том, остались ли после смерти жены Пушкина письма, когда и откуда исчезли, была посвящена моя публикация «Где же письма Натальи Николаевны Пушкиной?»³. В статье высказывалась гипотеза о том, что письма хранились в Румянцевском музее и исчезли отсюда.

Через пять лет бывшая тогда заведующей отделом рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина С. В. Житомирская выступила с возражениями⁴. Она доказывала, что письма Н. Н. Пушкиной никогда Румянцевскому музею не принадлежали.

Сознаюсь, документы, приведенные С. В. Житомирской, еще более укрепили мое мнение о том, что письма одно время были в Румянцевском музее. Видимо, рано закрывать вопрос о письмах Н. Н. Пушкиной к мужу, он заслуживает дополнительного исследования.

Но какова же судьба переписки А. С. Пушкина с женой, где были письма Натальи Николаевны к мужу до того момента, как сведения о них попали в указанный выше отчет?

Перенесемся в далекий 1837 год. После известного «посмертного обыска» в бумагах Пушкина Наталья Николаевна сильно беспокоилась о судьбе своих писем к мужу. «...Надеюсь вскоре уехать, — писала она В. А. Жуковскому, — я буду просить Вас возвратить мне письма, писанные мною моему мужу ...мысль увидеть его бумаги в чужих руках прискорбна моему сердцу...»⁵.

Адресованные к ней письма Наталья Николаевна всегда хранила в идеальном порядке. Архив ее находится в Пушкинском Доме⁶. Письма — П. А. Вяземского, тетушки Е. И. Загряжской, доче-

¹ Пушкин А. С. Собрание сочинений. М., 1962, т. 10. Письма 1831—1837 гг. Такие же примечания и в дореволюционных изданиях.

² Архив ГБЛ, оп.17, е.х.145, стр. 10.

³ «Новый мир», 1966, № 11, стр. 272—279.

⁴ Житомирская С. В. К истории писем Н. Н. Пушкиной. «Прометей», 1971, № 8, стр. 148—165.

⁵ Лернер Н. О. Письмо Н. Н. Пушкиной о Пушкине, «Красная газета». Вечерний вып. 1928, 20 июля.

⁶ ИРЛИ Фонд А. П. Араповой, е.х. №№ 25559, 25564/25719 и др.

рей — подобраны по годам и сложены в конверты, на которых ее рукой поставлены даты и имена корреспондентов.

Свои письма к П. П. Ланскому и его ответные письма она пронумеровала и сшила в тетрадки.

Трудно предполагать, что свои письма к Пушкину она хранила менее бережно!

Но ныне этих писем мы не знаем. Когда-то они исчезли. Куда? И куда? Попытаемся проследить лишь один путь их возможного исчезновения, не исключая существования других решений загадки таинственных писем.

Вспомним: не имели ли место какие-то особые условия, поставленные сыном поэта А. А. Пушкиным, пожертвовавшим в Румянцевский музей рукописи и переписку отца?

Общеизвестна нетерпимость Александра Александровича и других детей Пушкина к обнародованию семейной переписки. Дети запретили даже перепечатку писем Пушкина к жене, опубликованных И. С. Тургеневым в 1878 году в «Вестнике Европы».

В 1882 году вышел (впервые в собрании сочинений Пушкина) том писем Пушкина. Письма поэта к жене в нем отсутствовали¹. Дети Пушкина запретили печатание. Перепечатать письма эти из «Вестника Европы» впервые удалось в 1887 году, когда окончилось авторское право наследников и запрет их уже не имел силы. Это было событие столь знаменательным, что почитатели Пушкина в чинном Петербурге буквально разгромили книжный магазин Суворина: он первый, опередив конкурентов, выпустил по очень дешевой цене собрание сочинений Пушкина с включением писем поэта к жене². В этом издании были сохранены купюры, сделанные Тургеневым. Но в 1903 году издатели, может быть, и в коммерческих целях, опубликовали письма почти без купюр (подлинники, хранившиеся в Румянцевском музее, были недоступны. Издатели пользовались копиями, сохранившимися в «Вестнике Европы»).

Удары по семейной чести Пушкина сыпались один за другим. В печати появлялись иногда заметки о семейной жизни Пушкиных с отголосками клеветы на Наталью Николаевну. Хотя бы в огромной статье, в одном из юбилейных номеров «Московских Ведомостей», посвященных столетию Пушкина. Статья эта называлась «Несчастье Пушкина»³. «Несчастьем» его была, оказывается, Наталья Николаевна. Надо знать, как любили ее дети, чтобы понять их возмущение, негодование, боль наконец.

¹ Русские ведомости, М., 1883, № 150. Рецензия В. Е. Якушкина на собрание сочинений А. С. Пушкина под редакцией П. А. Ефремова (1882).

² Обзор первой Всероссийской выставки печатного дела, 1895, № 25, стр.1—2.

³ П о с е л я н и н Е. «Несчастье Пушкина». Московские Ведомости. 1899, 27 мая.

Хотя и окончилось авторское право наследников Пушкина, но не допускать исследователей к неопубликованным рукописям, согласно закону, была у них полная возможность. Вот письмо А. А. Пушкина президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу (оно служило ответом на просьбу президента разрешить ученым-пушкинистам пользоваться подлинниками писем Пушкина для сверки — (Академия готовила собрание сочинений поэта):

«Ваше Императорское Высочество.

В семидесятых годах прошлого столетия сестра моя графиня Меренберг, которой принадлежали письма покойного отца моего, передала их И. С. Тургеневу, предоставив ему право напечатать то, что он признает возможным, полагаясь на его такт и порядочность. К сожалению, Иван Сергеевич не оправдал доверия, и письма вышли в таком виде, что возбудили негодование истинных почитателей моего отца. Когда же сестра моя в 1882 году поручила мне передать в Румянцевский музей эти письма, я, наученный горьким опытом, по соглашению с братом и сестрами признал необходимым обусловить этот дар запрещением пользоваться им в течение 50 лет.

Из вышеизложенного, Ваше Высочество, изволите усмотреть, что, несмотря на все мои желания сделать Вам угодное, я не имею права снять это запрещение без согласия брата и сестер от второго брака моей матери...

...Я убедительно прошу, Ваше Высочество, верить, что не каприз заставляет меня так поступать, как я поступил, но действительно чувство сыновней любви и благоговейной памяти к покойному отцу моему и матери моей... (6 марта 1905 года)¹.

Отказ этот странен, к 1905 году никакого секрета многократно опубликованные письма Пушкина жене не представляли. Но не влекло ли вскрытие запечатанных писем Пушкина к жене раскрытия тайны хранения и ее ответных писем?

Александр Александрович Пушкин, опасаясь домогательств исследователей, долго умалчивал даже о существовании писем матери к отцу. В 1902 году, когда пушкиновед, академик отделения русского языка и словесности В. И. Саитов, запросил П. И. Бартенева (историка и пушкиниста, близкого с А. А. Пушкиным, редактора-издателя «Русского Архива») о местонахождении писем Наталии Николаевны к мужу, Бартенева ответил: «Писем Наталии Николаевны к мужу не сохранилось, как говорил мне недавно старший сын их»².

Однако Саитов упорствовал. В 1904 году он с тем же запросом дважды обращался к главному хранителю отдела рукописей Румянцевацкого музея Г. П. Георгиевскому, который дал такой ответ:

¹ ЛО Архива АН СССР, ф. 9, оп. I, е.х. 772, л. 73.

² ЦГАЛИ, ф. 437, оп. I, е.х. 36, л. 9.



Н. Н. Пушкина-Ланская.
Акварель В. Гау. 1849 г.

«...На последний Ваш запрос о письмах к Пушкину, я, не сходя с места, без справок должен ответить отрицательно. Ни разу среди наших автографов не попадались мне такие письма»¹.

1 ноября 1904 года Георгиевский ответил на второй запрос: «Мне кажется, что я не имею права выдавать секреты Пушкина, и потому ссылаться на меня как на источник сведений нельзя. Я думаю, что Академии еще следует искать пушкинской переписки, а не почитать себя нашедшей... Неужели Вы полагаете, что А. А. Пушкин не может сообразить, что «только для академического издания» равняется по секрету всему свету?»².

В Румянцевском музее умели хранить тайны. Разглашение преследовалось как служебное преступление. Особенно беспощаден в таких делах был директор музея И. В. Цветаев, он привлекал к ответственности чиновников музея, сообщавших репортерам сведения о музейных делах³.

Впервые в печать проникла весть о том, что письма жены Пушкина сохранились, в 1912 году. Тот же П. И. Баргенов, который десять лет перед этим писал Саитову, что, по словам сына, письма жены Пушкина не существуют, теперь в рецензии на том переписки под редакцией Саитова написал:

«Трудно оторваться от писем его (Пушкина.— С. Э.) к супруге. Ответные письма, если и появятся в свет, то лишь в очень далеком будущем»⁴.

Трудно объяснить причины, но и Александр Александрович Пушкин перестал скрывать факт существования писем матери к отцу. В 1913 году, когда умерла его младшая сестра графиня Наталья Александровна Меренберг, он в интервью корреспонденту газеты «Русская Молва» заявил: «...По просьбе И. С. Тургенева часть писем была напечатана в «Вестнике Европы» (это были письма Пушкина к своей невесте Гончаровой и к ней же, жене.— С. Э.). Вскоре после открытия памятника отцу в Москве сестра передала мне всю хранившуюся у нее переписку. Я её принес в дар Румянцевскому музею и поставил условием, чтобы эта переписка не стала общественным достоянием и не была опубликована ранее смерти последнего члена нашей семьи, считая и младшую сестру Елизавету от второго брака моей матери (Е. П. Бибикову.— С. Э.)».

«В Румянцевском музее,— продолжил корреспондент «Русской Молвы»,— заявили, что «переписка А. С. Пушкина действительно находится в распоряжении музея, но лежит сейчас, так сказать, под спудом ввиду поставленных наследниками поэта условий»⁵.

¹ Там же, ф. 437, оп. 1, е.х. 92, обор. л. 2.

² Там же, л. 3.

³ ЦГИА СССР, ф. 733, оп. 145, е. х. 290, лл. 20, 100, 149.

⁴ Русский Архив, 1912, № 1. Оборот обложки.

⁵ Русская Молва, 31 марта 1913 г.



Н. Н. Пушкина-Ланская.
Фотография
начала 1860-х гг.

При жизни Александра Александровича не было возможности опубликовать письма его матери к отцу. Возможность эта появилась лишь после революции.

В Центральном государственном архиве Октябрьской революции среди бумаг Наркомпроса мне удалось обнаружить следующий документ, подписанный заведующим библиотечным отделом Наркомпроса В. Я. Брюсовым 12 июня 1919 года:

«Заявление

Об отмене частной собственности на архивы умерших писателей, композиторов, художников и ученых, хранящиеся в библиотеках и музеях.

В рукописном отделении Московского Румянцевского музея хранятся письма жены Пушкина, Н. Н. Пушкиной, к ее мужу, переданные в музей наследниками великого поэта под разными условиями, согласно с которыми письма могут быть вскрыты и обнаружены лишь еще через несколько десятков лет.

Строительство социалистического государства ведет к уничтожению частной собственности. Несомненно, такой идеал может быть достигнут лишь путем последовательных этапов, но среди них одним из первых является отмена прав частной собственности на имущества, представляющие всенародное значение. К такого рода имуществам принадлежат, безусловно, указанные выше письма. Между тем до сих пор они продолжают рассматриваться как некоторая частная собственность, так как по отношению к ним соблюдаются условия, поставленные их бывшими владельцами, и они остаются недоступными исследователям.

Нет надобности говорить о значении каждой строки, проливающей новый свет на Пушкина.

В этом смысле письма к нему его жены заключают в себе интерес исключительный. Анненков, Бартенев и другие ранние биографы Пушкина постарались изобразить его в последний период его жизни монархистом и даже приверженцем царизма, православным христианином и даже клерикалом, причем такой взгляд на великого поэта продержался более полустолетия. Ныне исследования П. Е. Щеголева и других опровергли эту клевету на великого поэта, доказав, что он никогда не изменял вольнолюбивым надеждам своей юности и всегда имел самые широкие, свободные убеждения, но только под гнетом невыносимых условий своей эпохи не мог открыто высказывать их. Когда он, ежедневно ожидая у себя в доме полицейского обыска, не решался даже хранить в своих бумагах все написанное им, принужден был сжечь десятую главу «Евгения Онегина», а строфы, которыми особенно дорожил, записать условным способом, криптограммой, когда гласный и негласный надзор полиции преследовал Пушкина по пятам, причем царю доносили выписки из всей перлюстрированной переписки поэта, когда нужда в семье Пушкина достигла того, что он закладывал ростовщикам шали жены, должен был в мелочную лавку, брал взаймы

у домовых швейцаров и т. д., в то время как царь насильно держал его при дворе в виде особого украшения (как в прежнее время держали шутов) и не позволял поэту прервать непосильную для него и ненавистную светскую жизнь и т. д. и т. п. Все эти подробности и, вероятно, многие другие, сходные с этими, должны полно выступить в письмах Нагальи Николаевны Пушкиной, которые вместе с тем полнее ознакомят и с ее личностью, еще не вполне выясненной.

Согласно с волей завещателей, смотревших на письма Н. Н. Пушкиной как на свою частную собственность, русское общество должно дожидаться обнародования их еще десятки лет.

В таком же положении находятся некоторые другие архивы умерших писателей, композиторов, художников, ученых, переданных наследниками в разные библиотеки, музеи на разных условиях. Эти условия нельзя по большей части объяснить ничем иным, кроме мелочных интересов самолюбия небольшого числа лиц, интересов, которые, разумеется, должны отступить перед интересами всего русского общества. По всем этим соображениям предлагаю коллегии Наркомпроса принять и внести на утверждение в Совет Народных Комиссаров следующий проект декрета. «Отменить все ограничения, на которых были переданы бывшими владельцами в публичные библиотеки и музеи архивы (рукописи, переписка и т. п.) умерших русских писателей, композиторов, ученых и других деятелей науки, литературы и искусства. Правления библиотек и музеев, где такие архивы хранятся, обязуются предоставлять их для работ над ними исследователям, с особого каждый раз разрешения Народного комиссариата по просвещению. Право первого издания таких архивов и всяких извлечений из них принадлежит Народному комиссариату по просвещению в лице его литературно-издательского отдела.

Валерий Брюсов»¹

Соответствующий Декрет Совета Народных Комиссаров был принят 29 июля 1919 года. В нем постановлялось:

«Декрет об отмене права частной собственности на архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, хранящиеся в библиотеках и музеях.

1. Отменяются все ограничительные для государства условия, на которых были переданы бывшими владельцами в публичные библиотеки и музеи архивы (рукописи, переписка и т. п.) умерших писателей, художников, композиторов, ученых и др. деятелей науки, литературы, искусства и общественной жизни.

2. Право первого издания таких архивов и всяких извлечений из них принадлежит Народному комиссариату по просвещению в лице соответственного отдела Государственного издательства.

¹ ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, е.х. 290.

3. Означенные архивы предоставляются для пользования исследователям с особого каждый раз разрешения Народного комиссариата по просвещению.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин).
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
В. Бонч-Бруевич.
Секретарь А. Фотиева.

Москва, Кремль.
29 июля 1919 года».

События развивались стремительно. Об этом говорит обнаруженное мною в отделе рукописей Ленинской библиотеки решительное требование Госиздата от 25 июля 1919 года:

«Государственное издательство доводит до Вашего сведения и для принятия к исполнению, что оно намеревается в ближайшие дни приступить в срочном порядке к изданию следующих материалов, хранящихся в Румянцевском музее и относящихся к А. С. Пушкину.

1. Писем Н. Н. Пушкиной. 2. Другого материала, хранящегося в архиве Н. Н. Пушкиной и представляющего общенародное значение... 3. Дневника А. С. Пушкина, недавно приобретенного музеем...».

Сохранился в архиве Библиотеки и другой документ: «Протокол заседания ученой коллегии от 9 августа 1919 года». Докладчиком на заседании выступил Г. П. Георгиевский. Сообщив, что уже поступил заказ от Госиздата на архивные материалы, относящиеся к Пушкину, он высказал опасение, что из-за Декрета об отмене частной собственности на архивы в музей перестанут сдавать документы. Ученая коллегия музея постановила ходатайствовать об изъятии Румянцевского музея из действия Декрета, чтобы не допустить публикаций, так как это нарушило бы условия, поставленные бывшими владельцами¹.

Ясно, что, сдавая в музей бумаги Пушкина, Александр Александрович Пушкин мог ставить ограничительные условия, касающиеся лишь писем матери, а отнюдь не Дневника поэта, так как Дневник он хранил у себя дома до последнего дня жизни. Как уже мы знаем, в архиве Румянцевского музея имелся отчет о том, что письма Натальи Николаевны Пушкиной, 3 печатных листа, готовы к печати. На этом отчете ученый секретарь музея А. К. Виноградов несколько раз переправлял красным карандашом даты предоставления рукописи для печати. Сначала было 1 октября 1920 года, затем 10 октября, 1 декабря и, наконец 1 января 1921 года.

Нелепо предполагать, что подписывал Виноградов заведомо ложный отчет. Однако письма Пушкиной в Госиздат не попали...

¹ Архив ГБЛ, оп. 17, л. 130, № 149.

Возникает вопрос, а не ошибался ли В. Я Брюсов, так категорично заявляя о принадлежности писем Н. Н. Пушкиной Румянцевскому музею?

В то время о местонахождении писем Наталии Николаевны Брюсов был информирован лучше кого-либо другого. Он два года работал в аппарате «Русского Архива» у П. И. Бартенева, доверившего Брюсову немало секретов, давшего ему для опубликования ряд автографов Пушкина. Об этом можно прочитать в неопубликованных письмах Брюсова к Бартеневу¹.

Тайну писем Наталии Николаевны Брюсов, конечно, узнал от Бартенева. Давно узнал. Еще в апреле 1901 года писал Брюсов П. П. Перцову, что «намеренно не печатаются письма жены к Пушкину...».

Закончил это письмо Брюсов многозначительно: «Согласитесь, что все изучение жизни Пушкина в будущем»².

Вот сколько лет ожидал Брюсов будущего, вот на каких основаниях в 1919 году писал ответственное свое «Заявление».

Декрет, подписанный Лениным на основе этого документа, понятно, отменен не был. Не последовало также изъятия Румянцевского музея из действия Декрета, отменявшего право частной собственности на архивы умерших деятелей литературы и искусства, отданные ими в государственные хранилища (еще бы, ведь Брюсов главной целью ставил публикацию именно писем Наталии Николаевны к мужу, бесценного биографического материала о великом поэте). Брюсов уже включил письма Наталии Николаевны в план издания редактируемого им собрания сочинений Пушкина. Румянцевский музей не протестовал, не отрицал того, что письма эти находятся в его хранилищах. Наоборот, как мы видели, музей включил эти письма и в план своих изданий. Об этом свидетельствует упомянутый выше отчет издательской деятельности, где все отдалается и отдалается срок якобы подготовленных для печати писем Наталии Николаевны. А тем временем возникла версия, будто речь в отчете идет о письмах Пушкина к жене, а не об ее ответных письмах. В подтверждение этой версии Г. П. Георгиевский 25 января 1920 года написал В. В. Воровскому, заведовавшему тогда Госиздатом: «Хотя условие и пожелание Александра Александровича не утратили своей силы и в настоящее время,.. теперь, когда внуки поэта находятся в неизвестности, пришла пора опубликовать «Дневник и письма Пушкина»³.

Вероятно, в ответ на это письмо В. В. Воровский пригласил к себе ученого секретаря музея А. К. Виноградова и главного хра-

¹ ЦГАЛИ, ф. 46 (П. И. Бартенева), оп. 1, е.х. 594 — лл. 305, 343, 364, е.х. 600 — лл. 180, е.х. 598 — л. 293.

² Перцов П. П. «Брюсов в начале века». Знамя. 1940, № 3 (подлинник письма от 1 апреля 1901 года — в ИМЛИ).

³ Житомирская С. В. «К истории писем Н. Н. Пушкиной». «Прометей» № 8, 1971, стр. 160 и 165.

нителя отдела рукописей и старопечатных книг Г. П. Георгиевского с материалами по изданию «Дневника» и «Писем Н. Н. Пушкиной». Я обнаружила телефонограмму с этим приглашением среди бумаг В. Ф. Саводника, хранившихся в то время у его дочери. Воровский назначил встречу на 2½ часа 5 февраля 1920 года. Состоялась ли эта встреча, неизвестно.

Могли ли письма Натальи Николаевны исчезнуть из музея? С этим вопросом я обратилась к разысканному мной старым работникам Румянцевского музея. Некоторые говорили с опаской, а некоторые напрямик:

Н. П. Киселев, профессор, в Румянцевском музее служил с 1910 года, был членом ученой коллегии:

«Может быть, наследники Пушкина сдали письма на временное хранение, а потом забрали? Как Софья Андреевна Толстая поступила с рукописями Льва Николаевича? Достоверного не знаю ничего».

Е. И. Кацпржак, жена Киселева, книговед, бывший научный сотрудник отдела редких книг Государственной библиотеки СССР имени Ленина:

«Знает Николай Петрович. Не хочет говорить. Все старые работники знали об исчезновении писем Натальи Николаевны. Об этом была даже заметка в стенгазете».

Н. Г. Понятовская, дочь Г. П. Георгиевского, бывший научный сотрудник Румянцевского музея (нашла я ее с большим трудом, она дважды меняла фамилию, в первом браке была Мартыновой):

«Да, я слышала, что письма Натальи Николаевны хранились в Румянцевском музее, в отделе рукописей. Куда они делись, не знаю...»

К. А. Алферова-Баландина, технический сотрудник Румянцевского музея:

«В 1918 году на экскурсии сотрудников музея в отдел рукописей мы попросили главного хранителя Г. П. Георгиевского показать нам письма Натальи Николаевны Пушкиной. Он сказал:

— Что вы, письма в запечатанном конверте, вскрывать его запрещено».

Л. В. Голубцова-Крестова, литературовед, бывший научный сотрудник Румянцевского музея:

«Георгиевский многое скрывал. Сотрудник отдела рукописей Н. М. Мендельсон все надеялся, — вот умрет Георгиевский, — и мы узнаем, где он спрятал письма Натальи Николаевны и, наконец, их опубликуем».

Н. С. Шепелева, правнучка Пушкина (со слов дяди, Григория Александровича Пушкина, в начале тридцатых годов работавшего в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина):

«Мой покойный дядя, Григорий Александрович Пушкин, знал, что отец его Александр Александрович пожертвовал в Румянцев-

ский музей переписку родителей, но не всю... Подробностей Григорий Александрович не знал...»

Так и было. Александр Александрович пожертвовал в Румянцевский музей переписку своих родителей, «но не всю». Младшая сестра, графиня Н. А. Меренберг, передавшая ему эту переписку, оставила у себя письма отца к матери, когда она была его невестой. С тех пор письма Пушкина к невесте находятся за рубежом. Подлинники этих многократно опубликованных писем принадлежали известному зарубежному коллекционеру С. М. Лифарю, ныне покойному.

Итак, высказывания старых сотрудников Румянцевского музея не дали точных сведений о местонахождении писем. Они указали только ориентиры для дальнейших поисков.

Что же думают на этот счет пушкинисты? Дореволюционные и современные?

После упомянутых интервью А. А. Пушкина ни пушкинисты, ни Румянцевский музей не оспаривали местонахождения писем жены Пушкина. Б. Л. Модзалевский в некрологе А. А. Пушкина написал, что сын отдал в Румянцевский музей переписку своих родителей¹. П. Е. Щеголев в трех изданиях «Дуэли и смерти Пушкина» утверждал, что письма Наталии Николаевны хранятся в Румянцевском музее и будут вскрыты через несколько десятилетий.

Иная картина сложилась в конце двадцатых — начале тридцатых годов. Пушкинисты начали спорить, сегодня говорят одно, завтра — другое.

Совершенно определенно высказался и не менял мнения И. Л. Фейнберг:

«Неопубликованные письма Наталии Николаевны, хранившиеся еще в первые годы после революции в Румянцевском музее, исчезли оттуда. Хранитель рукописей музея в ответ на расспросы говорил, как мне известно, что письма Наталии Николаевны возвращены были наследникам поэта. Письма ее оказались затем за границей, может быть, у тех же владельцев»².

П. Е. Щеголев: «В самое последнее время Н. О. Лернер вновь ставит вопрос о том, где письма Н. Н. Пушкиной к мужу, но отсылает ищущих ответа на неверный след — в Румянцевский музей... писем здесь нет и не было (и не обмолвился Щеголев, что и сам он в трех изданиях «Дуэли и смерти Пушкина» отсылал ищущих на неверный след.— С. Э.)»³.

Подобно Щеголеву, сама себе противоречит С. В. Житомирская. В 1962 году в письме М. А. Дементьеву она писала:

¹ Пушкин и его современники, П., 1914, вып. XIX—XX, стр. VII—VIII.

² Фейнберг И. Л. «Неизвестный дневник Пушкина», «Огонек», 1962, № 7.

³ «Литературное наследство», 1934, № 16—18, стр. 553.

«...по материалам архива библиотеки нам удалось установить, что в первые годы после революции (1918—1919) письма Н. Н. Пушкиной были в музее, так как возникло даже намерение их опубликовать»¹.

Однако в 1971 году в своей статье, опубликованной в «Прометее», Житомирская говорит другое: «Но где же письма Наталии Николаевны к мужу? Этого мы не знаем. Мы убедились лишь в том, что Румянцевскому музею они никогда не принадлежали»².

Статья С. В. Житомирской «К истории писем Н. Н. Пушкиной» звучит на первый взгляд убедительно. Фундамент статьи — утверждение о том, что в Румянцевском музее инвентаризация проводилась исправно и инвентарная книга, заведенная первым хранителем рукописного отделения А. Е. Викторовым, в полном порядке.

Если так, то почему же не занесено в инвентарную книгу такое поступление, как письма А. С. Пушкина жене, пожертвованные сыном Пушкина в 1882 году?

С. В. Житомирская сообщает, что письма были заинвентаризованы, но только лишь в 1932 году, когда истекло 50 лет со дня пожертвования — срок запрещения Александра Александровича выдавать письма отца в чтение.

Нелогично. «Секрет» Александра Александровича не раскрыли в инвентарной книге, имеющейся в одном экземпляре и доступной лишь избранным сотрудникам отдела рукописей. И громогласно об этом «секрете» разгласили еще в 1883 году, в печатном отчете Румянцевского музея, изданном по крайней мере в нескольких сотнях экземпляров.

Разрешаю себе предположение: сын Пушкина просил во избежание домогательств исследователей не сообщать в печати о пожертвовании им вместе с письмами отца (опубликованными, как помним, в 1878 году И. С. Тургеневым) также и писем матери. Имеется у меня гипотеза: в инвентарной книге отдела рукописей было зарегистрировано и поступление писем Пушкина к жене, и ее ответных писем. Но регистрация эта не сохранилась.

Истину, — в порядке или не в порядке инвентарная книга, — пусть определяют специалисты. Надо думать, что и сотрудники отдела рукописей кое-что в этом деле понимают. Я видела в бумагах Г. П. Георгиевского (в то время фонд его разобран еще не был) докладную записку сотрудниц отдела рукописей Е. Н. Коншиной и Л. В. Сафроновой заведующему отделом рукописей Л. М. Ефременко и директору Ленинградской библиотеки Н. И. Яковлеву (около 1937—1938 гг.). Содержание записки довольно точно выражено ее заголовком: «Об отсутствии в отделе рукописей инвентарных книг, являющихся юридическим документом».

¹ Известия АН СССР, отд. языка и литературы, т.29, вып. 5, стр. 447—448.

² Указанная статья С. Житомирской в «Прометее», № 8, стр. 163.

«Из четырех инвентарных книг, — говорится в ней, — только две прошнурованы и закреплены печатью... Почти половина так называемого музейного собрания не имеет шнура и печати. Из них вторая заполнена только наполовину, и это никак не зафиксировано и не оговорено... Инвентарные книги... охватывают далеко не все поступившие материалы, а только обрабатываются под видом музейного собрания... Многие материалы записаны без всякого учета количества, что недопустимо для настоящего инвентаря и рукописных книг, и особенно для листовых материалов...»

С. В. Житомирская, утверждая, что письма Наталии Николаевны никогда не принадлежали Румянцевскому музею, повторяет старую версию, предполагавшую, что в упомянутом отчете о редакционно-издательской деятельности говорится не о письмах Н. Н. Пушкиной к мужу, а о его письмах к ней. А то, что на другой странице этого же отчета сказано «подготовлены к печати... письма Наталии Николаевны Пушкиной», Житомирская объясняет ошибкой машинистки¹. Малоубедительно. И совсем странно звучит объяснение Житомирской, будто А. А. Пушкин, сообщая, что отдал в Румянцевский музей переписку своих родителей, имел в виду только письма отца к матери без ее ответных писем. Будто в XIX веке слово «переписка» понималось не только как переписка двух и более лиц, но и как письма одного лица без ответных писем адресата. Якобы такое словоупотребление в XIX веке зафиксировано во всех словарях русского языка.

Дореволюционные пушкинисты (Б. Л. Модзалевский, П. Е. Щеголев, В. Я. Брюсов) были, таким образом, жертвами «словесного недоразумения»². И вот эти отнюдь не исчерпывающие доказательства возведены в ранг истины, не подлежащей обсуждению.

Появилась даже новая версия, что письма могли погибнуть в 1919 году, когда сгорел дом Александра Александровича³. По свидетельству его внучек (Татьяны Николаевны Галиной и Натальи Сергеевны Шепелевой), живущих в Москве, дома, где он жил — в Лопасне и в Москве, — никогда не сгорали.

На самом деле ни в одном словаре русского языка XIX и XX веков слово «переписка» не толкуется как письма одного лица без ответных писем адресата. Не поверив глазам своим, я запросила Институт русского языка АН СССР. И получила ответ: «С прошлого века семантика слова «переписка» не претерпела каких-либо существенных изменений».

Так где же ныне письма к Пушкину его жены или хотя бы их копии?

Точно пока ответить трудно. Как, откуда, когда исчезли письма к Пушкину его жены, где они находятся сейчас? Чтобы найти на-

¹ «Прометей» № 8, стр. 163.

² Там же, стр. 156.

³ Временник пушкинской комиссии АН СССР, Л., 1971, с. 64.

конец эти письма или их копии, нужно провести дополнительные авторитетные исследования с привлечением литературоведов, архивистов и юристов. В поисках нельзя пренебрегать ничем: это важнейшие документы к биографии Александра Сергеевича Пушкина, гения русской культуры.

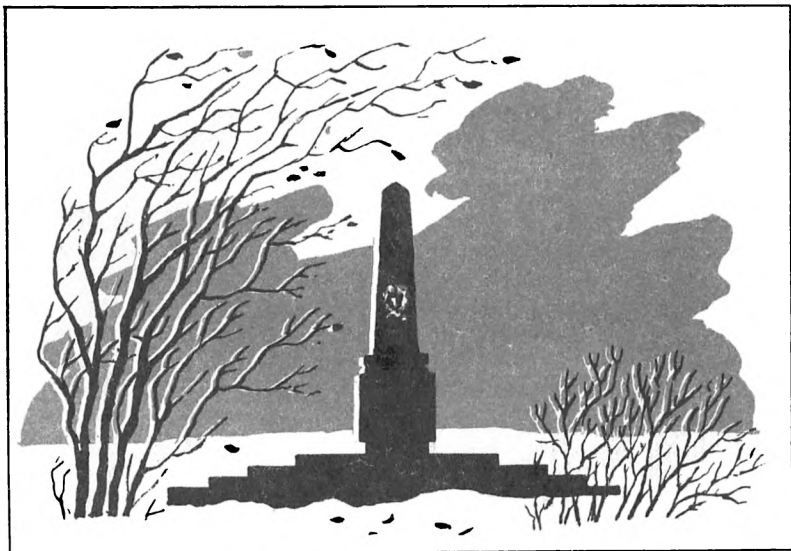
1976 г.

По различным причинам редакция «Огонька» не имела возможности опубликовать вступление Т. Г. Цявловской и мою работу «Загадка писем Н. Н. Пушкиной». Годы эти не прошли для меня зря. Я познакомилась с академиком Михаилом Павловичем Алексеевым (скончался в 1981 году). Михаил Павлович серьезно отнесся к моей работе и дал мне несколько телефонов лиц, у которых, как он думал, возможно, хранятся подлинники или фотокопии писем к мужу Наталии Николаевны Пушкиной.

Удалось узнать, что верстку загадочных писем, как он говорил, держал в руках член-корреспондент Академии наук СССР Николай Федорович Бельчиков, кстати, долгие годы работавший директором Пушкинского дома в Ленинграде (ИРЛИ). Подробности об этом можно прочитать в газете «Советская Россия» в моей корреспонденции «Исчезнувшие письма» (4 сентября 1983 года).

Я очень верю в то, что исчезнувшие письма Наталии Николаевны еще вернуться к нам.





ПО СЛЕДАМ ПРЕДВЕСТНИКА ГИБЕЛИ

Г. Хаим

Тайна анонимных писем, посланных Пушкину, его друзьям и знакомым, — тайна, окружающая кончину поэта. Ее загадка мучила не одного исследователя...

Недавно мне удалось отыскать письмо П. Е. Щеголева редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому. Там, в частности, сказано:

«Работаю довольно усиленно по биографии Пушкина. Сейчас подготовил целый том (листов 25) о дуэли Пушкина с Дантесом... Основные выводы моей работы не могут быть поколеблены, ибо они достоверны. Между прочим, достоверность их признана (в письме ко мне) П. И. Бартевым, который сообщал сведения о Пушкине лет 60 тому назад, когда были живы чуть ли не все современники Пушкина»¹.

Строки эти были написаны в пору работы над популярнейшей книгой «Дуэль и смерть Пушкина», которую читает уже не одно поколение.

Излишне говорить о том, что при ее написании для Щеголева было весьма важным мнение Бартева. А насколько исследователь

¹ Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (в дальнейшем — ОРГПБ), ф. 874, ед. хр. 127, лл., 108 (оборот), 109.

верно оценил публикации воспоминаний, документов непосредственных участников и свидетелей событий?

Но, когда монография увидела свет, критики, пушкинисты обнаружили, что во многих случаях там оказалось невыполненным важное требование, предъявляемое любой научной работе,— не произведены критический отбор и проверка источников, в том числе и мемуарных.

Более полувека тому назад в 16—18-м томе «Литературного наследства» о третьем издании той же книги говорилось, что ее автору пришлось «...в ряде случаев дважды и трижды менять свои объяснения и выводы на совершенно противоположные». Увы, именно в этом труде сказались и «результаты отсталости пушкинизма в отношении анализа источников»¹.

Тут, видимо, проявилась та черта, о которой Ю. Н. Тынянов сказал: «П. Е. Щеголев с обычным добродушием отмахивается от истории»².

А пушкинист М. Л. Гофман, анализируя книгу Щеголева о дуэли и смерти Пушкина, тоже счел необходимым подчеркнуть, что «объективность — свойство, вообще чуждое Щеголеву. Это всегда речи стороны, или грозного прокурора, или сердобольного адвоката. Но не речь беспристрастного судьи, доискивающегося правды, какой бы она ни была»³.

Подобные критические замечания, как и публикации последних десятилетий, вскрывшие в книге П. Е. Щеголева огрехи: небрежную текстологическую работу (неточное истолкование иноязычных текстов и т. п.), скоропалительные выводы и другие — заставили автора настоящего очерка сосредоточить свое внимание на одной из важнейших проблем монографии — на всем том, что связано с «дипломом ордена рогоносцев» — пошлым, анонимным пасквилем, предвестником гибели Пушкина. В частности, на том, кто был автором и непосредственным исполнителем подметного письма. Как известно, П. Е. Щеголев немало места отвел выяснению личности писца пасквиля и сосредоточил основное свое внимание на двух кандидатурах — князьях И. С. Гагарине и П. В. Долгорукове.

Самая живучая «версия»

В конце января 1837 года А. И. Тургенев записал в дневнике о подозрениях по поводу причастности к пасквилю И. С. Гагарина. Но к 1844 году Тургенев от них отказался.

А почти через четверть века после этого в русской печати одна за другой стали появляться публикации, где высказывались предпо-

¹ «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, с. 1155.

² Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., «Наука», 1969, с. 174.

³ «Руль» (Париж), 1928, № 2219.

ложения о том, что анонимный пасквиль — дело рук одного из двух представителей русской аристократии — князей И. С. Гагарина и П. В. Долгорукова. К тому времени оба они покинули Россию. И. С. Гагарин перешел в католичество и стал монахом-иезуитом, а П. В. Долгоруков — одним из активных политических эмигрантов. Он печатал свои работы в зарубежных изданиях А. И. Герцена и Н. П. Огарева, выпускал книги, брошюры, журналы, направленные против новой русской аристократии. Удары его были особенно сильны потому, что к моменту эмиграции Долгоруков завоевал славу крупнейшего генеалога русских дворянских родов.

И когда в 1860 году появилась «Правда о России» П. В. Долгорукова, потрясая русскую знать, началась отчаянная многолетняя кампания травли ее автора. Долгорукова называют единственным исполнителем пасквиля, а Гагарина — жертвой его коварства. Этим сплетням суждено было печальное долголетие. Сведения, почерпнутые из мемуарных источников — часто недостоверные, — кочевали из одной литературоведческой работы в другую.

«В конце концов из всех выдвинутых против Гагарина и Долгорукова соображений и обстоятельств, — утверждал П. Е. Щеголев, много лет изучавший историю анонимного пасквиля, — наиболее веским, громко говорящим против них является их нахождение в кругу Геккерна». Притом Щеголев специально оговаривает, что «злобы у него [Долгорукова] на Пушкина никакой не было, а отчего бы не потешиться!». И принял участие в столь гнусной игре этот князь «не по каким-либо личным отношениям к Пушкину (таких отношений мы не знаем), а просто потому, что, вращаясь в специфическом кругу барона Геккерна, не мог не принять участия в общих затеях»¹.

Но на поверку оказалось, что тут исследователь опирается вот на какие источники. Н. М. Смирнов, не бывший очевидцем событий и находившийся в это время не в Петербурге, с чужих слов, с одной стороны, относит, например, Гагарина к тому же кружку «наглого разврата», а с другой — подчеркивает, что «...участие, им [Гагариным], принятое в пасквиле, не было доказано...»². А П. Е. Щеголев причислил еще и Долгорукова к тому же кругу, используя материалы о Гагарине, а потому и к числу «наиболее активных, ...кто перевел чувство злобного недоброжелательства к Пушкину в действие против него»³.

И из подобных «рассуждений» П. Е. Щеголев вывел нечто, похожее на строки судебного приговора: «Мы должны считать их [Долгорукова и Гагарина] в 1836 году в стане врагов Пушкина»⁴.

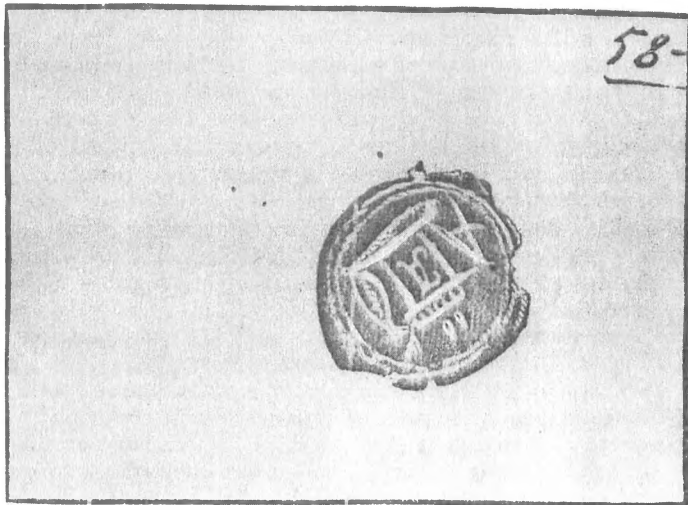
¹ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, М., «Книга», 1987, с. 408, 414.

² «Русский архив», 1882, кн. I, с. 234—235.

³ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, М., «Книга», 1987, с. 434.

⁴ Там же, с. 408.

Но подобный вывод определенно покоится на противоречивых, недостоверных источниках. Выяснить это нетрудно, узнав, что за два дня до появления «диплома» Долгоруков присутствовал у П. А. Вяземского на авторском чтении «Капитанской дочки» и сделал существенные замечания по тексту. И как раз в 1836 году Гагарин довольно часто встречается с поэтом и в связи с публикацией в «Современнике» привезенных им из Германии стихотворений Ф. И. Тютчева и передачей Пушкину, по поручению своего учителя П. Я. Чаадаева, его «Философического письма». Могли ли эти молодые князья быть «врагами Пушкина»?



Печать и номер почтового «приемного места» на пакете, полученном М. Ю. Вильгоровским.

Однако Щеголев стремился непременно доказать верность своей «версии». И в связи с этим, конечно же, снова и снова обращался к тому, что писали о Долгорукове и Гагарине их современники.

«Особо авторитетным» П. Е. Щеголев счел сообщения В. Ф. Одоевского — знакомого и большого ценителя Пушкина, пропагандиста его творчества, основоположника русского классического музыкознания, ученого, философа и писателя, — будто «анонимные письма [поэту] писал... Долгоруков». Но эта запись — не что иное, как часть комментария В. Ф. Одоевского к тексту статьи, напечатанной в долгоруковской «Будущности» (№ 1, 1860 г.). В. Ф. Одоевский откликнулся на нее своей статьей, которая не увидела света, но там о Долгорукове уже говорилось менее определенно, будто он «практиковался... по части... переносов анонимных подметных писем», хотя ко времени написания статьи в сентяб-

ре — октябре 1860 года Одоевский был уже явным противником Долгорукова¹. Но П. Е. Щеголев отдал предпочтение пометкам Одоевского в тексте статьи «Будущности», не оговорив, что последний повторял чужие толки и суждения.

Еще в марте того же 1860 года именно В. Ф. Одоевский имел уже в своих бумагах проект записки «О мерах против заграничной русской печати» (он был опубликован в «Русском архиве» — 1874, кн. 2, с. 30—39). Там предлагалось употребить оружие, которое «по нашему мнению, будет успешнее всех других». Что же это за оружие? Издание «биографий Герцена, Огарева, Петра Долгорукова, Гагарина...»². Полагалось, что они должны быть написаны «ловко, забавно и без всяких личностей». Ибо такой шаг «уничтожил бы наполовину действие их [политических эмигрантов] изданий на публику...». Считалось нужным отобрать литераторов, готовых взяться за такое «творчество». Одним из пунктов «записки» предусматривалась организация судебных процессов в тех странах, где эмигранты обосновались: в Англии, во Франции и в Германии.

Первым «объектом» стал именно П. В. Долгоруков. Известно, что уже весной 1860 года был спровоцирован против него процесс о так называемой шантажной записке. Вот его краткая история.

Еще в 1854 году П. В. Долгоруков выпустил первую часть «Российской родословной книги». Позднее готовил издание второй ее части. В связи с этим он обратился к генерал-фельдмаршалу М. С. Воронцову за разъяснениями и дополнительной информацией, которая доказала бы древность рода Воронцова. Вместе с письмом Долгорукова в одном конверте, как утверждал его адресат, оказалась анонимная записка, а в ней содержалось требование выплатить 50 тысяч рублей за публикацию в подготавливаемой им родословной книге сведений «в том виде, как ему (М. С. Воронцову) угодно (будет)».

Ясно, что такая записка, оказавшаяся у Воронцова в 1856 году, была орудием шантажа, но направленного по адресу не Воронцова, а Долгорукова. В этом убеждает как раз текст ответного письма фельдмаршала генеалогу. Там утверждается, что записка начертана, конечно же, рукой «не сходной» с долгоруковской, однако Воронцов считал нужным «подлинник» приберечь вместе с «письмом, которыми Вы меня почтили».

Но Долгорукову не нужно было шантажировать Воронцова. Да и при всем желании он не мог бы это сделать. Документы, свидетельствовавшие о недревности рода генерал-фельдмаршала, были опубликованы еще в XVIII веке, и оригиналы их хранились в Государственном архиве.

¹ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, М., «Книга», 1987, с. 426—427.

² По личному указанию царя на средства правительства в газете «Наше время» в 1862 году были напечатаны семь статей «г. Герцен и г. Огарев /русская литература за границей/». В том же году в сентябрьской книжке «Русского вестника» была напечатана клеветническая статья «Новые подвиги наших лондонских агитаторов». Перепечатывались эти и другие статьи многими органами печати по прямому указанию правительства («Литературное наследство», т. 63, М., 1956, с. 679).

Выпад Воронцова не удался. Скомпрометировать князя-генеалого тогда, в 1856 году, он не сумел и тем более не смог приостановить и предстоящую публикацию. Но как только она осуществилась и появилась долгоруковская «Правда о России» — о «шантажной записке» немедленно вспомнили и пустили ее в ход. 29 апреля 1860 года в парижской «Courrière le Dimanche» была напечатана заметка за подписью некоего А. В. Мишенского. В ней говорилось о вышедшей за границу, на французском языке «Правде о России». Автор заметки сообщал, что он намеревался прорецензировать «генеалогическую историю аристократических фамилий иностранной земли». Но он, мол, воздержался делать это, так как его ознакомили с документом, ставившим под сомнение порядочность автора книги. Фамилия Долгорукова не была названа. Но князь-эмигрант «поднял перчатку» и послал в ту же газету ответное резкое письмо, где не скрывал, что тут имели в виду именно его историю переписки с генерал-фельдмаршалом, который к этому времени уже умер. Но сын Воронцова счел себя оскорбленным и подал на Долгорукова в суд.

Истинная же подоплека процесса о «шантажной записке» в том, что он был затеян для моральной и политической компрометации Долгорукова. Она была вскрыта после завершения суда.

Даже в биографическом издании говорилось, что Долгоруков именно «за «Правду о России»... подвергся процессу с князем Воронцовым»¹. Это поняли тогда многие. Как справедливо заметил П. Е. Щеголев, «всеобщего доверия приговор французского суда не получил». Больше того, он был осужден видными деятелями русской культуры.

Чтобы закрепить пиррову победу, Воронцов и его сторонники организовали кампанию травли Долгорукова. Наиболее активным помощником сына фельдмаршала стал С. А. Соболевский, ближайший друг В. Ф. Одоевского и приятель Пушкина.

Тут хотелось бы отметить, что не следует смешивать их отношение к поэту и его творчеству в 30-е годы с их собственным поведением в новое царствование, в иных условиях русской действительности 60-х годов, и их отношением к властям. Обратит внимание на это заставляет сам факт, что близкий приятель поэта С. А. Соболевский оказался помощником отпрыска того, кого Пушкин называл «полу-милордом» и «полу-невеждой».

«Миссия» Соболевского

Некогда полагалось, что у Соболевского не было «никаких личных счетов с Долгоруковым»². Так ли это?

Библиограф, библиофил, поэт-эпиграммист С. А. Соболевский являлся сотрудником Долгорукова, стоял во главе конститу-

¹ Геннади Г. Н. Краткие сведения о русских писателях, ученых, умерших в 1868 году, «Русский архив», 1870, № 11, с. 2019.

² «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», П., 1924, с. 29.

ционного направления его журнала «Будущность», переписывался с Долгоруковым по литературно-издательским вопросам. Но вот выявилась в том же журнале резкая критика против В. Ф. Одоевского, — затем процесс о «шантажной записке», и Соболевский... направляется в Париж, помогает адвокату Воронцова. «Агентом Воронцова» назвал Соболевского советский историк С. В. Бахрушин¹.

Именно Соболевский обрабатывал общественное мнение Москвы против Долгорукова, искал компрометирующие его факты, но не нашел их. И обращает на себя внимание, что до 1860 года Соболевский не высказывал и не указывал на кого бы то ни было, причастного к фабрикации и посылке Пушкину анонимного пасквиля. Однако в 1861 году, уже после процесса за границу, он беседует с Гагариным о «дипломе ордена рогносцев», а затем передает, конечно, без ведома Гагарина, гласности содержание его доверительного рассказа. 7 февраля 1862 года Соболевский посылает письмо Воронцову со своим мнением о возможном авторе «диплома ордена рогносцев».

Оно выдержано в таком тоне, будто он никогда раньше не встречался с Воронцовым и не помогал ему в подготовке процесса против Долгорукова. Это явная прокламация, а вовсе не свидетельство беспристрастного человека, призванная внедрить в память современников (да и их потомков) мысль, что Долгорукова в фабрикации подметного письма подозревает именно близкий приятель Пушкина.

В неопубликованной работе видного пушкиниста П. Е. Рейнбота очень верно подмечено:

«Упоминание о кн. Долгорукове в процессе его с кн. Воронцовым... основано на письме С. А. Соболевского, *но сведения, имевшиеся у последнего, были основаны исключительно на слухах неизвестно от кого исходящих, о несохранившемся дневнике жены кн. Долгорукова и о рассказах последней, которых, однако, сам Соболевский от нее не слышал* (курсив мой.— Г. Х.). Не сообщает Соболевский ни об одном из тех «тысячи» известных ему данных, на которых основаны его подозрения, вот почему мне кажутся более убедительными мнения кн. П. А. Вяземского и М. Н. Лонгинова о недоказанности виновности Долгорукова в деле о пасквилях 1836 г[ода], бывших в руках у кн. Вяземского и написанных в то время, когда Соболевский находился за границей»².

В том же письме Соболевского сыну генерал-фельдмаршала Воронцова упоминается, что и Дантес собирается затеять судебный процесс против Долгорукова.

¹ Долгоруков П. В. Петербургские очерки. Собрал и подготовил к печати П. Е. Щеголев. Дополнил и снабдил введением и примечаниями С. В. Бахрушин. (Предисловие С. В. Бахрушина), М.—Л., 1934, с. 28.

² ИРЛИ (П. Д.), ф. 545.

В своем письме С. А. Соболевский, кстати, не привел ни одного факта о враждебном, недружелюбном отношении Долгорукова к Пушкину.

Соболевский вовсе не был заинтересован и в действительном отыскании виновника фабрикации пасквиля. Он принял участие в преднамеренной компрометации Долгорукова и в письмах Воронцову. Явно искажая истину, направлял острие подозрений против Долгорукова, использовал для этого свою беседу с ближайшим его другом И. С. Гагариным:

«...Оправдывая Долгорукова в этом деле, он [Гагарин]... рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что-либо другое. Во всяком случае оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, что он прекрасно мог воспользоваться бумагой последнего, и что поэтому главнейшее основание направленных против него [Долгорукова] подозрений *могло* пасть на него, Гагарина»¹.

Цель такого письма Соболевского — отделить Долгорукова от Гагарина, сосредоточить огонь подозрений на одном из них. Но «улику» по бумаге следует решительно отместить, так как такую в «Английском магазине» покупала чуть ли не половина высшего петербургского света! Письмо Соболевского обобщало только те толки, сплетни, темные слухи, которые, по мнению Щеголева, «с течением времени превращались в категорические утверждения»².

Кстати, мысль о «признании» Гагарина, исходящая от Соболевского, попала и в брошюру, составленную А. Н. Аммосовым «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса» (СПб, 1863), вышедшую вскоре после процесса о «шантажной записке».

Естественно, имя Соболевского там не названо! Не сложно, однако, проследить взаимосвязь его письма с текстом, принадлежащим в брошюру Аммосову:

«После смерти Пушкина многие в этом (написании и распространении пасквиля.— Г. Х.) подозревали князя Гагарина; теперь же подозрение это осталось за жившим тогда вместе с ним князем Петром Владимировичем Долгоруковым.

Поводом к подозрению князя Гагарина в авторстве безымянных писем послужило то, что они были писаны на бумаге одинакового формата с бумагой князя Гагарина. Но, будучи уже за границей, Гагарин признался, что записки были писаны действительно на его бумаге, но только не им, а князем Петром Владимировичем Долгоруковым.

¹ «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина». П., 1924, с. 25.

² Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, М., «Книга», 1987, с. 407.

Мы не думаем, чтобы это признание сколько-нибудь оправдало Гагарина — позор соучастия в... грязном деле, соучастия если не деятельного, то пассивного, заключающегося в знании и допущении, остался все-таки за ним»¹. Приведенные строки не принадлежат К. К. Данзасу, они — аммосовские. Кстати, именно П. Е. Щеголев предупреждал: неизвестно, «в какой мере можно считать авторизованной запись Аммосова»², который сам признавался, что делал он ее, беседа с К. К. Данзасом, в «разное время».

В брошюре не сказано, кому же «признался» Гагарин. Кто свидетель обвинения? Им мог быть единственный человек... все тот же С. А. Соболевский. Это его намеки, полунамеки в письме Воронцову давали пищу для кривотолков. И, наконец, они попали на страницы названной брошюры, хотя письмо Соболевского к 1863 году не было опубликовано!

Налицо явно преднамеренные действия, нацеленные на одно — общественную компрометацию Долгорукова, что и подчеркнул А. И. Герцен, отметив — брошюра эта появилась «удивительно вовремя»³, определенно тут имея в виду, что она явилась ответным ударом на разоблачающие русскую знать книги и статьи П. В. Долгорукова. А он заметил, что «русское правительство заплатило некоему Аммосову, офицеру в чине майора, чтобы он написал брошюру...». И еще: «враги мои подучили некоего Аммосова».

Напомним, что в этой брошюре в первые в легальной русской печати сообщалось множество новых сведений о последних днях Пушкина. Но из нее весьма охотно в прессе и салонах заимствовали большей частью именно строки о «признании Гагарина» и «виновности» Долгорукова.

Кстати, из всего ее текста только два сенсационных абзаца вызвали протест и недоумение читателей и критики⁴.

Дальнейшее исследование издательской истории его брошюры, а также фактов биографии (за 1862—1864 годы) самого А. Н. Аммосова — военного литератора (о котором один из современников говорил, что «всей армии хорошо известно имя весельчака, запевалы и кутилы А. Н. Аммосова»), сотрудника «Свистка», «Голоса», «Русского инвалида» — позволит выяснить, выполнял ли Аммосов чей-либо «социальный заказ» или только отразил уже достаточно обработанное «общественное мнение».

Не имеем ли мы тут дела с целенаправленным оговором? Ведь вся эта кампания — суд над Долгоруковым, публикации по этому

¹ Аммосов А. Н. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. СПб, 1863, с. 9—10.

² Щеголев П. Е. Упом. соч. М., «Книга», 1987, с. 423, сн. 2.

³ «Колокол», 1 августа 1863 г.

⁴ «Русский архив», 1864, с. 1408—1409; там же, 1865, с. 1503—1504; «Современная летопись», 1863, № 18, с. 12; «Современник», 1863, № 9, с. 199—200; «Былое», 1907, № 3(15), с. 183—184; «Московский пушкинист», сб. I, 1927, с. 8—9, и т. д.

поводу в печати, брошюра Аммосова приобретали откровенную идеологическую окраску и явились мезью инакомыслящим князьям-эмигрантам. Те, кто затевал эту травлю, отлично знали, что слухи, оговоры, выдвинутые без всяких доказательств или на основе ложных сообщений, оставляют порой вечные следы.

Что же касается П. Е. Щеголева, то он во втором издании своей книги о дуэли и смерти Пушкина уже считал, с одной стороны, что вовсе не Долгоруков и Гагарин должны о п р а в д ы в а т ь с я, а что «не лежит ли тяжесть доказательств на тех, кто предъявляет к ним подобные обвинения»¹. А с другой — в третьем ее издании² — снова остается и на прежней точке зрения и одновременно ополчается на того же Долгорукова, опираясь большей частью на публикации в «Русском архиве», издававшемся П. И. Бартеневым.

Неточности «устной традиции»

В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что как раз П. И. Бартенева одним из первых повторил в своем журнале сенсационные положения из брошюры Аммосова. Они приведены им в качестве комментария к фрагменту «Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба» («Русский архив», 1865, изд. 2-е, с. 768), в которых сказано, что имя автора пасквиля «вертится» у него «на языке». Но ведь он сам его не назвал! А когда было найдено неотправленное письмо В. А. Соллогуба Воронцову, датированное апрелем 1862 года, выяснилось, что Соллогуб, высказывая мнение, что «анонимный билет [записка]... вполне мог принадлежать Вашему противнику»³, прямо не назвал имени Долгорукова и категорически требовал ни в коем случае не ссылаться на это суждение, пока не будет произведена экспертиза почерка. Такова была воля В. А. Соллогуба.

Бартенева же прокомментировал его воспоминания фрагментом аммосовской брошюры, затем предоставил страницы журнала для критики своего комментария и даже для собственных Долгорукова и Гагарина опровержений. Редактор «Русского архива» явно использовал их выступления в печати для того, чтобы усугубить обвинения против них, чтобы заявить о несостоятельности подобных опровержений, — так как, мол, их авторы «отрекаются, ссылаясь лишь на свои знакомства и на собственную честность»⁴.

Все это усиливало толки о виновности Долгорукова и Гагарина. Причем сам Бартенева смог противопоставить их опровержениям лишь ссылки некоторых лиц на то, что им в разное время пришлось из вторых, а то и третьих уст слышать подозрения о причастности, в основном Долгорукова, к анонимному пасквилю.

¹ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. СПб., изд. 2-е, 1916, с. 347.

² Щеголев П. Е. Упом. соч., изд. III, М.—Л., 1928.

³ «Огонек», 1949, № 23, с. 20.

⁴ «Русский архив», 1865, изд. 2-е, с. 1032.

Конечно же, редактор «Русского архива» в первую очередь руководствовался желанием как можно больше записать и опубликовать мемуаров о последних днях Пушкина и обо всем, что было связано с подметным «дипломом». Но тем, кто в наши дни обращается к этим источникам, следует помнить, что это, как правило, были пересказанные Бартевым беседы с современниками Пушкина. Записи их, как правило, относятся к пятидесятым годам прошлого века. Но отчего они появились в печати только в разгар процесса о «шантажной записке» или после него? К тому же известно, что Долгоруков и Гагарин, защищая свою честь, всегда ссылались на современников, могущих подтвердить их слова. А Бартев противопоставлял этому неавторизованные мемуары, которые, как правило, исходили от людей, уже умерших. Это нужно особенно подчеркнуть.

К некоторым записям, сделанным Бартевым, относились с недоверием не только исследователи, но и современники. Так, на полях текста «рассказа» А. И. Васильчиковой (тетки В. А. Соллогуба), напечатанного в «Русском архиве» в 1865 году, о том, что Гагарин будто бы участвовал в создании пасквиля, Соболевский написал: «Твердо уверен, что это клевета»¹.

Кстати, с 1863 года С. А. Соболевский был постоянным сотрудником «Русского архива». Он мог, должен был откликнуться на инсинуации аммосовской брошюры и тенденциозный комментарий П. И. Бартева. Только он мог сказать, что никакого «признания» Гагарина не было. Но Соболевский никак не откликнулся печатно на все это. Он хранил молчание.

Ряд публикаций «Русского архива», в первую очередь «Памятные заметки» Н. М. Смирнова, привлекли наше внимание только потому, что именно в них П. Е. Щеголев увидел показания хорошо осведомленного свидетеля (разрядка моя.— Г. Х.)². Но показания ли это хорошо информированного лица?

Упомянутые «Памятные заметки» Н. М. Смирнова большинство пушкинистов сочли тем самым ранним источником, где высказаны подозрения против Долгорукова, так как их датировали 1842 годом. А на проверку вышло, что тут мы имеем дело с «Воспоминаниями о поэте» — мемуарами, изложенными в виде... дневника. В таком случае неизбежно влияние на написанное, уже после начала травли Долгорукова, чужих мнений и суждений. Тем более что Н. М. Смирнов описывает интересующие нас события, хотя не был их участником и наблюдателем, так как в роковую для Пушкина пору находился за границей.

¹ «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851—1860 гг.», М., 1925, с. 39.

² Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, М., «Книга», 1987, с. 414.

Не выдержали критики рассказы министра двора графа В. Ф. Адлерберга о Долгорукове, «строившем рога на одном из вечеров над головой Пушкина». Сообщение это также было опубликовано в «Русском архиве», но только после того, как графу, известному реакционеру, досталось от долгоруковских памфлетов, напечатанных за рубежом.

К публикациям подобного же качества, появившимся в «Русском архиве», можно отнести рассказы барона Ф. А. Бюлера и Фридриха Боденштедта. А они, в свою очередь, ссылались на «свидетельства» близких Пушкину людей, у которых о том же нет ни слова.

Сказанное заставляет признать допустимой точку зрения П. В. Долгорукова о том, что Бартенев действовал «в угоду моим врагам»¹.

Публикации последнего оказали влияние и на суждения Б. Л. Модзалевского. А он, в свою очередь, высказал мнение о том, что подозрение в фабрикации «диплома ордена рогоносцев» должно остаться на Долгорукове до тех пор, *«пока не будет документально доказано, что пасквиль...»* (курсив мой.— Г. Х.) писал и рассылал кто-либо другой»².

Упомянувшийся уже П. Е. Рейнбот по этому поводу заметил: «Юридическая постановка вопроса видным пушкинистом (Модзалевским.— Г. Х.) не выдерживает критики. Невозможно обвинять кого-либо, так сказать, временно, пока не найдется другой виновный».

К сказанному Б. В. Казанский добавлял, что Б. Л. Модзалевский привел новые свидетельства злости и бесчестности кн. Долгорукова «по отношению к другим лицам, а не к Пушкину», но заключение его, что именно Долгоруков был «составителем «диплома», явно нелогично»³. Таков был и вывод по этому вопросу П. Е. Щеголева⁴.

Домыслы и факты

Стоит подчеркнуть, П. Е. Щеголев, убеждавший читателей, что Долгоруков принял участие в истории с пасквилом, настойчиво искал, не было ли в характере и всей жизни Долгорукова чего-либо такого, что могло объяснить «закономерность» поступка, который ему приписывался. И, представьте, нашел «причину» в том, как Долгоруков учился и окончил Пажеский корпус. Оттуда отпрыски верхов русской аристократии уходили, как правило, в придворные, гвардейские полки. Но Долгоруков вышел в «статскую» службу с двенадцатым гражданским чином. Щеголев замечает по этому поводу: «хуже нельзя было кончить». Но достаточно обратиться к опубликованным биографиям бывших воспитанников Пажеского

¹ «Звенья», кн. 1, 1932, с. 84.

² «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», П., 1924, с. 49.

³ «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, с. 1153.

⁴ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, М., «Книга», 1987, с. 407—408.

корпуса («Пажеский корпус за 100 лет. 1802—1902. СПб, 1902»), чтобы убедиться: многие из пошедших по штатской линии получили 13-й и 14-й чины! Щеголев утверждал, что Долгоруков по выходе из Пажеского корпуса получил не аттестат, а нечто похожее на «волчий билет», ибо учился плохо, оттого, мол, его и в гвардию не пустили. А за все это, вместе взятое, обделенный и обиженный Долгоруков мстил всем и вся.

В основательной научной работе о П. В. Долгорукове, написанной крупным советским историком С. В. Бахрушиным, сказано, что князь учился в Пажеском корпусе «блестяще»¹. Окончил не хуже других, но из-за какой-то вины не мог идти в гвардию.

Кроме того, Щеголев ставит Долгорукову в вину и то, что он служил под началом министра просвещения С. С. Уварова — врага Пушкина и якобы в своих работах восхвалял Уварова. Но именно у Долгорукова об этом министре сказано как о «хитром, мало разборчивом в средствах», страдающем «очень своеобразными недостатками» — тут намек на все те пороки министра, которые бичевал Пушкин в своей известной оде «На выздоровление Лукулла».

С непонятной настойчивостью Щеголев обошел в своей работе все, что касалось, например, отношений Долгорукова к Пушкину и его творчеству, и именно в 1835—1836 годах. И то, что в это время они общались по творческим вопросам и независимо друг от друга занимались углубленным изучением отечественной истории. Но зато с легкостью необычайной Щеголев использовал все, что способно было опорочить Долгорукова. Какие еще «факты» были использованы Щеголевым?

Вот сообщение М. Жихарева — родственника П. Я. Чаадаева. Там говорится, что подметное письмо за подписью «Луи Колардо», посланное Чаадаеву, будто бы исходило от Долгорукова. Основание? Ну, как же — ведь этого князя даже и французский суд признал автором «шантажной записки», это его подозревают в фабрикации «диплома ордена рогоносцев». Но где же подлинник письма, предназначенного Чаадаевым именно Жихареву как раз по этому поводу? Жихарев утверждает, что и он «пропал»².

Лишнее говорить, с источником какого свойства мы здесь имеем дело. Тут предпринята попытка доказать недоказуемое — будто Долгоруков, находившийся в явной оппозиции к властям, выступал как их союзник в борьбе против вольнодумца П. Я. Чаадаева. Однако хорошо известно, что П. В. Долгоруков был близким дру-

¹ Предисловие к сборнику: П. В. Долгоруков «Петербургские очерки», М.—Л., 1934, с. 8.

² «Вестник Европы», 1871, № 9, с. 48—49. Эта публикация М. Жихарева не заслуживает доверия еще и потому, что он в 1860—1863 гг., продолжая переписку с И. С. Гагариным, в то время ни ему, ни другим адресатам (до процесса о «шантажной записке») не выдвигал подобных обвинений против П. В. Долгорукова.

гом Гагарина — ученика и горячего последователя Чаадаева, принявшего участие в передаче его «Философического письма» Пушкину и издавшего его позднее за границей. К тому же к 1848 году, когда появилось пресловутое «Письмо Колардо», Долгоруков уже сам испытал на себе «карающую десницу». Известно, что за публикацию неугодных царской власти исторических сведений в книге «Заметки о главных фамилиях России» князь был сослан в Вятку.

О небезукоризненности исследований П. Е. Щеголева говорит и то, что он перепечатал в своих публикациях карикатуру, выпущенную недругами Долгорукова, где тот изображен в «дурацком колпаке» (на котором цифры «50 000» — сумма, будто бы вымоганная Долгоруковым у Воронцова «шантажной запиской»), с ослиными ушами, при орденах «Полосатого Осла» и «Дичи» на груди. Они там не случайно. Дело в том, что Долгоруков поместил в одном из своих изданий статью «Учреждение новых орденов», где опубликовал список главных царских сановников, достойных этих «наград» за тупость, рабление и дикость (в отместку и появилась, изданная Третьим отделением, огромным тиражом и распространявшаяся в России и за рубежом, карикатура).

Такой откровенно шельмующий шаг против Долгорукова Щеголев использовал для того, чтобы заявить: «Не правда ли, Долгоруков повторяет самого себя, и выдуманные им ордена Полосатого Осла и Дичи — повторяют — орден рогоносца?»¹.

Сказано все это было в очерке П. Е. Щеголева «Кто писал анонимные письма Пушкину?», напечатанном в «Огоньке» в 1927 году, № 42. Как раз там приводились материалы осуществленной по инициативе П. Е. Щеголева криминалистической экспертизы почерка, которым написан «диплом». По ее результатам именно П. В. Долгоруков был назван писцом «диплома ордена рогоносцев».

«Образцы» и «подлинники»

Стоит обратить внимание на еще одно противоречие в исследовании П. Е. Щеголева. Он утверждал, что образцом для анонимного пасквиля послужили заграничные дипломы, ссылаясь притом на «Воспоминания» В. А. Соллогуба. А он, в свою очередь, утверждал, что д'Аршиак — секундант Дантеса показал мемуаристу дипломы «на разные нелепые звания» и что «венское общество целую зиму (1835—1836 гг.) забавлялось рассылкой таких мистификаций».

В тех же «Воспоминаниях» сказано:

«...гнусный шутник, причинивший его [Пушкина] смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал...» Так ли это?

¹ «Огонек», 1927, № 42, с. 10: П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. М., «Книга», 1987, с. 432.

Обращаюсь к «Памятным заметкам» Н. М. Смирнова («Русский архив», 1882, № 2, с. 231) и нахожу там вот какой текст, который он счел «дипломом ордена рогоносцев» и который, по его сообщению, напечатанный в оригинале по-французски, и был прислан Пушкину:

«№№, канцлер ордена рогоносцев, убедясь, что Пушкин приобрел несомненные права на этот орден, жалует его командором оного...»

Но такой стандартный текст даже отдаленно не напоминает анонимный пасквиль. И все же подобно: явное недоразумение кочевало из одной рукописи в другую. Оно не имело бы места, обрати внимание на одно обстоятельство в хронике преддвульных дней. Дело в том, что, кроме «диплома ордена рогоносцев», Пушкин получил и стандартное «Уведомление» (курсив мой.— Г. Х.). Именно то, которое процитировал Н. М. Смирнов.

О том, что оно существовало и появилось до ноябрьского «диплома», известно давно из рассказа А. В. Трубецкого¹..., фигурирующего в работах многих пушкинистов. А он сообщал, что осенью 1836 года группа светских «шалунгов» рассылала по мужьям-рогоносцам именно стандартные письма-розыгрыши. Одно из них бесосновательно было послано и Пушкину. В такое «клише» требовалось только вписать фамилию «виновника» — и мистификация готова.

В набросках неизданной работы о «дипломе ордена рогоносцев» П. Е. Рейнбот упоминает о «первой серии печатных пасквилей» и что «4 ноября Пушкин получил новые анонимные письма» (курсив мой.— Г. Х.). Тот же исследователь подчеркивал: бланки «венского образца», т. е. «Уведомления», вовсе «серьезного значения не имеют». О том, что Пушкину присылали до подметного письма «Уведомление», сообщал П. В. Нащокин, указывая на наличие им такого «из первых рук».

Но подобного «Уведомления» никто из современных исследователей не держал в руках! Памятуя реплику В. А. Соллогуба о том, что кто-то из иностранных дипломатов привез в Петербург из Вены печатные образцы подобных «шутовских дипломов», обращаясь в Вену, к своему австрийскому коллеге-археографу Герману Загль и получаю оттуда ... отрицательный ответ. Таких документов в архивах своей страны он не нашел. Отрицательный ответ пришел и от моих коллег из Парижа. Но именно там может быть обнаружен «подлинник» «диплома ордена рогоносцев».

Мною установлено, что два таких экземпляра находились до его смерти в дуэльном архиве Пушкина. А сам он сообщал Бенкендорфу 21 ноября 1836 года о трех полученных им, одинаковых по форме и содержанию, «дипломах»².

¹ «Русская старина», 1901, кн. 2, с. 262.

² Пушкин. Полн. собр. соч., т. XVI, с. 191, 397, 398, 425.

Куда же девался третий? Неужто Пушкин его уничтожил? Нет, этот экземпляр видел у виконта д'Аршиака (секунданта Дантеса) граф В. А. Соллогуб — секундант (в ноябре 1836 года) Пушкина. Видел вместе с самим вызовом на дуэль. Но в ноябре 1836 года поединок не состоялся. А в январе 1837-го «диплом» уже не был прямым поводом к дуэли. Так он и остался у д'Аршиака, который уехал 2 февраля 1837 года из Петербурга, где был секретарем французского посольства, еще до суда над Дантесом, и увез с собой экземпляр пасквиля.

Д'Аршиак вскоре после возвращения из России трагически погиб на охоте.

Удастся ли в наши дни найти этот третий экземпляр анонимного пасквиля? Будем надеяться. Д'Аршиак был зятем маршала Э.-М. Жерара, главы ордена Почетного легиона. Быть может, французские литературоведы, историки, архивисты помогут нам отыскать в архиве маршала Жерара в бумагах д'Аршиака документы, относящиеся к дуэли Пушкина. Быть может, они внесут новые штрихи в разгадку тайны преддуэльной истории поэта.

Пока я обрадовался в Париж и в Вена, интересные находки ждали меня под боком... в Москве. Здесь в частной коллекции отыскалась стандартная, розыгрышная «Грамота за ничегонеделание». Затем в фонды Государственного музея А. С. Пушкина (в Москве) поступил литографический экземпляр «диплома» на звание «Кавалера Ордена Флюгера». Кажется, это то, что нужно! Текст в нем написан по-французски, на полях — эмблемы ордена. Он — из арсенала именно тех «светских розыгрышей», которыми забавлялись в конце XVIII и первой трети XIX века аристократы Вены, Петербурга, Парижа.

В «Дипломе ордена Флюгера» говорится:

«Господин [имя рек] доказал несомненные права на этот орден: своими политическими колебаниями, переменчивостью мнений, противоречивостью утверждений и, желая вознаградить двусмысленное колеблющееся поведение господина [имя рек], удостоиваем его званием Кавалера [или Командора] Ордена Флюгера». Диплом подписан Канцлером Ордена.

Текст и этого «розыгрыша» — стандартный, годный на все случаи. Все отмеченные выше обстоятельства и заставили меня предпринять новые розыски.

II. Новое прочтение

В рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом) находятся два экземпляра так называемого «диплома ордена рогоносцев». Один — полный, содержащий верхний пакет с адресом М. Ю. Виельгорского (в него и был вложен

пасквиль, на оборотной стороне которого начертано «Александрю Сергеичу Пушкину»), другой экземпляр — неполный, без верхнего пакета.

Они лежали в кабинете поэта¹, и копию с них еще до кончины Пушкина снял К. К. Данзас — его лицейский друг и секундант.

Сохранился лист бумаги, на котором рукой Данзаса переписан ряд документов, прямо относящихся к предыстории дуэли. Именно Данзас сравнил оба экземпляра «диплома», одинаковые по форме и содержанию. Он же передал копии П. А. Вяземскому — составителю «дуэльных сборников», достоверно раскрывающих подоплеку тех трагических событий².

Затем П. А. Вяземский осуществил (по экземпляру пасквиля, присланному на имя его жены) одно из первых графологических исследований «диплома». Но его вывод о том, что это подметное письмо — дело рук иностранца, не подтвердился.

Уже в советское время А. С. Поляков и П. Е. Рейнбот полагали, что если бы жандармы пожелали в самом деле разыскать виновных, именно печать, которой были закрыты пакеты, могла направить их на нужный след. Но «расследование», начатое в первой половине 1837 года III отделением, вскоре ушло в песок. Да и интересовал его вовсе не автор или инициатор пасквиля, а только переписчик.

В последние годы Ю. Плашевский в публикации в журнале «Простор» (1983, № 4, с. 177—184) «О происхождении пасквильного диплома» утверждал, что печать (как и сам пасквиль) масонская и принадлежала, возможно, Великой ложе «Астреи», хотя во главе ее стоял и друг поэта — М. Ю. Виельгорский.

Старейший научный сотрудник Эрмитажа Иван Георгиевич Спасский, которому я в свое время показывал фотографии оттисков этой печати, не признал здесь следов ни масонской, ни личной, ни служебной печати, настолько она перегружена символами. Итак, отводилась ли ей вообще какая-либо роль в задуманной травле поэта?

Нахожу нужные источники и принимаюсь «читать» то, что оттиснуто на сургуче, застывшем полтора века назад.

¹ Откуда были изъяты жандармами (в том числе и экземпляр, присланный М. Ю. Виельгорскому), которые завели дело «О присланных Пушкину безымянных билетах (записках)» (ОР ИРЛИ ПД), ф. 244, оп. 2, № 3.

² Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. III, М.—Л., 1928, с. 436; «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», П., 1924, с. 77—79.

Однако в своей монографии «Герцен против самодержавия», М., «Мысль», 1973, с. 261—262, 285, 289, 294 (точно так же, как в ее втором издании 1984 года и в книге «Пушкин. Из биографии и творчества», М., «Худ. лит.», 1987), состоящей больше чем наполовину из текста той же монографии, Н. Я. Эйдельман пишет о возможной причастности П. И. Миллера — секретаря шефа жандармов к копированию тех же документов, о «вероятном уничтожении» Пушкиным полученных им «дипломов» и передаче одного из них М. Ю. Виельгорским в III отделение. Эти утверждения, как следует из приведенных выше источников, не соответствуют действительности.

Например, две капли, похожие на пламенеющие сердца, означают: «Любовь двух сердец содеяла единое». Раскрытый циркуль может быть воспринят и в смысле: «Кто тайну знает, тот все имеет». Одновременно это и призыв к действию. Плющ — символ верности, привязанности и семейного благополучия. На оттиске плющ щиплет какая-то странная птица. Такое изображение, очевидно, намекало на нарушение семейного благополучия. Именно Пушкина — в рисунке печати есть литеры «А» и «П».

Принимая во внимание, что и сам поэт, и люди его круга, кому посылались экземпляры «диплома», скрепленные этой печатью, разбирались в значениях подобных символов, можно допустить, что печать должна была подчеркнуть содержание анонимного письма.

Почтовые печатки являлись в XIX веке неперменной принадлежностью обихода всякого грамотного человека. Заказывала их петербургская знать, как правило, в «Английском магазине» Никольс и Плинке. Здесь же многие покупали и тот сорт бумаги, на которой написан «диплом», потому она и не может быть признана уликой против определенного лица. Другое дело — почтовые аксессуары.

Хорошо известно, что подметные письма доставлялись Пушкину и его друзьям и знакомым по вновь введенной городской почте. Вместе с оттиском почтового штемпеля на пакете с адресом М. Ю. Виельгорского сохранилась и чернильная помета — «58». Не связана ли она с текстом штемпеля: «Городская почта, 4 ноя[брь] Утро)?

Ленинградский филателист М. Добин, собиратель и исследователь материалов по истории именно Санкт-Петербургской почты, в том числе и пушкинской поры, изучив штемпель и цифровую помету, сообщил мне, что пакет с пасквилом сдал вечером 3 ноября и пошел он в доставку утром 4-го. А помета «58» указывает на номер «приемного места» — мелочной лавки. Все существовавшие в то время в Петербурге «приемные места» (их было чуть больше ста) отправляли в среднем за день 400 писем, «закрыток» и билетов. Так что к «сидельцу» мелочной лавки (принимавшему плату за каждое из них) за день обращались 4—5 человек, и при необходимости он мог указать, кто, что и когда отправлял.

Помета, следовательно, являлась своеобразным «обратным адресом» определенного «приемного места». Жандармам это, конечно, было хорошо известно. Но они и туда не пошли, хотя, когда последовал приказ царя, было тотчас обнаружено, кто и откуда отправил по городской почте оскорбительную анонимку графу Орлову¹.

Возможно ли теперь, 150 лет спустя, определить, где, в каком районе Петербурга находилось 58-е «приемное место», чтобы узнать, откуда был отправлен М. Ю. Виельгорскому (единствен-

¹ Никитенко А. В. Дневник, т. I. М., 1955, с. 359.

ный с верхним пакетом, дошедшим до нас) экземпляр подметного письма?

Увы, поначалу все попытки исследователей выяснить таинственный адрес оказались тщетными. Помог случай. В рукописном отделе Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина мне посчастливилось обнаружить «Записку об отданных в Почтамт из приемных мест письмах II округа, ноября 1»¹. Год не указан, зато упомянуты фамилии почтальонов, количество сданных ими корреспонденций и сказано, что они были взяты из 55, 56, 57-го и, главное, 58-го «приемных мест». «Записка» составлена той же рукой, тем же почерком, что и помета «58» на интересующем нас пакете.

Далее оставалось лишь установить, что второй почтовый округ обслуживал территорию второй административной части Петербурга, в которую входил и его центр. Здесь и находилось 58-е «приемное место»². Тут, в центре столицы, заказывали и пасквильную печать. Выходит, следов и улик для сыска было предостаточно!

Нельзя пройти и мимо так называемого «конфиденциального» способа рассылки подметных писем, к которому тогда прибегали. Вполне приемлемый в деятельности ведомств и служб (верхний пакет — в их адрес, внутренний — на имя определенного чиновника), он у частных лиц при известных обстоятельствах вызывал замешательство, растерянность.

Явное несоответствие между сутью анонимного письма Пушкину (своего рода «общим извещением») и посылкой его под двойным пакетом уже само по себе таило каверзу. Впрочем, в «диплом» их была заложена целая «система». Ведь будь это «общее извещение», его следовало бы отправить открыто, дабы познакомить с ним как можно больше людей. А тут десяток адресатов — и двойные пакеты! Спрашивается, к чему все эти ухищрения?

Думается, посылка пасквиля узкому кругу лиц (друзьям и знакомым поэта) в двойных пакетах преследовала еще одну, основную цель — непременно столкнуть Пушкина с Дантесом. Анонимные враги Александра Сергеевича добились своего, ведь именно от друзей и знакомых он узнал (о чем и сообщал), что «семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом...», и они «все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением; но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса».

¹ ОР ГПБ, ф. 423, ед. хр. 418, л. 1.

² Объявление в «Приложении» к «Санкт-Петербургским ведомостям» от 23 марта 1833 г. сообщало, что это «приемное место» располагалось в Большой Коломне, в доме мещанина Фомина. Об этом сказано в «Пушкинском празднике» (25 мая — 7 июня 1987, с. 11) уже после выхода в свет моего очерка «По следам предвестника гибели», «Огонек», 1987, № 6, с. 20.

ТАБЛИЦА № 1

К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ № 1013/4197У года

37 36 13 53 12 22 1

12 2 28 6 12a 36a 23 50 12 21 20 49 8 2a 48 5 40 41 5 43 22 27 12a 8 36a 20 10 6

Les Grands Officiers Commandeurs et
 Chevaliers du Sereñissime Ordre des
 Saints réunis au grand Chapitre sous la
 présidence du vénérable grand-Maître
 de l'Ordre, S. E. L. Naryshkine, ont
 nommé à l'annuité Mr. Alexandre
 Souchaline adjointeur du grand Maître
 de l'Ordre des Loges et historiographe de
 l'Ordre.
 Le Président adjointeur: C. J. Morin

1 1822. 20 9 11 20 2 13 11

16 6 32 26 11

Фотом. № 1.

Эксперт _____

Текст «диплома» с пометами экспертов-почерковедов.

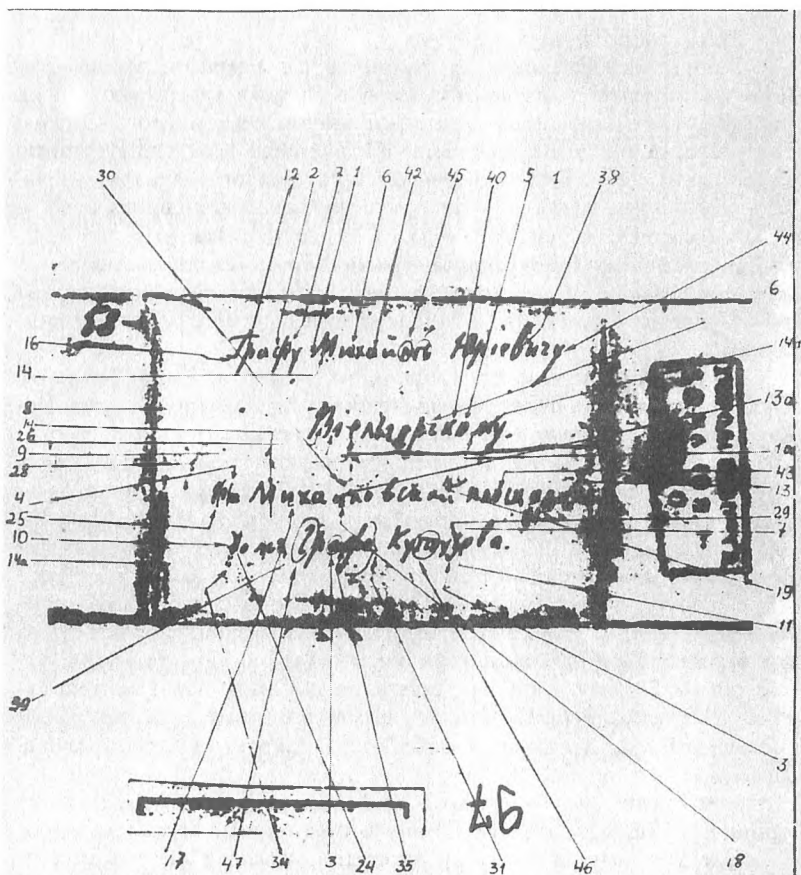


Фото №3 - Исследуемый адрес.

Синими стрелками отмечены различия, красными - совпадения
частных признаков почерка.

Эксперт М. Ю. Вильгорский

Исследование верхнего пакета
со штемпелем С.-Петербургской
городской почты и адресом
М. Ю. Вильгорского.

Дело умело вели к картелю.

Резонно предположить в данном случае и стремление анонимного пасквильянта подставить вместо себя ни в чем не повинных лиц. В этом заключалась одна из «функций» подметного письма. Получивший пакет на свое имя обнаруживал в нем внутренний, адресованный Пушкину, и оказывался перед альтернативой: вскрывать внутренний пакет или нет? Распечатавший становился невольным обладателем чужой тайны. А попытавшийся что-либо разузнать как бы сам превращался в распространителя клеветы. Наконец, переславшего (не вскрывая его) внутренний пакет адресату — Пушкину можно было при желании объявить самого клеветником.

Нечто подобное и произошло, например, с Е. М. Хитрово. Она, не распечатав, переправила Пушкину пакет с «дипломом». Позже, узнав о случившемся, написала ему полные отчаяния строки, уверяя, что «жестокий враг» преднамеренно хотел «заставить меня сыграть роль посредника». Она волновалась, отыскивая автора этой гадости. Публикатор и комментатор письма Т. Г. Цявловская высказывала мнение: Е. М. Хитрово «вообразила, что, пересылая оскорбительное письмо Пушкину через нее, аноним рассчитывал, что ее сочтут автором пасквиля»¹. И, зная нравы света, она была недалека от истины. Уже в 1837 году настойчиво допытывались: «Кто же эта известная нам женщина и как стала она орудием этой жестокости?» В мемуарной литературе ее называли даже «весьма активной» в клевете на Пушкина и его жену. Более того, утверждали, будто Е. М. Хитрово являлась «орудием этого ужасного злодеяния»².

Эти слухи были настолько стойкими, что П. А. Вяземскому пришлось защищать приятельницу и поклонницу Пушкина³.

Следует заметить: подбор адресатов выглядит отнюдь не случайным. Среди получивших двойной пакет с «дипломом» был и поручик К. О. Россет. Он вскрыл его, показал друзьям — И. С. Гагарину и П. В. Долгорукову и стал расспрашивать: не знают ли они, кто мог сочинить и подкинуть этот пасквиль?

Именно эти молодые аристократы, как мы знаем, затем были названы участниками фабрикации подметного письма.

Это обвинение заставляет нас вспомнить историю щеголевской экспертизы. Уже при отборе образцов почерка для исследований была допущена недозволенная «подсказка», ибо большую часть образцов составляли автографы именно Долгорукова. Гагаринских бумаг представлено три, а Луи Геккерн — только одна. Рукописные строки других современников отсутствовали.

¹ «Прометей», т. X, М., 1974, с. 257—258.

² «Литературное наследство», т. 58, М., 1952, с. 143.

³ «Русский архив», 1877, т. I, с. 514.

В эксперты Щеголев избрал А. Салькова — фельдшера по образованию, служившего до революции в полиции, где он занимался в основном дактилоскопией. В советское время, работая в научно-техническом бюро при Ленинградском губернском уголовном розыске, Сальков брался за самые разнообразные экспертизы, занимался также и изучением почерков.

Конечно, проводить подлинно научное исследование ему было не по силам. И тем не менее «сенсация» взяла старт 13 октября 1927 года на страницах ленинградской «Красной газеты» в заметке все того же А. Салькова «Автор анонимных писем Пушкину найден». «Не кто иной, — утверждалось в заметке, — как именно он, Долгоруков, представитель именитейшей дворянской фамилии, историк, публицист, журналист и эмигрант, писал эти анонимные письма».

«Заключение» Салькова, собственно, и легло в основу щеголевского очерка в «Огоньке» (№42, 1927 г.), который сразу подвергся резкой критике. Прочитав этот материал, нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин написал Щеголеву письмо, где, в частности, говорилось:

«На почерк П. В. Долгорукова совсем непохоже. Экспертиза Салькова напоминает ... экспертизу Бертильона в деле Дрейфуса»¹. Известно, что Бертильон нашел в тексте «шпионского документа», провокационно, безосновательно приписанного офицеру французской армии Дрейфусу, сходство с его почерком. Но при этом рассматривались только совпадения, характерные для многих лиц, учившихся писать в одно и то же время. И вовсе не принимались в расчет различия, благодаря которым как раз и выявляются признаки, характерные лишь для данного конкретного лица.

А. Сальков тоже обращал внимание лишь на совпадения, полностью обходя различия.

Чуть позже Г. В. Чичерина с критическими замечаниями относительно проведенной экспертизы выступил пушкинист М. Л. Гофман, а в 1931 году литературовед П. К. Губер отметил, что имя писавшего пасквиль установлено «при помощи далеко не всегда бесспорного графологического исследования»². Подобную же точку зрения высказывали в своих неопубликованных работах, посвященных «диплому», Б. В. Казанский и П. Е. Рейнбот. Последний подчеркнул, что «вопрос о его [П. В. Долгорукова] виновности *остается открытым...*». И все же, несмотря на это, контрольной криминалистической почерковедческой тщательной проверки выводов А. Салькова так и не было проведено. А обвинения против Долгорукова продолжали выдвигаться до наших дней на страницах монографий, романов, в фильмах, пьесах.

¹ Е. Литвин. «Неизвестное письмо Г. В. Чичерина». «Нева», 1976, № 12, с. 213.

² См. вступительную статью П. К. Губера к «Воспоминаниям» В. А. Соллогуба, М., 1931, с. 24; «Руль» (Париж), 1928, № 2219.

Имели, правда, место и неудачные попытки осуществить новую экспертизу. Взятая за нее по инициативе любителя-пушкиниста М. Яшина криминалист В. В. Томилин. Но вновь допустил явные нарушения основополагающих требований современного научного почерковедения. Эксперт искусственно сузил количество сравниваемых образцов, отобранные же опять-таки содержали не одну «подказку». Так, при изучении надписи на внутреннем пакете с пасквилом: «Александрю Сергеичу Пушкину» (ею, собственно говоря, и занимался В. В. Томилин) она заранее была окрещена «простолюдинской», и для ее исследования был представлен только образец почерка московского слуги Гагариных Василия Яковлевича Завязкина. Затем «подтверждалось», что надпись сделал именно он.

Естественно, возникла острая необходимость в осуществлении нового исследования. Оно проводилось при содействии редакции журнала «Огонек». Я обратился к директору Всесоюзного НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции СССР, доктору юридических наук А. Р. Шляхову. Он любезно согласился помочь, поручил исследование анонимного пасквиля старшему научному сотруднику этого института Г. Р. Богачикиной, обладающей большим опытом исследования почерков, в том числе Пушкина и других деятелей русской культуры XIX века. К исследованию была привлечена также старший научный сотрудник Киевского НИИСЭ, кандидат юридических наук С. А. Ципенюк.

Но для того, чтобы эти специалисты могли дать максимально точное заключение, им нужно было предоставить не только те материалы, которыми пользовался Сальков, но и дополнительно образцы почерков Долгорукова, Гагарина, других современников.

Добывал я их в отделах рукописей многих музеев и библиотек, в архивах. Там удалось отыскать образцы почерков Долгорукова, Гагарина, пригодные для изучения по самым строгим правилам и требованиям современного научного почерковедения. Среди них оказались документы 1836—1837 годов, написанные гусиным (Сальков пользовался позднейшими автографами Долгорукова и Гагарина) и стальным пером, на русском и французском языках.

Тем, однако, подготовительная работа перед проведением сложного анализа «диплома», надписей и адреса не исчерпалась. Необходим был консультант по французскому языку (для которого он являлся бы родным). Понадобились также консультации палеографов, специалистов по церковнославянскому языку и т. д.

Лишь после всего этого долгожданное контрольное исследование, наконец, состоялось, дав в итоге 31 машинописную страницу «Заключения специалиста». Привожу выдержки из него:

«На исследование поступили:

1. Фотокопии 2 экземпляров «диплома ордена рогоносцев» на французском языке, присланных на имя А. С. Пушкина.

2. Фотокопия адреса «Графу Михайль Юревичу Вьельгорскому. На Михайловской площади. Дом графа Кутузова».

3. Фотокопии двух надписей:
«Александрю Сергеичу Пушкину».

Исследованием требуется установить:

1. Кем, князем Долгоруковым Петром Владимировичем или князем Гагариным Иваном Сергеевичем, исполнены указанные выше тексты 2 «дипломов [ордена] рогоносцев», адрес и две надписи?

2. Обоснованно ли «Заключение» эксперта научно-технического бюро при Ленинградском губернском уголовном розыске А. А. Салькова, данное им в августе 1927 года?».

Первую цитирование, дабы засвидетельствовать, сколь трудным, кропотливым было исследование. Подтверждение тому — множество таблиц, фотокопии документов, испещренные условными знаками и множеством цифр. Ни одна деталь, ни один штрих, завиток, наклон в почерке не ускользнули от внимания экспертов. В результате почерковеды сделали совершенно определенный вывод:

«Поскольку подавляющее большинство букв в французских и русских (исследуемых) текстах являются скорописными, эти тексты, несомненно, пригодны для сравнения их с представленными скорописными образцами почерков П. В. Долгорукова и И. С. Гагарина».

Анализ почерка, которым написаны исследуемые документы, установил, что «оба текста и адрес выполнены одним лицом».

А это не оставило сомнений и в другом вопросе: русский, учивший адрес и надписи, воспроизвел также французский текст «диплома». Эксперт по французскому языку К. Фиц подтвердила нетвердое владение писцом «диплома» французской орфографией.

Теперь посмотрим, что поведали отдельные детали технического исполнения экземпляров пасквиля. В тексте большинство знаков скорописи первой четверти XIX века. Но там оказались и отдельные литеры русской скорописи XVIII века. Из этого можно вывести, что фабрикант анонимки имел как образец документ той поры о награждении русским царским — императорским орденом («диплом ордена рогоносцев» — каллиграфия подобного акта), и даже предположить, что тут использовали диплом к ордену «Св. Иоанна Иерусалимского», которого были удостоены И. Борх и Д. Л. Нарышкин, чьи имена приведены в анонимном пасквиале.

Немало примечательного открывается и в эмоциональной окраске текста анонимного пасквиля. Так, в одном его экземпляре после слов «историографом ордена» — несколько восклицательных знаков, а в конце выведен чрезмерный росчерк, который почтительно тогда проявлением неуважения, если он оказывался в письме, записке, посланных мужчине, а в письме к женщине и вовсе не допустимым.

Фабрикатор пасквиля осуществил и его корректуру: исправил первый инициал Нарышкина, переделав: «Д» из ошибочного «Л», а в надписи «Александру Сергеичу Пушкину» в имени поэта превратил «и» в «у». Но остались неисправленными «е» вместо «б» (в адресе на верхнем пакете), а в тексте (французском) «диплома» — вместо «j» осталось русское «у».

Долгое время все эти описки объяснялись тем, что адреса и надписи воспроизводил простолковый, только такой и мог якобы обозначить отчество поэта как «Сергеичу», а имя его друга М. Ю. Виельгорского — «Михайле».

Однако, по мнению заведующего отделом культуры русской речи Института русского языка АН СССР, доктора филологических наук Л. И. Сковорцова, такое употребление имени и отчества на письме позволяло продемонстрировать близость отношений с адресатами. Что и использовали пасквилянт, рассылая «дипломы» именно друзьям поэта, надеясь, что некоторые из них благодаря этому, не заподозрив ничего худого, перешлют письмо Пушкину. Так, например, поступил именно М. Ю. Виельгорский.

Все сказанное позволяет предположить, что составителем и писцом подметного письма скорее всего являлся один и тот же человек высшего света, для которого французский язык не был родным.

Но был ли это И. С. Гагарин или П. В. Долгоруков?

Тут следует снова представить слово специалистам-почерковедам. На их стол легли образцы почерков этих лиц за различные периоды жизни. Они установили, что особенности почерков Долгорукова и Гагарина в течение такого большого срока «устойчиво сохранились».

Но есть ли совпадения в образцах почерков Долгорукова и Гагарина с почерками «подследственных» документов? Совпадения, которые обнаружил Сальков, оказывается, как заметили современные криминалисты, бывают у самых различных лиц, учащихся грамоте в одно и то же время, по правилам одной письменности. Чтобы еще раз убедиться в этом, эксперты сравнили автографы Долгорукова и Гагарина с образцами почерков более пятидесяти их современников!

Результат — на множестве таблиц. Видишь, как скрупулезно сравнивались отдельные буквы, их элементы и т. п. И только после этого во ВНИИСЭ занялись сопоставлением совпадений «диплома» с почерками Долгорукова и Гагарина. Специалисты отметили, что «их объем и значимость» (в каждом сравнении отдельно) не составляют индивидуальной совокупности, характеризующей почерк одного, определенного лица».

Заключение ВНИИСЭ гласит: «Вывод эксперта Салькова в отношении исполнения ?! «дипломов [ордена] рононосцев» и адреса

«Графу Михайль Юрiевичу Виельгорскому» князем Долгоруковым не является научно обоснованным».

А вот что показало сравнение различных почерков Долгорукова и Гагарина и исследуемых документов. Оказывается, «различающиеся признаки устойчивы, существенны и образуют совокупность, достаточные для категорического вывода о том, что тексты двух «дипломов» и адрес «Графу Виельгорскому» выполнены не Долгоруковым В. П. и Гагариным И. С., а другим лицом». Тот же вывод сделан и в отношении двух надписей: «Александрю Сергеичу Пушкину»¹.

Так был получен отрицательный ответ на вопрос, занимавший не одно поколение исследователей, — написали ли Долгоруков или Гагарин собственной рукой «диплом», адрес и надписи на пакетах²?

...В течение ста пятидесяти лет полагали, что сравнение почерка все откроет, станет решающим в поиске пасквильянтов. В действительности же нашему коллективному изучению «диплома» суждено было сыграть в этом сложном деле лишь служебную роль, открыв дорогу для нового поиска, свободного от всякого рода прежних «сенсаций», «догадок», заблуждений и наслоений.

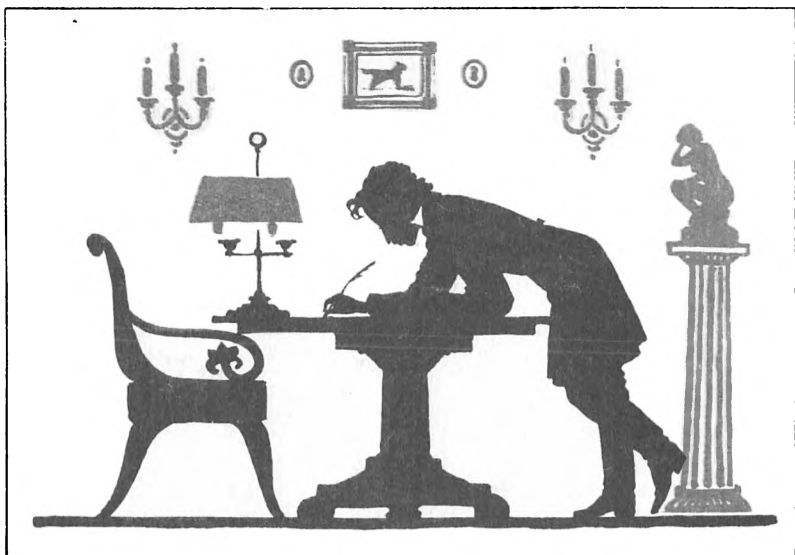
Кроме того, настоящее исследование позволило выяснить судьбу сохранившихся экземпляров «диплома» и дало немало таких сведений, которые помогут в конце концов найти действительного составителя и распространителя пасквиля, ставшего предвестником гибели Пушкина.

Установление его настоящего автора, возможно, поможет более полно и точно реконструировать важные звенья событий, которые привели национального гения к роковому барьеру на Черной реке.



¹ Богачкина Г. Р. Случай из практики исследования рукописей первой половины XIX века, выполненных на французском языке. «Экспертная практика и новые методы исследования», изд. ВНИИСЭ, М., 1975, с. 11—13.

² К сожалению, в недавно вышедшем массовым тиражом переиздании книги П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (изд. «Книга», 1987, с. 549) автор вступительной статьи и примечаний Я. Л. Левкович, с одной стороны, как бы признавая результаты новейшей экспертизы анонимного пасквиля, с другой — явно необоснованно оставляет открытым вопрос о причастности П. В. Долгорукова к техническому исполнению пасквиля, ссылаясь на то, что сохранились не все его экземпляры. Но ведь именно П. Е. Щеголев объявил П. В. Долгорукова фабрикатом «диплома» только по почерку сохранившихся его экземпляров! Да и другие мемуарные и прочие источники не дают оснований даже подозревать в том П. В. Долгорукова.



ПОРТРЕТНЫЕ РИСУНКИ ПОЭТА

(новые атрибуции)

А. Керцелли

Портретные рисунки Пушкина, во множестве встречающиеся в черновиках его рабочих творческих тетрадей, давно уже вызывают огромный интерес не только специалистов-пушкиноведов, историков русской литературы, искусствоведов, художников, писателей, пишущих о жизни и творчестве «первенствующего поэта русского», но и самых широких кругов читателей и поклонников пушкинского творчества, высоко оценивающих и искусство «быстро карандаша» поэта, и ту новую, подчас неожиданную информацию, которую дают нам рисунки его, будучи «расшифрованными», атрибутированными, то есть иконографически ото-

ждественными с тем или иным современником поэта.

Что же нового может сказать нам портретный рисунок Пушкина? Очень многое. Например, то, что Пушкин данного человека знал, если это до сих пор не было точно известно. И что человек этот чем-то интересовал поэта, а иногда можно узнать и чем именно он интересовал его тоже. И узнать, как человек этот выглядел, во что был одет, как причесан. Больше того, по рисункам мы можем узнать, как поэт относился к тому лицу, кого рисовал, в связи с чем он его вспоминал. По тому, как рисунок-портрет соотносится с текстом, его окружающим, мож-

но понять, имеет ли он отношение к поэтическим (или прозаическим, эпистолярным и проч.) строкам, возле которых находится. И если какое-то отношение имеет, то какое именно. Нередко рисунок помогает нам уточнить датировки находящихся возле него текстов или внести коррективы и в самое понимание этих текстов в случае, когда прочтение их было предположительным из-за плохой сохранности автографа.

Как видим, определение портретного рисунка Пушкина может оказать существенную помощь для уяснения отдельных фактов биографии самого поэта и фактов творческой истории создания отдельных его произведений. Иногда рисунок помогает нам точнее понять план или замысел того или иного произведения Пушкина, помогает уловить ассоциацию, проследить за ходом поэтической мысли, за поиском типа, характера литературного персонажа.

Наконец, в портретном рисунке наглядно и зримо проявляются та необыкновенная острота зрения и особая пластика воплощения, которые столь свойственны поэтическому гению Пушкина. Поэт поражает нас исключительной точностью воспроизведения характера модели при всей беглости, непроработанности и, как мы сказали бы сейчас, эскизности самого рисунка. Пушкин никогда не рисовал с натуры и почти всегда передавал не просто внешность, но существо образа изображаемого человека. Точка-глаз как живой смотрит на зрителей острым взглядом Ермолова, Грибоедова, Молостова. Пара

черточек вверх, пара черточек вниз, еще несколько легких штрихов — и перед нами оригинальное, с полуприкрытыми, опущенными долу глазами лицо хорошо знакомого Пушкину графа Канкрин, министра финансов.

Самый факт, что в беглых, «черновых» пушкинских рисунках-портретах, сделанных им для себя самого на полях или прямо по тексту в рабочих тетрадях, мы узнаем сегодня более полутора веков назад ушедших людей, знакомых нам часто по одному какому-нибудь дошедшему до нас их изображению, сам по себе уже некое чудо, которое возможно лишь потому, что рисунок Пушкина дает нам, как правило, образ-характер, образ-тип, а не формальную копию натуры. Именно это обстоятельство позволяет нам и сейчас вводить в галерею образов узванных нами в рисунках Пушкина людей все новые лица его друзей и знакомых, далеко не так хорошо нам известные, как лицо князя Вяземского, например, или Дельвига, или Рыльева, С. Трубецкого.

Предлагаю читателям познакомиться с двумя такими атрибутами рисунков Пушкина, изображающих приятелей поэта, прежде нам по его графике незнакомых.

Памфамир Христофорович Молоствов

Так уж устроена наша память, что впечатления, дружбы, общения юных лет и ранней молодости остаются жить в ней образами, не утрачивающими со временем ни своего очарования,



Рисунок
Пушкина.
1828 г.

П. Х. Молоствов.

ни остроты. Особенно если впечатления эти и дружбы несли в себе яркость и новизну. Таким именно было дружество еще только вступавшего в зрелую жизнь Пушкина с молодыми офицерами лейб-гвардии Гусарского полка, расквартированного в ту пору в Царском Селе, с которыми поэт сблизился, еще будучи воспитанником Лицея.

Блестящие гусары, задававшие тон в среде светской сто-



Рисунок
неизвестного
художника.
1821 г.

П. Х. Молоствов.

личной молодежи, привлекали юного Пушкина не только своим романтическим молодецеством, лихостью кутежей и отчаянностью проказ. Среди них немало было участников Отечественной войны 1812 года и последовавших заграничных походов 1813—1814 годов, и боевые ордена на их мундирах, создававшие вокруг них ореол славы минувших побед и сражений, высокая образованность многих из этих молодых людей, интерес их к поэзии и наукам, а главное — нечто новое, необщепринятое в их суждениях, взглядах и устремлениях — все это неотразимо притягивало к себе жаждавшего героики и новизны поэта. Он мечтал о высоком парении духа и мысли, а в кругу своих новых взрослых приятелей его острый ум отметил сразу же корнета Петра Яковлевича Чаадаева — личность исключительно незаурядную, и тогда уже поражавшего всех оригинальностью мышления и нестандартностью суждений, будущего автора знаменитых «Философических писем», а также несколько других неординарных, колоритных фигур, привлекательных для молодого поэта независимостью поведения и образа мыслей.

«Зародыш сознания обязанностей гражданина сильно уже начал выказываться в моих мыслях и чувствах»,¹ — очень точно сказал впоследствии в своих «Записках» декабрист С. Г. Волконский о новых представлениях, новом сознании возвратившихся из европейских походов образованных молодых офицеров. И еще лучше этот новый дух, эти новые веяния передал

¹ Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста). СПб., 1902. — С. 387.

им своего приятеля как человека острого и умного. Известное четверостишие под названием «К портрету Молодцова», авторство которого окончательно не установлено, но издавна приписывалось Пушкину, с того прямо и начинается: «Не большой он русский барин, / Дурком он не был век...»

Памфамир Христофорович Молодцов (1793—1828) принадлежал к старинному дворянскому роду и официально числился помещиком Казанской губернии. Незадолго до начала Отечественной войны, в декабре 1811 года, Памфамир Молодцов был переведен из эстандарт-юнкеров Кавалергардского полка в лейб-гвардии Гусарский полк корнетом. С этим полком он прошел сражения 1812 года, участвовал в последовавших заграничных походах, побывал в Париже. Возвратившись в Россию, Молодцов продолжал служить в Царском Селе, где судьба и свела его с Пушкиным-лицеистом.

В 1823 году Молодцов вышел в отставку в чине полковника и, по сообщению Н. Г. Молодцова, «жил постоянно в Петербурге, в своем доме на Сергиевской улице». В этом доме, продолжает Н. Г. Молодцов, «старые товарищи принимались [им] на совершенно свободную, холостую ногу. Знакомство с поэтом, благодаря уму и образованию Молодцова, скоро перешло в столь близкие отношения, что Пушкин стал часто бывать у него в доме, а впоследствии был с ним в переписке. В этот-то период... и было написано сохранившееся четверостишие...

Не большой он русский
барин...».

«Портрет П. Х. Молодцова,— пишет далее Н. Г. Молодцов,— принадлежит ныне его племяннику В. Т. Молодцову, живущему в Петербурге. Стихи Пушкина написаны им на обороте этого портрета карандашом. Письма же Пушкина, хранившиеся у В. Т. Молодцова в его селе Никольском, сгорели в пожар 1840 года»¹.

За отсутствием документальных данных, подтверждающих то, о чем здесь говорится, мы не можем, конечно, все рассказанное принимать за достоверность. Но и не верить всему тоже, наверное, не должны. Пушкин дружил с Молодцовым в дорогое для него царско-сельско-лицейское время. Судя по собственным стихотворным признаниям поэта, Молодцов в тот период его жизни занимал в ней особое — и немалое — место. Но в 1820 году, как известно, Пушкина выслали из Петербурга на юг, летом 1824 года отправили из ссылки южной в ссылку в Михайловское, и лишь в мае 1827 года поэт возвращается наконец в столицу. Была ли когда-нибудь, не была переписка у Пушкина с Молодцовым — сказать сейчас не предположительно трудно, поскольку ни письма, ни безусловно доказательные свидетельства об их существовании до нас не дошли. Но дошли зато стихотворные пушкинские строки, не оставляющие сомнений в том, что память о Молодцове у поэта все эти годы оставалась живою и яркой.

¹ Молодцов Н. Г. Четверостишие А. С. Пушкина к портрету П. Х. Молодцова.— «Русский архив», 1898. М., кн. вторая.— С. 332.

В июле 1828 года Памфамир Христофорович Молоствов умирает. Весть об этом должна была как-то коснуться души поэта, так чутко отзывавшегося всегда на утраты — на уход друзей и приятелей прежних лет, добрых старых знакомых. Отозвался ли как-то Пушкин на смерть Молостова? До сих пор сказать что-либо об этом наверное было трудно.

Но вот в черновиках неоконченной повести «Гости съезжались на дачу» (ПД 838, л. 33), относящихся к августу — началу сентября 1828 года, внимание наше привлёк карандашный рисунок — интересный профильный мужской портрет человека относительно еще молодого, черты лица которого показались хорошо знакомыми.

Идентифицировать иконографически этот пушкинский рисунок с Памфамиром Христофоровичем Молоstoffом представляется нам возможным по портрету Молостова 1821 года работы неизвестного художника, выполненный итальянским карандашом в три четверти оборота влево. Ракурс этот очень удобен для сопоставления с пушкинским рисунком — профилем влево, позволяющим увидеть точно такой же, как на портрете неизвестного художника, сделанном, вероятно, с натуры, рельеф мелко выющихся тугими кольцами волос с выступающим резко на лоб мыском, тот же лоб, ту же четко прорисованную тонкую и длинную «низкую» бровь, глубоко посаженные миндалевидные глаза с внимательным, умным, сосредоточенным взгля-

дом и прямой тонкий нос, слегка заостренный на конце.

Портрет на черновике, к сожалению, не слишком отчетливо виден, но облик, но образ воспринимается сразу же как изображение Молостова. Колебаний, сомнений, как часто бывает при атрибуции лица, впервые в рисунках Пушкина определяемого, этот портрет не вызывает. Да и обстоятельства, связанные с его появлением именно в это время, достаточно однозначны — портрет нарисован поэтом спустя самое малое время после кончины П. Х. Молостова, скорее всего в августе.

Портрет этот, кстати, может служить одним из существенных косвенных свидетельств того, что Пушкин виделся с Молоstoffом в последние годы его жизни. Изображен Памфамир Молоstoff на нем не в мундире; черты лица его уже утратили ту свойственную молодости округлость, которую еще можно видеть на портрете 1821 года; они скорее заострены, хотя бывший гусар далеко и не стар еще; выражение лица его очень серьезно и если не грустно, то как-то торжественно, что ли.

Портрет, безусловно, удался Пушкину — он похож, выразителен и даже драматургичен. Но при всем том это какой-то «тихий» портрет. Тихий, несмотря на динамику рисунка, на живой острый взгляд цепких глаз, на молодую еще буйнокудрявую шевелюру... Видно, небезоблачно было на сердце поэта, когда рисовал он его в своей тетради, — начало уходить поколение храбрых в боях, прямодушных в суждениях, не-

зависимых в поведении и поступках недавно еще молодых людей с нетерпеливыми душами.

Но те, которым в дружной
встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал...

Николай Дмитриевич Киселев

Жизнь великого человека неизбежно оказывается связанной с жизнью его выдающихся современников, сопряженной с их деятельностью, их идеями, их трудами. Великий поэт привлекает к себе крупнейших ученых, мыслителей, литераторов, государственных и общественных деятелей своего времени и, конечно, поэтов. Другими, приятелями, корреспондентами и знакомыми Пушкина были Жуковский и Вяземский, Рылеев и Дельвиг, Грибоедов и Гоголь, Чаадаев и Батюшков, Волконский, Раевские, Баратынский, Мицкевич... И Пушкин их всех рисовал. Рисовал для себя, обычно — в своих черновых рабочих тетрадях. Рисовал, потому что думал о них, вспоминал, восхищался их сочинениями или полемизировал, наоборот, в чем-то с ними не соглашался. Они все неотъемлемы от его умственной жизни, от духовной и художественной его работы; они его питательная среда, его творческие импульсы и потенции. Но не только они одни вызвали интерес и творческое внимание поэта. В повседневной жизни своей он знакомился, и дружил, и любил и людей обыкновенных вполне, не вли-

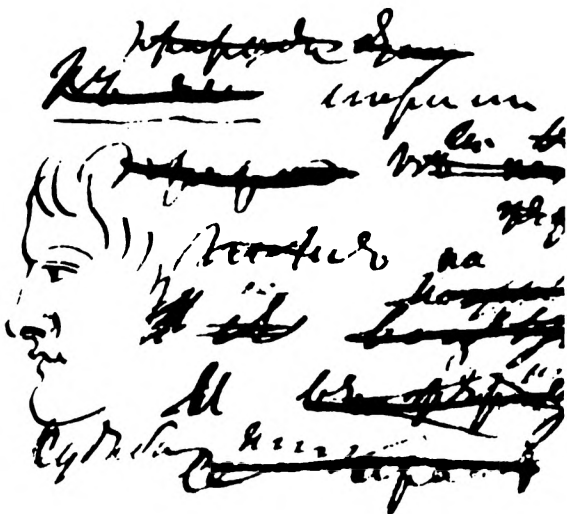
явших на судьбы отечественной истории и литературы. Как никто другой ценил Пушкин в людях, его окружавших, доброту, безыскусственность, чуткость, благородство мыслей и поведения, непосредственность, живость — и особенно — остроумие, чувство изящного, красоты вообще, чувство пластики слова.

Пушкин преданно, нежно любил Павла Воиновича Нащокина, самого близкого своего друга последних лет жизни, который не был отнюдь ни писателем, ни философом, ни героем, стяжавшим военную славу, но который умел оставаться таким, каков есть, при любых обстоятельствах и поворотах фортуны, имел верное сердце, открытую душу и был другом друзьям своим и в беде их, и в славе, и после их смерти.

Пушкин ценил, уважал и любил Прасковью Александровну Осипову (в первом браке Вульф), хозяйку Тригорского и Малинников, прочно связанных с биографией множества пушкинских сочинений. Живя по большей части в провинциальной глуши Псковской и Тверской губерний, Прасковья Александровна в самые тяжкие для поэта годы правительственных гонений создавала ему в кругу своей семьи, своих родственников и знакомых обстановку, максимально благоприятную и для самочувствия вообще, и для занятий работой творческой.

Немало было в жизни поэта и других людей, с которыми связывали его узы дружбы, любви, симпатии, обоюдного интереса и просто товарищества, не менявшихся с годами, не уxo-

Н. Д. Киселев.
Рисунок
Пушкина.
1828 г.



Н. Д. Киселев.
Фотография.

дивших. А были и люди, общение с которыми, очень тесное поначалу, со временем прекращалось — жизнь уводила их, отнесила куда-то в сторону, где не было уже ни самого поэта, ни того, что их некогда связывало, объединяло.



Одной из таких фигур в биографии Пушкина был Николай Дмитриевич Киселев, близкий друг и хороший знакомый Н. М. Языкова, Грибоедова, петербургских Олениных, А. О. Смирновой.

Николай Киселев познакомился с Пушкиным, по всей видимости, в Москве, но по-настоящему сблизился с ним весной 1828 года в Петербурге, куда он приехал после второй своей поездки в Персию. Товарищ Языкова по Дерптскому университету, родной брат хорошего знакомого Пушкину по Москве Сергея Дмитриевича Киселева, женившегося в 1829 году на младшей из сестер Ушаковых, московских приятельниц Пушкина, Елизавете Николаевне, а в бытность поэта в Москве вместе с ним постоянно бывавшего у Ушаковых на Пресне, — Николай Киселев обладал, надо думать, не только живым и общительным характером

и приятной наружностью, но и скромностью, тактом и очевидной порядочностью при обаянии светского образованного человека, делавшими его общество привлекательным для Мицкевича, Пушкина, Грибоедова, Вяземского, в чей тесный дружеский круг он был принят как равный.

Вот что рассказывал Киселев о себе Александре Осиповне Смирновой (Россет):

«Моя мать никогда не могла утешиться после смерти моего старшего брата Александра, который был убит в шестом году во время войны с турками... Брак моего брата Сергея (Сергея Дмитриевича Киселева.— А. К.) ей не нравился, это удалило его от семьи. Мой брат Павел (Павел Дмитриевич Киселев, генерал, крупный государственный деятель.— А. К.)... проделал все походы, и вся привязанность моей матери сосредоточилась на мне. После заключения мира Павел вернулся в Москву и сказал мне, что так как у меня нет состояния, я должен сделать карьеру, что в наше время — нужно учиться... Я очень хорошо знал по-латыни. Он сказал, чтобы я изучил греческий. Он нашел очень хорошего учителя с греческого подворья и сказал мне: «В восемнадцать лет ты поедешь в Дерпт для изучения классических наук, это лучший университет». Я поехал туда с Языковым, который имел рекомендательные письма к профессору Мойеру»¹.

¹ Смирнова-Россет А. О. Автобиография (неизданные материалы). М., 1931.— С. 201.

И чуть далее: «... Я слушал курсы философии и филологии в Дерпте... Дерпт был для меня великой школой, там я начал понимать музыку. ... Мой вкус к живописи развился тоже у Мойера...

...Я с грустью покинул это пристанище (Дерптский университет.— А. К.), расстался с лучшим своим другом Языковым. Я был первым, которому он прочитал свои ранние произведения. Он направился в Москву, а я и мой верный Михайло поехали в Петербург. Я никого там не знал... Благодаря Языкову познакомился с Пушкиным... Грибоедов был другом нашего дома, он хотел увести меня с собой в Персию, но граф Нессельрод велел ему взять Мальцева и сказал ему: «Я берегу маленького Киселева для большого посольства в Риме или Париже, он в совершенстве знает французский язык. У него есть такт, у него приятный характер, и он всюду сумеет приобрести друзей»¹.

Не исключено, что этот пересказ Смирновой содержит неточности, возможно даже идущие от самого рассказчика, но он все-таки неплохо знакомит нас с молодым дипломатом, ранней весною 1828 года приехавшим в Петербург и вскоре ставшим полноправным членом дружеской компании Пушкина, Грибоедова, Вяземского, Мицкевича, Алексея Оленина-сына. Николай Киселев постоянно участвует в их беседах, встречах, поездках за город. Так же

¹ Там же.— С. 202—203.

как Пушкин, Мицкевич и Вяземский, Киселев — неременный гость в доме Олениных. Имя его довольно часто упоминается в дневниковых записях дочери хозяина дома президента Академии художеств и директора Императорской Публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина, Анеты Олениной, которая признается в них, что охотно вышла бы за Киселева замуж, хотя он и «не такая большая партия». (Заметим, что было это почти в то самое время, когда за нею очень ухаживал Пушкин, мечтавший видеть ее своею женой.) Киселев же как будто отнюдь не стремился соперничать с Пушкиным. А. А. Оленина в дневнике своим воспроизводит откровенный разговор с близким другом их дома Иваном Андреевичем Крыловым, который, по свидетельству Анны Алексеевны, сказал ей: «... Я желал бы, чтобы Вы вышли за Киселева, и, ежели хотите знать, он сам того желает. Но он и сестра (Варвара Дмитриевна Полторацкая, рожденная Киселева, жена дяди Олениной Алексея Марковича Полторацкого, сестра Н. Д. Киселева. — Л. К.) говорят, что нечего ему соваться, когда Пушкин того же желает»¹.

Как бы там ни было однако, но Киселев к А. А. Олениной не сватался и отношения его с Пушкиным оставались неомраченными. Анна Алексеевна же весьма сожалела о нерешительности Николая Дмитриевича. «Жаль, очень жаль, — записала она в дневнике, — что не знала я этого (что Киселев

к ней равнодушен и не прочь был бы на ней жениться. — Л. К.), а то бы поведение мое было иное»¹. По всей вероятности, он все же очень ей нравился, потому что «большой партией» Киселев в ту пору действительно не был.

Любопытен в этом отношении один из рассказов Н. Д. Киселева, записанный с его слов А. О. Смирновой: «Я лишь раз был в Царском Селе и ничего не видел. Я был слишком беден, чтобы позволить себе прогулку в экипаже, и я пришел туда пешком с Пушкиным, который такой же прекрасный «capitaine d'infanterie»², как и я»³.

Об участии Н. Д. Киселева в увеселительной поездке морем в Кронштадт 25 мая вместе с Олениными, Пушкиным, Грибоедовым, Шиллингом говорится в письме П. А. Вяземского к жене от 26 мая 1828 года.

Май и июнь были временем чуть ли не каждодневных встреч дружеской компании Грибоедов — Мицкевич — Пушкин — Вяземский..., и в черновиках пушкинских рукописей этой поры можно видеть портретные зарисовки друзей его — членов тесно спянного кружка: Грибоедова (ПД 838, л. 13), Мицкевича (ПД 838, л. 14 об.), Киселева (ПД 838, л. 24 об.).

Портретного изображения Николая Дмитриевича Киселева, сделанного пушкинскою ру-

¹ Там же.

² Капитан пехоты (фр.).

³ Смирнова-Россет А. О. Автобиография (неизданные материалы). М., 1931. — С. 208.

¹ Пушкин. Исследования и материалы. М. — Л., 1958, т. 2. — С. 262.

кою, до самого последнего времени нам известно не было, хотя с трудом верилось в то, что его и вправду нет среди многочисленных рисунков поэта, запечатлевшего в них очень многих добрых друзей своих и хороших знакомых, оставивших сколько-нибудь заметный след в его жизни.

В 1828 году Николай Киселев был молод, обаятелен, хорош собою, и портрет его должен бы был, как казалось, найтись без особых трудов и сомнений, тем более что черты лица его, известные нам по изображению, пусть позднейшему, но зато фотографическому, то есть собственно документальному, отличались особой, запоминающейся характерностью. Увы, это только казалось. На самом же деле не один и даже не десять раз лист фотокопии с портретом Н. Д. Киселева был просмотрен и отложен в сторону, пока наконец рисунок не был узнан. Говорят, когда что-то старательно, долго и ревностно ищешь — находишь всегда неожиданно. Это верно. Искать некое определенное лицо среди великого множества разбросанных по рукописям пушкинских рисунков — значит в первую очередь постепенно сужать площадь поиска, приближаясь неуклонно к тем листам рукописей, где тебя ждет встреча с тем, кого ищешь. А когда просматриваешь черновики 1828 года, в которых определено уже столько портретов и в которых неузнанными осталось сравнительно не так уж много портретных изображений, надежды на скорый успех поиска возрастают. Но проходит время — и часто немалое — пока рисунок

не «откроется» наконец. И всякий раз почти — неожиданно. Будто проявляется вдруг что-то невидимое до того — и живым и знакомым становится взгляд; губы, бровь, подбородок, весь абрис лица узнаются, как бы только подсказанные рисунком, а вообще-то давно уже знаемые...

Молодой дипломат Николай Дмитриевич Киселев изображен Пушкиным в профиль, лицом к левому — более широкому — полю тетрадного листа, где за несколькими черновыми строками из «Полтавы» следуют строки стихотворения «Рифма, звучная подруга...». Рисунок сделан чернилами, по всей вероятности, раньше «полтавских» строк о дочери Кочубея, которые его с трех сторон окружают. Строки эти (*[[Природа] странно воспитала / Ей душу в тишине степей / И жертвой пламенных <страстей> / Судьба Нат <алью> назначала*) вплотную подходят к портрету, тщательно его огибая, и это дает основание думать, что портрет появился до текста. А если это так, если портрет Киселева действительно был нарисован поэтом еще до стихов, среди которых мы его находим, то датировка его, очевидно, должна быть более ранней, чем датировка текста (предположительно, вторая половина августа — сентябрь 1828 года), и это прекрасно увязывается с тем, что нам известно о пребывании Н. Д. Киселева весной — летом 1828 года в Петербурге.

... Мягкий, внимательный взгляд умных глаз, выдающийся крупный мужской подбородок, характерно изогнутая линия рта. Оригинальное, привлека-

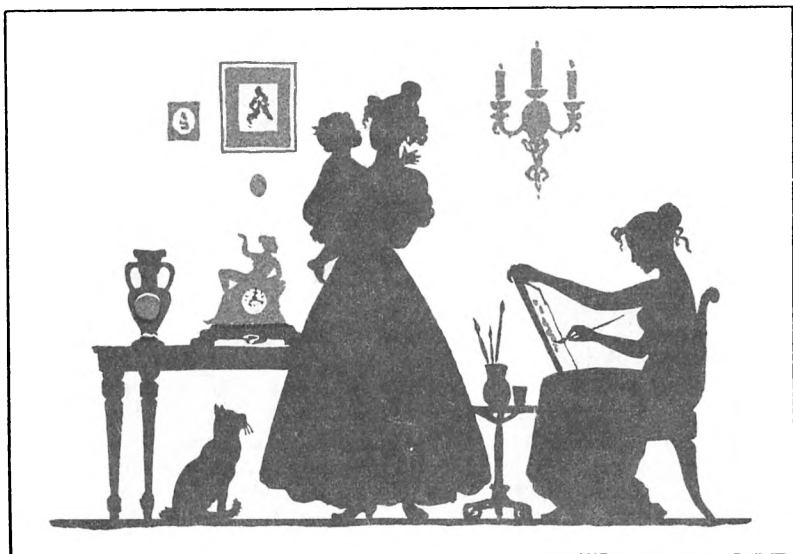
ране поэта, чей профиль, по счастливой привычке запечатлеть на бумаге лица друзей своих, он дважды нарисовал летом 1828 года над начальными строками «Предчувствия».

А Николая Дмитриевича Киселева, молодые прекрасные глаза которого и сегодня, как

полтора века назад, задумчиво глядят куда-то вдаль с чернового листа пушкинской рукописи, еще долго носила по свету многосуетная дипломатическая судьба его — Лондон, Париж, Рим, Флоренция...

Умер он в 1869 году в Италии.





О ЧЕМ ПОВЕСТВУЮТ АКВАРЕЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ...

И. Зильберштейн

1

Парижские находки

Еще до поездки во Францию я располагал сведениями о том, что туда в различные времена перекочевало немало превосходных акварелей, изображающих русских людей первой половины прошлого века — эпохи расцвета отечественной акварельной живописи. Знал я об этом, в частности, из каталогов ретроспективных выставок русского изобразительного искусства, которые были организованы в 1920—1940-х годах за границей, причем не только во Франции, — парижские коллекционеры посылали принадлежавшие им русские акварели на выставки и в Англию и в Бельгию. О том, что им известно местонахождение таких портретов, мне сообщали и зарубежные корреспонденты.

Десять лет тому назад даже удалось получить для Третьяковской галереи одну из этих акварелей — портрет, исполненный Николаем Бестужевым в Читинском остроге в 1828 году и изображающий декабриста И. А. Анненкова в тюремной камере на фоне окна с решеткой (акварель поступила от его правнучки Е. И. Блю-

мер, жившей в Париже; впервые опубликована в моем исследовании «Николай Бестужев и его живописное наследие. История создания портретной галереи декабристов»).

Находясь во Франции и ознакомившись с некоторыми художественными коллекциями русских парижан, я воочию убедился в том, как много в них собрано портретов кисти лучших русских акварелистов прошлого века. Среди этих портретов имеются и такие, которые примечательны в иконографическом отношении, так как изображают людей, которых знал и с которыми встречался Пушкин. Одни из них были ему симпатичны, других он любил, третьих выносил с трудом и, возможно, ненавидел.

О двух обнаруженных мною в Париже акварельных портретах — Марии Волконской и Идалии Полетики — я рассказал в очерках «Воспетая Пушкиным» и «Зловещая красавица». Теперь расскажу, о чем повествуют три другие акварели. Они не только дают яркое представление о том, каким был облик трех знакомцев Пушкина, но и в некоторой степени помогают понять отношение поэта к каждому из них.

1. «ГЕРОЙ» НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ДУЭЛИ ПУШКИНА

Знаете ли вы, дорогие читатели, что на протяжении своей столь недолгой жизни Пушкин, не считая последнего рокового поединка с Дантесом, дрался на дуэли еще по крайней мере трижды? Немало могло быть и других дуэлей, но их так или иначе удалось предотвратить.

Из числа дуэльных историй Пушкина, разыгравшихся в Петербурге в 1818 — начале 1820 года, одна из них по странному стечению обстоятельств была у Пушкина с его близким другом В. К. Кюхельбекером. Человек предельно обидчивый, он рассвирепел из-за написанного Пушкиным четверостишия, которое заканчивалось словами:

...Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно —

и потребовал удовлетворения. Пушкин все превратил в шутку, начав с того, что сказал секундантам, чтобы они отошли в сторону, так как Кюхельбекер, целясь в него, обязательно попадет в них. Тот, конечно, промахнулся, а Пушкин выстрелил в воздух.

В те же недели Пушкин вызвал на дуэль своего лицейского товарища барона Модеста Корфа, который побил его слугу Никиту. По словам племянника поэта Л. Н. Павлищева, на письменный вызов Пушкина Корф ответил запиской: «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер» (подлинник по-французски).

Третье известное в литературе столкновение, едва не кончившееся дуэлью, произошло у Пушкина в театре с майором Денисевичем. Лишь благодаря вмешательству И. И. Лажечникова Денисевич вынужден был на следующий день извиниться перед Пушкиным. Двенадцать лет спустя Лажечников, посылая Пушкину свой роман «Последний Новик», писал ему: «Волею, или неволею, займу несколько строк в истории Вашей жизни. Вспомните малоросца Денисевича с блестящими, жирными эполетами и с душою трубочиста, вызвавшего Вас в театре на честное слово и дело за неуважение к его высокоблагородию; вспомните утро в доме графа Остермана, в Галерной, с Вами двух молодых гвардейцев ростом и духом исполинов, бедную фигуру малоросца, который на вопрос Ваш: приехали ли Вы в о в р е м я? отвечал нахохлившись, как индейский петух, что он звал Вас к себе не для благородной разделки рыцарской, а сделать Вам поучение, како подобает сидети в театре, и что маиору неприлично мериться с фрачным; вспомните крохотку-адъютанта, от души смеявшегося этой сцене и советовавшего Вам не тратить благородного порошу на такой гад и шпор иронии на ослиной коже. Малютка-адъютант был Ваш покорнейший слуга — и вот почему, говорю я, займу волею или неволею строчки две в Вашей истории. Тогда видел я в Вас русского дворянина, достойно поддерживающего свое благородное звание; но когда узнал, что Вы — Пушкин, творец «Руслана и Людмилы» и столь многих прекраснейших пьес, которые лучшая публика России твердила с восторгом на память, тогда я с трепетом благоговения смотрел на Вас и в числе поклонников приносил к треножнику Вашему безмолвную дань».

Наконец, в январе 1820 года, узнав о клевете, распространенной о нем, Пушкин дерется в Петербурге на дуэли с противником, имя которого осталось неизвестным.

А сколько дуэльных историй было у Пушкина в 1820—1824 годах во время пребывания на юге! Вот некоторые из них.

В начале июня 1821 года он в Кишиневе вызвал на дуэль офицера Дегильи, но тот отказался драться. В ответ поэт пишет 6 июня 1821 года предельно резкое письмо. Вот его текст: «К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера. Недостаточно быть трусом, нужно еще быть им в открытую. Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания; не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины, не компрометируют дважды своего секунданта, ни генерала, который удостоивает чести принимать негодяю себя в доме. Все то, что случилось, я предвидел заранее и жалею, что не побился об заклад. Теперь все конечно, но берегитесь. Примите уверение в чувствах, какие вы заслуживаете. 6 июня 21 г. П у ш к и н. Заметьте еще, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли» (подлинник по-французски).

В тот же день поэт рисует карикатуру, изображающую Дегилю без брюк, — видимо, после испуга, случившегося вслед за вызовом на дуэль. — под рисунком по-французски пишет: «Жена!.. Мои штаны!.. а дуэль-то моя!.. Ну да пускай сама выходит из положения как хочет, раз штаны носит она...» (О женах, которые командуют мужьями, французы говорят, что они «носят штаны».) Вполне вероятно, что поэт не делал секрета из этой карикатуры и показывал ее тем, кто знал в Кишиневе трусливого офицера.

В том же Кишиневе у Пушкина произошла дуэль с полковником С. Н. Старовым, командиром Егерского полка. 5 января 1822 года на вечеру в клубе Пушкин попросил музыкантов играть мазурку, а какой-то офицер Егерского полка — кадрили. Музыканты, зная, очевидно, Пушкина как человека щедрого, стали играть мазурку. Считая, что Пушкин оскорбил офицера его полка, присутствовавший в клубе Старов потребовал извинений. Поэт отказался извиняться. Оставался один выход — дуэль. На следующий день в метель с сильным ветром она состоялась. Первыми выстрелами обменялись на расстоянии двенадцати шагов — промах у обоих. Вторыми на расстоянии двенадцати шагов — также промах. Дуэль была отложена. Заехав по дороге домой к А. П. Полторацкому, Пушкин, не застав его, написал экспромт:

Я жив,
 Старов
 Здоров.
 Дуэль не кончен.

И хотя было решено возобновить дуэль после наступления хорошей погоды, Полторацкому на следующий день удалось помирить противников в ресторане Николетти. «Я всегда уважал вас, полковник, и потому принял ваш вызов», — сказал Пушкин. «И хорошо сделали, Александр Сергеевич, — сказал, в свою очередь, Старов. — Я должен сказать по правде, что вы так же хорошо стоите под пулями, как хорошо пишете». Со слов лиц, близко знавших Пушкина, П. И. Бартенев сообщает, что «такой отзыв храброго человека, участника 1812 года, не только обезоружил Пушкина, но привел его в восторг. Он кинулся обнимать Старова и с этих пор считал долгом отзываться о нем с великим уважением». Вчерашние противники даже, видимо, подружились, так как через несколько дней, встретившись в том же ресторане с юношами, обсуждавшими его дуэль со Старовым, Пушкин запретил дурно отзываться о последнем под угрозою вызова.

Слухи об этом происшествии дошли до столиц. Вот что писал Вяземский 30 мая 1822 года А. И. Тургеневу из Москвы: «Кишиневский Пушкин ударил в рожу одного боярина и дрался на пистолетах с одним полковником, но без кровопролития. В последнем

случае вел он себя, сказывают, хорошо. Написал кучу прелестей... Он, сказывают, пропадает от тоски, скуки и нищеты».

Проходит всего две недели после поединка со Старовым, и у Инзова за обедом Пушкин ссорится с титулярным советником И. Н. Лановым (которому было свыше 65 лет), назвавшим его молокососом, на что поэт обозвал Ланова «винососом» и затем, конечно, вызвал на дуэль. Когда же Инзов пригрозил «запереть» Пушкина, тот ответил: «Вы это можете сделать, но я и там себя заставлю уважать». Все кончилось тем, что Пушкин сочинил и пустил по рукам эпиграмму на Ланова:

Бранись, ворчи, болван болванов,
Ты не дожدهшься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей.

А спустя шесть месяцев, 21 июля 1822 года, услышав во время обеда у Инзова «охотничий рассказ» отставного офицера Рутковского о «граде весом в три фунта», Пушкин так его высмеял, что после обеда они решили драться на дуэли. Дело кончилось тем, что Инзов посадил Пушкина под домашний арест, из-под которого его освободили лишь благодаря ходатайству бригадного генерала Д. Н. Бологовского.

В Одессе, где Пушкин прожил всего двенадцать месяцев (с июля 1823 по июль 1824 года), с ним также приключались дуэльные истории. Слухи об одной из них дошли до А. И. Тургенева, который 2 мая 1824 года извещал Вяземского, что Пушкин в Одессе с кем-то дрался на дуэли, но противник отказался стрелять в него. А спустя три месяца Пушкин был выслан из Одессы на жительство в Михайловское.

Мы назвали лишь некоторые из доподлинно известных столкновений Пушкина во время его пребывания на юге, приведших к дуэли или к вызову на дуэль, но как ярко отразился в них характер молодого поэта! Конечно, он был вспыльчив, известна и его горькость. Но при всем этом Пушкин был очень добродушен и если верил в благородство человека, с которым у него возникло столкновение, то с открытой душой шел на примирение.

В Москву поэт смог приехать только 8 сентября 1826 года, и то в сопровождении фельдъегеря. Начиналось последнее десятилетие жизни Пушкина. И хотя в эти годы его уже не высылали, он продолжал ощущать себя изгнанником в столице, где «горькие кипели в сердце чувства». Все эти десять лет поэт отчаянно боролся с бесконечными тяготами, возникавшими на его пути, притом не только на поприще литературном. Самым же зловецим, самым трудным

годом его жизни оказался 1836-й, завершившийся в январе следующего года великой трагедией.

На протяжении этих тринадцати страшных месяцев Пушкин живет в состоянии непрерывного раздражения, доходящего порой до ярости. Он не перестает ощущать свое одиночество, так как лишь немногие из его друзей оказывают ему поддержку в преодолении трудностей, возникающих почти ежедневно. Известный пушкинист Н. В. Измайлов, говоря об этом периоде жизни поэта, с полным основанием утверждает: «Пушкин — писатель-гражданин и глава семьи — все сильнее чувствовал окружающую его ненависть «света», ощущал все явственнее сжимающееся вокруг него и его жены кольцо интриг, клеветы и предательства». И далее: «Все более задыхаясь в тягостной зависимости от русского общества, в которой принужден был жить, он не мог вместе с тем получить разрешение ни на поездку за границу, ни на отставку и отъезд на жительство в деревню». А материальные затруднения, которые все эти месяцы буквально изводили его!..

Все более безысходный душевный разлад Пушкина отразился во многих письмах 1836 года. Нервы его стали сдавать. Об этом красноречиво свидетельствуют многие из этих писем. 6 мая он писал жене из Москвы: «...очищать русскую литературу, есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди, что... Чорт их победи! У меня кровь в желчь превращается». А в письме Пушкина от 20 октября того же 1836 года из Петербурга к отцу есть такие строки: «Я рассчитывал поехать в Михайловское — и не мог. Это расстроит мои дела по меньшей мере еще на год. В деревне я бы много работал; здесь я ничего не произвожу, кроме желчи» (подлинник по-французски). За день до отправки этого письма Пушкин писал П. Я. Чаадаеву: «...я далек от того, чтобы восторгаться всем, что вижу вокруг себя; как литератор — я раздражен; как человек с предрассудками — оскорблен». И все же за этим горестным признанием следуют строки, которые нельзя читать без волнения: «Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал» (подлинник по-французски).

Поэт не находит себе места под столычным небом, он принимает близко к сердцу любой намек, бросающий тень на его журнальную деятельность, двусмысленная фраза, сказанная салонным повесой Наталье Николаевне, ранит его. И, снова, как в молодые годы, одна угроза дуэли следует за другой. В первые месяцы 1836 года Пушкин был трижды на грани поединка.

Портрет «героя» одной из этих несостоявшихся дуэлей — Семена Семеновича Хлюстина (1810—1844) — и отыскался во Франции. Портрет примечателен во многих отношениях. Исполнил его блистательный мастер русской акварельной живописи пушкинской поры Александр Павлович Брюллов (брат Карла Брюллова). Портрет не только превосходен с точки зрения живописной, он удиви-

телен своей выразительностью. Поражает пронизательность художника, сумевшего так ярко передать внутреннюю сущность модели; пожалуй, даже умному мемуаристу было бы трудно точнее, чем это сделал Александр Брюллов, обрисовать характер Хлюстина. К тому же это, по-видимому, единственное дошедшее до нас его изображение. И относится оно к тем месяцам, когда между Пушкиным и Хлюстиным разыгрался конфликт.

Отец Хлюстина, в молодые годы штаб-ротмистр лейб-гвардии уланского полка, был женат на графине В. И. Толстой. Ее братом был тот самый Федор Толстой-американец, человек авантюристического склада, который, по слову Пушкина, «в прежни лета развратом изумил четыре части света»; поэт хорошо знал его и дважды собирался стреляться с ним. Впоследствии же они были в добрых отношениях. Богачи Хлюстины владели поместьем в Калужской губернии и были соседями Гончаровых по их имению «Полотняный завод». Младший Хлюстин, получивший образование за границей, служил в С.-Петербургском уланском полку, участвовал в турецкой кампании 1828—1829 годов и вышел в отставку в 1830 году поручиком. В 1834 году, одновременно с Л. С. Пушкиным, поступил чиновником для особых поручений по министерству внутренних дел.

Таким образом, истоки знакомства поэта с С. С. Хлюстиным вполне ясны. Наталья Николаевна даже предполагала выдать за него одну из сестер. Узнав об этом, Пушкин 27 июня 1834 года из Петербурга шуточно ответил жене: «Ты пишешь мне, что думаешь выдать Катерину Николаевну за Хлюстина, а Александру Николаевну за Убри: ничему не бывать; оба влюбятся в тебя; ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоём присутствии, моя красавица». (Какая ирония судьбы! Ведь через шестнадцать месяцев Екатерина Гончарова стала невольной невестой, а затем и женой Дантеса!) Далее в том же письме Пушкина к жене идут строки, из которых явствует, что в июне 1834 года поэт встречался в Петербурге с Хлюстиным и они вместе обедали и, вероятно, говорили о намерениях поэта. «Хлюстин тебе врет, а ты ему и веришь; откуда берет он, что я к тебе в августе не буду? разве он пьян был от ботвиньи с луком? Меня в Петербурге останавливает одно: залог имения Нижегородского, я даже и Пугачева намерен препоручить Яковлеву, да и дернуть к тебе, мой ангел, на Полотняный завод».

Сохранилась записка Пушкина к Хлюстину от 25 мая 1835 года — оба были тогда в Петербурге: «Очень прошу вас извинить меня. Мне невозможно будет пообедать у вас. Жена вдруг почувствовала себя очень плохо. Будьте добры сообщить мне адрес господина Сиркура. Весь ваш Пушкин» (подлинник по-французски).

В этой записке речь идет о французском публицисте графе Адольфе де Сиркур, который был женат на сестре Хлюстина. Пушкину, несомненно, понадобился его парижский адрес в связи с какими-то литературными делами. В Россию Сиркуры приехали в том же 1835 году, но в октябре. Здесь они познакомились с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Чаадаевым. «Твои письма получены, — писал Вяземский 25 октября 1835 года из Петербурга А. И. Тургеневу. — Даже и m-me Sigouet читала их. Я с нею здесь познакомился, и она мне очень понравилась. Кажется, к новому году будет она в Париже, а здесь пробыла недолго».

О своих встречах осенью 1835 года с Пушкиным Анастасия Сиркур после гибели поэта вспоминала с трогательной искренностью в письме к Жуковскому: «Именно в присутствии Пушкина я видела вас впервые... Все русское в моем существе оживилось в присутствии двух прекраснейших талантов моей страны; я испытывала гордость за их славу, признательность за все гармонические созвучия, извлеченные ими из нашего языка. В течение этого слишком короткого пребывания в Петербурге, я часто видела Пушкина... Его дар прозрения по отношению ко всему, что он видел только умозрительно, поразил меня так же, как поэтический оборот, который по поводу всего принимала его мысль без его ведома. Его беседа обнаруживала зрелость... Я рассталась с ним, предсказывая ему громадное будущее, ожидая всего, кроме столь близкого конца... С тех пор память моя выискивала мельчайшие подробности его беседы. Все в нем носило печать всегда присутствующего неоспоримого превосходства, никогда его не покидавшего» (подлинник по-французски).

В том же 1837 году Анастасия Сиркур напечатала в женевском журнале статью «Александр Пушкин», а в одном из парижских журналов появилась статья Адольфа Сиркура «Борис Годунов. Историческая драма Александра Пушкина». В обеих статьях творчество великого русского писателя расценивалось очень высоко.

При встречах Пушкина с Сиркурами в Петербурге в конце 1835 года присутствовал, конечно, и Хлюстин. Он был свидетелем восторженного внимания к поэту, проявленного его парижскими родственниками. Но через несколько недель после их отъезда отношения между Пушкиным и Хлюстиным обострились настолько, что дуэль казалась неминуемой. К этому привело следующее.

С молодых лет Хлюстин был близок к литературному миру. В 1828 году, в возрасте 18 лет, он был избран членом-сотрудником Общества любителей словесности при Московском университете. Сохранился относящийся к концу 1835 года «Список лиц, желающих участвовать в издании журнала «Северный зритель», в котором фигурирует имя Хлюстина. Его намечали в качестве сотрудника обновленных «Отечественных записок», В. Ф. Одоевский внес его в список тех, кто предполагал принять участие в разделе «На-

уки политические» отдела «Критика». Хлюстин был знаком с Н. П. Огаревым, Н. М. Сатиным.

Никакими литературными талантами Хлюстин, видимо, не обладал. Но, вращаясь в писательских кругах и салонах столиц, дружил с теми, кто, как ему казалось, задавал тон в культурной жизни России. Одним из таких лиц Хлюстин считал редактора журнала «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского, которого хорошо знал. Одаренность совмещалась в Сенковском с презрительным отношением к собратям по перу. Когда в январе 1834 года А. Ф. Смирдин основал этот журнал, Пушкин принял в нем деятельное участие. Но уже с 1835 года прекратил сотрудничество, порвав и отношения с Сенковским, человеком чуждым принципиальности в литературных делах. Гоголь утверждал, что этот журнал «...очень глуп. Все порядочные люди и великие писатели от него отказываются; в высшем кругу его никто не читает. Только в провинции находят люди, которые его читают, еще и восхищаются дрянью». Именно Сенковский оказался косвенным виновником ссоры Пушкина с Хлюстиным, грозившей завершиться дуэлью.

В конце 1835 года Пушкин выпустил отдельным изданием «Востолу» Виланда, не указав имени переводчика (Е. П. Люценко, бывшего чиновника Царскосельского лицея). Желая скомпрометировать Пушкина, Сенковский в январской книжке «Библиотеки для чтения» за 1836 год обвинил поэта в том, что, издав перевод «Востолы» анонимно, он тем самым присвоил себе чужую литературную собственность. Та же статья Сенковского содержала и другие выпады против Пушкина.

2 февраля 1836 года Хлюстин, встретившись с Пушкиным и желая, быть может, показать, что он в курсе последних толков в литературном мире, процитировал слова из статьи Сенковского о присвоении поэтом авторства перевода «Востолы». Пушкин не принял это за выражение мнения Хлюстина. Когда же Хлюстин на следующий день у Пушкина повторил обвинение Сенковского, Пушкин ответил: «Я не сержусь на Сенковского; но мне нельзя не досадовать, когда порядочные люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев». По версии же Хлюстина, Пушкин сказал: «Мне всего досаднее, что эти люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев, каков Сенковский».

Встреча и разговор, происшедшие 3 февраля, настолько обострили их отношения, что на следующий день Хлюстин написал поэту, требуя объяснений.

Ответ Пушкина последовал в тот же день — 4 февраля. Приведя свой вариант обидевшей Хлюстина сокрушительной реплики по поводу «цитаты», поэт далее писал: «отождествлять вас с свиньями и мерзавцами — конечно, нелепость, которая не могла ни придти мне в голову, ни даже сорваться с языка в пылу спора. К великому моему изумлению вы возразили мне, что вы всецело при-

нимаете на свой счет оскорбительную статью Сенковского в особенности выражение «обманывать публику». Я тем менее был подготовлен к такому заявлению с вашей стороны, что ни накануне, ни при нашей последней встрече, вы мне решительно ничего не сказали такого, что имело бы отношение к статье журнала. Мне показалось, что я вас не понял, и я просил вас не отказать объясниться, что вы и сделали в тех же выражениях. Тогда я имел честь вам заметить, что все только что высказанное вами совершенно меняет дело, и замолчал. Расставаясь с вами, я сказал, что так оставить это не могу. Это можно рассматривать как вызов, но не как угрозу. Ибо, в конце концов, я вынужден повторить: я могу оставить без последствий слова какого-нибудь Сенковского, но не могу пренебрегать ими, как только такой человек, как вы, присваиваете их себе. Вследствие этого я поручил г-ну Соболевскому просить вас от моего имени не отказать просто-напросто взять свои слова обратно или же дать мне обычное удовлетворение... Что касается невежливости моей, состоящей в том, что я не поклонился вам, когда вы от меня уходили, то прошу вас верить, что то была рассеянность совсем невольная, в которой я от всего сердца прошу у вас извинения».

Получив это письмо, Хлюстин немедленно вновь обращается к поэту: «В ответ на устное сообщение, переданное вами через г-на Соболевского и дошедшее до меня почти одновременно с вашим письмом, имею честь вас уведомить, что я не могу взять назад ничего из сказанного мною, ибо, полагаю, я достаточно ясно изложил в моем первом письме причину, по которой я именно так действовал. В отношении обычного удовлетворения, о котором вы говорите,—я к вашим услугам» (подлинники всех трех писем по-французски.)

Эти письма дают представление о душевном состоянии поэта в тот период, хотя обмен письмами состоялся на протяжении одного только дня. Благодаря Соболевскому дуэль была, правда, предотвращена, и вскоре Пушкин даже помирился с Хлюстиным. Больше того, спустя несколько недель он, видимо, готов был сделать его своим секундантом в новой назревающей дуэли. Что же касается Сенковского, то Пушкин ответил ему в вышедшей в середине апреля 1836 года первой книжке «Современника».

А буквально на следующий же день после обмена письмами с Хлюстиным, 5 февраля, Пушкин обратился к князю Н. Г. Репнину с письмом, в котором были такие строки: «...некто г-н Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от вас. Прошу ваше сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить» (подлинник по-французски). Письмо это — еще одно свидетельство повышенной чувствительности и щепетильности Пушкина в вопросах чести. Ответ Репнина, исполненный благородства и уважения к поэту, ликвидировал недоразумение. Не исключено, что, получив письмо Репнина, в котором было,

между прочим, сказано: «Г-на Боголюбова я единственно вижу у С. С. Уварова и с ним никаких сношений не имею, и никогда ничего на ваш счет в присутствии его не говорил», — Пушкин обратился за объяснениями непосредственно к Боголюбову, но последствия нам неизвестны.

Наконец, в те же недели возникла третья угроза дуэли, к счастью, благополучно завершившаяся. Писатель граф В. А. Соллогуб, разговаривая на вечере с Натальей Николаевной Пушкиной, сказал ей что-то показавшееся поэту оскорбительным для его жены. Пушкин послал вызов Соллогубу в Тверь, куда тот уехал, но письмо пропало. Так как пошли слухи о том, что Пушкин считает его уклонившимся от дуэли, Соллогуб написал поэту: «Сочту за честь быть вашим противником», хотя не чувствует за собой никакой вины. Пушкин поручил Хлюстину (возможно своему будущему секундantu) отвезти Соллогубу ответ. Оригинал письма не сохранился, но существует неполный черновик, в котором есть такие строки: «Вы взяли на себя напрасный труд, давая мне объяснение, которого я у вас не требовал. Вы позволили себе обратиться к моей жене с неприличными замечаниями и хвастались, что наговорили ей дерзостей. Обстоятельства не позволяют мне отправиться в Тверь раньше конца марта. Прошу меня извинить» (подлинник по-французски).

«Пользуюсь верной оказией, — писал Соллогуб Пушкину, — чтобы ответить на письмо ваше, переданное мне г-ном Хлюстиным. Не отвечая на странные выражения, которыми вы пользуетесь и которые могли быть вызваны только недоразумением, я замечу лишь, милостивый государь, что не в состоянии понять, как ваша супруга могла обидеться на такой банальный вопрос: давно ли вы замужем?.. Что же касается дерзостей, будто бы сказанных мною, то прошу вас иметь в виду, что я слишком хорошо воспитан, милостивый государь, чтобы говорить их мужчине, и недостаточно безумен, чтобы говорить их женщине, тем более — ими хвалиться... Когда вам будет угодно вновь потребовать от меня удовлетворения, вы найдете меня всегда готовым принять ваш вызов. Прошу вас не отказать дать мне ответ и сказать решительно, продолжаете ли вы настаивать на серьезной дуэли, так как другой я не признаю, или же предпочтете, забыв сплетни, послужившие поводом для нее, избавиться нас обоих от нелепого положения и беспричинного несчастья» (подлинник по-французски).

Далее, как рассказывает Соллогуб в своих воспоминаниях, он купил пистолеты, выбрал секунданта, но твердо решил не стрелять в Пушкина, «но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно». Через несколько месяцев Пушкин приехал в Тверь, извинился, что так долго заставил себя ждать, и объявил, что его секундант — П. В. Нащокин, которого и привез с собой. Именно Нащокин и сыграл благотворную роль в деле примирения. Соллогубу было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне.

«На это я согласился, — рассказывает он, — писал прекудряво французское письмо, которое Пушкин взял и тотчас же протянул мне руку, после чего сделался чрезвычайно весел и дружелюбен».

Завершает Соллогуб свой рассказ о несостоявшейся дуэли с Пушкиным такими мудрыми словами: «Моя история с Пушкиным может быть немаловажным материалом для будущего его биографа. Она служит прологом к кровавой драме его кончины; она объясняет, как развивались в нем чувства тревоги, томления, досады и бессилия против удушливой светской сферы, которой он подчинялся. И тут, как и после, жена его была только невинным предлогом, а не причиной его взрывочного возмущения против судьбы».

Прошло всего четыре месяца с того дня, когда была предотвращена угроза дуэли между Пушкиным и Соллогубом. Отношения их стали настолько хороши, что, когда поэт в середине ноября послал первый вызов Дантесу, он просил быть его секундantom именно Соллогуба. Как сказывается в этом незлобивость Пушкина, который вчерашних противников мог делать своими доверенными в дуэльных делах! И то, что угроза первой дуэли с Дантесом была ликвидирована, — некоторая заслуга Соллогуба.

Когда в 1824 году в Петербурге стали распространяться слухи о смерти Пушкина в Одессе, Вяземский написал жене: «Надеюсь, что Пушкин никогда не будет убит, разве что животным» (подлинник по-французски). Но все же

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.

Как горестно, что Вяземский не оказался пророком!

* * *

Теперь несколько слов о воспроизводимом здесь портрете «героя» одной из неосуществившихся дуэлей Пушкина.

Каким образом портрет Хлюстина попал во Францию, нетрудно себе представить. Умер он в 1844 году в возрасте тридцати трех лет. Часть архива Хлюстина перешла к его сестре Анастасии Сиркур, намного пережившей брата (родилась в 1801-м, умерла в 1879 году). Она передала Музею Адама Мицкевича в Париже записку Пушкина к Хлюстину, текст которой приводится выше, письмо к нему Мицкевича, а также письма Хлюстина, адресованные ей. После смерти брата Анастасия Сиркур могла взять его портрет, если только она не получила его при жизни Хлюстина от него само-

го. Нынешние владельцы акварели, в чьей семье она находится свыше сорока лет, не знают, у кого она была приобретена их родными, и, хотя под акварелью в нижнем правом углу карандашом написано «Хлюстинъ», они не представляли себе, кто это. Для них было полной неожиданностью то, что портрет изображает хорошего знакомого Пушкина, да еще такого, с которым у него едва не произошла дуэль. Над акварелью слева, чернилами, дата: «24 Décembre 1835». Что обозначает эта дата — неясно. Быть может, ее поставил сам Хлюстин, получив портрет от художника. Подпись — «А. Брюлловъ» — наведена кистью на правой стороне изображения.

Глядя на этот превосходный портрет, легко представить себе характер Хлюстина. В его облике чувствуется самодовольное высокомерие, не говоря уже о глубочайшей уверенности в том, что перед ним не устоит ни одна женщина. Думается, что модели Брюллова было свойственно самовлюбленное позерство. Вспоминается и эпитет, данный Хлюстину А. И. Тургеневым: «педантоват». Когда был написан портрет и когда произошло его столкновение с Пушкиным, Хлюстину было двадцать пять лет. Поэту нередко случалось сбивать спесь с богатых молодых снобов петербургского большого света. Возможно, что Пушкин причислял к ним и Хлюстина и поэтому так резко реагировал на «цитату» из статьи Сенковского.

Не проводя никаких параллелей между этой прелестной акварелью Александра Брюллова и великим творением Веласкеса — портретом папы Иннокентия X, — хочется, глядя на портрет Хлюстина, повторить слова этого деспота на папском престоле, сказанные им о своем портрете: «Слишком правдиво!»

2. МУЖ ПУШКИНСКОЙ ТАТЬЯНЫ

Сохранилась программа автобиографии Пушкина, в которой имеются такие строки: «1813... Гр. Кочубей... 1814... Первая любовь». Речь здесь идет о дочери ближайшего сподвижника Александра I (правнука Кочубея, противника Мазепы), графа, а с 1831 года князя В. П. Кочубея, одного из богатейших помещиков России, занимавшего в годы царствования Николая I посты председателя Комитета министров и председателя Государственного Совета. Когда в июне 1834 года было получено известие о смерти Кочубея, Пушкин записал в дневнике: «Оно произвело сильное действие; государь был неутешен. Новые министры повесили голову. Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея нечем заменить!» Своей «первой любовью» Пушкин назвал Наталью Кочубей, дочь этого сановника, жившего летом с семьей в Царском Селе. Имен-

но ей молодой поэт посвятил в лицейские годы стихотворение «Измены» («Все миновалось»). Возможно, существовали и другие стихотворения поэта, относившиеся к ней, но до нас не дошедшие.

О внешности Наталии Кочубей в восемнадцатилетнем возрасте одна из интереснейших женщин того времени, встретившаяся с ней на придворном празднике в Царском Селе, говорит следующее: «У нее изящная фигура, она прелестно танцует, в общем, она в точности такая, какой нужно быть, чтоб очаровывать. Говорят, что у нее живой ум, и я охотно этому верю, так как лицо ее очень выразительно и подвижно» (подлинник по-французски).

В 1820 году Наталья Викторовна Кочубей вышла замуж за Александра Григорьевича Строганова; это брат по отцу Идалии Григорьевны Полетики, о которой в посвященном ей очерке я писал, что последние годы жизни она провела в Одессе у своего брата, бывшего новороссийского генерал-губернатора А. Г. Строганова.

Когда Пушкин еще только обдумывал последнюю главу «Евгения Онегина», к нему однажды обратилась со своеобразной просьбой пожилая и очень уважаемая дама большого света. Свидетелем этой беседы был близкий друг великого поэта, авторитетнейший мемуарист той эпохи П. А. Вяземский. Вот что он рассказывает: «Пушкин писал «Онегина» под вдохновениями минуты и под наитием впечатлений, следовавших одно за другим. Одна умная женщина, княгиня Голицына, урожденная графиня Шувалова, известная в конце минувшего столетия своею любезностью и французскими стихотворениями, царствовавшая в петербургских и заграничных салонах, сердечно привязалась к Татьяне. Однажды спросила она Пушкина: «Что думаете вы сделать с Татьяною? Умоляю вас, устройте хорошенько участь ее». «Будьте покойны, княгиня, — отвечал он, смеясь, — выдам ее замуж за генерал-адъютанта». «Вот и прекрасно, — сказала княгиня, — благодарю». Вяземский завершает эту запись словами: «Легко может быть, что эта шутка порешила судьбу Татьяны и поэмы».

В декабре 1828 года Прасковья Андреевна Голицына скончалась. Ей так и не довелось прочитать законченную в Болдине в 1830 году последнюю главу «Онегина», где Пушкин в 14—16-й строфах изобразил Татьяну-княгиню на балу с мужем. Но если бы Голицына дожила до выхода в свет в январе 1832 года заключительной главы «романа в стихах», она успокоилась бы: участь Татьяны поэт устроил «хорошенько».

Современники утверждают, что в образе замужней Татьяны изображена его первая любовь — Наталья Кочубей, ставшая графиней Строгановой. Об этом поэт говорил своему другу П. А. Плетневу, со слов которого о том же рассказал в печати в 1863 году, еще при жизни Плетнева, один из первых биографов Пушкина, В. П. Гаевский. А двенадцатью годами раньше, 7 октября 1851 го-

да, независимо от сообщения Плетнева, лицеист позднейшего выпуска А. А. Мей сказал другому биографу Пушкина — П. И. Бартевеву: «Татьяна в высшем обществе срисована с графини Строгановой, урожденной Кочубей».

Все мы помним бессмертные пушкинские строки:

К ней дамы подвигались ближе;
 Старушки улыбались ей;
 Мужчины кланялися ниже,
 Ловили взор ее очей;
 Девицы проходили тише
 Пред ней по зале: и всех выше
 И нос и плечи подымал
 Вошедший с нею генерал.

Когда восьмая глава «Онегина» появилась в свет, А. Г. Строганов уже был свитским генерал-майором. Хотя Пушкин внял просьбе старой Голицыной и «устроил» судьбу Татьяны, женщина, послужившая ей прототипом, счастья в браке не обрела; граф А. Г. Строганов был не из тех людей, кто мог осчастливить первую любовь Пушкина. Отец Натальи Кочубей был озабочен замужеством дочери. С большим огорчением он писал своему другу М. М. Сперанскому 22 апреля 1819 года: «Быв уже на 19-м году, время помышлять о замужестве, но беда, что и женихов не так легко отыскать можно». Это так беспокоило Кочубея, что он решил отложить поездку за границу. В том же письме далее есть такая фраза: «Вероятно, что когда буду иметь счастье выдать дочь мою замуж, то паки поеду скитаться по белу свету». В сентябре 1820 года женихом Натальи Кочубей стал А. Г. Строганов. Возможно, что не последнюю роль в этом сватовстве играли и высокие государственные посты, занимаемые будущим тестем. Недаром весьма авторитетный современник 27 октября 1820 года говорил с полной откровенностью, извещая С. Р. Воронцова о женитьбе Строганова: «В этом союзе он руководился, по-видимому, расчетом» (подлинник по-французски).

Облик А. Г. Строганова в первые годы его женитьбы на Н. В. Кочубей запечатлен на акварели П. Ф. Соколова, входившей в состав старинного альбома, состоявшего из одних только акварелей этого мастера. Я уже писал о судьбе этого альбома, который после революции оказался в Риме, а в начале 1930-х годов был распродан в Париже по отдельным листам. Вместе с портретом Идалии Полетики известный парижский собиратель А. А. Попов, ныне покойный, приобрел и этот лист, на котором, видимо, рукой последней владелицы, С. Ф. Ден, правнучки А. Г. Строганова, было указано его имя. Но все же необходимо было проверить, действительно ли портрет изображает А. Г. Строганова. Подтвердили это

формулярные данные, напечатанные в одном из томов издания «Столетие военного министерства», выпущенном в 1904 году. Здесь сказано, что штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка граф Александр Григорьевич Строганов 17 августа 1821 года был «пожалован» флигель-адъютантом Александра I, 13 марта 1823 года его произвели в капитаны, а 17 марта 1825 года — в полковники (чин его майора и подполковника в гвардии не было): на портрете же как раз изображен офицер в сюртуке царской свиты с аксельбантами и полковничьими эполетами с вензелем Александра I. Теперь уже не оставалось сомнений, что перед нами изображение А. Г. Строганова. Так как генерал-майором он стал 6 октября 1831 года, то акварель, носящая с левой стороны подпись художника «Socolow», может быть датирована 1825—1831 годами.

Акварель безупречна с точки зрения художественной, великолепна она и по характеристике. Даже не зная мнения современников об А. Г. Строганове, по одному этому портрету можно сказать, что он был преуспевающим карьеристом, богатым, холемым баринном, лощеным голубоглазым красавцем. Наверное, ловким танцором и покорителем дамских сердец... Но и только. Нет в этом лице ничего ярко индивидуального, ничего, что позволяло бы предполагать талантливость или просто ум. Такие люди, как правило, женились на девушках не только из знатных семей, но и обязательно богатых притом.

Люди, хорошо знавшие Строганова, единодушно называют его человеком недалеким и бесталанным. С тяжелым сердцем вспоминал о нем историк С. М. Соловьев, который в течение двух лет был воспитателем одного из его сыновей: «Александр Григорьевич Строганов ...служил страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I могли достигать высших ступеней служебной лестницы... Имея ум чрезвычайно поверхностный, Александр мечтал, что обладает способностями государственного человека, и не знал границ своей умственной дерзости; с важностью выкладывал какую-нибудь нелепую мысль и старался ею озадачить, упорно поддерживая и обстраивая другими подобными же нелепостями. При этом ни малейшего благородства, деликатности». Далее мемуарист говорит, что А. Г. Строганов, успевший побывать на посту министра внутренних дел, вынужден был уйти с этого места, так как был испорчен губернаторством: «Прежде занятия министерского места Ал. Строганов был генерал-губернатором черниговским, харьковским и полтавским. Понятно, какое страшное искушение представляет и для порядочных лиц первенствующее положение; это раболепство русского губернского чиновничества, дворянства и купечества пред генерал-губернатором легко развратили Строгановых».

Недолго продержался Строганов на посту управляющего министерством внутренних дел — всего два с половиной года. «Император Николай, — писал современник, — понял наконец, что избранный им министр внутренних дел не годится даже в ротные командиры, и отставил его».

Но карьера Строганова на этом отнюдь не оборвалась, и он продолжал занимать крупные государственные посты, проявляя себя на каждом из них ярким крепостником. А. И. Герцен не устал разоблачать на страницах «Колокола» его самоуправство и грубость. Он называл его «сатрапом, защитником розог и помещичьих злоупотреблений». Девять статей и заметок посвятил ему Герцен. Об одной из них он писал известной украинской писательнице Марко Вовчок (М. А. Маркович) 12/24 ноября 1859 года: «Строганов просил государя драть крестьян шпицрутенами — ну, уж я отдрал его сиятельство за это. Прочтите в следующем «Колоколе». В другой заметке Герцен блестяще описал беседу Строганова с депутацией поселенцев, пришедшей жаловаться на страшные притеснения земской полиции: «Все их справедливые рассказы о противозаконных действиях полиции (Строганов) выслушал, не проронив ни одного слова; все просьбы их о защите не вызвали ни единого слова, граф молчал». Поселенцы «вышли из себя, и один из них воскликнул:

— Что же, ваше сиятельство! Скажите, что нам делать? Они, пожалуй, и вешать нас начнут! Что же нам тогда делать, наконец?

— В и с е т ь! — отвечал Строганов и проследовал во внутренние апартаменты».

Если Строганов не прославился никакими деяниями на пользу отчизны, то этим пассажем Герцен его обессмертил!

О том, как относились к Строганову в Государственном Совете, членом которого он был, можно судить по следующему эпизоду: когда министр финансов Е. Ф. Канкрин, которого современники называли умным, просвещенным и честнейшим человеком, указал на цифровую ошибку, допущенную Строгановым в своем докладе, тот заявил: «Ведь я бухгалтером никогда не бывал!» На что Канкрин ответил: «А я, батюшка, был бухгалтером, был и контрощиком, но дураком никогда не был и не буду!» Можно себе представить, каково было Строганову получить такую моральную пощечину на заседании Государственного Совета, где нередко присутствовали царь и великие князья. К тому же Канкрин сказал это в присутствии представителей высшей бюрократии, от которых о его отповеди Строганову тотчас узнал весь светский Петербург.

Даже В. А. Соллогуб, который состоял в 1837 году в Харькове чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Строганове и не мог пожаловаться на плохое к себе отношение с его стороны, считал своего начальника «не одаренным способностями госу-

дарственными», но что он «по рождению, связям и воспитанию принадлежал к самому знатному петербургскому кругу». Тем не менее Соллогуб рассказывает об уморительном эпизоде, рисуя Строганова с совершенно другой и очень непривлекательной стороны. Вот этот случай.

Прославленная Пушкиным и Гоголем Диканька принадлежала Кочубеям, и семья Строгановых обычно проводила там лето. Здесь царствовала мать Натальи Викторовны, несметно богатая старая княгиня Кочубей, чувствовавшая себя полновластной владычицей в своем знаменитом дворце. В поместье Кочубеев была своя церковь, и во время эктении священник после членов царской фамилии и местного архиерея молился о княгине и ее потомстве, а также о ее покойном муже.

«По этому поводу, — пишет Соллогуб, — я однажды был свидетелем смешной, но несколько безобразной сцены: священник во время обедни, на эктении, ошибся и вместо того, чтобы помолиться «о здравии» княгини Кочубей, он помянул ее «за упокой». Она, разумеется, как всегда, находилась в церкви, и можно себе представить, какое неприятное впечатление эта ошибка произвела на женщину уже старую и необыкновенно чванную. Что же касается Строганова, то он просто рассвирепел. Едва обедня кончилась, он вбежал в алтарь и бросился на священника; этот обмер от страха и выбежал в боковую дверь вон из церкви; Строганов схватил стоявшую в углу трость священника и бросился его догонять. Никогда мне не забыть, как священник, подбирая рукой полы своей добротной шелковой рясы, отчаянно перескакивал клумбы и плетни, а за ним Строганов в генеральском мундире гнался, потрясая тростью и приговаривая: «Не уйдешь, такой-сякой, не уйдешь!»

Как тут не вспомнить чудесную чеховскую «Канитель»! Оказывается, не только дьячки, но и священники, случилось, нутали «о здравии» и «за упокой», хотя, по мнению чеховского дьячка Отлуквина, ошибаться не должны были бы, — они ведь в семинариях учились!

Как и сестра его Идалия Полетика, А. Г. Строганов относился к Пушкину, а впоследствии к его памяти более чем недобрóжелательно. По поручению отца, ставшего во главе опеки над пушкинской семьей, А. Г. Строганов побывал на квартире поэта после его дуэли. Впоследствии он рассказывал П. И. Бартеневу, что увидел там «такие разбойнические лица и такую сволочь, что предупредил отца своего не ехать туда». Как сообщает другой мемуарист, Строганов называл Пушкина «mauvais drôle» <шельма>.

И даже на закате своей мафусаиловой жизни Строганов, носивший звание «первого вечного гражданина города Одессы», ответил делегации, собиравшей средства на памятник Пушкину в этом городе (приводим запись одного из участников делегации): «Я кинжалщикам памятники не ставлю!.. Я до этого еще не дошел!.. Вы читали «Кинжал» — это гениальное произведение?! Не читали, так

прочтите... советую... Памятник?! Что полиция смотрит, что она делает? Подписка!.. И кому? Я в подписке на памятник кинжальщику участвовать не могу...» — отчеканил этот угрюмый и надменный старец и отпустил ни с чем до крайности пораженных этим приемом сборщиков на памятник поэту.

С такой же антипатией относился к Пушкину при его жизни брат А. Г. Строганова. Кавалергард А. В. Трубецкой, приятель Дантеса, живший под старость в Одессе в одно время с А. Г. Строгановым и Идалией Полетикиой, записал свои воспоминания о Пушкине, в которых имеется такая фраза: «...Несколько шалунов из молодежи, — между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой соусин — стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин. В другое время он не обратил бы внимания на подобную шутку и, во всяком случае, отнесся бы к ней как к шутке, быть может, заклеил бы ее эпиграммой. Но теперь он увидел в этом хороший предлог для вызова Дантеса на дуэль и воспользовался им по-своему». Кузеном Трубецкого, участвовавшим, по его словам, в этой подлости, был брат А. Г. Строганова. Как установлено, в 1836 году рассылкой подобных анонимок забавлялись в венском высшем свете. «Таким образом, — утверждает Соллогуб, — гнусный шутник, причинивший его <Пушкина> смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал». Вот в какие дела был замешан брат А. Г. Строганова.

Народный артист СССР Л. М. Леонидов вспоминал о том, как, живя в молодые годы в Одессе, он не раз видел на прогулке Идалию Полетику, А. Г. Строганова и А. В. Трубецкого: «Каждый день от четырех до шести вечера на Николаевском бульваре можно было наблюдать очень любопытную картину. По главной аллее, заложивши руки по-мужски назад, шагает еще бодрая старуха в сопровождении брата и захудалого генерала князя Трубецкого... И вот эта тройка гуляет, спорит, постоит немного и опять пойдет. Созерцать этот осколок старины всегда доставляло мне огромное удовольствие. Изъяснялись они всегда по-французски».

Весьма характерно для Строганова помещенное им 28 ноября 1890 года в одесской газете «Новороссийский телеграф» объявление о смерти своей сестры, Идалии Полетики. Вот его текст: «Граф Александр Григорьевич Строганов с душевным прискорбием извещает о кончине Идалии Григорьевны Полетики. Вынос тела последует в пятницу, 30 ноября, в 10 часов утра на Старое кладбище». В этом объявлении Строганов не назвал Полетику сестрой, хотя отец у них был общий, — она ведь была незаконнорожденной! А. Г. Строганов не хотел «осквернить» свое графское достоинство признанием, что у него есть незаконнорожденная сестра, хотя это уже три четверти века не было ни для кого тайной! Даже в таком факте проявились сословная ограниченность и бездушие этого са-

новника, которому было уже 95 лет и которому самому осталось жить всего восемь месяцев, — умер он 2 августа 1891 года.

В качестве последнего штриха к облику этого человека нужно рассказать о совершенном им в конце жизни деянии: он приказал уничтожить весь свой богатый архив, в котором, конечно, должна была быть и интереснейшая переписка его отца. В воспоминаниях одного из одесских старожилов об этом акте вандализма рассказано следующее: «Служивший в Черноморском обществе пароходства и торговли камер-юнкер Бларамберг рассказывал мне, что граф Строганов, оказывавший ему особенное доверие, незадолго перед смертью своею призвал его к себе и, сдав ему семь наглухо заделанных ящиков из дубового дерева, в которых находились разные фамильные и служебные документы и бумаги, имеющие, несомненно, большой интерес, взял с него слово, что он велит выбросить эти ящики в самом глубоком месте Черного моря, что Бларамберг и исполнил не без сожаления». Факт этот подтверждается рассказом другого мемуариста, с небольшими, правда, изменениями: «Строганов положил в восемь больших мешков все свои записки и бумаги, запечатал их и отдал адмиралу Н. М. Чихачеву, чтоб тот отвез их на пароходе Черноморского общества и потопил в Архипелаге».

Решив хотя бы в какой-то степени проверить достоверность мемуаристов, я посмотрел выпущенный в недавние годы в Москве превосходный двухтомный справочник «Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР». И что же! Ни в одном из хранилищ никаких бумаг А. Г. Строганова нет. Это еще одно, правда, косвенное, подтверждение того, что он действительно приказал уничтожить их, а заодно, видимо, и весь богатый семейный архив Строгановых.

Таким был муж пушкинской Татьяны.

3. ЦАРИЦА ЗАБАВЛЯЕТСЯ...

В 1900 году в Петербурге вышла книга «Архив Брюлловых, принадлежащий В. А. Брюллову», изданная журналом «Русская старина».

Здесь среди многих содержательных писем художников первой половины прошлого века, братьев Брюлловых, напечатано письмо старшего из них, Федора Павловича, сыгравшего большую роль в творческой жизни младших братьев. Письмо адресовано акварелисту и архитектору Александру Павловичу Брюллову. Датированное 6 марта 1829 года, оно было отправлено из Петербурга в Рим. В письме этом имеются следующие строки: «Don Piedro Sokolov написал портрет императрицы Александры Федоровны во весь рост (акварелью), когда она в Одессе на скалах при Черном море удит рыбу вместе с великой княжной Марией Николаевной. Картина его честь делает всем русским: весьма хорошо, чудо! Госу-

дарь его очень любит. И вот один, который в большой чести и в моде, а из прочих — никто».

Местонахождение акварели, о которой так восторженно отзывался Федор Брюллов, было неизвестно. В искусствоведческой литературе о ней не упоминалось. Можно было утверждать, что этого портрета в нашей стране нет. Оставалось предположить, что акварель, принадлежавшая сперва царице (жене Николая I), затем перешла к ее детям и внукам, а впоследствии попала за границу. Так оно и оказалось. Эта жемчужина русской акварельной живописи отыскалась в Париже. Впервые она была показана за рубежом на «Выставке древней и современной русской живописи, организованной во Дворце искусств в Брюсселе в мае — июне 1928 года. В каталоге выставки, одним из составителей которого был А. Н. Бенуа, появилась репродукция этого произведения, хотя и невысокого качества, но все же дававшая представление о виртуозном мастерстве Соколова. О качестве же акварели и говорить не приходится: у Федора Брюллова были все основания считать, что она «честь делает» русским художникам. И вот благодаря дружескому вниманию друзей во время пребывания во Франции мне удалось получить фотографию этой акварели.

Как свидетельствует один из современников П. Ф. Соколова, на протяжении последних двадцати лет его жизни (он умер в августе 1848 года) «все досуги художника были посвящены преимущественно заказам двора, где он писал акварельные портреты со всех членов императорской фамилии». Вполне вероятно, что портрет Александры Федоровны с дочерью был одним из лучших в этом ряду. Но для тех, кто интересуется пушкинской эпохой, акварель эта прежде всего примечательна тем, что она изображает женщину, которую великий поэт хорошо знал. Именно ей посвящена в дневнике Пушкина любопытная запись.

В конце 1833 года Пушкин стал камер-юнкером. 1 января следующего года он пишет в своем дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничковом». А спустя три месяца — 8 апреля 1834 года — Пушкин вносит в дневник такую запись: «Сейчас еду во дворец представиться царице». А затем: «2 часа. Представлялся. Ждали царицу часа три. Нас было человек 20... Я по списку был последний. Царица подошла ко мне смеясь: «Нет, это беспримерно!.. Я ломала себе голову, стараясь узнать, что за Пушкин будет мне представлен. Оказывается, это вы! Как поживает ваша жена? Ее тетушка горит нетерпением увидеть ее в добром здравии — дочь ее сердца, ее приемную дочь» (слова эти были сказаны Александрой Федоровной и записаны Пушкиным по-французски)... и перевернулась. Я ужасно люблю царицу, несмотря на то, что ей уж 35 лет и даже 36».

Последние слова ярко выражают отношение Пушкина к женскому возрасту, столь типичное для его эпохи: «...ей уж 35 и даже

36» звучит так, как будто речь идет о пожилой особе. Вероятно, некоторое значение тут имела средняя продолжительность человеческой жизни в те времена. Ведь в XVIII веке предел женской молодости был еще короче: в «Опасных связях» Шодерло де Лакло 22-летняя героиня считается уже несколько «заплесневелой» после двухлетнего брака! А «Тридцатилетняя женщина» Бальзака, олицетворяющая роковой переход от молодости к пожилому возрасту! Не то в наше время, когда куда далеко не всякая особа, давным-давно перешагнувшая этот рубеж, согласится с тем, что бальзаковский возраст ею уже достигнут!

Хотя Пушкин и считал, что в 35—36 лет Александра Федоровна уже не молода, внешность ее ему нравилась. Но подлинной властительницей дум поэта в те годы была его жена — недаром в своих письмах он называл Наталью Николаевну «душа моя», «ангел кротости и красоты», «мой ангел», «моя красавица», «царица моя».

Принцесса Шарлотта-Фредерика-Луиза-Вильгельмина, дочь прусского короля Вильгельма III, выйдя замуж за великого князя Николая Павловича в 1817 году, стала русской великой княгиней Александрой Федоровной. После смерти Александра I и подавления восстания декабристов она царица России. Но ее знакомство с русским языком — хотя учителем Александры Федоровны был В. А. Жуковский — сводилось к умению читать — разговаривать и писать она предпочитала по-немецки или по-французски. Ей были известны произведения Пушкина — к ним приобщил царицу воспитатель ее детей П. А. Плетнев, — и она даже знала наизусть отрывки из «Цыган», поэт был все же для Александры Федоровны прежде всего мужем одной из русских красавиц, украшавших придворные балы. Когда 14 января 1834 года Наталья Николаевна была впервые на приеме у царицы, Александра Федоровна записала в своем дневнике: «Представлялась красавица Пушкина» (подлинник по-немецки). А два года спустя она пишет своей приятельнице графине С. А. Бобринской, что на балу в Аничковом дворце Наталья Николаевна казалась «прекрасной волшебницей в своем белом с черным платье» (подлинник по-французски).

И в дневнике Александры Федоровны и в ее письмах к той же корреспондентке имеются упоминания о дуэли Пушкина с Дантесом. Она готова считать поэта виновником собственной гибели. Утром 28 января 1837 года царица пишет Бобринской:

«О Софи, какой конец этой печальной истории между Пушкиным и Дантесом. Один ранен, другой умирает. Что вы скажете? Когда вы узнали? Мне сказали в полночь, я не могла заснуть до 3 часов, мне все равно представлялась эта дуэль, две рыдающие сестры, одна — жена убийцы другого. Это ужасно, это самый страшный из современных романов. Пушкин вел себя непростительно, он написал наглые письма Геккерну, не оставя ему возможности избежать дуэли. С его любовью в сердце стрелять в мужа той, которую он любит, убить его — согласитесь, что это положение пре-

восходит все, что может подсказать воображение о человеческих страданиях, а он умел любить. Его страсть должна была быть глубокой, настоящей. Сегодня вечером, если вы придете на спектакль, как часто мы будем отсутствующими и рассеянными» (подлинник по-французски).

В тот же день Александра Федоровна записывает в дневнике: «...разговор с Бенкендорфом, целиком за Дантеса, который вел себя как благородный рыцарь, Пушкин — как грубый мужик» (подлинник по-немецки и по-французски).

Лучше же всего характеризует Александру Федоровну ее письмо к Бобринской, отправленное 30 января 1837 года:

«Ваша вчерашняя записка! Такая взволнованная, вызванная потребностью поделиться со мной, потому что мы понимаем друг друга, и когда сердце содрогается, мы думаем одна о другой. Этот только что угасший гений, трагический конец гения истинного русского, однако ж иногда и сатанинского, как Байрон. Эта молодая женщина возле гроба, как ангел смерти, бледная, как мрамор, обвиняющая себя в этой кровавой кончине, и, кто знает, не испытывает ли она рядом с угрызениями совести, помимо воли, и другое чувство, которое увеличивает ее страдания. Бедный Жорж, что он должен был почувствовать, узнав, что его противник испытал последний вздох. После этого — ужасный контраст — я должна вам говорить о танцевальном утре, которое я устраиваю завтра, я вас предупреждаю об этом, чтобы Бархат не пропустил и чтобы вы тоже пришли к вечеру» (подлинник по-французски; Бархат — прозвище кавалергарда А. В. Трубецкого, приятеля Дантеса, о котором шла речь в предыдущем очерке и к которому царица отклонно).

А когда дуэльная история для Дантеса благополучно завершилась, Александра Федоровна с облегчением написала Бобринской 19—20 марта 1837 года: «Вчера я забыла вам сказать, что суд над Жоржем уже окончен — разжалован, высылается, как простой солдат, на Кавказ, но, как иностранец, отправляется запросто с фельд-егерем до границы, и finis est. Это все-таки лучшее, что могло с ним случиться, и вот он за границей, избавленный от всякого другого наказания» (подлинник по-французски).

С каким облегчением Александра Федоровна сообщает приятельнице, что убийца благополучно отделался от должной кары! Что же касается ее отношения к Пушкину, то в этом она недалеко ушла от царственного мужа.

Люди, знававшие Александру Федоровну, считали ее человеком ограниченным и безудержно расточительным. Царица любила развлечения, но ее забавы стоили баснословных денег. В частности, это были путешествия, в которых ее сопровождала многочисленная свита, огромный штат слуг. Такое путешествие она предприняла в 1828 году в Одессу, куда приехала 15 мая. Газета «Одесский вестник» дала велеречивое описание пышной встречи, устроенной

царской семье. По-видимому, в состав свиты был включен и художник П. Ф. Соколов. Тогда он и создал упомянутую акварель. Царица якобы удит рыбу. Но это несколько скучающее лицо, искусно выбранная поза, роскошное платье с пышными буфами и сложнейшая прическа более уместны для парадного приема, чем для рыбной ловли, — все говорит о том, что удочка и море — случайно выбранная рамка для позирования. А во сколько обходились такие «сельские забавы» царицы, трудно себе представить!

И уж совсем фантастические суммы тратились на ее продолжавшиеся порой свыше года путешествия за границу. По этому поводу А. И. Герцен считал даже нужным выступить в первом номере «Колокола» с памфлетом «Августейшие путешественники», в котором разоблачалась расточительность Александры Федоровны. Герцен говорил, что она дала Западной Европе «зрелище истинно азиатского бросанья денег, истинно варварской роскоши. С гордостью могли видеть верноподданные, что каждый переезд августейшей больной и каждый отдых ее — равняется для России неурожаю, разливу рек и двум-трем пожарам». Герцен саркастически высмеивал царственную бездельницу: «Какую надобно иметь приятную пустоту, душевную и атлетические силы телесные, какую свежесть впечатлений, чтоб так метаться на всякую всячину, чтоб находить zu himmlisch¹ то захождение солнца, то восхождение ракет; чтоб находить удовольствие во всех этих приемах., представлениях, площадях, парадах, полковой музыке, церемонных обедах и обедах запросто на сорок человек, в этом неприличном количестве свиты, в этих табунах — лошадей, фрейлин, экипажей, штатс-дам, камергеров, камердинеров, лакеев, генералов...»

О том же спустя три года писал и другой современник. Правда, он наивно считал, что, если бы Александра Федоровна «только знала четверть правды о плачевном состоянии казны и финансов в России и об опасности, которой плачевное это состояние грозит ближайшей будущности страны, и следовательно, и царствующей династии, никогда, мы убеждены в том, не допустила бы она тех безграничных и неслыханных расходов, которые произведены для нее во время поездок и пребывания за границей». Все же мемуарист был вынужден признать: «Она путешествует не со свитой, а с целым племенем прислужников всех чинов и званий. Надо ли ей остановиться в гостинице, по предварительному соглашению с владельцем все жильцы изгоняются с определенного дня: гостиница целиком остается в распоряжении императрицы... Расходы по пребыванию подымались до безумных размеров».

Завершается этот рассказ теми же мыслями, которыми Герцен начал свой памфлет: «Если при русском Дворе воображают этими выходящими за всякие пределы и непростительными расходами произвести в Европе впечатление, отвечающее могуществу обшир-

¹ восхитительным (нем.).

ной империи, то в этом сильно ошибаются. Впечатление получается совершенно противоположное. Эти путешествия, носящие черты чисто-восточной, типично-азиатской роскоши, служат предметом насмешек для всей Европы, которая считает нас за людей полудивилизованных, носящихся с идеей, достойной Азии, ослепить нашей роскошью».

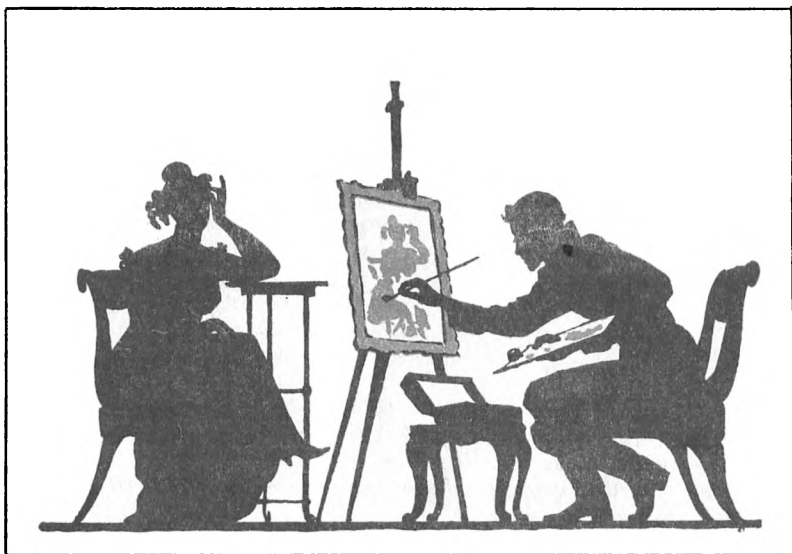
Забавы царицы, которой на свои развлечения не приходилось считать денег, еще один яркий штрих, характеризующий то бесславное и зловещее время, когда муж ее, Николай I, к концу своего царствования привел Россию к полному краху.

* * *

Перед нами прошли три портрета — изображения трех лиц, запечатленных в те годы, когда Пушкин общался с ними. Портреты как бы повествуют о внутренней сущности этих людей и до известной степени помогают понять, почему поэт так или иначе отнесся к каждому из них.

К тому же эти знакомцы Пушкина нашли отражение в его литературном наследии: С. С. Хлюстин — в переписке, А. Г. Строганов — в «Евгении Онегине», Александра Федоровна — в дневнике поэта. Наконец, все три новонайденных портрета, безусловно, войдут в золотой фонд русской акварельной живописи.





ЛИЦА ПУШКИНСКИХ СОВРЕМЕННОКОВ

Новые открытия реставраторов

С. Горбачева, С. Ямщиков

Всероссийский научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря ежегодно возвращает к жизни сотни уникальных произведений изобразительного искусства. Через заботливые руки реставраторов проходят живописные полотна и ювелирные изделия, драгоценные ткани и предметы из стекла, памятники древней иконописи и образцы старинной мебели, редкие экземпляры оружия и археологические находки.

Реставрация каждого экспоната, поступающего в центр, требует максимальной ответственности, умения, смелости

и практических навыков. Камень, металл, стекло, холст; ткань, дерево — все эти материалы обретают первоначально заложенные в них качества, в буквальном смысле возрождаются в результате реставрационных процессов только при очень бережном к ним отношении. В наибольшей степени это относится к восстановлению произведений графики. Тонкая и непрочная бумага мгновенно реагирует на любую оплошность реставратора, и слово «спасение» лучше всего характеризует труднейшие работы, проводимые в отделе реставрации графики. Со дня основания

им руководит художник-реставратор высшей квалификации, заслуженный работник культуры РСФСР Елизавета Андреевна Костилова, воспитавшая целую плеяду реставраторов высокого класса, своих учеников и соратников, вместе с ней работающих над восстановлением бесценных памятников искусства. Это Н. М. Хавтаси, Л. Л. Метлицкая, С. П. Тихомирова, Т. С. Жукова, Л. М. Иванова, Л. А. Теплякова, Е. М. Тарасова, Н. К. Цицина, И. И. Штокман, И. П. Нечаева. На их реставрационных столах побывали почти все интересные находки послевоенных лет.

Искусство старого портрета привлекает к себе все большее внимание наших современников. Люди, живущие в XX веке, пристально всматриваются в лица давно ушедших поколений, стараясь увидеть через них, как через некую призму, свою историю, бури и будни прошедших времен.

«Жизнь обыкновенного человека, — писал А. И. Герцен, — тоже может вызвать интерес, если и не по отношению к личности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта личность жила»¹.

Являясь как бы эстетической формулой эпохи, портрет сосредоточивает в себе всю многогранность, духовную сложность и неповторимую особенность своего времени. Портрет-биография, портрет-характеристика, наконец, психологический портрет — привилегии живо-

писного портрета. Графический портрет — это портрет-напоминание, по-своему отразивший идеи и дух своей эпохи. Родившись в портретной миниатюре, этом поэтическом эпиграфе XVIII века, как хрупкая драгоценность, как талисман, портрет-напоминание в русском искусстве нового, XIX столетия предстал в строгом и мужественном облике карандашного рисунка.

Первая четверть XIX века — одна из самых ярких страниц русской истории и русской культуры: надежды и разочарования, связанные с правлением Александра I, наполеоновские войны, прокатившиеся по Европе и в 1812 году опалившие Россию, небывалый патриотический подъем этих дней, радость победы, трагедия 1825 года.

Чему, чему свидетели мы
были!
Игралища таинственной игры,
Метались смущенные народы,
И высились и падали цари,
И кровь людей то Славы, то
Свободы,
То Гордости багрила алтари?²

Поэзия В. А. Жуковского, И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова, Дениса Давыдова, светлый гений молодого А. С. Пушкина, философские учения декабристов — основные вехи истории отечественной культуры первой четверти девятнадцатого столетия.

В атмосфере интенсивной духовной жизни, обостренного чувства гражданственности и национального самосозна-

¹ Герцен А. И. Былое и думы // Собр. соч. — М., 1956. — Т. 8. — С. 405.

² Пушкин А. С. Была пора: наш праздник молодой... // Полн. собр. соч.: В 10 т. — Л., 1977. — Т. III. — С. 341.



Акварель
П. Соколова.
1814 г.
Реставратор
С. Тихомирова.

А. А. Полторацкий.

ния, пронизавшего культурную жизнь России того времени, складывается новый жанр искусства — портретный рисунок, способный через мгновенное воссоздание зорко увиденного облика современника пере-

Акварель
неизвестного
художника.
1820-е гг.
Реставратор
М. Филатова.



Е. Н. Гончарова.

дать ритм своего времени. Создателем этого жанра явился Орест Адамович Кипренский. Его многочисленные карандашные портреты, часто рождавшиеся в результате одного сеанса, несут на себе печать гениального экспромта, вдохновенного озарения. Они сродни поэтической природе тех стихотворных экспромтов, которые, как и карандашный рисунок, было принято помещать в альбомы, любимые той эпохой. В 1812—1814 годах Кипренский создает свои лучшие графические портреты современников: И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова, И. И. Козлова, А. Г. Варнека, Н. И. Уткина, А. Н. и П. А. Олениных, И. Н. Философова, героических участников Отечественной войны, «покрытых славою чудесного похода и вечной памятью двенадцатого года»¹, А. Р. Томилова, известного военного врача, братьев Ланских, генерала Е. И. Чаплица. Глубокая насыщенность тона, контраст черного и белого, стремительный, взволнованный штрих (хочется сказать, бег) итальянского карандаша, использование листа бумаги как носителя пространственной и светоносной среды — вот изобразительные средства, с помощью которых Кипренский создавал свои портретные образы, исполненные высокой поэзии и благородства, образы, чей пластический язык предвосхитил энергичность и точность вдохновенной пушкинской строки. В новых открытиях Кипренский представлен портретом, скорее наброском, мальчика с протянутой рукой. Выполненный бархатно-

¹ Пушкин А. С. Полководец // Указ. соч. — Т. III. — С. 301.

стым итальянским карандашом на голубой бумаге, чуть подцвеченной сангиной и мелом, этот рисунок нельзя отнести к шедеврам, но он, безусловно, несет на себе печать обаяния творческой манеры художника. Рядом с Кипренским стоит имя Александра Осиповича Орловского — блестящего мастера романтических, мятежных образов, созданных в портретах начала 1800-х годов, и более сдержанного и обстоятельного в своих поздних работах.

Первые два десятилетия XIX века стали временем расцвета портретного рисунка. Легкость и чуткость изобразительного языка, способного отразить трогательную возвышенность, очарование и благородство людей своей эпохи, сделали карандашный портрет необычайно популярным среди широких кругов русского общества. Тип человека, сложившийся в 1815—1825 годах и больше не повторявшийся в последующие десятилетия, с его цельностью и ясностью мировосприятия, рыцарственным служением Отечеству, верностью идеалам добра и справедливости, возвышенной дружбы и поэтической любви, передают нам вместе с работами О. А. Кипренского и А. О. Орловского портреты В. А. Тропинина, П. Ф. Соколова, М. И. Белоусова, А. Л. Витберга, многочисленных безымянных художников и любителей.

Портрет работы художника Матвея Ильича Белоусова донес до нас облик Александра Христофоровича Востокова, известного поэта и ученого, «отца славянской филологии». Перед на-



*Портрет А. Х. Востокова.
Рисунок М. Белоусова. 1821 г.
Реставратор И. Штокман.*

ми сидящий в кресле человек с насмешливым взглядом умных глаз, с подвыпуклым ироническим лицом, вылепленным легчайшими касаниями итальянского карандаша. Неприну-



*А. М. Степанова в роли Пеки.
Акварель В. Гау. 1837 г.
Реставраторы
М. Филатова и Е. Костикова.*

редней был длинный зал... с частыми окнами. В глухой капитальной стене зала было двое дверей: первая, всегда низкая, вела в темный коридор, в конце коего была девичья и черный выход во двор. Вторая... вела в гостиную... из гостиной в кабинет или в хозяйскую спальню. Детские часто располагались на втором этаже. Убранство гостиной было также одинаково во всех домах. В двух простенках между окнами висели зеркала, а под ними тумбочки или ломберные столы. В середине противоположной глухой стены стоял неуклюжий, огромный, с деревянную спинкою и боками диван (иногда, впрочем, из красного дерева); перед диваном овальный большой стол, а по обеим сторонам дивана симметрически выходили два ряда неуклюжих кресел... Обоим были тогда еще редко в ходу, у более зажиточных стены были окрашены желтой охрою...»¹

Карандаш приезжего или крепостного художника знакомит нас с обитателями такого дома. Вот они, эти, быть может, соседи Лариных сидят на громоздком диване карельской березы в своей гостиной со стенами, выкрашенными «желтой охрою»: глава дома и его жена с младшими детьми на руках, рядом — их маленькая дочь, облокотившись, стоит кормилица, на полу старший мальчик играет с собачкой. Бытовые подробности — книга в руках хозяина, садовые цветы, которые держит девочка, собачка, наконец, сам диван как некое общее жизнен-

ное пространство, композиционно объединяющее всех действующих лиц, — несут определенную сюжетную нагрузку, переходящую в наивную символику. На первый взгляд статичная композиция пронизана сложным внутренним ритмом, создаваемым перекрещивающимися движениями и чередованием черного и белого. Живописная фактура портрета с его плотным мелким штрихом, моделирующим объемы, богатая тончайшими тоновыми градациями, вызывает ассоциации с наивными и прелестными рукодельными поделками из бисера или шерсти, являющимися порождением и отражением русского усадебного быта первой половины XIX века.

Многочисленные портреты Карла фон Гампельна 1820—1830-х годов, сделанные итальянским карандашом с добавлением, как правило, сангины или акварели, своей любовной описательностью перекликаются с упомянутым семейным портретом. «С механической точностью, сухо и угловато зарисовывал он своих современников... Но для нас любопытны и драгоценны художественные записи, как нужны документы истории и простые бесхитростные мемуары маленьких людей. Только по таким зарисованным фактам жизни можно читать книгу прошлого, и только такие художники, как Гампельн, дают драгоценный материал. По ним можно писать всю историю костюма, рассказать день за днем жизнь русского дворянина при Николае Павловиче»².

¹ Цит. по кн.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарии. — Л., 1980. — С. 69—71.

² Барон Н. Врангель. Иностранцы XIX века в России. // Старые годы. — 1912. — Июль — сентябрь. — С. 21—22.

Любительское рисование, так принятое в дворянских кругах первой половины XIX века, оставило нам очаровательные образцы карандашного портрета. У Герцена в «Былом и думах» есть сцена, живо передающая атмосферу и ситуацию, в которой возникали подобные памятные рисунки. «Раз вече-



*М. Ф. Самарина.
Акварель неизвестного художника.
Реставратор Н. Хафтаси.*

ром, говоря о том, о сем, я сказал, что мне бы очень хотелось послать моей кузине портрет, но что я не мог найти в Вятке человека, который бы умел взять карандаш в руки.— Дайте я попробую,— сказала соседка,— я когда-то достаточно удачно делала портреты черным карандашом.— Очень рад. Когда же?— Завтра перед обедом, если хотите.— Разумеется. Я приду в час»¹.

Вероятно, также в память близким предназначался и тро-

гательный в своей наивности портрет юного Г. П. Самсонова, написанный чьей-то не очень умелой, но старательной рукой, как и еще один запоминающийся портрет— Ю. Ф. Самарина: тонкое и прекрасное умное лицо как бы вплотную приближено к плоскости листа, молодой человек словно всматривается из своего времени в наше пристально и тревожно.

В 1820—1840-е годы было создано немало прекрасных образцов карандашного портрета. В этой технике наряду с О. А. Кипренским работают В. А. Тропинин, П. А. Федотов, К. А. Горбунов. Пережив пору расцвета в первые два десятилетия XIX века, карандашный портрет постепенно сдает позиции, и ведущую роль в дальнейшем развитии этого жанра начинает играть акварельный портрет. Поэзию карандашного портрета с его взволнованным отношением к миру сменяет проза акварельного портрета, вдохновенного утверждением своего «я» в окружающей действительности.

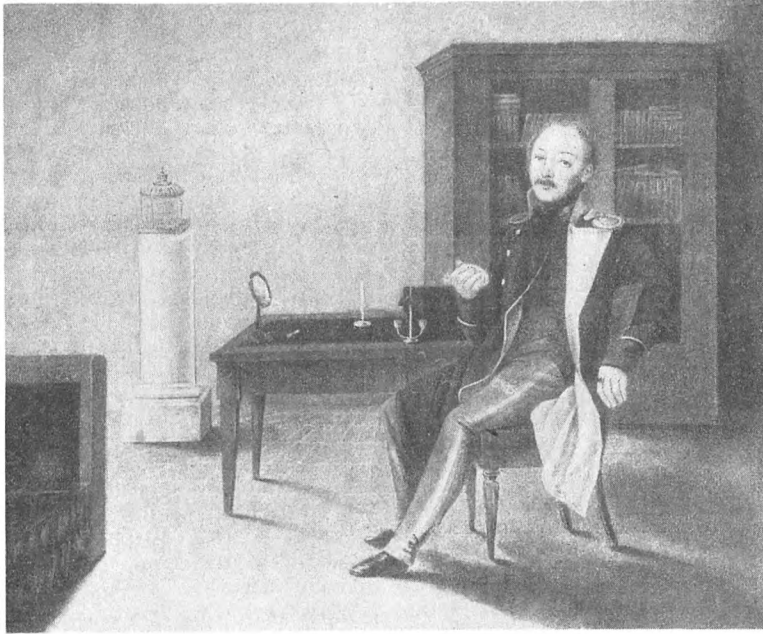
После подавления восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, когда духовная и интеллектуальная жизнь России как бы ушла в подполье и человек замкнулся в домашнем кругу или кругу близких друзей, возникает интерес к бытовым аспектам жизни. Поэзия будней с непрекращающимися мучительными поисками новых идеалов становится содержанием искусства этого времени. Но, по выражению В. Г. Белинского, «если есть идеи времени, то

¹ Герцен А. И. Указ. соч.— С. 338.

есть и формы времени»¹, и литература является теперь выразителем животрепещущих проблем своей эпохи. Два имени, стоящие у начала большой русской литературы — А. С. Пушкин и А. С. Грибоедов, — знаменуют открытие новой эры русской культуры. В 30-е годы XIX столетия лите-

ло, кроме них, и большое число русских романистов, показавших также в своих произведениях типичных героев русской действительности.

В «Пиковой даме» А. С. Пушкина, созданной в 1833 году, мы находим такой диалог между старой графиней и Томским:



Акварель
неизвестного
художника.
1830-е гг.
Реставратор
Т. Жукова.

А. С. Талызин
в кабинете.

ратура становится ведущим видом искусства. Сначала поэзия, а позже проза оказывают непосредственное влияние на живопись и графику. Творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя определило литературу настоящего и будущего, но бы-

«— Paul! — закричала графиня из-за ширмов, — пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand' maman?

— То-есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

¹ Белинский В. Г. О русской повести и повестях Гоголя. // Избранное. — М., 1954. — С. 19.

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?»¹...

Но именно в 1830-е годы, как замечает В. Г. Белинский, «вся наша литература превращается в роман и повесть... повесть, которую все пишут и все



Акварель
неизвестного
художника.
1830-е гг.
Реставратор
Н. Хафтаси.

Д. Н. Бантыш-Каменский.

читают, которая воцарилась и в будуаре светской женщины и на письменном столе записного ученого... Краткая и быстрая, легкая и глубокая вместе, она перелетает с предмета на предмет, дробит жизнь на мелочи и вырывает листки из великой книги жизни. Соедините эти листки под один переплет, и какая обширная книга, какой огромный роман, какая многосложная поэма составила бы из них»². Этими же словами

можно сказать и об акварельном портрете, который вслед за прозой, заимствуя у литературного портрета его неторопливую описательность, создал обширную галерею образов, по своему изобразительному строю созвучных героям бытовых романов и повестей М. Н. Загоскина, Г. А. Симоновского, Д. Н. Бегичева, А. Ф. Вельтмана, Антония Погорельского, Н. А. Полевого, М. П. Погодина, Н. Ф. Павлова, А. А. Бестужева-Марлинского, В. А. Соллогуба.

Акварельный портрет вошел в изобразительное искусство, как вошли в русскую литературу некий молодой человек или княжна — неперенные действующие лица романов и повестей того времени, подробно передавая бытовую облик персонажа.

В «Гробовщике», написанном А. С. Пушкиным в 1830 году, он как бы специально оговаривается: «Не стану описывать ни русского кафтана Андрея Прохоровича, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступаая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами»³.

В произведениях русских писателей 1830-х годов легко находят аналогии между литературными и акварельными портретами.

«В переднюю вышел молодой человек, в модном сюртуке с деланным галстуком на шею, с русыми, опрятно причесанными волосами, лицо его было благородно, правильно, но ничего особенного не выражало. Глаза его были, как говорится, голубые, то есть просто серые»⁴.

«Хозяйка дома была в теменьком ситцевом капоте и бе-

¹ Пушкин А. С. Пиковая дама. // Указ. соч.— Т. VI.— С. 215.

² Белинский В. Г. Избранное.— С. 18.

³ Пушкин А. С. Гробовщик. // Указ. соч.— Т. VI.— С. 83.

⁴ Полевой Н. А. Живописец. // Мечты и жизнь: Были и повести.— М., 1834.— Ч. 2.— С. 61.

лом чепце с зелеными лентами. В руках у нее ридикюль, из которого торчали чулочные спицы»¹.

«Я сидел подле Машеньки. Как она была хороша в своем белом платьице, с распущенными по плечам волнистыми кудрями»².

«Княжна была в шелковом платье каштанового цвета, на левой руке у нее висела пунцовая шаль, ветка лиловой сирени, первинка весны, украшала ее багровую шляпку. Поразительная белизна, румянец во всю щеку и голубые глаза...»³.

«И в самом деле, от прически Элио до башмачка Соболева, все было очарование в этом очаровательном существе»⁴.

«На ней было белое газовое платье. Крепко прильнув к ее пышной груди, к гибкому стану, оно раскидывалось вокруг на тысячу небрежных складок... Как перевязь рыцаря, как подарок любви или награда за подвиг... опускался нежно с ее правого плеча под левую руку розовый шарф... Темно-русые волосы своими причудливыми кудрями не мешали полному сиянию красоты, не накидывали теней на мечтательную белизну лица, но спокойно, но просто уложенные по вискам оставля-

ли переднюю часть головы для других украшений природы...»⁵.

«Черты были изумительно тонки и правильны, головка маленькая, цвет лица бледный, волосы черные, но глаза — глаза были такие, что и описать нельзя: черные, большие, с длинными ресницами, с густыми бровя-



Акварель
Н. Уткина.
1815 г.
Реставратор
С. Тихомирова.

С. И. Муравьев-Апостол.

ми; они свели бы с ума живописца»⁶.

«Усы и рост давали ему мужественный вид. На бледных и худых щеках показывались два алых пятна»⁷.

В этих описаниях, взятых из прозы А. А. Бестужева-Марлинского, Н. Ф. Павлова, В. А. Соллогуба, можно увидеть и «Портрет Н. Л. Соллогуб» работы П. Ф. Соколова, и «Портрет В. И. Опочининой» работы В. И. Гау, и «Портрет

¹ Симоновский Геннадий. Русский Жилбаз: Похождения Александра Сибирикова, или Школа жизни.— М., 1832.— Ч. 1.— С. 145.

² Загоскин М. И. Искуситель. // Полн. собр. соч.— СПб.; М., 1898.— Т. 6.— С. 14.

³ Павлов Н. Ф. Миллион. // Повести и стихи.— М., 1857.— С. 302.

⁴ Бестужев-Марлинский А. А. Месья // Полн. собр. соч.: В 2 т.— СПб., 1906.— Т. I.— С. 65.

⁵ Павлов Н. Ф. Маскарад // Указ. соч.— С. 125—126.

⁶ Соллогуб В. А. Метель // Соч.— СПб., 1855.— Т. I.— С. 332.

⁷ Павлов Н. Ф. Маскарад // Указ. соч.— С. 131.



*Аquatint
неизвестного
художника.
Реставратор
Е. Тарасова.*

Н. А. Волконская.

неизвестной» работы неизвестного художника из Музея изобразительных искусств ТатАССР, и «Портрет Н. А. Спешнева» работы В. Е. Мейер.

В свою очередь, благодаря одинаковому подходу к изображению персонажа, легко вооб-

разить в акварельных портретах действующих лиц русской прозы 1830—1840-х годов. Достаточно описать голубые мечтательные глаза, русые волосы, заплетенные в косу, уложенную вокруг головы, скромное белое платье в «Портрете девушки»



Акварель
К. Гампельна.
Первая
половина
XIX в.
Реставратор
А. Иванова.

Портрет П. П. Коновницына.

работы М. И. Терebeneва, или опрятный серый наглухо застегнутый сюртук в «Портрете молодого человека» из Московского областного краеведческого музея работы неизвестного художника, или хрупкую красоту М. К. Толстой на портрете работы В. И. Гау, ее строгое черное платье, так «чудно выказывающее» удивительную нежность ее лица, или «говорящий взор», пышные усы, мужественную осанку, золото мундира

Н. Ф. Плаутина на портрете работы А. И. Клиндера — и перед нами пройдут вереницей знакомые герои многочисленных романов и повестей: дочь небогатого помещика, скромный чиновник, прекрасная графиня, блестящий офицер. В литературном образе мы узнаем акварельный портрет и, наоборот, в акварельном портрете — литературный образ.

Усвоив изобразительный прием литературного портрета

с его описательностью и «отчетом в деталях», используя богатство колористических возможностей миниатюры, а также сложившееся еще в карандашном портрете понимание плоскости листа как живописного пространства, мастера акварельного портрета создали свой пластический язык, позволивший им за тридцать лет (конец 1820 — конец 1840-х гг.) показать представителей всех сословий России, что было не под силу никакому другому виду изобразительного искусства. Подвижный, быстрый язык акварели определил разнообразие характера портрета, от погрудного изображения с его интимно-поэтическим строем до сложных по композиции листов, представляющих человека в пейзаже или интерьере.

Конец 1820-х — 1830-е годы — период расцвета акварельного портрета, совпадающий с расцветом творчества Павла Федоровича Соколова — родоначальника этого графического жанра в русском искусстве. Его виртуозная кисть представила нам различные слои русской аристократии второй четверти XIX века. Среди его многочисленных портретов — изображения А. А. Бобринского, Н. А. Соллогуб, Е. Г. Чертковой, И. Г. Полетики — людей круга А. С. Пушкина, как его друзей, так и врагов. Нежнейшими касаниями кисти моделируя лицо, широко и свободно трактуя костюм, художник умел извлекать из акварели ее драгоценные колористические свойства. Лучшие портреты Соколова, написанные как бы на одном дыхании, передают обя-

женное изящество, а подчас самоуверенность и внутреннюю пустоту, разочарованность представителей высшего света.

В конце 1820 — начале 1830-х годов создает свои лучшие акварельные портреты Карл Павлович Брюллов: «Всадница», «Портрет Олениных», «Портрет Нарышкиных», «Портрет неизвестной в тюбане». В альбоме творчество К. П. Брюллова представлено портретом А. Б. Бакуниной. Женский образ, болезненный и хрупкий, написанный в перламутровой серебристо-голубой гамме, смотрится как видение, на мгновение возникшее из белой плоскости листа.

Вместе с Карлом Брюлловым в области акварельного портрета работал его брат Александр, умевший через внешний облик своих моделей передать поэзию «особого интимного мира 30-х годов прошлого столетия»¹. Портрет Н. Д. Черткова работы А. П. Брюллова — пример парадного графического портрета, создателем которого явился его прославленный брат. Перед нами безупречная четкость рисунка, заимствованная художником из архитектурной практики, сочетающаяся с живой и подвижной природой акварельной техники. Весь портрет — живописное воплощение фразы об обязанностях дворянина: «Настоящее предназначение русского дворянина есть: первое, служба военная, гражданская и по выборам; второе, попечение о благосостоянии

¹ Греч А. Акварельные портреты А. П. Брюллова. // Среди коллекционеров. — 1924. — Март — апрель. — С. 6.

зверенных ему Провидением людей»¹.

Одним из последователей Соколова, полностью посвятившим свое творчество акварельному портрету, был Владимир Иванович Гау. Его многочисленные портретные образы, блестящие по исполнению, несут на себе печать изящества, элегантности и холодности.

В 1830—1850-е годы акварельный портрет, будучи самым активным и мобильным видом изобразительного искусства, вошел в культурный быт всех слоев русского общества. В нем нуждались аристократические круги, мелкопоместное дворянство, чиновничество, купечество, мещанство, круги разночинной интеллигенции. В это время работают мастера, чье творчество отмечено высоким профессионализмом, а также большое количество дилетантов. Среди них следует назвать имена К. А. Горбунова, Л. С. Осокина, Н. И. Тихобразова, Р. А. Ступина, И. А. Нечаева, Н. П. Новикова, С. И. Сударикова, К. А. Ясевича, И. Г. Григорьева и других. Для акварельного портрета конца 1830—1840-х годов, отразившего демократические тенденции в искусстве своего времени, свойственны четкость и конкретность характеристики, строгость композиции. В многочисленных акварельных портретах этой эпохи, созданных изве-

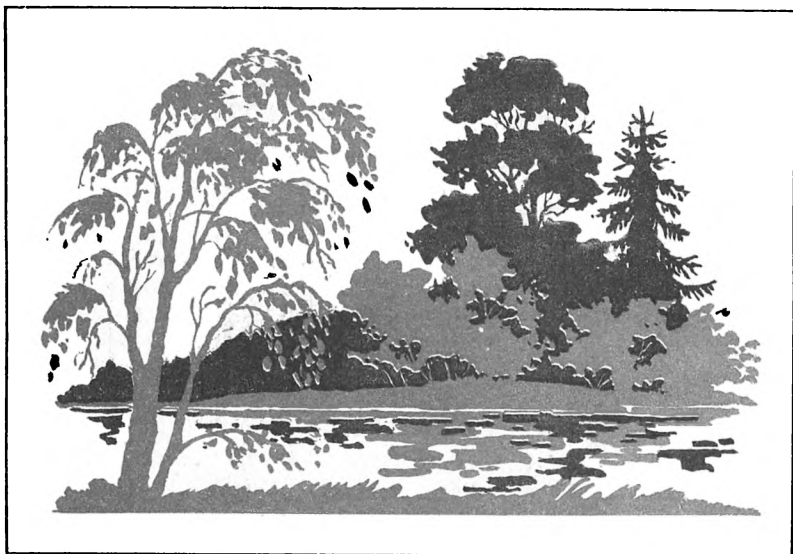
стными и безымянными художниками, воплотились, говоря словами В. Г. Белинского, и «собственная индивидуальность мастера», «и век, и народ», качества, которые так дороги нам в портретном искусстве.

В конце 40-х годов XIX века завершается расцвет акварельного портрета. Русская проза, питавшая этот легкий и емкий графический жанр с его радостным, красочным многословием, пошла дальше, по пути, продолженному творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, решая иные проблемы, выдвигаемые новым временем, создавая новую поэтику и других героев. И уже из преддверия этой новой литературы прощальным приветом промелькнет перед нами оставшийся на первой странице «Мертвых душ» типичный персонаж многих романов — некий молодой человек «в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкой с бронзовым пистолетом»². Промелькнет, чтобы навсегда отойти в прошлое вместе со своей эпохой. Также и акварельный портрет, портрет-напоминание, уйдет безвозвратно вслед за своими героями. Его место займет дагерротип, а потом фотография — детище новой цивилизации.

¹ Бегичев Д. И. Быт русского дворянина в разных эпохах и обстоятельствах его жизни. — М., 1851; Вып. 1.

² Гоголь Н. В. Мертвые души. — М., 1976. — С. 3.





«МНЕ ВИДИТСЯ МОЕ СЕЛЕНЬЕ...»

Вл. Вельяшев

...Нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я минутно погонял моего ямщика...

А. С. Пушкин

Неподалеку от подмосковной станции Голицыно приютилось небольшое село Захарово. Когда-то принадлежало оно бабушке А. С. Пушкина Марии Алексеевне Ганнибал. Александр Юрьевич Пушкин, двоюродный дядя поэта, писал, что Захарово было куплено М. А. Ганнибал у генеральши Тиньковой. Во времена Бориса Годунова деревня принадлежала Богдану Камынину.

Здесь Пушкин провел детство, об этом месте с любовью и нежностью вспоминал он в зрелые годы.

С 1806 года родители Пушкина, обычно постоянно жившие в Москве, каждое лето приезжали в Захарово, и с ними до 12-летнего возраста бывал здесь будущий поэт.

Усадьба живописно располагалась на довольно высоком холме. Вниз к пруду спускался липовый парк. А кругом — поля, рощи, стрельчатый еловый лес, замыкающий горизонт. Ровный луг, открытое взгорье, величавые сосны — именно это открывалось взору.

Пушкина. И не отсюда ли частица величавой простоты и тихой скромности его деревенских стихов? Ведь впечатления детства и юности неизгладимы, они навечно западают в сердце.

Старый барский дом с двумя флигелями, в одном из которых жили дети Пушкина с няней, гувернерами и другой прислугой, давно исчез с лица земли, как исчезла и березовая роща, примыкавшая к парку. А когда-то посреди этой рощи стоял стол, окруженный скамьями. Здесь в погожие летние дни Ганнибалы обедали и пили чай. Маленький Пушкин любил эту рощу и даже, как вспоминают современники, говорил, что желает быть в ней похороненным. Он говорил об этом повару своей бабушки, к которому питал сильную привязанность, видимо, оттого, что тот был человек словоохотливый и бойкий. Впоследствии он убежал в Польшу и сделался из Александра Фролова паном Мартыном Колесницким. Быть может, именно этот эпизод пришел на память поэту, когда он описывал в «Борисе Годунове» бегство Гришки Отрепьева.

На берегу пруда, возле самой воды, под ветвями огромной липы часто играл и отдыхал юный Пушкин. Здесь впервые заслушался он русской песней. Свадебно-обрядовые песни этих мест, записанные примерно через восемьдесят лет после того, как их мог слышать поэт, поражали знатоков истинно былинной силой, образностью, чистейшей русской поэзией. Под Москвой существовали тогда удивительно самобытные уголки. Там бытовали свои поверья, обряды, сохранившиеся в полной чистоте от глубокой старины. Таким было и Захарово.

«Пушкины постоянно жили в Москве, — писал С. П. Шевырев, неоднократно бывавший по соседству с Захаровым в селе Вяземы, — но на лето уезжали в деревню Захарьино, верстах в сорока от Москвы, принадлежавшую родственникам Надежды Осиповны. Это сельцо теперь принадлежит помещице Орловой. Здесь Пушкин проводил первое свое детство до 1811 года. Старый дом, где они жили, срыт, уцелел флигель. Местоположение хорошее. Указывают несколько берез, и на некоторых вырезаны надписи, сделанные, по словам теперешнего владельца Орлова, самим будто Пушкиным, но это, должно быть, выдумка, потому что большая часть надписей — явно новые. Особенно заметить следует, что деревня была богатая: в ней раздавались русские песни, устраивались праздники, хороводы, и, стало быть, Пушкин имел возможность принять народные впечатления. В сельце до сих пор живет женщина Марья, дочь знаменитой няни Пушкина, выданная за здешнего крестьянина. Эта Марья с особенным чувством вспоминает о Пушкине, рассказывает о его доброте, о подарках ей, когда она приходила к нему в Москву...»

В Захарове няня поэта Арина Родионовна, муза юности Пушкина, сказывала ему былины, сказки, которые затем нашли отзвук в его творчестве.

С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,
Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона,
И глухо тополы шумят.
Туда зарею поспешаю
С смиренным заступом в руках,
В лугах тропинку извиваю.
Тюльпан и розу поливаю —
И счастлив в утренних трудах...

Так писал молодой Пушкин в 1815 году в стихотворении «Послание к Юдину», по поводу которого В. Брюсов замечал: «Если зимой, в доме отца, в обществе лучших писателей того времени, Пушкин с ранних лет стал увлекаться литературой, то летом, в деревне бабушки, он уже ребенком сжился с русской народной жизнью. В лицей Пушкин поступил, как это видно из его стихотворений, с большим запасом знаний по литературе. «Послание к Юдину» показывает, что в душе его был не меньший запас живых впечатлений, воспринятых в русской деревне». И той деревней было Захарово.

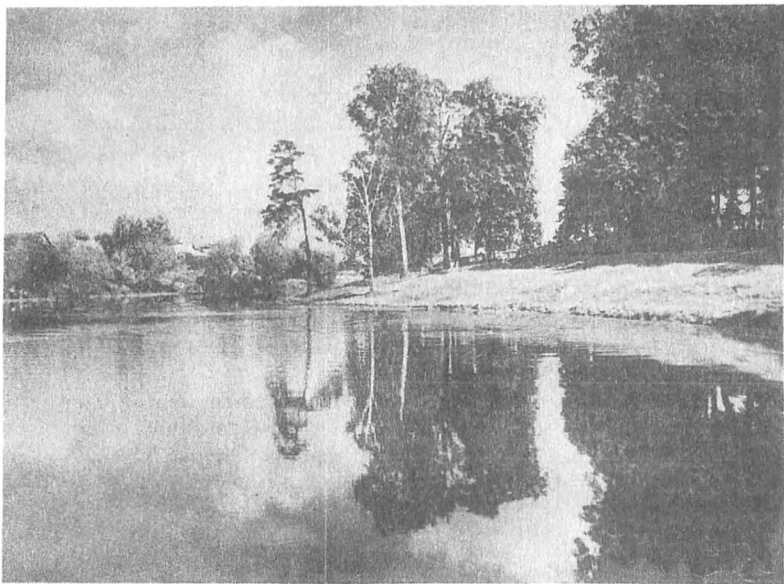
Часто Пушкина возили в соседнее поместье князей Голицыных — Большие Вяземы. Даже по тому, что сохранилось в них сейчас, можно сказать, что это один из самых поэтических уголков Подмосковья. Невдалеке от двухэтажного дома XVIII века стояла церковь с чудесной звонницей, которые относят к концу XVI века. В ограде церкви — небольшой памятник-колонна на могиле младшего брата Пушкина, Николая, умершего в 1807 году. «Под сим камнем покоится Николай Сергеевич Пушкин» — вырезано на сером известняке.

Когда-то Большие Вяземы были вотчиной Бориса Годунова, позднее в селе бывал Дмитрий Самозванец. Здесь в Смутное время по пути из Польши в Москву останавливалась Мария Мнишек со своей блестящей свитой. Сохранилось описание Больших Вязем как раз того времени, когда Пушкин бывал там. «Это село отличалось каменным господским домом с регулярным садом и прекрасно окружающими селение рощами. А паче обратила на себя внимание наше в Вяземах церковь каменная о двух ярусах, довольно великая, строения еще Бориса Годунова... Примечательного в ней усмотрели мы, что в церкви на стенах в некоторых местах на подмазке вырезаны или начертаны были ножичком или каким другим острым орудием слова польским языком, а литерами латинскими,

кои мы разобрать не смогли, однако видны изображения цифирью — 1611, 1618 и 1620 годы и некоторые имена польских панов».

Здесь входила в жизнь юного Пушкина история, он слышал в Вяземах старинные предания о Борисе Годунове, Гришке Отрепьеве, Марине Мнишек, и когда впоследствии он встретил название годуновского села в рассказах Карамзина о подмосковных воинских потехах Самозванца и о приближении Марины Мнишек к Москве по Старой Смоленской дороге, то мог дополнить картину собственными воспоминаниями о Вяземах.

Н. М. Карамзин пишет в своей «Истории» об одном из эпизодов Смутного времени, связанном с Вяземами: «Лжедмитрий дей-



*Пруд
в Захарове.*

ствовал как и прежде: ветренно и безрассудно; то желал снискать любовь Россиян, то умышленно оскорблял их. Современники рассказывают следующее происшествие: «Он велел сделать зимою ледяную крепость близ Вяземы, верстах в тридцати от Москвы, и поехал туда со своими телохранителями, с конною дружиною ляхов, с боярами и лучшим воинским дворянством. Россиянам надлежало защищать город, а немцам взять его приступом; тем и другим вместо оружия дали снежные комы. Начался бой, и Самозванец, предводительствуя немцами, первый ворвался в крепость; торжествовал победу, говорил: «Так возьму Азов» — и хотел нового приступа. Но многие из Россиян обливались кровью: ибо немцы во время схватки, бросая в них снегом, бросали и камнями. Сия худая шутка,

оставленная даром без наказания и даже без выговора, столь озлобила Россиян, что Лжедмитрий, опасаясь действительной сечи между ими, телохранителями и ляхами, поспешил развести их и возвратился в Москву».

Работая в михайловской ссылке над трагедией «Борис Годунов», поэт не раз обращался в мыслях к местам, где прошло его детство. Например, в одной из сцен, указывая Григорию дорогу на Литву, хозяйка корчмы перечисляет названия деревень, расположенных близ Больших Вязем: «Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево...»

Пушкиным так полубилась их подмосковная, что, возможно, никогда они не расстались бы с ней, если бы матери поэта, Надежде Осиповне, не перешло по наследству вконец расстроенное село Михайловское. И Захарово было продано в 1811 году, а вскоре тройка лошадей уносила в северную столицу, в царскосельский лицей, юного Александра Пушкина.

Он не забыл Захарова и часто мечтал побывать там. Но сумел посетить Захарово Пушкин лишь через 19 лет, незадолго до свадьбы с Н. Н. Гончаровой. Часто перед решительным поворотом судьбы человек стремится на милое пепелище, чтобы в спокойной сосредоточенности подвести итог прожитому.

«Вообрази, он совершил летом сентиментальное путешествие в Захарово,— писала мать Александра Сергеевича дочери Ольге,— отправился туда один, лишь бы увидеть место, где провел несколько годов своего детства». Грустным было это посещение.

Поэт Н. В. Берг записал рассказ дочери няни Пушкина Арины Родионовны Марии Федоровны, выданной замуж за одного из захаровских крестьян, о последнем приезде Пушкина в Захарово: «...А вдругорять он приезжал ко мне сам, перед тем как вздумал жениться. Я, говорит, Марья, невесту сосватал, жениться хочу... и приехал это не прямо по большой дороге, а задами; другому оттуда не приехать, куда он поедет? — в воду на дно! А он знал... Уж оброс это волосками тут (показывает на щеки); вот в этой избе у меня сидел, вот тут-то... а в третий-то раз я опять к нему ходила в Москву.

— Когда ж он у тебя здесь был? В каком году, не помнишь?

— Где нам помнить! Вот моей дочке теперь уж двадцать второй год будет, ей был тогда, надо быть, седьмой либо шестой годок...

— Когда ж он — летом приезжал или зимой?

— Летом, батюшка; хлеб уж убрали, так это под осень, надо быть, он приезжал-то... я это сижу; смотрю: тройка! Я этак... а он уж ко мне в избу-то и бежит... наше крестьянское дело, известно уж — чем, мол, вас, батюшка, угощать-то я стану? Сем, мол, яишенку сделаю! Ну, сделай, Марья! Пока он пошел это по саду, я ему яишенку-то и сварила; он пришел, покушал... все наше решилось, говорит, Марья; все, говорит, поломали, все заросло! Побыл еще

часика два — прощай, говорит, Марья! Приходи ко мне в Москву! А я, говорит, к тебе еще побываю... сели и уехали!..» Но он уезжал из Захарова, чтобы никогда туда более не вернуться.

Впечатления от «Сентиментального путешествия» отозвались в написанной осенью того же 1830 года повести «История села Горюхина», герой которой едет в усадьбу, где провел детство; еще в другой «болдинской» повести — «Барышня-крестянка» — вспоминает Пушкин о Захарове.

Существует прекрасная традиция — считать святынями все связанное с жизнью светлого гения русской поэзии — Пушкина. И можно перечислить немало примеров того, как любовно сохраняется память о нем в северном псковском крае, и в южной Молдавии, на Кавказе и в Верхневолжье, где созданы прекрасные музеи поэта. Любовь должна быть действительна — эта истина непременно относится и к памятникам истории и культуры нашей Родины. Увы, Захарово — колыбель Пушкина — находится сейчас на отрицательном полюсе феномена «Крайности забвения и крайности славы».

Да, в Захарове с недавних пор стали проводиться Пушкинские праздники, открыта там на общественных началах небольшая выставка, но не такая судьба должна быть у места, связанного с детством русского гения. Об этом прямо и честно говорили в диалоге «Память истории священна» академик Д. С. Лихачев и директор Государственного музея А. С. Пушкина М. М. Баринов несколько лет назад. Так как практически ничего, несмотря на заверения многих организаций, ответственных за охрану памятников истории и культуры, в подмосковном Захарове не изменилось, приведем отрывки из этой беседы:

«М. Баринов. Если говорить о создании благоприятного социального климата уважения к памятникам культуры, бережного к ним отношения как о главной задаче деятельности ВООПИК, то «антипримеры» можно найти совсем недалеко от Москвы. Хотелось бы поговорить в связи с этим о пушкинском комплексе «Захарово — Вяземы».

Д. Лихачев. Тем более что это единственное под Москвой пушкинское место такого значения... Насколько мне известно, в Вяземах, в Захарове нет ни государственного музея, ни заповедника, но люди со всей страны знают это место, посещают его, так сказать, «голосуют ногами» за создание пушкинского заповедника под Москвой.

М. Баринов. И Захарово, и Вяземы находится сейчас в плачевном состоянии. Собор в вяземском имении реставрируется уже более тридцати лет...

Тяжелые автомобили губят старинный парк, видевший Пушкина. Многие деревья уже высохли, а техника продолжает свое дело: выхлопными газами и колесами.



*Митинг
в Захарове.*

Д. Лихачев. Что же, вот вам печальный пример равнодушно-го отношения «пользователей», местного населения, местных властей к памятникам, расположенным, так сказать, у себя дома. Поистине, «нет пророка в своем отечестве!»... А они должны в полной мере осознать, что им выпало великое счастье, что именно на их земле есть такое место — Захарово, есть Вяземы!

Знаете, я убежден, что если местные власти не сознают ценности и значения памятника, который находится на их земле, то гораздо активнее должны воздействовать на них государство, Министерства культуры РСФСР и СССР, специалисты, общественность... Борьба с чиновниками и бюрократами, если надо, борьба непрерывная и до победного конца — это и есть первая и основная обязанность органов ВООПИК, в данном случае в проблеме Захарово — Вяземы».

Состояние пушкинских мест в Захарове явственно свидетельствует о некомпетентности и равнодушном отношении к своим прямым обязанностям тех, кто по долгу службы должен отвечать за памятники истории и культуры. Можно привести целый ряд печальных примеров только в одной Московской области, чтобы доказать, что дело с охраной памятников истории и культуры у нас поставлено плохо, несмотря на все заверения, выступления и отчеты. Только в последние годы практически погиб дом А. И. Герцена в Покровском-Засепино, находящийся, кстати, в том же Одинцовском районе Подмосковья, что и Захарово; в Клинском районе разрушена усадьба Бабайки, где жил изобретатель радио А. С. Попов и откуда был проведен первый наземный сеанс радиосвязи. В нем участвовал Д. И. Менделеев, принимавший сигналы передатчика в своей находящейся неподалеку усадьбе Боблово. Само Боблово, любимое гениальным Д. И. Менделеевым, находится в таком ужасном состоянии, что просто стыдно входить в сень его гибнущего парка. Под видом реставрации разрушено знаменитое Мураново, связанное с именами Баратынского и Тютчева. Вот уже два десятилетия не может быть восстановлено Шахматово Александра Блока, испытывающее теперь не столько человеческое забвение, сколько бесконечное бюрократическое равнодушие. Забыта-заброшена, используется не как замечательный памятник культуры подмосковная усадьба Середниково, буквально напоенная поэзией Михаила Юрьевича Лермонтова. И в этом грустном перечне занимает одно из первых мест Захарово.

Поэт любил Захарово, страну своего долицейского детства, где впервые узнал крестьянскую Россию; не раз вспоминал и писал о нем — этого достаточно, чтобы решить наконец судьбу места, где была подмосковная усадьба Ганнибалов, с тем бережным вниманием и заботой, которые достойны памяти Александра Сергеевича Пушкина.



ПУШКИНСКОЕ КОЛЬЦО ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Т. Князева

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.

А. С. Пушкин

Тверская земля, эта срединная земля России, с ее истоком великой Волги, с ее прекрасными лесами, живописными реками, светлыми озерами навсегда связана с гением русской поэзии — Пушкиным. По большей ее части проходила так называемая «государева дорога», ведущая из Москвы в Петербург. По ней более тридцати раз «то в кибитке, то в карете...» проезжал А. С. Пушкин. В подтверждение тому сохранилась подорожная, выданная поэту на поездку из Петербурга в Москву и далее в Тифлис, которая гласит:

«Почтовым местам и Станционным смотрителям от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно.

Г. Чиновнику 10 класса Александру Сергеевичу Пушкину, едущему от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно, предписываю Почтовым местам и Станционным смотрителям давать означенное

в подорожной число почтовых лошадей без задержания, и к проезду оказывать всякое содействие. Марта 4 дня 1829 года.

Санкт-Петербургский Почтдиректор
Константин Булгаков»

Но не просто проезжим путником бывал здесь Пушкин. Он нередко сворачивал с главного тракта и заезжал к тверским друзьям своим, гостил у них и так полюбил эти места, что сам определял их, как свой «кабинет».

Пушкинское кольцо Верхневолжья как раз и пролегло по пути следования и остановок поэта. Сегодня каждый желающий может легко совершить путешествие по этим местам, стоит только обратиться в бюро путешествий и экскурсий городов Калинина, Старицы и Торжка. Вас посадят в комфортабельный автобус, и вы поедете по пушкинской дороге. За два дня пути к известным образам Пушкина, уже живущим в вас, прибавится новый — тверской, откроется еще одна грань его жизни и творчества. Но это теперь... А каких-нибудь пятнадцать лет назад пушкинские места были и недоступны и малоизвестны. Энтузиазм наших современников сделал невозможное, создав Пушкинское кольцо Верхневолжья. Можно прямо сказать, в этом деле, в этой работе, в этом горении калининцами был свершен настоящий подвиг, подвиг во имя любви к Пушкину. Но чтобы понять его, увидеть всю глубину свершенного сегодня, обратимся к прошлому времени.

18 мая 1888 года в заседании Тверской ученой архивной комиссии членом ее Владимиром Ивановичем Колосовым был читан доклад о пребывании Александра Сергеевича Пушкина в Тверской губернии. Это выступление явилось результатом первого краеведческого изыскания своего рода и явилось первоосновой для дальнейшего изучения поездок Пушкина по Тверской губернии.

1888 год почти юбилейный, недавно, двенадцать месяцев назад, Россия почтила память великого поэта в его 50-ю годовщину со дня смерти. Казалось бы, как много живых следов Пушкина должна была к этому времени хранить еще тверская земля... Как много должно было бы открыться первому краеведу... С благоговейным трепетом мы вчитываемся в каждое слово, занесенное Колосовым в свой доклад, особенно в той его части, где идет речь о памятных усадьбах, домах, деревнях — местах, где ныне пролегает маршрут Пушкинского кольца Верхневолжья. Вот дословный рассказ краеведа:

«...Мы решились посетить сами места, где в не особенно давние времена бывал наш великий поэт. Побывали мы при этом в Малинниках, Павловском и Бернове; но не много нашли мы здесь следов великого человека — так быстро изглаживает их наша жизнь. В Малинниках цел еще дом, в котором гостил еще некогда Александр Сергеевич. Теперь это поместье, за смертью А. Н. Вульф, принадлежит сыну Евпраксии Николаевны — барону

Вревскому. Осмотрели мы этот дом, в одной половине которого живет теперь управляющий Вревского; нам не показали при этом даже комнаты, которую занимал некогда А. С. Пушкин. Павловское, по смерти умершего в бедности Павла Ивановича Вульф, перешло уже в третьи руки, и самый дом, в котором гостил некогда А. С. Пушкин, представляет уже развалину, правда, довольно живописную; очевидно, что недалеко уже время, когда исчезнет и этот последний свидетель пребывания здесь Пушкина...

Несколько небезынтересных сведений получил я только в селе Бернове от почтенного Николая Ивановича Вульф, сына Ивана Ивановича... Николай Иванович неоднократно видал А. С. Пушкина в селе Бернове, где он не один раз гостил по одному, по два дня, и поэтому только немногое сохранилось в его памяти.

По его словам, А. С. Пушкин писал свои стихотворения обыкновенно утром, лежа на постели, положив бумагу на подогнутые колена. В постели же он и пил кофе. Не один раз писал Александр Сергеевич тут свои произведения, но никогда не любил читать их вслух... Не один раз видал Николай Иванович, как Пушкин большими шагами ходил по гостиной, обыкновенно вполголоса разговаривал со своим собеседником, чаще, впрочем, с собеседницей. Сообщил он мне и предание, по которому сюжет «Русалки» Пушкину подала судьба дочери одного мельника их имения. По этому преданию, дочь этого мельника была влюблена в одного барского камердинера; этого камердинера за какую-то вину барин отдал в солдаты, и она с отчаяния утопилась в мельничной плотине. Нас проводили на эту плотину и показали самый омут, в котором, по преданию, она утопилась. Действительно, вид запущенный, со всех сторон поросший лесом, плотина с глубоким бездонным омутом среди нее, в связи с этим предание о судьбе дочери мельника могло запасть в чуткую душу поэта, но за полную достоверность этого предания все-таки поручиться довольно трудно...

Благодаря полному радушию и гостеприимству хозяев, осмотрели мы и замечательный сад, находящийся при поместье Николая Ивановича. Сад этот, раскинутый, как говорят, на 12 десятинах и заключающий в себе немалое число вековых деревьев, составляет, действительно, лучшее фамильное достояние. Здесь нам показывали небольшую горку, живописно поросшую разного рода деревьями, кем-то и когда-то прозванную Парнасом. Не раз, вероятно, побывал на этом Парнасе и светило нашей поэзии, А. С. Пушкин, и не один, вероятно, поэтический замысел вызрел здесь в его мощном духе...

Вот и все, что мы могли собрать на месте, некогда посещенном нашим великим поэтом. Хотелось нам приобрести вид с домов в Павловском и Малинниках, в которых не раз бывал Пушкин, но за неумением рисовать, нам пришлось отказаться от этого намерения».

Если к этому рассказу добавить воспоминания Екатерины Евграфовны Синициной, вдовы священника Затьмацкой Покровской церкви, в юности гостившей у Павла Ивановича в Павловском, где в это же время был и А. С. Пушкин, записанные Колосовым в свой доклад, то окажется — это и есть все сведения о пребывании Пушкина в Тверской губернии, которыми располагали на 1888 год исследователи и краеведы.

Не правда ли, мало, мизерно мало знали современники о своем великом поэте. И первый краевед отчетливо понимал это, и потому завершил свой доклад следующими строками:

«В заключение не можем не высказать надежды, что будущее, может быть, подарит нас открытием новых следов величайшего русского поэта на тверской почве. Одно из основных свойств великих людей то, что они проникают величию своего духа едва ли не каждый шаг своей жизни и в жизни их, стало быть, нет мелочи, которая бы не заслуживала нашего внимания».

Прошли годы. Без малого век отделяет нас от того времени, когда краевед Колосов прочел означенный доклад в Тверской архивной комиссии, чем и положил начало «пушкинскому» краеведению в тверских местах. От него и потянулась живая ниточка памяти, освещенная любовью к Пушкину, к его светозарной поэзии. Поисками «следов» величайшего русского поэта на «Тверской почве» занимались местный краевед И. Иванов, калининские литературоведы и историки С. Фессалоницкий, Н. Павлов, А. Вершинский, оставившие свои воспоминания. Особенно активно включились в поиск местные краеведы в середине 60-х годов нашего времени, когда было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Калининское отделение тогда и объединило под своей «крышей» всех энтузиастов и почитателей родной старины. Среди них были краеведы, которые, собрав воедино все сведения о пребывании Пушкина на «гордых волжских берегах», углубили их и пошли дальше. Их имена сегодня широко известны в Калининской области. Это Д. Цветков, А. Суслов, В. Кашкова. Созданные ими труды издаются и переиздаются, но купить книги этих авторов — большое везенье, спрос превышает тиражи.

Именно в эти годы зрела общественная мысль об объединении тверских пушкинских мест в единое целое. Такая задача была поставлена в местном отделении Общества охраны памятников. Активисты его обратились в первую очередь к самому Пушкину — к свидетельствам поэта, к трудам его биографов, наблюдениям старых краеведов, к обзорам первых пушкинских экспедиций (1923 и 1936 гг.), к архивам.

«Участников этого поиска охватило настоящее волнение. Открывалось давно открытое, становилось известным давно известное, но отодвинутое от сознания и слуха нашего современника грохотом войны, заботами и трудностями послевоенного восстановле-



Памятник
Пушкину
в Калинин.
Скульптор
О. Комов.

ния, — вспоминает те времена член президиума Калининского отделения Общества М. А. Ильин. — И вот тут-то и выяснилось, что Пушкин не единожды бывал в Тверской губернии, и не только проездом в Твери, Торжке, Вышнем Волочке и Старице, но и по долгу жил и работал в здешних имениях и написал свыше двух десятков широко известных стихотворений и многие строфы «Евгения Онегина». И тогда участники поиска поехали по пушкинским местам...»

Они первые испытали счастливое чувство встречи с поэтом, потому что Пушкин, узанный в парках Павловского, Малинников, Бернова, на берегах Тьмы, в милых ему тверских краях, становится и ближе и роднее, ярче проявляются очертания его жизни, его характера, его настроений.

Оказалось, что многое пушкинское выжило, сохранилось, будет удивительно интересным, нужным, полезным. Были составлены списки пушкинских мест. Найдена первая форма их охраны — заказник.

Предложения общественности были внимательно рассмотрены и легли в основу решения Калининского облисполкома, которое называлось: «Об охране, использовании и благоустройстве историко-природного заказника в Калининской области, связанного с жизнью и деятельностью А. С. Пушкина». Стоял 1968 год.

В историко-природный заказник вошли десять объектов Старицкого района. Основные — строгое ампириное здание Вульфов в Бернове, омут, связанный с творческой историей «Русалки», могучий пушкинский дуб на берегу Тьмы, чудом уцелевший деревянный усадебный дом в Глинкине и другие объекты.

Вполне возможно, что решение о заказе не осталось бы на бумаге, если бы оно не нашло самого сердечного отклика у местных жителей. К осуществлению задуманного приступили не десятки, а сотни энтузиастов, и число их росло по мере становления и расширения работы по благоустройству пушкинских мест. В нем участвовали все: и молодые, энергичные работники обкома партии, и седовласые краеведы, и руководители города Старицы, и лесоводы из Высоковского лесничества, и преподаватели Калининского пединститута, и дорожники, и калининские журналисты, и местные школьники.

— Да... Явление это было удивительным. Какой-то всеобщий порыв, вдохновение, втягивающее в свою орбиту всех вокруг, — вспоминает заместитель председателя Калининского отделения общества охраны памятников Геннадий Петрович Ломовских. — Я тогда начальником управления культуры был, уж знаю, как люди работали. Не просто по должности или необходимости, работали по душе... Видимо, была какая-то особенная радость вновь возвратить Пушкина на тверские земли, — заключает он раздумчиво. И вдруг, без всякого перехода, начинает читать: «Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный — пора, красавица, проснись: открой сомкнуты негой взоры навстречу северной Авроры, звездой севера явись!» — знать, что это чудо создано здесь, в местах, где ты живешь... Взглянуть взором гения на природу нашего Павловского, о котором он сказал: «Под голубыми небесами великолепными коврами блестя на солнце снег лежит; прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит». — Думаю, вдохновение всех, кто участвовал в организации пушкинских мест, рождалось именно из поэзии. А тут еще и пример Михайловского... А чем мы, калининцы, хуже?!

Последней фразой Ломовских старался попритушить сказанное, перейти на деловой тон, привычный, каждодневный. Но поэзия вырвалась, прозвучала и озарила ясностью. Понятным стало — почему именно село Берново явилось центром, отправной точкой организации пушкинского заказника. Именно здесь особенно бережно хранилась память о приездах поэта, а в вульфовском доме, где он останавливался, всегда из поколения в поколение, из года в год звучала его поэзия. Дело в том, что в наше время в усадьбе Вульфов располагалась средняя школа, и учителя укоренили в ее стенах, в сознании учащихся понятие — здесь бывал Пушкин. На уроках писались сочинения на пушкинские темы, на вечерах звучали пушкинские стихи, в берновском парке устанавливались

фанерные щиты — указатели поездов поэта по тверскому краю. Коренные берновцы помнят многие пушкинские праздники по случаю юбилеев поэта. Рассказывают, что в 1937 году по улицам древнего села проехала коляска с самим Александром Сергеевичем, за которого был загримирован учитель школы С. Розанельский. Писатель А. Пьянов, попав впервые в Берново, вспоминает яркую деталь «присутствия» Пушкина в селе, когда, войдя в избу, видит в иконостасе рядом с ликами святых — портрет поэта, вырезанный из «Огонька».

5 июня 1970 года в Бернове были организованы первые Пушкинские чтения, на которых выступили писатели, учителя, краеведы. Все считали, что в селе должен открыться музей. И не только считали — были убеждены в этом. «Говорили горячо, восторженно, даже, я бы сказала, агрессивно, — вспоминает Светлана Тихоновна Овчинникова, сотрудница московского Пушкинского музея, командированная на этот праздник. — Создавалось впечатление, что вот здесь-то, в Тверской губернии, и находился главный источник пушкинского вдохновения. Краеведы ясно давали почувствовать, что знаменитые Михайловское и Болдино приобрели энергичных и убежденных соперников. А главное — это я поняла уже позднее — в этих преувеличениях была большая доля правды. Пушкин действительно любил эти места, был привязан к Вульфам, любил энергичную и умную Прасковью Александровну. ...Здесь он находил дом, любовь, покой, уют, вдохновение...»

Надо сказать, что мысль о создании музея в Бернове появилась еще в 1967 году, и калининские организации обратились за помощью и советом в московский Пушкинский музей. «Мы отнеслись к этой идее с осторожностью. Планы казались попыткой не только с негодными, но вообще без всяких средств, — пишет об этом в своей книге «Рождение музея» А. Крейн. — ...Никто у нас не занимался темой «Пушкин в тверском крае», и мы не представляли, что может лечь в основу такого музея. Кроме того, идея музея в селе, куда даже приличной дороги нет, казалась по меньшей мере необдуманной».

В этом отношении поездка Светланы Тихоновны была решающей. Удастся ли местным энтузиастам «зажечь» ее, загорится ли она созданием музея? И вообще какой она человек, вдруг равнодушный?! И Овчинникова зажглась, загорелась, приехав в Москву, сказала решительное: «Да».

Вдохновение тверских краеведов распространялось подобно цепной реакции: захватив С. Т. Овчинникову, передалось художнику московского Пушкинского музея Юрию Леонидовичу Керцелли. Он настолько увлекся созданием нового музея, что вскоре стал незаменимым человеком в этом деле. Кроме непосредственной работы — создания художественного проекта музея, он помогал и реставраторам, и местным музейным работникам, и краеве-

дам, и пушкинистам. Память о нем (Юрий Леонидович уже ушел из жизни) бережно сохраняется калининцами: в Бернове постоянно экспонируется выставка его работ, посвященная пушкинским местам.

Овчинникова рассказывает: «Целый год работали мы над созданием музея в Бернове. И вот 5 июня 1971 года — ко дню рождения поэта и Всесоюзному празднику поэзии — экспозиция была открыта. Удивительный, торжественный день! С утра все дороги, дорожки, тропки, ведущие в Берново, были запружены народом. Люди шли из окрестных деревень. Люди ехали из Старицы, Торжка, Калининна, Москвы и Ленинграда. «Волги», автобусы, самосвалы, проселочные «козлики» в это утро 5 июня направлялись в Берново. Отделенное от больших городов, от шоссе и железных дорог, окруженное лесами, древнее село на берегу реки Тьмы вдруг сразу сделалось знаменитым. И не нужно ему соперничать с Михайловским или Болдином — у него слава скромная, не столь шумная и широкая, но своя, заслуженная. Это тверское село освещено «веселым именем Пушкина».

— Музей в Бернове был только одной маленькой частицей огромной работы по созданию Пушкинского кольца Верхневолжья, куда теперь, кроме Старицы и Бернова, вошли Павловское, Малинники, Курово-Покровское, Чукавино, Грузины, Торжок, Калинин, — говорит Г. П. Ломовских. — Представьте себе: глухое село — ни дорог, ни гостиниц, ни столовых... В первые дни праздника дождь прошел — ни пройти, ни проехать. Старицкие власти, помню, все трактора пригнали — дежурили на дорогах, вытаскивая без конца застревающие автобусы и машины.

Мы сидим в кабинете председателя Старицкого райисполкома Зубатова Валерия Алексеевича.

— Чем больше живу, тем больше осознаю, что Пушкин — явление поразительное... А уж в моей жизни он вообще особую роль играет, — признается он. — Не буду вас интриговать, сразу скажу, в чем суть. Я родом из Болдина. Едва стал осознавать себя, как Пушкин и вошел в мою жизнь. Институт кончил, назначили сюда, опять к Пушкину, да еще в самый разгар создания кольца. И понял я в этот момент следующее: Пушкин не только вдохновляет, но и объединяет людей. Ведь проложить туристскую дорогу, а она длиной в 250 км, — надо, чтоб всем миром откликнулись... И ведь так и было. Я вот Зою Иосифовну Михайлову пригласил, она тогда первым секретарем Старицкого горкома партии была, как раз всю народную инициативу направляла. Она об этом лучше меня расскажет.

Зоя Иосифовна вопля в кабинет слишком стремительно для своего возраста. Но эта стремительность сразу же, с первого взгляда, выдавала характер энергичный, деятельный, цельный. И даже первый вопрос был в точку: «Хотите узнать, как «Пушкина поднимали»?!» Поздоровавшись, она села и взглянула на Геннадия Петро-

вича. «С самого начала я вот с ним поругалась. Из-за чего, сейчас точно и не помню...» Ломовских засмеялся: «И я не помню». Так вот, сначала поругались, а когда поняли, что ругаемся-то из-за дела, подружились и дружно работали. А вообще, если честно говорить, нелегкое время было... Дороги строй, реставрацию веди, музейщикам помогай, гостей встречай, одновременно не забывай и главного — чтобы основное хозяйство — сельское и животноводство — в порядке было. Порой до того доходило — спать некогда, вот какие дни выпадали. Но скажу вам, более счастливого времени для многих из нас, может, и в жизни не было. Ведь не только для себя работали, для Отечества, скольким людям мы открыли наше сокровище — тверского Пушкина.

Листаю книгу отзывов в Берновском музее. За время его существования здесь побывало более 300 тысяч посетителей, многие оставили свои отзывы. Приведу только один из них, выразительно отвечающий словам З. И. Михайловой.

«Спасибо Вам от всей души за Пушкина, спутника всей нашей жизни. Вы нам открыли Пушкина заново, он ожил в каждой строке, в шорохе загадочного парка, в благоухающей красоте цветов. Мы проделали огромную дорогу, чтобы напиться из живого родника его поэзии на тверской земле.

Девятнадцать сердечных «спасибо» за нашу
гордость и славу — за Пушкина!

Город Калач-на-Дону».

Вот для того, чтобы звучали такие слова на верхневолжском Пушкинском кольце, только в одном Старицком районе была совершена поистине героическая работа. Расчищены и восстановлены парки в Бернове, Чукавине, Павловском, Малинниках, за пределы села Берново вынесены склады горюче-смазочных материалов, свиноферма, для которой построено новое помещение на 1000 голов скота, отреставрированы в Бернове усадебный дом (из которого выведена школа во вновь построенное за десять месяцев (!) здание), церковь — памятник архитектуры XVII века, пруд в парке, село стало обладателем новых: гостиницы, кафе, книжной лавки, телефонной станции, открытой эстрады для празднеств, памятника поэту, установленного недалеко от музея. Но самое трудоемкое и дорогостоящее — это дорога. Она и в пушкинские времена не блистала, о чем говорит стихотворение друга Пушкина поэта Н. М. Коншина, описавшего состояние дороги из Твери в Берново (1838 г.).

Я взглянул в ваш край счастливый,
Вашим кланялся богам,
Но узнал, что бес ревнивый
Стережет дорогу к вам:
Все беды без промежутка,

Рвы и реки на пути,
 И от Медного не шутка
 До Бернова довести!
 На извилистых дорожках
 Ни приметы, ни версты;
 То грозят на курьих ножках
 Допотопные мосты,
 То пугает бес лукавый
 Быть под горкой на боку,
 То по горло переправой
 Вас потащит через реку;
 Мнишь: аминь дороге тряской,
 Цель сердечная близка,
 Глядь — опять перед коляской
 Змеем кинулась река...

Теперь же и в самом Бернове, и по пути Старица — Торжок — Калинин — проехать одно удовольствие.

Если вдумать в суть сделанного на тверском кольце, даже трудно поверить в действительность. Но это факт, все можно увидеть своими глазами. А увидев, отчетливо понимаешь, что никакие решения, принятые областными и местными организациями, не были бы действенными, если бы людьми не руководила любовь к великому поэту и желание сделать свою «малую» родину еще прекраснее, чем она есть на данный момент.

«Влюбленные» — так можно назвать всех, кто возрождал памятные пушкинские места Калининской области. Среди них хотелось бы назвать Г. С. Кобылина, бывшего в те годы секретарем Торжокского райкома КПСС, И. М. Бружеставицкого, тогдашнего директора Калининского областного краеведческого музея, сотрудницу этого музея Л. С. Казарскую. Среди многих имен — Н. Г. Корытков, первый секретарь Калининского обкома КПСС, В. И. Смирнов, секретарь обкома КПСС по идеологии. Об этих руководящих работниках здесь, на Пушкинском кольце, — особенная память. Их помощь, их забота, их понимание общественных интересов были незаменимы в деле. Теперь, на расстоянии лет, особенно очевидно, как много можно сделать, если все заодно. И Корытков, и Смирнов уловили это желание, направили его. С задушевностью мне говорили о них и в Калининe, и в Старице, и в Торжке. А Зоя Иосифовна, та прямо сказала: «Руководящая работа — нелегкая, и редко кто после выхода на пенсию остается в тех же местах, где работал... Корытков же, и Смирнов могут смело приезжать к нам на жительство, здесь их любят».

Яркая фигура среди этих «влюбленных» — Серафима Павловна Орлова, заведующая музеем А. С. Пушкина в Бернове. Уроженница этих мест, она училась в берновской школе, позже работала здесь же библиотекарем. Любовь к творчеству поэта озарила ее жизнь.

Не заканчивая высших учебных заведений, она стала подлинным музейным работником, радушным и приветливым. Недаром односельчане называют ее — «хозяйка пушкинского дома».

Музей в селе — явление, запоминающееся всегда, но такой, как в Бернове, экспозиция которого, да и весь он сам, начиная от дома, парка, окрестностей и кончая его внутренней жизнью, созданы на совершенно столичном уровне, поражает. Конечно, такую атмосферу привнесли в первую очередь реставраторы, московские и калининские музейные работники, но «дух» пушкинского дома, его обаяние только тогда живы, когда его несут в себе те, кто непосредственно работает здесь. При первом же взгляде на одухотворенное лицо Серафимы Павловны на пороге берновского особняка сразу понимаешь, что музей «живой», что в нем действительно произойдет «встреча» с Пушкиным. И она происходит. Потому что все в музее подготовлено, продумано так, будто ты добрый спутник поэта от его времени и до наших дней.

...Старинное Берново на гравюрах удивительно уютное, удивительно поэтическое и удивительно русское. И старая церковь, и помещичий дом Вульфов с мезонином вдалеке, и поля, леса, овраги с извилистой Тьмой — все говорит о глубинной России. И сразу представляется живописность дороги, по которой проезжал поэт. Он бывал здесь наездами, навещая близких друзей. И первый приезд — в Малинники, куда пригласила его Прасковья Александровна Осипова-Вульф, добрая приятельница поэта еще по Тригорскому, в доме которой он находил и понимание, и душевный покой.

Картина художника Бартенева, написанная в 1891 году, рисует добротный дом из корабельного леса, крыльцо которого подпирают колонны из сосновых бревен. В этом доме и жил Пушкин, отсюда он написал своему приятелю Алексею Вульфу следующие строки: «Честь имею донести, что в здешней губернии, наполненной вашим воспоминанием, все обстоит благополучно. Меня приняли с достою почтением и благосклонностью». В письме к Дельвигу впечатления как бы дополняются: «Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю».

Следующий, 1829 год Пушкин начинает в Старице, куда приезжает на рождественские праздники с Алексеем Вульфом, и в доме местного исправника Вельяшева знакомится с его дочерью Катенькой, стихи к которой «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса. И вспомнил ваши взоры, ваши синие глаза...» очаровывают своей грациозностью, лукавым озорством, лиричностью.

Еще дважды бывал А. С. Пушкин в тверских местах. По пути на Кавказ заезжал в Грузины, имение Полторацких под Торжком. А с октября и до начала января поэт гостит в Павловском в поместье Павла Ивановича Вульфа. И каждая поездка рождает все новые и новые удивительные по проникновенности строфы. Здесь написана глава «Путешествия Онегина», поэма «Тазит», окончена «Полтава», «Роман в письмах» и целая россыпь лирических стихо-

творений. О пейзажных стихах, созданных Пушкиным в тверском крае, можно сказать словами Н. В. Гоголя: «Это собрание его мелких стихотворений — ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки».

Скользя по утреннему снегу,
 Друг милый, предадимся бегу
 Нетерпеливого коня
 И навестим поля пустые,
 Леса, недавно столь густые,
 И берег, милый для меня.

Эти строки из стихотворения «Зимнее утро», написанного в Павловском, как нельзя лучше подтверждают слова Гоголя.

Значатся и еще даты приездов Александра Сергеевича в верхневолжские места. В 1830 году он навестил Малинники, а в 1833-м — Павловское, откуда писал жене: «Ты не угадаешь, мой ангел, откуда я к тебе пишу: из Павловска; между Берновым и Малинников, о которых, вероятно, я тебе много рассказывал. Вчера, своротя на проселочную дорогу к Яропольцу, узнаю с удовольствием, что проеду мимо Вульфовых поместий, и решил их посетить. В 8 часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу, который обрадовался мне как родному. Здесь я нашел большую перемену...»

Эта поездка в Старицкий уезд была последней.

Обо всем этом мы узнаем в берновском музее. Его экспозиции: «Пушкин и тверской край», «Тверская биография поэта», «Пушкин и Старицкий уезд», «Усадьба Вульфов в Бернове», «Вульфы — старицкие помещики», «7-я глава «Евгения Онегина», «Комната Пушкина» — богатейшая энциклопедия тверской жизни поэта.

Особенный интерес всегда вызывает малая гостиная, которую, по воспоминаниям потомков Вульфов, всегда отводили Пушкину. Окна этой комнаты, как и теперь несохранившийся балкон, выходили в парк. И сразу представляется, как, едва проснувшись, поэт ощущал природу: ясное или хмурое небо, первые лучи солнца, свет луны, шелест листьев. Художница В. Д. Бубнова, праправнучка И. И. Вульфа, подарила музею рукопись «Село Берново», в которой есть строки, рассказывающие о пребывании Пушкина в берновском поместье: «Мой дед, Николай Иванович Вульф, четырнадцатилетним мальчиком видел Пушкина. Он вспоминал, как, войдя однажды утром в комнату, где ночевал Пушкин, он застал его в кровати: поэт что-то писал, лежа на спине и положив тетрадь на согнутые колени. Это было в 1828 году. Легенда эта передавалась в семье из уст в уста и дошла до нас, третьего поколения». Читаете ли

эти воспоминания и словно наяву видишь поэта, и тебя обступают строфы его стихов.

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют:
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

Может, вот это начало 7-й главы «Евгения Онегина» родилось в то далекое утро, а может, вылились такие таинственные и волнующие строки из его «Русалки»:

Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила.
Все здесь напоминает мне былое
И вольной, красной юности моей
Любимую, хоть горестную повесть.
Здесь некогда любовь меня встречала,
Свободная, кипящая любовь;
Я счастлив был...

Кто знает — какие именно? Но все они писались здесь и потому особенно волнуют и будоражат душу. И потому запоминаются, навсегда поселяясь в тебе. И ты счастлив.

— Бывая здесь, в Бернове, я именно счастье испытываю, — говорит Лариса Николаевна Шаульская, общественница из Калинина, вызвавшаяся сопровождать нас по пушкинской дороге. — И так всегда, с тех самых годов, когда кольцо только, только начиналось... Уверена, его так щедро дарит Пушкин. Дарит всем, кто ступает на эту землю. А тех, кто создавал кольцо, он одарил вдвойне, добавив ко всему, что испытывают другие, еще и гордое осознание, что в этом есть и твой труд.

«Подарил Пушкин» — часто слышится в Старицком районе. Самый большой подарок — музей. Потому что для сельского жителя он все: университет и институт, театр и концертный зал, картинная галерея и зал заседаний. Здесь они встречают все праздники, здесь организуют творческие вечера и различные встречи.

Покидая Старицкий район, невозможно миновать его древний город, живописно раскинувшийся на высоком берегу Волги, основание которого восходит к XIII веку. Всколмленные безбрежные дали, изумрудные леса, бездонное небо и чудом сохранившиеся старинные памятники архитектуры, и историческая застройка создают неповторимый облик города, которым, конечно же, любовался и Александр Сергеевич Пушкин. Нельзя не побывать и в главной сокровищнице Старицы — Успенском монастыре, редчайшем памятнике древнерусского зодчества. Во время войны монастырские постройки сильно пострадали, их реставрация потребовала значительных средств. Включение Старицы и Успенского монастыря в маршрут Пушкинского кольца значительно помогло делу их возрождения. Кроме государственных средств, на реставрацию памятников этого маршрута были вложены деньги населения, собранные Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, в общей сумме — 1 млн. 519 тыс. рублей. Если же конкретизировать эту сумму, то за ней отреставрированные ныне следующие памятники архитектуры: церковь Успения (XVI в.) в селе Иванищи, усадебный дом и церковь Успения в селе Берново, церковь Преображения в селе Красное — это в Старицком районе; в Торжокском районе — часовня XVI века в селе Прутня и ротонда-мавзолей Н. А. Львова в селе Никольском, в самом Торжке — церкви Вознесения, Ильинская и Надвратная. Из года в год общественные средства поступают на реставрацию замечательного архитектурного ансамбля Борисоглебского монастыря, основанного еще в XI веке.

Здесь, в Торжке, Пушкин бывал более двадцати раз, потому что каждая поездка из Петербурга в Москву лежала через этот древний городок России. На здании гостиницы Пожарского, где останавливался Пушкин, сегодня висит доска со строчками шуточного послания поэта Соболевскому:

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке.

Вблизи гостиницы на бывшей Ямской улице сохранился дом Олениных, с которыми поэт дружил, бывал в их петербургском доме, навещал их и в Торжке. В 1972 году в этом доме и был открыт музей А. С. Пушкина. Экспозиция его своеобразна и ничуть не повторяет берновскую, наоборот, расширяет тему «Пушкин и тверской край», потому что посвящается «годам странствий» поэта.

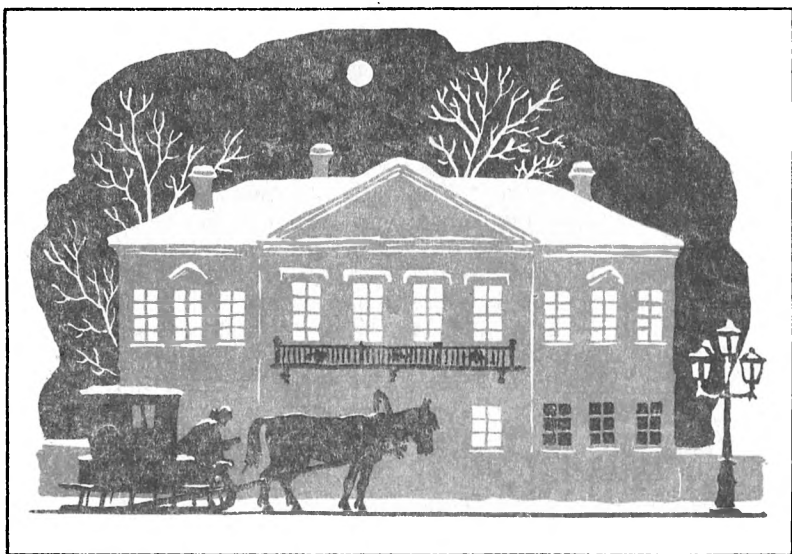
Невдалеке от Торжка, близ Митина, бывшего имения Львовых, на левом берегу Тверцы, на погосте Прутня похоронена Анна

Керн, которой посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновение...».

Еще в Калининe мне говорили: «Краеведы у нас кругом просто неистовые, особенно в Торжке. Попадете туда, вас убедят, что «пуп земли» именно в Торжке и нигде больше...» Так оно в действительности и было. Уже в музее я почувствовала, что Пушкинское кольцо начинается именно из Торжка... Но это не только не огорчало, наоборот, радовало, говорило о том, что здесь живут те же влюбленные в свой город, в своего Пушкина люди. И вспомнились такие знаменательные и пророческие слова А. Т. Твардовского: «Власть музыки Пушкина над эстетическими вкусами и симпатиями миллионов людей всех поколений нашего общества так обширна и велика, что характеризовать ее можно, пожалуй, при помощи слов...— культ Пушкина. Я не говорю, культ личности Пушкина, потому что его личность— это его поэзия и, наоборот, его поэзия— это его необычайная по силе творческого взлета личность. И да будет жив этот светлый дух любви к поэзии Пушкина, ее благоговейного почитания среди нас как символ национальной гордости, как знак высокого достоинства народа— культ, последствия которого были и будут только благотворными и прекрасными».

Пушкинское кольцо Верхневолжья— прекрасный тому пример.





ДОМ НА СТАРОМ АРБАТЕ

С. Овчинникова

С давних времен московские старожилы хорошо знали этот дом в конце Арбата, недалеко от Смоленской площади: маленький, неказистый, неопределенного цвета (сейчас уже трудно вспомнить — какого: то ли серого, то ли желтоватого), зажатый между многоэтажными постройками начала XX века. Но на фасаде этого скучного приземистого строения была укреплена торжественная мраморная доска с бронзовым барельефом: профилем и лавровой ветвью. Врываясь в будничную городскую суету, она останавливала, притягивала, пробуждала фантазию: где-то здесь, на втором этаже, за этими маленькими окошками в далеком 1831 году жил Пушкин.

Мемориальная памятная доска была установлена в 1937 году, к столетнему юбилею поэта. А незадолго до этого, в феврале 1936 года, на заседании Пушкинской комиссии Московского областного бюро краеведения под председательством пушкиниста М. А. Цявловского был поставлен вопрос о превращении арбатского особняка в музей. Однако шли годы, а дом оставался все той же прозаической коммуналкой, набитой жильцами. Была в этом обидная и нелепая несправедливость. По всей стране создавались мемориальные экспозиции, посвященные поэту: в Ленинграде и в Царском Селе, в Болдине, Михайловском, Тригорском, в Одессе и Кишиневе; наконец, даже в совсем скромном селе

Бернове и в Торжке, где и бывал-то Пушкин лишь проездом. А вот в Москве, где он родился, где провел детство, куда вернулся из ссылки в 1826 году, где женился, куда в конце жизни приезжал ежегодно, — в Москве мемориального пушкинского музея не было.

Столице с пушкинскими музеями вообще не везло. Весь богатейший материал с юбилейной выставки 1937 года, развернутой в Историческом музее, был передан в Ленинград. Лишь в 1961 году в одном из красивейших районов старой Москвы — на Кропоткинской улице, бывшей Пречистенке, в нарядном ампирном особняке, принадлежавшем участнику войны 1812 года гвардии прапорщику А. П. Хрущеву, была создана постоянная пушкинская экспозиция. Создана, в самом буквальном смысле этого слова, на пустом месте — лишь благодаря той редкостной, особой, личной любви к Пушкину, которая одушевляла людей, принесших молодому музею свои дары. Без этого потока даров Государственный музей А. С. Пушкина не мог бы возникнуть.

Музей на Кропоткинской открылся четверть века назад; он рос, богател, пополнял свою коллекцию. С годами он сделался одним из самых популярных в стране литературных музеев. Но — именно литературных, только литературных. Ведь самое это здание, где Пушкин, увы, не бывал, лишено всецелого обаяния мемориальности.

А вот неказистый арбатский домик в отличие от изящнейшего хрущевского дворца этим неувольнимым свойством обладает; он ослепщен присутствием поэта,

магией сознания: «Здесь жил Пушкин».

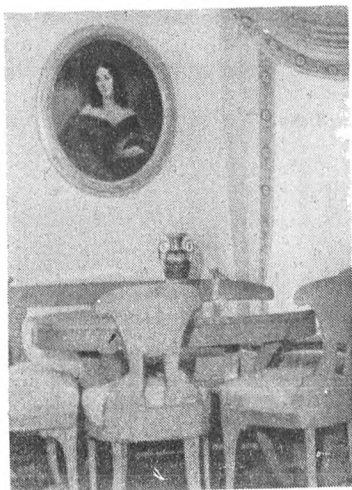
Всем давно было очевидно: в этом доме должен быть мемориальный музей.

Дата 29 августа 1972 года стала для нас, сотрудников кропоткинского пушкинского музея, знаменательной: в этот день Моссовет принял постановление, согласно которому дом № 53 по улице Арбат передавался в долгосрочную аренду Государственному музею А. С. Пушкина. Начиналось создание мемориала.

Но, прежде чем рассказать об этой длительной и трудной работе, маленькое отступление. Во-первых, следует помнить, что и в дальнейшей истории дома № 53 были драгоценные для нас страницы. В 1884—1885 годах здесь жил Анатолий Ильич Чайковский, брат великого композитора. Петр Ильич не раз бывал в этом доме и даже встречал в нем новый, 1885 год. А несколько десятилетий спустя, в 1921 году, здесь, тоже на втором этаже, работал Окружной самодеятельный театр Красной Армии. На его спектаклях бывали В. В. Маяковский, А. В. Луначарский, В. Э. Мейерхольд.

Второе, о чем необходимо упомянуть, — это мемориальность самого района Арбата, Пречистенки и прилегающих к ним переулков. Здесь жили друзья Пушкина Д. В. Давыдов, П. В. Нащокин, С. А. Соболевский, Е. С. Семенова; знакомые поэта В. Я. Сольдейн, И. А. Нарышкин, семья Потемкиных; декабристы Ф. Н. Свистунов, М. М. Нарышкин, В. И. Штейнгель (в доме которого бывал К. Ф. Рылеев).

В этом районе расположены дома, связанные с великими именами А. И. Герцена, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, С. Т. Аксакова, А. А. Блока, Андрея Белого, М. И. Цветаевой, М. А. Булгакова и многих других творцов отечественной культуры.



Фрагмент
экспозиции
музей-
квартиры
Пушкина
на Арбате.

Этапы строительства пушкинского мемориала были чрезвычайно разнообразны и многогранны. Сначала предстояли длительные и отнюдь не творческие хлопоты по освобождению дома от жильцов. И лишь после этого реставраторы могли приступить к самому главному: надо было вернуть двухэтажной коробочке ее прежний, ампирный, пушкинский облик. Естественно, что за все прошедшие десятилетия дом много раз перестраивался: пробивались новые дверные проемы, залы разгораживались перегородками, переделывались лестницы, менялся облик фасада. Осыпа-

лась лепнина, крошились мраморные подоконники. Задача состояла в том, чтобы уничтожить следы всех этих многолетних искажений, перестроек, разрушений.

К счастью, в Московском Историко-архитектурном архиве сохранились планы дома 1806 и 1836 гг. — голубые листочки бумаги с чертежами фасада, флигеля, с планами застройки земельного участка, примыкавшего к дому. И еще: сохранилось главное — капитальные стены здания. Все это позволило провести реставрацию с максимально возможной точностью и тщательностью. Многие удалось восстановить, привлекая исторические аналогии: размеры и расположение комнат, лестниц, печей, мраморную облицовку подоконников и откосов окон. По деталям фасада восстановлен балкон, украшения на окнах, ризалит. Воспроизведен старинный наборный паркет. В результате реставрационных изысканий был уточнен цвет здания: оказывается, в пушкинское время оно было не желтым, как мы предполагали, а нарядно бирюзовым.

К великому нашему сожалению, реставраторы не пришли к единому мнению относительно того, как распределялось назначение комнат на втором этаже: где была гостиная, где кабинет, где спальня и пр. Отчетливо определяется лишь парадная зала — первая, самая большая, несколько вытянутая комната.

Огромная научная работа по исследованию здания и основанная на ее результатах реконструкция старого дома продолжались несколько лет. Наконец

особняк был возрожден для новой жизни.

Начался следующий этап работы. На сцену выступили экспозиционеры, художники. Однако создание экспозиций нельзя было начинать без кропотливого изучения жизни Пушкина в арбатском доме. Без осмысления того, чем стал этот дом в пушкинской судьбе.

Мы знаем, что в Москве сохранилось множество зданий — особняков, дворцов, театров, — где Пушкин бывал, где останавливался у друзей на короткое время, куда приходил в гости, где танцевал на балах. Но квартира, которую он нанимал сам, для себя, для своей семьи, где он впервые почувствовал себя дома, — одна. Арбатская квартира уникальна. Это драгоценный памятник Москвы.

Расскажем же немного об «арбатском» периоде жизни поэта.

5 декабря 1830 года Пушкин приехал в Москву из Болдина, где улаживал свои имущественные дела перед свадьбой с Натальей Гончаровой. Он остановился в гостинице «Англия», но сразу же начал хлопотать о найме дома. 23 января 1831 года он нанял второй этаж особняка на Арбате, близ церкви Николы в Плотниках. Это двухэтажное здание с мезонином (кстати, в пушкинское время оно всеми воспринималось как очень большое, фундаментальное) было построено еще до 1812 года, сильно пострадало во время московского пожара, но уже в 1815 году было восстановлено в прежнем виде. Оно принадлежало старинному московскому семейству Хитрово. При Пушкине домом владели губер-

ский секретарь Никанор Никанорович Хитрово и его жена, красавица Екатерина Николаевна, урожденная Лопухина. В эти зимние дни 1831 года хозяев в Москве не было: они уехали в свое имение Дроново Орловской губернии, спасаясь от холеры, посетившей старую



*Фрагмент
экспозиции
музея-
квартиры
Пушкина
на Арбате.*

столицу. Все переговоры о квартире Пушкин вел с сестрой Екатерины Николаевны Надеждой Сафоновой.

В Центральном Государственном историческом архиве сохранилась запись в маклерской книге Пречистенской части на 1831 год о найме Пушкиным второго этажа дома Хитрово. Запись эту несколько лет назад разыскал инженер-физик С. К. Романюк, знаток старой

Москвы. Несомненно, она важнейшее документальное свидетельство мемориальности дома.

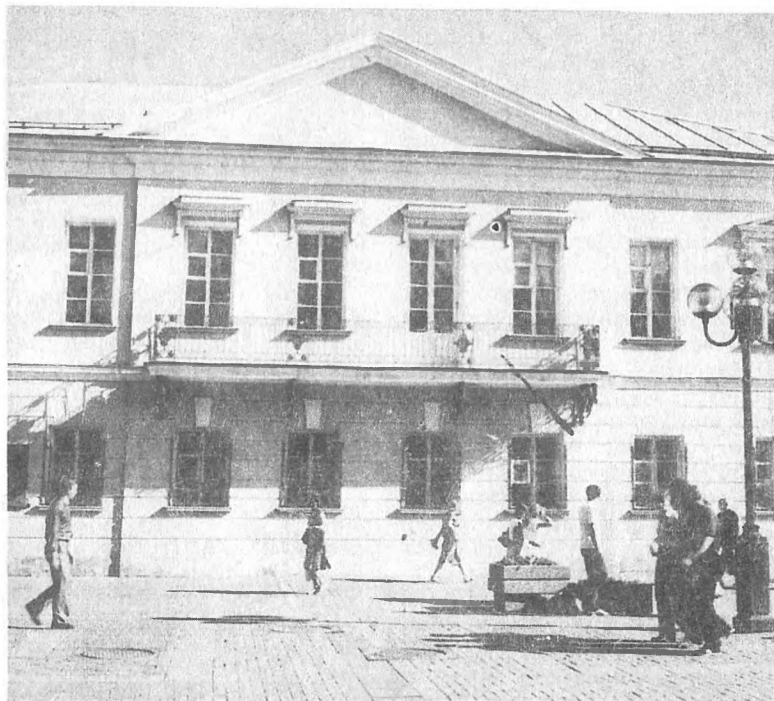
Пушкин нанял квартиру на полгода — до 22 июля. В договоре упомянут не только второй этаж, но и «к оному принадлежащие людские службы, кухня, прачешная, конюшня, каретный сарай, под домом подвал, и там же запасной амбар». «Мебель по прилагаемой описи» (опись, к великому нашему сожалению, не сохранилась) была хозяйская. Первый этаж, в котором оставалась жить экономка, предназначался на случай приезда господ Хитрово. В самом низу листа, под всеми обстоятельными, подробными условиями найма, записанными писарской рукой, с завитушками и кудрявыми росчерками, выделяется одна строчка — знакомый стремительный, неправильный, прекрасный почерк: «К сей записке 10-го класса Александр Сергеев сын Пушкин руку приложил».

Известно, что во втором этаже было пять парадных комнат. Но весь драматизм положения, в котором оказались мы, музейные работники, заключался в том, что ничего об этих пяти комнатах мы не знали. Не дошло до нас ни планов квартиры, ни сведений о ее интерьере, о мебели, которая там стояла; не сохранилось ни единого предмета из дома. Единственным свидетельством, которым мы располагаем, было воспоминание Павла Виземского, сына Петра Андреевича, о том, как он ребенком принимал участие в венчании поэта, а «по совершении брака в церкви отправился вместе с Павлом Войновичем Нащокиным на квартиру

поэта для встречи новобрачных с образом. В щегольской, уютной гостиной Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками, я нашел на одной из полочек, устроенных по обоим бокам дивана, никогда мною не виданное и не слыханное собрание стихотворений Кириши Данилова. Былины эти, напечатанные в важном формате и переданные на дивном языке, привлекали мое внимание на весь вечер». Вот и все, что сохранилось в памяти десятилетнего мальчика.

Но о жизни Пушкина в доме Хитрово, вообще о московской жизни поэта в этот период — со дня приезда из Болдина 5 декабря 1830 г. до 15 мая 1831 г., когда Пушкины уехали в Петербург, — нам известно довольно много. Это было тревожное, нервное, напряженное и все-таки счастливое время. Переломное время.

В эти месяцы Пушкин почти ничего не пишет. «Не стихи на уме теперь» — вот его собственное признание. И все-таки даже в это время, наполненное заботами об устройстве жизни, семьи, дома, он не перестает быть литератором, историком, политиком. В его письмах очень скупое, целомудренное — о женитьбе, о невесте, о любви. И очень много о литературе, политике, о журналах, о своих и чужих стихах. Переписка Пушкина зимы — весны 1831 года полна бесконечными разговорами о литературных новинках: о новых балладах Жуковского, о только что вышедшем романе Вельтмана «Странник», об исследовании Шевырева относи-



Музей-квартира Пушкина на Арбате.

тельно введения итальянских октав в русское стихосложение, об очередном «шедевре» Фаддея Булгарина «Петр Иванович Выжигин», который Пушкин, по его выражению, «не станет читать, а ругать все-таки будет». В феврале 1831 года поэт впервые услышал фамилию Гоголь-Яновский. Ему восторженно написал о начинающем авторе Плетнев. Пройдет два-три месяца, и они встретятся: белокурый болезненный гениальный молодой человек с хлестаковским хохолком и встревоженными глазами — и тридцатилетний прославленный мастер.

Конечно, самое важное событие творческого плана в это время — долгожданный выход

в свет в самом конце 1830 года любимого пушкинского детища — трагедии «Борис Годунов». Она была написана еще в Михайловском и пять лет пролежала «в столе». Пушкин ожидал от «Бориса» самых радикальных перемен для русского театра. Он детски счастлив выходу трагедии, дарит книгу друзьям, ловит малейшие похвалы, боится надеяться на успех (даже заранее предрекает провал) — и все-таки надеется. Однако трагедия принята более чем холодно. «Все бранят Годунова» (М. П. Погодин); «...Борис Годунов его очень слаб» (Е. А. Энгельгардт); «Галиматья в шекспировском роде» (В. А. Каратыгин). Таков при-

говор публики. Ругают дружно все, и друзья, и враги.

Это тупое непонимание больно отозвалось в душе поэта.

Между тем шли дни, недели, а свадьба все откладывалась и откладывалась. «Пушкин настаивал, чтобы поскорее их обвенчали. Но Наталья Ивановна напрямик ему объявила, что у нее нет денег... Много денег пошло на разные пустяки и на собственные наряды Натальи Ивановны» — так рассказывает подруга Натальи Николаевны княгиня Долгорукова. «В самый день свадьбы она <Наталья Ивановна> послала сказать ему, что надо еще отложить, что у нее нет денег на карету или на что-то другое. Пушкин опять послал денег».

За два дня до свадьбы, 16 февраля, Пушкин встретился в доме Павла Войновича Нащокина с молоденькой цыганочкой Таней. На склоне лет Татьяна Дмитриевна Демьянова оставила интереснейшие воспоминания о Пушкине, одни из самых живых и личных в мемуарной пушкинской литературе. Вот что рассказывала она об этом зимнем дне 1831 года: «Запела я Пушкину песню, — она хоть и подблюдно считается, а только не годится было мне ее тепереча петь, потому она будто, сказывают, не к добру:

Ах, матушка, что так в поле
пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгрались... А чьи-то
кони,
чьи-то кони?
Кони Александра Сергеевича...

Пою я эту песню, а самой-то грустнехонько... Как вдруг слы-

шу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребенок плачет... Кинулся к нему Павел Войнович: «Что с тобой, что с тобой, Пушкин?» — «Ах, говорит, эта ее песня всю мне внутрь перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!..»

А на следующий день, 17 февраля, у себя на арбатской квартире Пушкин собрал человек десять — двенадцать самых близких друзей. Сюда пришли молодые люди, записные столличные франты, остряки и умники: П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, Д. В. Давыдов, Н. М. Языков, И. В. Киреевский, А. Н. Верстовский, П. В. Нащокин, брат Левушка. Почти все они — литераторы, поэты, тесный круг единомышленников.

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует...

Это ощущение профессионального, творческого, цехового содружества, слитого с сердечной привязанностью, вообще чрезвычайно характерно для Пушкина.

На этом бесшабашном «мальчишнике» было весело и бестолково. Разговаривали, спорили, читали стихи, остряли, шумели. Забежал Погодин поздравить Пушкина, «пожелать добра», увидел этот дым коромыслом, услышал, как Баратынский и Вяземский яростно спорят о «нравственной пользе», обиделся — почему его не позвали? — и ушел.

Все были веселы в этот вечер. И лишь сам хозяин казался озабоченным и молчаливым. Его томила тревога перед рез-

кой переменной в жизни, перед началом нового существования — вдвоем... Он пристально, с беспокойством и надеждой вглядывался в свое будущее. Он «говорил стихи, прощаясь с молодостью».

«На другой день, — вспоминают современники, — он был... очень весел, смеялся, был счастлив, любезен с друзьями...» 18 февраля в храме Большого Вознесения, у Никитских ворот, состоялось венчание. По рассказам вездесущего А. Я. Булгакова, в церковь посторонних «никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей. Почему, кажется, нет?»

После венчания в арбатском доме был устроен торжественный свадебный ужин. А 27 февраля Пушкины дали свой первый бал. И снова свидетельствует Булгаков: «Пушкин славный задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка... Много все танцевали... Ужин был славный; всем казалось странно, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство».

Итак, свадьба наконец состоялась. Начинаясь новая жизнь, от которой Пушкин ждал много, на которую доверчиво надеялся, которой радовался. Продолжали раздражать мысли о деньгах, ссоры с Натальей Ивановной. Но все это теперь отступило как бы на второй план. В жизнь вошло непривычное радостное чувство обретенного Дома. «Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так но-

во, что, кажется, я переродился». Это удивительное, умиротворенное письмо Плетневу написано через неделю после венчания — 24 февраля. С детства лишенный семейного уюта, он всю жизнь тосковал о тихой и прочной домашней пристани, о личной семейной независимости, о надежном духовном оплоте.

Теперь эта мечта, это, по выражению Анны Ахматовой, «томление по счастью» воплотилось. Поэт обрел — пусть на короткое время — уют, семью, душевный покой. И хотя мы знаем всю грядущую трагедию и ее страшный финал, и хотя «отдаленные седой зимы угрозы» звучали и в эти веселые московские дни — все же мы благодарны судьбе за то, что на тревожном, скитальческом «зимнем» пути Пушкина была эта счастливая передышка, эти месяцы «светлого существования».

Все эти события «арбатской» жизни поэта, о которых мы рассказали — вплоть до отъезда в Петербург 15 мая 1831 года, — и должны были, по нашей мысли, составить содержание экспозиции. Но потом этот первоначальный замысел стал казаться нам слишком узким, тесным. Возникло другое решение: пусть первый, «хозяйский», этаж будет посвящен сложным, многообразным взаимоотношениям Пушкина с Москвой вообще, на протяжении всей жизни поэта. А «арбатские» месяцы пусть станут лишь частью (хотя и центральной) этой обширной экспозиции, будут как бы погружены в сложную и пеструю, безграничную тему, называемую «Пушкин и Москва».

Москва — родина Пушкина. Эта истина слишком общеизвестна. И именно поэтому в нее как-то не вдумываешься. Но ведь все мы по себе знаем, что значит в жизни человека место, где он родился. Пушкин прожил в Москве первые двенадцать лет — ранние, самые важные годы, когда складываются душа, характер, привязанности, мысли. Он восхищался Петербургом, воспевал его «строгий, стройный вид». Он был привязан к своему Михайловскому. Ему хорошо работалось в пустынном Болдине. Его пленяли романтическая полуденная красота Крыма и Кавказа, украинская ночь и пестрая Одесса. И все-таки первой, самой глубокой и нежной, сыновней, детской любовью он любил именно Москву. Он мог ее ругать, возмущаться «татарским убожеством» московского общества, где царствует мнение «княгини Марьи Алексевны». Но и гневаясь, и раздражаясь на Москву, Пушкин любил ее, писал о ней, не мог жить без нее. В пятнадцатилетней разлуке, среди мелькающих впечатлений, он не мог забыть город, который воспитал его. Он с острой, ностальгической тоской вспоминает шумную, забавную пестроту нестройных московских улиц, улочек, переулков, ее дворцы и деревянные сарайчики, ее воздух — воздух детства.

Мы привыкли к этим строкам в VII главе «Евгения Онегина», но ведь какой личной нежностью звучат эти хрестоматийные стихи:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!

Или черновой вариант:

В изгнание, в горести, в разлуке,
Москва! как я любил тебя,
Святая родина моя!

«Москва доньше центр нашего просвещения». «Московская критика с честью отличается от петербургской». «Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы». Много прекрасных, умных и любящих слов сказал поэт о старой столице. Московский театр и музыка, московские литература и журналистика, художественная жизнь, салоны, кружки, Московский университет — все это было неизменно интересно Пушкину, близко его сердцу.

Эти многообразные связи поэта с культурой и бытом древнего города прослежены в экспозиции первого этажа. Уже когда мы входим в первый, вводный зал, Москва сразу тесно обступает нас. Снизу доверху, как в маленьких старинных эрмитажах, стены увешаны городскими пейзажами.

Вспомним, как въезжает в Москву семейство Лариных:

...вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

В первом зале мы старались передать именно это пушкинское ощущение полуазиатского,

пестрого, прекрасного города. Суеющийся московский люд; шумное разноголосье площадей и улиц; мощные башни Кремля — и кривые переулочки с одноэтажными домишками; стройное здание дома Пашкова (ныне библиотека им. Ленина) — и серые деревянные заборы; пышная зелень дворцовых садов — и самые прозаические грядки с капустой и огурцами в центре города — вся эта кипящая, причудливая, «разнообразная и живая» жизнь огромного города запечатлена на старых акварелях и эстампах. Нам хотелось, чтобы посетители почувствовали, всматриваясь в гравюры, литографии, которым 150, а то и 200 лет, эти острые, неожиданные, насмешливые и любящие пушкинские сопоставления: будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, купцы, лачужки, мужики и т. д. Вот они перед нами, эти москвичи начала прошлого века: сбитенщики и извозчики, дворники и трубочисты, разносчики калачей и забредшие в город подмосковные крестьяне, торговцы квасом, молочницы. И тут же — хлыщеватые франты и грациозно манерные дамы с модных картинок. Пестрые, яркие, темпераментные жанровые картинки эти великолепно передают городской быт, дух ушедшей эпохи, хранят шум московских улиц, площадей, базаров.

В основном этот зал построен на трех сериях московских видов. Гравюры, выполненные по оригиналам Ж. Делабарта в 1799 году, передают патриархальное своеобразие допожарной Москвы — города пушкинского детства.

В 1826 году, вернувшись из ссылки, поэт увидел уже совсем другой город. Москва, возрожденная из пепла, отстроившаяся, нарядная, оживленная, более элегантная, более европейская, чем на гравюрах Делабарта, предстает в литографиях О. Кадоля (1825 г.).

И, наконец, уже в 1830-х годах создана серия литографий по оригиналам Э. Гертнера. Их отличает некоторая суховатость, почти петербургская сдержанность и в то же время большая топографическая конкретность. Это именно архитектурная графика, а не городской жанровый пейзаж, как у Делабарта.

Уникален «План столичного города Москвы 1825 года», гравированный А. Афанасьевым и раскрашенный от руки акварелью. Карту города окружают четырнадцать маленьких гравюрок с изображениями наиболее замечательных московских улиц, площадей, архитектурных сооружений, многие из которых сохранились до наших дней и хорошо известны москвичам.

Экспозиция восьми залов первого этажа заселена экспонатами очень тесно. Этой уютной, живой теснотой, этим обилием картин, портретов, миниатюр, мебели, милых старых вещей — чернильниц и табакерок, ламп и подсвечников, бисерных кошельков, фарфоровых ваз, фигурок, курильниц, чубуков и пр. — нам хотелось передать именно московский характер этого музея — свободный, патриархальный, нечопорный, домашний. Мы хотели, чтобы экспозиция не просто «несла информацию о событийном ряде», как пишут в музееведче-

ских трудах, но чтобы она обступала посетителя, как бы погружала его в атмосферу давно минувшей, но родной нам эпохи. Чтобы возникало ощущение обитаемости, обжитости этого пространства, живой его жизни.

Мебель в залах организована в небольшие уголки, как бы островки старого быта. Причем каждый зал, по нашим замыслам, должен иметь свой индивидуальный образ. Например, второй зал, самый просторный, нарядный, обставленный солнечной мебелью карельской березы, мыслится как гостиная; третий и четвертый залы, посвященные московской журналистике, — как рабочий кабинет или библиотека, с обилием письменных столов, шкафов, диванов, со множеством книг, журналов, рукописей, эстампов. Однако это не традиционная музейная типологическая квартира, а, повторяем, лишь условный образ ее. Чтобы подчеркнуть эту условность, в залы введено современное оборудование: стеклянные прозрачные стенды и шкафы. «Разбивая» бытовую обстановку, эти конструкции, изящные, легкие и тактичные, создают своеобразный эффект отстраненности, вводят в старинный интерьер современные художественные ритмы.

В экспозиции нового музея более тысячи экспонатов. Среди них множество портретов. Все-таки именно они, эти изображения давно ушедшего поколения, в первую очередь останавливают внимание людей сегодняшнего дня. Мы вглядываемся в лица, выражения, жесты, позы, стараемся уловить дух минувшей эпохи — и начинаем

лучше чувствовать самого Пушкина, рожденного ею, погруженного в эту человеческую среду и в то же время вознесенного над нею силой гения.

Здесь и те, кого связывала с Александром Сергеевичем многолетняя дружба, и те, знакомство с кем было мимолетным. Вот «царица муз и красоты», блестящая Зинаида Волконская, хозяйка прославленного салона, талантливая поэтесса и певица. Ее величавый и в то же время несколько меланхоличный, задумчивый облик прекрасно передан на литографии с оригинала К. П. Брюллова.

А вот женщина из совсем другой среды, но тоже певица и тоже знакомая поэта: на автолитографии Г. Г. Гагарина среди певцов цыганского хора изображена черноглазая милонидная девушка с гитарой в руках — та самая цыганка Таня, которая пела Пушкину перед его свадьбой.

Еще одна колоритнейшая представительница Москвы — хлебосольная хозяйка громадного, для всех открытого дома у Страстного монастыря, М. И. Римская-Корсакова (миниатюра 1800-х гг.). И сама Римская-Корсакова, и ее семья, ее размашистый быт, гостеприимный дом — все это типично московское явление. В официальном, чопорном, застегнутом на все пуговицы Петербурге невозможны были подобные патриархальные оригиналы. Вот именно за эту оригинальность, чуждаемость, за резкое своеобразие и гордую независимость и любил Пушкин москвичей.

И снова чисто московский персонаж — адресат пушкин-

ских стихов, старый вельможа, меценат, владелец великолепного Архангельского князь Н. Б. Юсупов, соединяющий в себе европейскую образованность с русской широтой характера и азиатской любовью к пышности. В памяти Юсупова хранились бесчисленные «времен минувших анекдоты», которые он любил и умел рассказывать, а Пушкин жадно слушал.

Чрезвычайно интересно живописное изображение талантливого издателя журнала «Телескоп» Н. И. Надеждина (неизв. художник, масло. 1830-е гг.). Этот портрет, недавно приобретенный музеем у потомков, — вероятно, самый «молодой» из надеждинской иконографии. Он сделан в пору наивысшего взлета журналистской деятельности Надеждина, в пору его творческого «перемирия» с Пушкиным.

Блестящая А. В. Алябьева, поражавшая москвичей своей античной красотой (художник П. З. Захаров, масло, 1844 г.); бонвиван и весельчак А. Я. Булгаков (акварель К. А. Горбунова, 1839 г.); сентиментальный поэт П. И. Шаликов (миниатюра 1810-х гг.); молоденькая Пашенька Вяземская, дочь князя Петра Андреевича, рано погибшая от чахотки (акварель Ф. Д. Бруни, 1835 г.); Е. М. Хитрово, добродушная и восторженная поклонница Пушкина, дочь фельдмаршала Кутузова (акварель П. Ф. Соколова, 1837 г.). Перед нами проходит вереница лиц, галерея уникальных иконографических реалий ушедшей, но вечно живущей в нашей памяти эпохи.

Конечно, особый интерес для арбатского музея представ-

ляют портреты членов семейства Гончаровых. В экспозиции два изображения тещи Пушкина, Натальи Ивановны. На акварели 1820-х годов (ее подарила музею В. Е. Гончарова, потомок семьи) мы видим еще далеко не старую женщину с красивым, властным лицом. Вообще все Гончаровы были красивы. Эти тонкие, породистые интеллигентные черты — и у сестер Екатерины (акварель неизвестного художника, 1820-е гг.) и Александры (силуэт 1840-х гг.), и у старшего брата Дмитрия (акварель Н. М. Алексеева, 1848 г.). Сравнительно недавно в музей поступила акварель, изображающая неизвестного военного. После иконографического исследования удалось установить, что это изящный темноглазый офицер — средний из семьи Гончаровых, Иван.

В залах первого этажа несколько мемориальных вещей из гончаровского имения Полотняный Завод, где не раз бывал Пушкин: миниатюрные портреты детей Гончаровых, гарнитур мебели в стиле «жакоб» и интереснейший экспонат — сделанный в XVIII веке восковой макет крепостного оркестра.

Вообще в музее экспонируется множество меморий, связанных с московским окружением поэта. Это и туалетный столик из дружественной Пушкину семьи Ушаковых, и вещи из подмосковного имения Вяземских Остафьево (зимой 1830—1831 гг. Пушкин два раза приезжал туда), и письменный стол Надеждина, и книги с автографами З. А. Волконской,

М. П. Погодина, и многое другое.

Есть в экспозиции и один-единственный предмет, который мог находиться в арбатском доме: маленький столик, принадлежавший семье Хитрово и переданный нам их отдаленными потомками. Из этой же семьи пришли в музей и портрет Е. Н. Хитрово, хозяйки дома, и ее сестры Н. Н. Сафоновой. И еще один «арбатский» экспонат: небольшая акварель под названием «Вид из дома нашего на улице Арбат». Она сделана в конце 1830-х гг. неким В. Н. Нечаевым. Этот наивный, дилетантский городской пейзаж очаровывает своей достоверностью. Он переносит нас на Арбат столетидесятилетней давности, по которому ходил и ездил Пушкин. Разноцветные низенькие домики с колоннами, колокольни, булыжная мостовая с каменными столбиками коновязи, экипажи, прохожие — вся жизнь старой московской улицы, увиденная внимательным и любовным взглядом арбатского жителя, проходит перед нами.

Особенно хочется сказать про книги в экспозиции. Их здесь великое множество. Ведь литературный музей, в том числе и мемориальный, это всегда еще и музей книги. В шкафах — многочисленные издания московских писателей и поэтов (В. Ф. Одоевского, М. П. Погодина, Е. А. Баратынского, Д. В. Давыдова, М. Н. Загоскина, П. А. Вяземского, А. Ф. Вельтмана и др.), крупнейшие московские журналы, газеты, альманахи первой трети XIX в.

Экспозиция каждого книжного шкафа — это своеобразное маленькое музейное исследование. Здесь можно проводить специальные занятия со студентами факультета журналистики — так подробно, полно и в то же время так четко, с такой зримой, музейной выразительностью представлен здесь каждый журнал, его содержание, направление, его взаимоотношения с Пушкиным.

Есть в экспозиции и раритеты: например, уникальный пятнадцатый номер «Телескопа» за 1836 год с публикацией «Философического письма» П. Я. Чаадаева — тот самый номер, из-за которого журнал был закрыт, его издатель, Надеждин, сослан, а Чаадаев объявлен сумасшедшим.

Особым приемом — на старинных столах, под стеклом — показано величайшее богатство музея: издания и журнальные публикации пушкинских произведений, вышедших при жизни поэта в Москве.

Это все — на первом этаже. Ну, а второй, пушкинский, мемориальный — центр, сердцевиной арбатского особняка? Как решается экспозиция там, в комнатах, где жил поэт?

Хочется еще раз напомнить: мы, музейные работники, оказались в истинно трагическом положении. Ведь на нас лежала великая ответственность и непомерной трудности задача: как же построить мемориальную экспозицию без единого мемориального предмета? И при полном отсутствии достоверных свидетельств современников?

В музейной практике распространен прием так называ-

емой бытовой реконструкции, создания типологической обстановки. Можно было собрать мебель пушкинской эпохи и обставить ею комнаты, вообразить, что именно так могла выглядеть квартира поэта. Но этот путь внушал нам недоверие. Больше того: нам казалось, что такая внешне очень симпатичная, уютная экспозиция таит в себе некую фальшь, ложь, что она будет разрушать дух мемориальности. Не лучше ли — и для истины, и для пробуждения человеческой фантазии, — чтобы в этих комнатах осталось только то, что было при Пушкине, — главное, вечное: их стены, их пространство, их, фигурально говоря, воздух. То, что видел Пушкин. То, что видело Пушкина. Это пространство хранит память о поэте. В этой пустоте как будто еще живет отзвук его шагов...

И вот мы оставили эти комнаты пустыми. То есть почти пустыми. Это не стерильная, скучная и безликая пустота. Это ее символический музейный образ. Посетителей встречают торжественные просторные, высокие залы с элементами старого декора: с великолепными ампириными портъерами на окнах, с хрустальными и бронзовыми светильниками и вазами, с блистающим наборным паркетом. И как память о Пушкине, как символ его присутствия здесь — несколько драгоценных реликвий: конторка поэта; туалетный столик Натальи Николаевны. Подлинные портреты Пушкина, созданные при его жизни художниками П. Ф. Соколовым, Н. И. Уткиным, И. Е. Вивьеном; копия с тропининского масла, сделанная

в 1827 году А. П. Елагиной, московской приятельницей Пушкина. И два портрета Натальи Николаевны. Вот она на акварели А. П. Брюллова (в музее представлена копия) — юная, прекрасная, с таинственным, рассеянным взглядом немного раскосых глаз и задумчивым лбом. Вот другое ее изображение — живописный портрет работы И. К. Макарова. Он сделан через несколько лет после гибели Пушкина. Здесь она уже значительно старше, но все той же мягкой женственностью и еле уловимой грустью дышат ее черты.

В самой большой комнате второго этажа, в зале, где 17 февраля 1831 года был шумно отпразднован «мальчишник», где на следующий день состоялся свадебный ужин, а 27 февраля — первый семейный прием у Пушкиных, на стенах развешаны портреты тех, кто приходил сюда, П. А. Вяземский, Денис Давыдов, В. Ф. Вяземская, П. В. Нащокин, Е. А. Баратынский, И. И. Дмитриев, С. Н. Глинка, Н. М. Языков, А. Н. Верстовский — их живописные, акварельные и графические портреты украшают зал. Он решен как гостиная, в которой как бы встречаются друзья Пушкина — его современники и люди нынешнего времени. Поэтому здесь стоит фортепьяно, звучит музыка, люди приходят на поэтические и музыкальные вечера.

...Оживленно, шумно, теплоливо бежит жизнь старого Арбата — «как в реке вода». Но есть теперь на этой обновленной пестрой улице духовный ее центр, «теплая точка», — бирюзовый дом с балкончиком

и узорной решеткой. Люди входят сюда доверчиво, тихо, медленно. Под светлые, спокойные звуки моцартовской музыки идут они по торжественным залам, помнящим Пушкина, по комнатам старого дома, где звучал его голос, его смех. И перед ними проходят месяцы, дни, которые были прожиты здесь поэтому,— время, полное тревог, суеты, ожиданий, надежд и не-

привычного счастливого умиротворения.

Я возмужал среди печальных бурь,
 И дней моих поток, так долго мутный,
 Теперь утих дремотою минутной
 И отразил небесную лазурь.
 Надолго ли?..





В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

С. Гейченко

Жизнь и дела великих людей бессмертны, и в местах, где они когда-то жили, сегодня реют их светлые тени. Псковская земля, Михайловское, Петровское, Тригорское, Воронич, Савкино, (Святые) Пушкинские Горы — одни эти названия волнуют сердце человека. А когда видишь луга, рощи и нивы, по которым ходил Пушкин, когда проходишь по дорогам и тропинкам, на которых сохранились следы его жизни, волнение перерастает в трепет сплетенных чувств гордости и грусти, любви и радости.

В «разные годы» навещал поэт свою родную псковскую деревню — село Михайловское. Оно принимало его то как восторженного юношу (1817—1819), то как человека, «гонимого судьбой» (1824—1826), то как пришельца, уставшего от многочисленных интриг светской черни и мечтающего обрести в сельском уединении длительный покой и тихую обстановку для творчества (1835—1836). Здесь, в ветхом маленьком деревянном дедовском домике, как нигде в другом месте, ему хорошо работалось, хорошо писалось даже в годы ссылки, в дни жестокой расправы царя с декабристами — друзьями, братьями, товарищами.

Здесь, в псковской деревне, в постоянном общении с простым народом, формировалось поэтическое мировоззрение Пушкина. Именно здесь окреп и засиял его творческий гений. В Михайлов-



*Дом Пушкина
в Михайловском.*

ском были задуманы и написаны такие шедевры, как «Борис Годунов», «Граф Нулин», центральные главы «Евгения Онегина», политические эпиграммы, лирические стихотворения, среди которых «Сожженное письмо», «К морю», «Желание славы», «Андрей Шенье», «Подражание Корану», «19 октября», «Я помню чудное мгновение», «Вакхическая песня», «Зимний вечер», «Песни о Степане Разине», «Пророк», «Вновь я посетил...» и многое, многое другое.

Этому взлету творчества содействовала в большой мере чудесная природа Михайловского с ее необъятной ширью зеленых лугов, полей, холмов, покрытых рощами, дремлющих старинных курганов и городищ, синих озер, оправленных в золотую раму прибрежного песка. Истинно русская природа псковского края огранила поэтический талант Пушкина, придав ему все высшие свойства национального. Здесь, в тиши Михайловских рощ, поэт смог расстаться с «суетой столицы праздной», уйти от сутолоки и светской жизни. С особенной силой, удивительно конкретно и точно звучат

здесь поэтические творения Пушкина. Зачастую стихи, написанные в Михайловском, читаются как поэтический путеводитель по заветным местам.

Четкие и ясные пушкинские строфы сопровождают вас всюду: и в кабинете поэта, и на балконе дома, в яблоневом саду, в аллеях парка.

Совершая прогулку по Михайловскому и его окрестностям, попробуйте раскрыть томик пушкинской лирики и прочтите знаменитую элегию «Вновь я посетил...» — и вы почувствуете, как поэт шаг за шагом будет открывать перед вами картины своей деревенской жизни, памятные ему места. Вы увидите своими глазами все, о чем говорит стихами: и «опальный домик», где жил он со своей бедной няней, и «холм лесистый», и озеро, и «дорога, изрытая дождями», и «три сосны», и «младшая зеленая семья» — «племя младое, незнакомое»... Читаешь эти стихотворения и поражаешься слитности их строф с местными видами. Временами кажется, что пушкинскими стихами напоен воздух Михайловского. Каждый день деревья, кусты, лужайки и поляны Михайловского проявляют свой характер по-новому. Как будто таинственный хранитель этой великолепной картинной галереи заменяет одну из старых картин новой, более яркой и гармоничной по цвету, рисунку и колориту. Весной здесь все в цвету, все поет, шумит и гудит. Разламывая тишину, шумят воды Сороти и озер Маленец и Кучане, многоголосым эхом навстречу заре несется пение сорока сороков местных птиц, стучат аисты, трещат цапли, слышны соловьиные трели и «иволги напев живой».

Когда приходит золотая осень, все в Михайловском пропитано яблоневым ароматом, запахами зрелой антоновки, грушовки, титовки... А когда наступает зима, здесь поселяется удивительное безмолвие, и заснеженный пушкинский уголок становится обителью «пустынных вьюг и хлада». Так было при Пушкине. Так все и сейчас.

Сегодня большинство деревьев — современники Пушкина, инвалиды или ветераны Великой Отечественной войны. Они требуют особого ухода, забот, лечения.

Каждые десять лет совместно с группой москвичей — работников садово-паркового искусства — мы проводим обследование деревьев и лечебные процедуры их.

В Михайловском по-особенному волнует не только то, что вот по этой аллее Пушкин проходил с Анной Петровной Керн, на берегах этого озера любил бродить в одиночестве, а в этой низенькой избушке слушал и записывал сказки своей доброй няни Арины Родионовны, а в этом дедовском доме встречался со своими верными братьями-лицеистами — будущим декабристом И. И. Пущиным, поэтом А. А. Дельвигом, приехавшим навесить опального поэта.

Здесь как-то яснее думается о многом из того, что волнует советского человека сегодня. Ведь Пушкин всю свою жизнь мечтал

о русском человеке в «конечном его развитии», неустанно думал о том, как наилучшим образом овладеть умением показывать современность через человека, и его труд, и окружающую его природу. Мечты Пушкина сегодня стали явью.

Не отрываясь от самой что ни есть реальной обстановки, Пушкин создавал в Михайловском широкий и многогранный облик современности, изображал ее через человеческие взаимоотношения. Даже, казалось бы, незначительные приметы времени, детали он умел поднимать до больших обобщений. Это особенно чувствуешь, когда сличаешь запечатленное в пушкинских строках с обстановкой и реликвиями заповедника. Все, что видишь, находясь в «гостях» у Пушкина в Михайловском, есть в его михайловских творениях.

Пушкинские стихи сопутствуют вам и в другом замечательном заповедном уголке — Тригорском, находящемся неподалеку от Михайловского. В нем некогда жили близкие друзья поэта — большая семья Осиповых-Вульф. «Приют, сияньем муз одетый», — вспоминал о нем Пушкин. Тригорский парк всегда полон радости и юн, как апрель. В нем нет суровых сосен и елей, характерных для Михайловского. Его уютные «домашние» липы и шумные клены, ярко-зеленые березы и серебристые ивы создают впечатление беспредельной солнечности и веселья. Как и сто лет тому назад, все в Тригорском овеяно Пушкиным. Дом радушных хозяев, восстановленный в 1962 году, полная чаша. Его обстановка, картины, книги, девичье рукоделье, пушкинские сувениры, которыми поэт любил одаривать юных «дев гор», — все это стоит на тех же местах, как тогда, когда здесь гостил и отдыхал Пушкин. Всем обитателям этого дома поэт посвятил стихи.

Везде, везде в душе моей
Благословляю моих друзей,
Нет, нет! нигде не позабуду
Их милых, ласковых речей,
Вдали, один, среди людей
Воображать я вечно буду
Вас, тени прибережных ив,
Вас, мир и сон тригорских нив,—

благодарно вспоминает он о своих друзьях в «Путешествии Онегина». Еще современники поэта оценили Тригорское как заповедное пушкинское место, и в этом доме вскоре после гибели Пушкина хозяйка Праксovia Александровна Осипова устроила маленький музей, где были сосредоточены вещи, имевшие отношение к Пушкину, его письма, посвящения, книги, подарки. Сегодня многие из этих реликвий вновь возвратились на свои места. На усадьбе и в парке — в этом замечательном произведении русского садово-



*Кабинет Пушкина
в Михайловском.*

паркового искусства второй половины XVIII века — много затейливых пушкинских уголков и сюрпризов, восстановленных сегодня, — банька, «Диван Онегина», «Береза-седло», «Место под рябинами», «Зеленые солнечные часы», «Дуб уединенный». И всюду встречают пришедшего сюда паломника пушкинские стихи и строфы «Онегина», высеченные на мраморных плитах и камнях.

Чудесно и Петровское — родовое гнездо Ганнибалов — предков Пушкина, появившихся на Псковской земле еще в 1742 году. В старинном, разбитом на французский манер парке, знаменитом своими аллеями карликовых лип, в 1977 году восстановлен дом, в котором некогда жил дед поэта Петр Абрамович Ганнибал. Здесь музей, рассказывающий о родословной Пушкина, об «Арапе Петра Великого» и его детях, о встречах поэта со своим дедом.

Пушкинская земля бережно хранит следы далекого героического прошлого родного края — благородные курганы и городища Воронич и Савкино, остатки некогда славного псковского пригорода, защищавшего Псковщину от иноземных захватчиков в XIV—XVII веках. Памятные поклонные и надмогильные кресты

и камни этих городов, как и белые стены древнего Успенского собора Святогорского монастыря, построенного четыреста лет тому назад по указу Ивана Грозного, не могли не заинтересовать Пушкина, в особенности в период его работы над народной исторической драмой «Борис Годунов». Об этом красноречиво говорит надпись на рукописи «Бориса»: «Писано бысть Алексапкою Пушкиным, в лето 7333 на городище Ворониче...»

Памятники архитектуры Пушкинского заповедника весьма разнообразны как по времени, так и по своему характеру и назначению. Это и древнерусское зодчество, это и русская классика конца XVIII — начала XIX века, это и архитектура безвременья конца XIX — начала XX века, это и архитектура наших советских лет.

Изучая историю этих памятников, мы невольно вспоминаем высказывание Н. В. Гоголя о роли архитектуры в жизни людей. В своей статье «Об архитектуре нынешнего времени» он пишет: «Архитектура — это летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания...» Статья эта написана почти полтора столетия тому назад. Но до сих пор поражает нас свежестью, глубиной наблюдений, суждений, имеющими непреходящую ценность. Ничто не вечно под луной — говорит народная мудрость. Все, что зиждет человек, рано или поздно физически стареет. Так и архитектурные сооружения. Это процесс медленный и разносокетный. Разрушения бывают от износа, от войн, от пожаров. Другая причина — моральное старение сооружений. Через какое-то время оно теряет свое назначение и становится ненужным. Особенно быстро стареют жилые деревянные постройки.

За исключением архитектурных зданий Святогорского монастыря, почти все другие исторические сооружения на здешней земле были деревянные. Они быстро гнили, разрушались, ремонтировались, перedelывались, как того требовали «иные времена». Многие переделки совершались по принципу «авось и небось», ибо их суть, их назначение становились иными.

После смерти А. С. Пушкина, имя которого «в разные годы» осенило все сооружения в здешнем крае, в которых он бывал — жил, гостил, попадал случайно, стали предметом особого внимания деятелей культуры и искусства, в частности архитекторов, историков, археологов.

Задолго до того, как пушкинская земля в 1899 году была приобретена в общенациональную собственность, задолго до того, как после Великой Октябрьской революции (22 марта 1922 года) она была объявлена заповедной, на ней побывали многие знатные архитекторы России. Пришло время, когда люди стали бережно хранить следы земного пребывания Пушкина на псковской земле. Архитекторы — художники, приезжая сюда, стали делать обмеры, зарисовки, обследования памятников и памятных мест, стали разрабатывать проекты их реставрации, ремонта, благоустройства. Вот краткий перечень архитекторов, приезжавших сюда в конце



*Михайловское
зимой.*

XIX — начале XX века: Белогруд, Нилендер, Назимов, Волоцкий, Федченко, Некрасов, Беренштам, Курбатов, Медведев, Никитин, Елагин, Фомин, Шуко, Лансере. Вот краткий перечень архитекторов, приезжавших сюда и работавших в Пушкинских Горах уже в советское время: Романов, Удаленков, Виноградов, Маляревский, Щусев, Сухов, Гофман, Рзянин, Барановский, Рожнов, Яковлев, Гедике, Смирнов, Чечулин.

При участии архитекторов Белогруда и Назимова были произведены в начале века ремонт и реконструкция вершины могильного холма Святогорья, сооружение каменных монументальных опорных стен холма и мраморной балюстрады. По их проектам был произведен капитальный ремонт собора, который дал большую трещину со стороны алтарной апсиды, а также реставрация мавзолея Пушкина в связи с обвалом его гробницы.

По проекту архитектора Некрасова в Михайловском были произведены работы по благоустройству усадьбы и парка, построены здания для колонии престарелых писателей и ученых.

Архитектор Ф. Г. Беренштам разработал проект реставрации площадки «скамья Онегина» в Тригорском, сползающей к реке Сороти. Огромную работу провел на пушкинской земле по реставрации и благоустройству ее памятников профессор Ленинградского университета К. К. Романов. Архитектор академик А. В. Щусев со своими помощниками архитекторами Суховым, Рзяниным и Барановским составил план восстановления Михайловского и Святогорского монастыря, разрушенных фашистами в годы оккупации Пушкинских Гор (1941—1944).

Работая в исторических архивах и фондах многих музеев Ленинграда, Москвы, Пскова, Киева, Минска, я нашел немало доселе неизвестных документов, по-новому освещающих историю страны и восстановления исторических памятников Пушкиногорья.

Бережно хранит псковская земля и священные могилы доблестных воинов Советской Армии, отдавших свою жизнь за Пушкина, за освобождение заповедника от фашистских захватчиков, нанесших ему в 1941—1944 годах жестокие раны и разрушения. Могил много, они всюду. Братское кладбище и у стен Святогорского монастыря, и на большой горе, что на реке Великой, и в селе Вече.

Святогорский монастырь — место последнего пристанища поэта, трагически погибшего в январе 1837 года, — фамильное кладбище Ганнибалов — Пушкиных. Здесь покоится прах деда и бабки, отца и матери и маленького брата Александра Сергеевича — Платона.

Как известно, хоронить Пушкина в Петербурге царь не разрешил. Он вспомнил о желании поэта быть похороненным в Святогорье, на родовом кладбище. Здесь и похоронили 18 февраля. На вершине могильного холма, среди частых стволов вековых дубов и лип, площадка, обнесенная белой мраморной балюстрадой. Рядом древний Успенский собор, как богатырь на страже. Здесь лежит сердце Пушкина. Над могилой белеет мраморный обелиск, поставленный четыре года спустя после смерти Пушкина. Под обелиском урна с наброшенным на нее покрывалом, на гранитном цоколе надпись:

Александр Сергеевич Пушкин.

Родился в Москве 26 мая 1799 года.

Скончался в Петербурге 29 января 1837 года.

Могила великого поэта была поругана фашистами. Она была реставрирована в 1953 году.

Сегодня через древнюю монастырскую ограду пролегла поистине «народная тропа». Нескончаемой вереницей поднимаются люди вверх по суровым каменным ступеням к этому святому месту, чтобы поклониться светлой памяти любимого поэта.

И хоть бесчувственному телу
 Равно повсюду истлевать,
 Но ближе к милому пределу
 Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
 Младая будет жизнь играть,
 И равнодушная природа
 Красою вечною сиять.

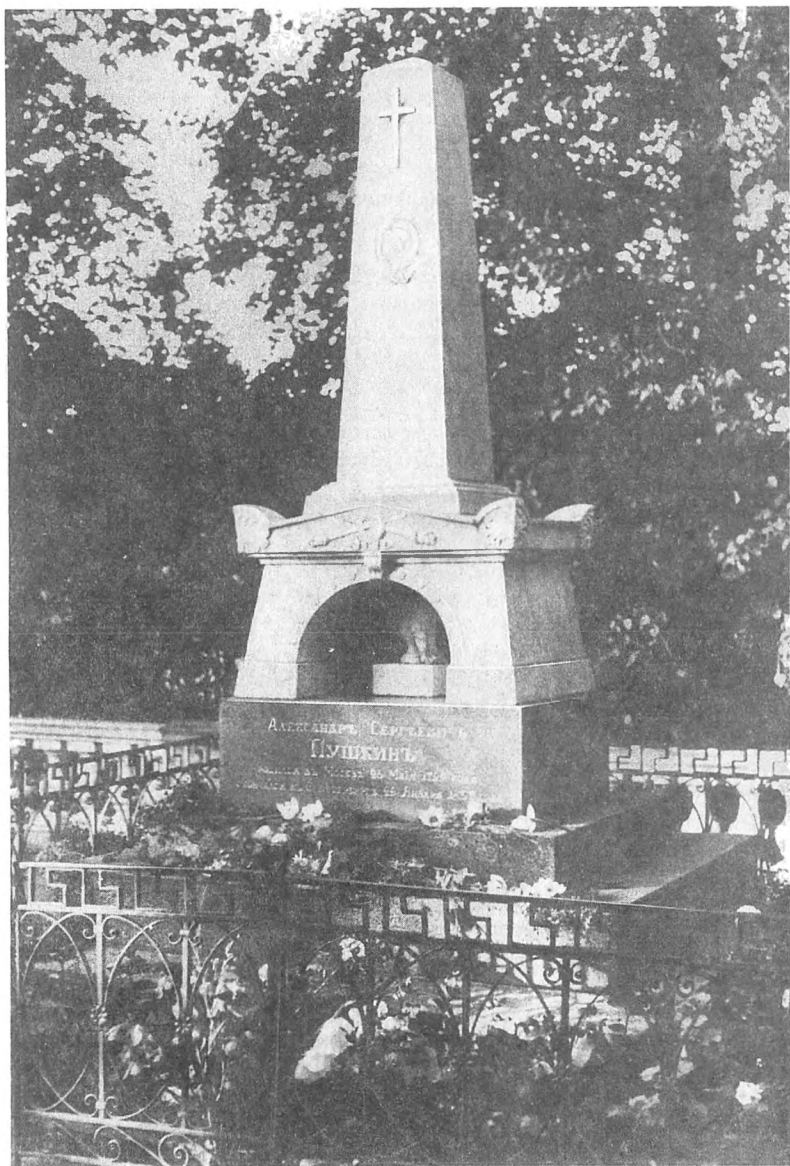
Эти строки Пушкина выбиты на мраморной стеле, стоящей у входа к могиле поэта.

За последние годы неузнаваемо изменился Государственный Пушкинский музей-заповедник. В нем воссоздано не только то, что было разрушено фашистами в 1941—1944 годах, но восстановлены многие пушкинские памятники, давно исчезнувшие с лица земли и о восстановлении которых мечтали пушкиноведы и историки многие, многие годы. Теперь это музей-заповедник А. С. Пушкина, насчитывающий в своих фондах бесценные реликвии, десятки тысяч произведений искусства и быта, различных документов, посвященных великому поэту, книг Пушкина и о Пушкине.

В день 20-го праздника поэзии 1 июня 1986 года состоялось открытие еще одного нового музея — водяной мельницы в Бугрове, где часто бывал Пушкин.

Музей этот в подлинном смысле можно назвать народным, дар благодарных поклонников поэзии Пушкина. Проект мельницы был безвозмездно разработан московскими архитекторами И. А. Прилуцким и Ю. А. Насоновым. По этому проекту латышские рабочие из города Резекне соорудили здание мельницы, привезли и подарили нам, поставив его на историческое место. В строительстве дома мельника и его хозяйственного двора принимала участие Псковская научно-реставрационная мастерская под руководством М. И. Семенова, строительный отряд химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Электрификацию музея и подсобных сооружений произвели безвозмездно псковские рабочие. Сад и все угоды вокруг дома мельника расчищали наши шефы — воины и дети-школьники, «доброхоты» Москвы, Ленинграда, Пскова. Баньку восстановили рабочие заповедника. В экспозиции и убранстве дома мельника тоже принимали участие не только работники Пушкинского заповедника, но и многие добрые люди — рабочий из г. Таллина Ю. Золотарев, художники Э. Насибулин, Г. Фильчаков, Н. Шретер.

Сегодня Михайловское стало «страной поэзии», в нем ежегодно проводятся Всесоюзный праздник поэзии, Пушкинские конференции, чтения, семинары. Сегодня Пушкин вновь в своей «деревеньке на Парнасе», он здесь всюду — и в домах, и в парках, рощах, цветах и травах, птичьим гомоне и щебете...



Могила
Пушкина
в Святогорском
монастыре.

Все, что бы здесь ни делалось, ни восстанавливалось, ни благоустраивалось, все это проверяется нами, хранителями заповедника, — и по Пушкину, страницам летописи его жизни и творчества, его письмам, стихам, его заповедям, воспоминаниям его друзей. Около двадцати миллионов паломников побывали здесь за послевоенные годы. Люди приезжали и приезжают сюда со всех концов Советской страны и из-за рубежа нашей Родины. Имя Пушкина у всех на устах и не потому только, что нынешний 1987 год особо пушкинский, юбилейный, а потому, что Пушкин — это наш учитель, наша вера в прекрасное, наша радость и блаженство.

«Пушкин — гений европейский, слава всемирная» — эти слова, сказанные более полутора столетия тому назад, громко звучат и сегодня. Известный бельгийский поэт, лауреат многих международных премий, член общества «Бельгия — СССР» Морис Карем, принимавший участие в нашем Пушкинском празднике 1974 года, писал:

«Праздник в Пушкинских Горах нужно проводить всегда, для того чтобы на земле утвердился всеобщее братство и мир. На земле существуют имена поэтов, которые на устах людей всего мира. Среди этих имен — Александр Пушкин! Я могу сказать, что я один из самых счастливых людей на свете, ибо я никогда доселе не смел и мечтать, что получу эту огромную радость — не только приехать в деревню Михайловскую, где он трудился, любил, страдал, но и говорить о нем, о его творчестве, о его воздействии на меня. Все это дало мне решимость творить лучше, чем когда бы то ни было».

Все мы — научные работники заповедника получаем ежедневно много писем от разных людей, мечтающих посетить Пушкинское Святогорье, совершающих воображаемые путешествия к нам. Среди этих писем есть и письма — своеобразные исповеди. Я читаю эти письма и думаю: что же ищут люди в Пушкине? Они обращаются к нему за советом, за помощью, они видят в нем опору и источник неиссякаемых сил душевных. Люди надеются на него теми чертами, которыми хотят обладать сами: застенчивый — смелостью, вспыльчивый — спокойствием, грубый — нежностью и добротой. Вы скажете: «Бог»? Пусть так. Только это Бог добра, разума, справедливости. И вера в него разумная — очищающая, возвышающая.

Для меня лично Пушкин — это все доброе, чистое и светлое, все самое лучшее, что есть в человеке. «Чувства добрые я лирой пробуждал...» Приходят иногда ко мне люди со сломанными судьбами — то, скажет, не вышло в жизни, это не получилось, и вообще сам я теперь не знаю, чего хочу... Дам я ему в руки метлу и скажу: «Сбей-ка ты с себя, дорогой, ненужную спесь. Поживи здесь просто, поработай по-черному. Послужи людям, ему послужи». И, поверьте, через месяц преобразается человек: проясняется он, как зеркало, все становится чище в нем, проще, мудрее. И вы не подумайте: это не результат физического труда и свежего воздуха... Нет и нет. Здесь врачует светлая тень Пушкина. Об этом еще А. В. Луначарский, приезжавший сюда в 1926 году, говорил: «Когда ходишь

теперь по запустелому парку, с такой страшной интенсивностью думаешь о Пушкине, что, кажется, нисколько ни удивилась бы, если бы вдруг из купы деревьев или из-за угла здания появилась бы его задумчивая фигура». Удивительным, магическим действием обладает личность Пушкина — так невероятно глубоко понимал он душу человеческую. Прожив такую короткую жизнь, сам иногда пугался своей глубины, своего фантастического проникновения в недра человеческого «я»... Благородство его помыслов, вера в радость и красоту, искренность чувств до сих пор заряжают людей, как аккумулятор, — сколько раз я был тому свидетелем. По-моему, Пушкина нужно давать, как лекарство, только осторожно, ибо легковесное, бездумное отношение к нему может привести к чему-то нехорошему.

О своих личных «встречах» с Пушкиным я рассказываю в книгах «У Лукоморья» и «Пушкиногорье», «Приют сияньем муз одетый». Эти рассказы — результат большой, кропотливой работы по изучению и восстановлению Пушкинского заповедника. В основе ее — осмысление творчества Пушкина, всего многообразия связей поэта с огромным миром природы, людей, вещей, что так или иначе могло явиться источником его поэтического вдохновения, в чем-то предопределить его творчество. В сотнях разнохарактерных деталей нужно было увидеть эти элементы эстетического воздействия и придать им облик конкретный, зримый.

В гармонии, соперник мой,
 Был шум лесов иль вихорь буйный,
 Иль иволги напев живой,
 Иль голос речки тихоструйной.

И совсем в другом месте:

И светлые ручьи в кустарниках шумят.

Так появляются новеллы о людях, о травах, цветах, птицах, зверях, камнях и водах Пушкинских мест. Все это в книге о Пушкине, по-моему, не только допустимо, но чрезвычайно важно, ибо все это — он, его живая душа, его вдохновение, то, без чего Пушкин не был бы Пушкиным.

Если нет прямых свидетельств, я пользуюсь методом исторических аналогий. Изучение быта помещичьих усадеб и нравов того времени помогло нам в возрождении в Михайловском «Острова уединения», «мельницы крылатой», беседки, баньки... — их просто не могло не быть, и они великолепно вписались в экспозицию и, кстати, дали материал для моих новых рассказов.

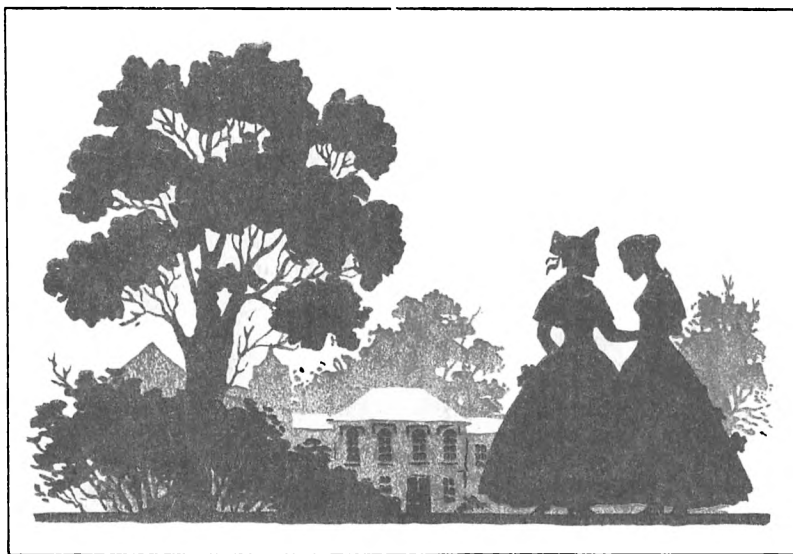
Огромную неоценимую помощь оказывает словарь языка Пушкина. Мог ли Пушкин сказать так, как слышится мне? Мог ли он сказать так именно в тот период, о котором я пишу? Все это мною

тщательно выверяется и проверяется. Вообще, творческая фантазия у меня всегда в рамках реального: никто не знает, было ли то чн о так, но точно известно, что так м о г л о быть. Пушкин, например, был необычайный фантазер, неистощимый на выдумки и проказы. В Тригорское часто являлся он то монахом, то цыганом, то в крестьянской одежде. Поэтому в новелле «Однажды в замке Тригорского», изображая его появление в доме Осиповых-Вульф, от жизненной правды я ни на шаг не отошел.

За долгие годы совместной работы с Пушкиным он стал моим наставником и советчиком. Он помог мне выработать в себе невидимый камертон, некий художнический и нравственный ориентир, который поможет мне во всем, будь то оценка произведений искусства (в любом жанре) или событий жизни. Мир сейчас стал смелее, искусство — свободнее, и если бы не было Пушкина, к которому я постоянно духовно обращаюсь, не представляю, как разобрался бы я в окружающей жизни. Пушкин для меня не застывший эталон, не догма, это жизнь, и слезы, и любовь — целый мир, богатства которого неисчерпаемы.

И все же, отдав полжизни, я не постиг его до конца. Думаю, что это и невозможно. Пушкин всегда и для всех откровение, всегда открытие, и потому всегда он неожидан, нов и необычайно современен. Жизнь Пушкина — это героическая попытка его в том мире, в котором он жил — в мире рабства, насилия и злодейства, — стать не только выше всех условий, нравов, традиций и других духовных барьеров, но объявлять человечность, мир, любовь, дружбу, труд увлеченный и все чувства добрые основной движущей силой бытия. Меня всегда потрясали слова П. А. Вяземского. «В Пушкине, — говорит он, — глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Эта сила была любовью к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства, которые из груди его просились на свет божий и облекались в звуки, краски и глаголы, очаровательные и поучительные. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, немощь, уныние, обретались бодрость и свежесть, восстанавливались расслабленные силы». Вот эта спасительная нравственная сила, заложенная в творениях поэта, и притягивает к себе всех нас.





ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ВСТРЕЧИ

В. Енишерлов

I

— Вы едете в Прагу? — спросил меня старый русский пражанин, давно уже живущий в Москве, любитель и знаток поэзии, — побывайте в Клементинуме, где хранится библиотека Смирдина, и Брунцвику поклонитесь.

— Брунцвику?

— Да, рыцарю у Карлова моста. Марина Цветаева называла его своим ангелом-хранителем. «У меня есть друг в Праге, — писала она, — каменный рыцарь, очень похожий на меня лицом. Он стоит на мосту и стережет реку: клятвы, кольца, волны, тела...»

Все так же стоит мальчик-рыцарь, подняв свой золотой волшебный меч над Влта-

вой, он замер, не ведая, что обрел бессмертие не только в камне, но и в том, что прочнее камня, — стихах Цветаевой:

Блédно-лицый
Страж над плесом века —
Рыцарь, рыцарь,
Стережущий реку.

— «С рокового мосту
Вниз — отважься!»
Я тебе по росту,
Рыцарь пражский.
Сласть ли, грусть ли
В ней — тебе видней,
Рыцарь, стережущий
Реку — дней.

А совсем неподалеку от Карлова моста в одном из пражских архивов хранится более ста писем М. Цветасвой к Анне

Тесковой, ее чешскому другу. Так вот, именно в письмах к Тесковой есть слова, которые как бы протягивают связующую во времени нить — от Пушкина к XX веку, чьим трагическим голосом стала поэзия Цветаевой. Она пишет о своих стихах к Пушкину: «Стихи к Пушкину... совершенно не представляю себе, чтобы кто-нибудь осмелился читать, кроме меня. Страшно резкие, страшно вольные, ничего общего с канонизированным Пушкиным не имеющие — обратные канону. Опасные стихи... Они внутренне-революционны... внутренне-мятежные, с вызовом каждой строки... они мой, поэта, одиночный вызов — лицемерам тогда и теперь...»

Вся его наука —
Мощь. Светло — гляжу:
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.

Память о двух русских поэтах встретилась мне в Праге, и символично, что имена их — Цветаева и Пушкин — два века нашей поэзии.

Зайдем к Смирдину

О том, что знаменитая в пушкинское время библиотека А. Ф. Смирдина находится теперь в Праге, время от времени появляются информации в печати, о ней снят и фильм.

Вспомним знаменитую гравиюру С. Галактионова по рисунку А. Брюллова — «Новоселье у Смирдина». Во главе стола — И. А. Крылов, близ него стоит Смирдин, далее сидят Хвостов, Пушкин... Новоселье,

а Смирдин отмечал 19 февраля 1832 года открытие магазина и публичной библиотеки в новом помещении на Невском в Петербурге, проходило торжественно «в среднем бельэтаже в окружении горделиво стоящих за стеклом в шкафах красного дерева русских книг в богатых переплетках». И вдруг через полтора века оказаться среди этих же книг, иметь возможность взять в руки тома, которые могли перелистывать Пушкин, Жуковский, Вяземский, но не в России, не на Невском проспекте, а в одном из старинных зданий старого монастыря в центре Праги! Сердце может замереть даже не у библиофила.

Ведь Смирдин — это целая эпоха в судьбе отечественной культуры, а особенно в судьбе русской книги. Белинский даже ввел в обиход термин — «смирдинский период российской словесности», называл А. Ф. Смирдина его «главой и распорядителем». Человек, который собрал в своей библиотеке книги, оказавшиеся в Праге, был не только замечательным издателем и просветителем, он стал настоящим другом и помощником русских писателей. «Русская публика, — писал Белинский, — видела в г. Смирдине книгопродавца на европейскую ногу... с благородным самолюбием, для которого не столько было важно нажиться через книги, сколько слить свое имя с русской литературой, внести его в ее летописи».

Один за другим снимаю с полок тома: Тредиаковский, Батюшков, Жуковский, Гнедич, Гоголь, Козлов, наконец, Пушкин... Кожаные и полукожаные

переплеты, чуть пожелтевшие, тронутые временем страницы, экслибрис «Из библиотеки Смирдина». Именно их, возможно, читали, обсуждали и те, кто собрался на новоселье у Смирдина, и многие их современники. Несомненно Пушкин пользовался смирдинской библиотекой. Среди принадлежащих поэту книг выявлено семь экземпляров с экслибрисом «Из библиотеки Смирдина».

Библиотека Смирдина особенно интересна тем, что в период массового увлечения читающей публики первой трети XIX века книгой иностранной — это было собрание именно русских книг, причем нередко изданных самим Смирдиным. Его издательская деятельность была многообразна и часто столь нерасчетлива, что в конце концов привела его к разорению. Цензор А. В. Никитенко пророчески замечал: «Наши литераторы владеют его карманом как арендою. Он может разориться по их милости. Это было бы настоящим несчастьем для нашей литературы! Вряд ли ей дожидаться другого такого бескорыстного и простодушного издателя!» Особой любовью и почтением пользовался у Смирдина Пушкин. Он не только продавал произведения поэта — «Бахчисарайский фонтан», «Руслана и Людмилу», «Кавказского пленника», «Бориса Годунова», но и издавал его книги. В 1833 году, например, напечатал первое полное издание «Евгения Онегина», а в 1835 году — «Поэмы и повести». В журнале Смирдина «Библиотека для чтения» и в альманахе «Новоселье» также публиковались произведения Пушкина.

Издатель платил ему необычайно высокие гонорары — за каждую стихотворную строку Пушкин получал червонец золотом, а всего, по подсчету известного советского знатока книги Н. П. Смирнова-Сокольского, около половины заработанных литературным трудом денег поэт получил от Смирдина.

Авдотья Яковлевна Панаева передает в своих воспоминаниях слышанный ею еще в 40-х годах рассказ А. Ф. Смирдина о Пушкине. «Панаеву понадобилась какая-то старая книга, и мы зашли в магазин Смирдина. Хозяин пил чай в комнате за магазином, пригласил нас туда и, пока приказчики отыскивали книгу, угощал чаем; разговор зашел о жене Пушкина, которую мы только что встретили при входе в магазин.

— Характерная-с, должно быть, дама-с,— сказал Смирдин.— Мне раз случилось говорить с ней... Я пришел к Александру Сергеевичу за рукописью и принес деньги-с; он поставил мне условием, чтобы я всегда платил золотом, потому что их супруга, кроме золота, не желала брать денег в руки. Вот-с Александр Сергеевич мне и говорит, когда я вошел-с в кабинет: «Рукопись у меня взяла жена, идите к ней, она хочет сама вас видеть», и повел меня; постучались в дверь: она ответила «входите». Александр Сергеевич отворил двери, а сам ушел; я же не смею переступить порога, потому что вижу-с даму, стоящую у трюмо, опершись одной коленой на табуретку, а горничная шнурует ей атласный корсет.

«Входите, я тороплюсь одеваться,— сказала она.— Я вас для

того призвала к себе, чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне сто золотых вместо пятидесяти... Муж мой дешево продал вам свои стихи...» <...> Я поклонился, пошел в кабинет к Александру Сергеевичу и застал его сидящим у письменного стола с карандашом в одной руке, которым он проводил черты по листу бумаги, а другой рукой подпирал голову-с, и они сказали-с мне:

«Что? с женщиной труднее поладить, чем с самим автором? Нечего делать, надо вам ублажить мою жену; понадобилось ей заказать новое бальное платье, где хочешь, подай денег... Я с вами потом сочтусь».

— Что же, принесли деньги в шесть часов? — спросил Панаев.

— Как же было не принести такой даме! — ответил Смирдин».

В этом эпизоде просматривается многое — и несколько пренебрежительно-высокомерное отношение к «торгашу» Смирдину Натальи Николаевны, меряющей его по кастовым законам «света», и ум и такт Пушкина, и характер самого Смирдина, искренно любившего поэта.

Но дело не только в материальных расчетах, хотя они играли, конечно, далеко немаловажную роль, когда русская литература только-только становилась на профессиональные рельсы.

Смирдин создал в своем магазине своеобразный литературный салон, где писатели встречались, знакомились с книжными новинками, общались. «Его магазин, — писал современник, — известен всякому почта-

льону, потому на адресе не нужно обозначать ни улицы, ни дома». Ученый, издатель, друг Пушкина П. А. Плетнев сообщал Я. К. Гроту, упоминая о Смирдине, что «его библиотека для литератора есть неоценимое сокровище».

Пушкин любил бывать у своего издателя. Есть сведения, что посетил он его и незадолго до роковой дуэли. Среди современников, встречавших здесь поэта, был и молодой И. И. Панаев.

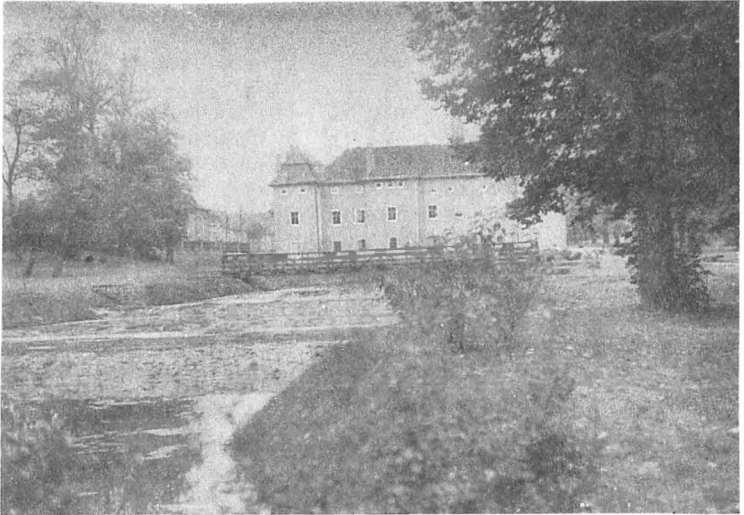
«...Однажды часа в три, — вспоминал он, — я зашел в книжный магазин Смирдина... В одно почти время со мной вошли в магазин два человека: один большого роста, с весьма важными и смелыми приемами, полный, с рыжеватой спаньелкой, одетый франтовски; другой среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с курчавыми белокурыми волосами, с несколько арабским профилем, с толстыми выдававшимися губами и с необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. Я узнал в нем Пушкина по известному портрету Кипренского. До этого я никогда не встречал Пушкина. Я преодолел робость, которую ощутил при первом взгляде на этот великий литературный авторитет, подошел к прилавку, у которого он остановился, и начал внимательно и в подробности рассматривать поэта... Он спросил у Смирдина, не помню, какую-то книгу и, перелистывая ее, обратился к своему спутнику с каким-то замечанием. Спутник, заложив руку за жилет, отвечал громко, не смотря на

Пушкина, и потом, с улыбкою обратясь к Смирдину, начал с некоторой торжественностью:

— К Смирдину как ни придешь... — и остановился... Пушкин взглянул на своего спутника с полуулыбкою и покачал головой. Я думал, глядя на господина с рыжей эспаньолкой: «Счастливец! Как он обращается

Эта несколько раздраженная эпиграмма была вызвана тем, что Смирдин был деловыми отношениями связан и с журнальным триумvirатом (Греч, Булгарин, Сенковский), с которым боролся Пушкин. Именно этот триумvirат через несколько лет стал причастен к разорению А. Ф. Смирдина. «Под старость

*Бродзяны.
Замок
Фризенгофов,
где хранились
реликвии
пушкинской
эпохи,
ныне музей
А. С. Пушкина.*



с великим человеком. Кто бы это такой?» С этим вопросом обратился я к Смирдину, когда Пушкин вышел из лавки.

— Это-с С. А. Соболевский, — отвечал Смирдин, — прекраснейший человек и друг Александра Сергеевича-с...

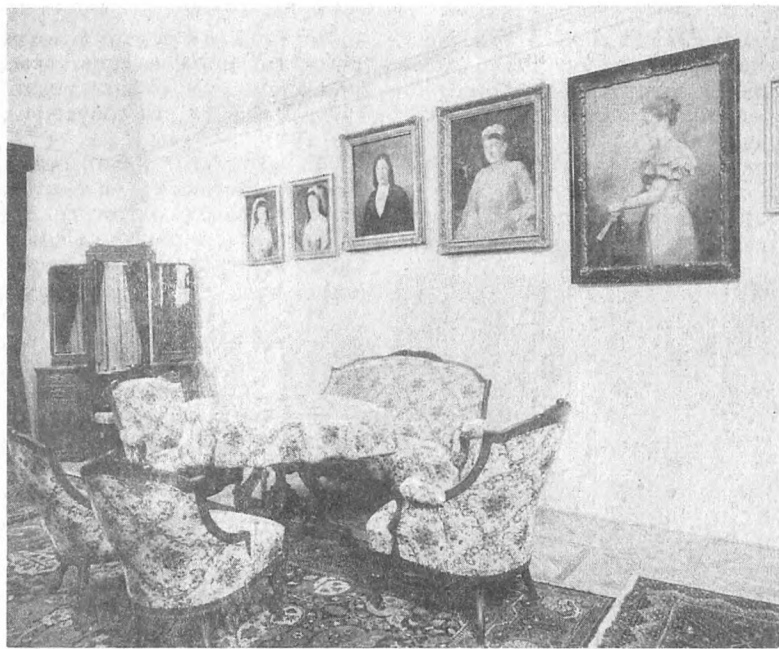
После я уже узнал, что стих, произнесенный Соболевским у Смирдина, был первый стих известного экспромта Пушкина:

К Смирдину как ни придешь,
Ничего не купишь.
Иль Сенковского найдешь,
Иль в Булгарина наступишь».

я остался гол, как сокол. Это всем ведомо», — горько говорил он.

А что же стало с «неоценимым сокровищем» — знаменитой библиотекой Смирдина? И как она очутилась в Праге?

До недавнего времени судьба этих книг смутно прослеживалась вплоть до 1930-х годов. Было известно, что после смерти последнего владельца библиотеки — П. И. Крашениникова она попала к А. А. Черкесову, а в конце 70-х годов XIX века была продана рижскому перекупщику книг Н. Ким-



*Один из залов Бродзянского замка
с фамильными портретами.*

мелю. Далее следы книг терялись.

Пропавшая библиотека «нашлась» неожиданно, уже во второй половине XX века. Советский исследователь русско-чешских культурных связей Л. С. Кишкин, работая в Праге в Славянской библиотеке, крупнейшем в мире собрании изданий на славянских языках, заказал книгу с шифром Sm. Получив ее, он с удивлением увидел штампель: «Библиотека А. Смирдина №...» Так в поле зрения русских исследователей вновь попала затерявшаяся почти на век библиотека.

— В Праге библиотека Смирдина, вернее ее часть, оказалась в 1932 году, — рассказывает директор Славянской би-

блиотеки доктор Иржи Вацек. — Когда организовывалась наша библиотека, МИД Чехословакии помогал широко покупать книги за границей. Тогда и обнаружилось, что в Риге хранится смирдинское собрание, в основном издания по технике и естествознанию. Гуманитарная же часть была пуцена Киммелем в розничную продажу, но, к счастью, распродана не полностью. В 1932 году книги Смирдина были перевезены в Прагу. Как и подобает, экземпляры были инвентаризованы, и после этого в годовом отчете Славянской библиотеки о приобретении было сказано: «Эта библиотека является целостным собранием книг времени первого расцвета русской культуры на

рубеже XVIII и XIX столетий... уцелевшая часть библиотеки представляет собой необычайно ценное собрание не только в количественном отношении, за пределами русских границ, но и по своему общему составу, позволяющему представить важный период русской культуры».



Портрет
неизвестного
художника.
1830-е гг.

А. Н. Гончарова.

Была сделана попытка полностью реконструировать состав уникальной коллекции. Маяком для этого грандиозного, особенно за пределами России, предприятия служил знаменитый, изданный в 1828 году более чем на 800 страницах каталог Смирдина, который П. А. Плетнев называл «бесценным». «Попробуй-ка,— писал он Я. К. Гроту,— так раз в неделю прочитывать имена авторов в Смирдинском каталоге, и ты увидишь, сколько еще лиц и книг, о коих не слыхивал». Пользуясь «Росписью» Смирдина и четырьмя

добавлениями к ней, библиографы до сих пор разыскивают недостающие экземпляры редких книг, и нередко им сопутствует успех.

С доктором Евой Велинской, заместителем директора Славянской библиотеки, занимающейся смирдинским собранием, осматриваем специальное помещение, где оно хранится.

— Здесь 12938 книг,— говорит Ева Велинская.— Из них примерно девять тысяч — подлинных из библиотеки Смирдина, остальные добавлены во время реконструкции. Это не музейное собрание. Книги могут быть заказаны читателями и выдаются для работы. Но, конечно, эта библиотека еще ждет своего исследователя, подробного описания.

Согласимся с доктором Велинской, что при тщательном изучении смирдинских книг могут случиться интереснейшие находки и открытия. Ведь никто еще даже не пролистал внимательно каждую из этих книг, безусловно, хранящих и интересные маргиналии, а возможно, и забытые между страницами записки, автографы, и кто знает, может быть, и пушкинские строки. Сотрудники Славянской библиотеки просто не имеют физической возможности своими силами подробно исследовать тысячи томов драгоценного собрания. Но в наши дни, когда так укрепляются и развиваются культурные и научные связи между странами, почему бы группе советских студентов и аспирантов не поработать несколько месяцев в Чехословакии с книгами Смирдина, тщательно просмотреть и описать каждую, составив в конечном счете полный анно-

тированный научный каталог бесценного культурного памятника.

Такой труд был бы тем более благодарен и полезен, что, к сожалению, слишком часто дипломные работы, кандидатские и даже докторские диссертации наших филологов стано-

Харьков»; «Любопытный художник и ремесленник. Москва, 1791 г.»; «Управитель или практическое наставление во всех частях сельского хозяйства. Москва. 1810»; «Отчет медико-филантропического комитета о домашнем лечении бедных и диспансириях в Санктпетер-



*Бродзяны.
Флигель.
Здесь
хранились
библиотека
и архив
Фризенгофов.*

вятся изложением давным-давно известного, повторением многожды пройденного. Подробное же исследование смирдинской библиотеки даст молодым ученым материал для подлинной научной работы и, без сомнения, послужит укреплению культурных связей между Советским Союзом и Чехословакией.

...Одну за другой листаю страницы книг с экслибрисами «Из библиотеки для чтения А. Смирдина». Какие интересные названия, какие баснословные года — «Правила латинского стихосложения. 1813 г.

бурге. 1805». А вот и книги современников Пушкина, русских поэтов, прозаиков, драматургов. Здесь, в старинном центре Праги, трудно представить себе, что они были свидетелями и главными участниками знаменитого новоселья библиотеки, «первой в России по богатству и полноте», о котором «Северная пчела» писала в 1831 году: «...г. Смирдин утвердил торжество русского ума и, как говорится, посадил его в первый угол: на Невском проспекте, в прекрасном новом здании, принадлежащем лютеранской церкви св. Петра, в нижнем жилье находится ны-

не книжная торговля г. Смирдина... Сердце утешается при мысли, что наконец и русская наша литература вошла в честь и из подвалов переселилась в чертоги!»

— Мы с великой бережностью храним наше сокровище, — говорит доктор Иржи Вацек. — Но мы и рады поделиться им с друзьями. Дело в том, что наше собрание содержит немало дублетов, то есть вторых экземпляров. Несколько лет назад Славянская библиотека подарила около ста смирдинских книг московскому музею А. С. Пушкина. А когда создавался музей Пушкина в Словакии, в Бродзянах, мы передали туда много интересных экземпляров из «Смирдинского фонда». Будете в Бродзянах и увидите там эти книги.

Замок на Нитре

Первым из русских литераторов этот замок посетил Николай Алексеевич Раевский. О «пушкинском кладе» в небольшом словацком селе, в долине реки Нитры, Н. А. Раевский рассказал в широко известных работах «Если заговорят портреты» и «Портреты заговорили». Трудно было даже представить, что где-то в глубине Словакии находятся сотни реликвий, связанных с Пушкиным и его семьей. Но все объяснилось тем, что именно сюда, в Бродзяны (или Бродяны, как иногда называли это место), переехала в 1852 году, выйдя замуж за австрийского дипломата Густава Фризенгофа, любимая свояченица Пушкина, сестра его жены Александра Николаевна Гончарова. Н. А. Раевский был

в Бродзянах по приглашению ее правнука, графа Георга Вельсбурга. Стояла весна 1938 года.

«Мы въезжаем в ворота старого парка и останавливаемся перед замком. Граф открывает массивную дверь, окованную железными полосами. Берется за старинное кольцо, вставленное в львиную пасть. Не без волнения я переступаю порог замка, в котором десятки лет жила и закончила свои дни баронесса Александра Николаевна Фогель фон Фризенгоф, в прошлом Азя Гончарова. Что-то я увижу здесь...

Графиня Вельсбург, ставшая показать мне все, что могло меня интересовать, сняла с пальца старинное золотое кольцо с продолговатой бирюзой и сказала, что оно перешло к ней от герцогини (дочери А. Н. Гончаровой-Фризенгоф), а ей досталось от матери. Кольцо Ази Гончаровой, почти наверное то самое, о котором княжна Вера Федоровна Вяземская, жена друга Пушкина, когда-то рассказывала издателю «Русского архива», пушкинисту П. И. Бартеневу. Однажды поэт взял у свояченицы кольцо с бирюзой, несколько времени носил его, потом вернул.

А в ящичке с драгоценностями герцогини, именно в ящичке из простой фанеры... я увидел потемневшую золотую цепочку от креста, по словам хозяйки замка, тоже принадлежавшую Александре Николаевне. Доказать, конечно, невозможно, но, быть может, это самая волнующая из бродяньских реликвий...»

Так писал Н. А. Раевский, рассказывая далее и о многочисленных семейных портретах

Гончаровых, Пушкиных и Ланских, которые он видел в Бродзянах, и о своих безуспешных попытках что-то узнать о документах, быть может, связанных с Пушкиным, в архиве замка, и о поисках его прижизненных изданий в огромной Бродзянской библиотеке, где был специальный русский шкаф. Но молодому исследователю довелось пробыть в замке лишь чуть больше суток. И он покинул его навсегда, ибо вскоре разразилась война.

Я подъезжал к замку, где жила и умерла Александра Николаевна Фризенгоф-Гончарова, почти через полвека после того, как побывал здесь Раевский. Еще в Москве историк Лев Сергеевич Кишкин, много сделавший для того, чтобы разыскать разбросанные войной бродзянские реликвии, автор специальных исследований о чехословацкой Пушкиниане, рассказал мне, что в недавно отреставрированном замке открыт музей А. С. Пушкина, куда в результате настойчивых поисков удалось вернуть некоторые предметы из Бродзян и другие материалы, связанные с поэтом, его друзьями и близкими.

Именно здесь, вдали от России, провела многие десятилетия и умерла Александра Гончарова, та Азя, которая приехала с сестрой Екатериной Николаевной в 1834 году из Полотняного завода в Петербург и прожила в семье Пушкина до его гибели, затем помогала Наталье Николаевне воспитывать детей. Она, конечно, знала тайну, сопровождавшую дуэль и гибель поэта, но никогда и никому эту тайну не открыла.

Александра Николаевна была женщиной умной, властной и решительной. Она очень любила семью Пушкина, Наталью Николаевну и своих племянников, и неудивительно, что они не раз приезжали сюда, в Бродзяны.

Значительность личности Александры Николаевны, а также подробности жизни ее в Петербурге и Бродзянах стали яснее после публикаций неопубликованных писем, которые А. Н. Фризенгоф посылала своим родным в Россию.

12 ноября 1852 года было написано первое из дошедших до нас ее писем, отправленное из Бродзян. Адресовано оно брату — Ивану Николаевичу Гончарову, чей прекрасный портрет и сейчас висит в замке: «Не могу написать тебе ничего особенно интересного, принимая во внимание то уединение, в котором мы живем, дорогой и горячо любимый Ваня... Я так глубоко сожалею, что не знаю никого из твоих детей. Мне очень тяжело, что я им совсем чужая, принимая во внимание мою любовь к вам обоим, мои дражайшие, добрые друзья... Мы живем по-прежнему, очень довольные своей судьбой. Маленькая Таша (дочь Александры Николаевны, будущая герцогиня Ольденбургская, художница и поэтесса. — В. Е.) растет хорошо... Живя вдали от военных бедствий, мы страдаем только душою, когда какая-нибудь прискорбная неудача случается с русскими. Да ниспослет им господь помощь в их неудачных сражениях и дарует им славную

победу в обороне Крыма. Мысль о множестве семей, переживающих горе потери своих близких, заставляет нас содрогаться. Молодой Орлов и Андрей Карамзин — две жертвы, которые я искренне оплакиваю».

И. Ободовская и М. Дементьев, внимательно проанализировавшие все письма Александр Николаевны, сравнивая ее бродзянские послания с письмами петербургского периода, отмечают, что только в Бродзянах успокоилась «ее мятущаяся душа, нашедшая наконец свое счастье». Она жила в старом замке, окруженная портретами своих близких, бережно хранила альбомы с видами Москвы, Петербурга и Полотняного завода. Не знаем мы только, было ли хоть одно изображение Пушкина, хоть одна строчка, написанная его рукой, сохранены баронессой Фризенгоф. И это самая большая загадка замка Бродзяны.

И вот я иду по его комнатам, и воистину «минувшее меня объемлет живо». Изображения друзей, родственников и знакомых Пушкина. Очаровательный акварельный портрет Натальи Николаевны, созданный В. Гау в 1842 году; портрет Густава Фризенгофа, овальный портрет его жены (копия с оригинала, находящегося в Ленинграде), старинные фотографии, гравюры, акварели, дагерротипы.

А в альбомах — десятки рисунков. Особенно интересны выполненные племянником П. П. Ланского Н. П. Ланским портреты Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской и ее детей — Марии, Григория, Алек-

сандра и Натальи Пушкиных. Н. П. Ланской был опытным и умелым рисовальщиком; как замечает исследовательница бродзянских портретов Л. П. Февчук, «его точные, правдивые, немного сухие рисунки графитным карандашом очень грамотного художника-любителя не вызывают сомнений в сходстве с оригиналом».

Эта своеобразная портретная галерея родственников и друзей (а в альбоме находятся также портреты Дмитрия, Ивана и Сергея Гончаровых, Петра Петровича и Павла Петровича Ланских, П. А. Вяземского и других) создавалась в годы, когда А. Н. Гончарова-Фризенгоф собиралась за границу. Может быть, она просила выполнить эти портреты на память о близких, оставшихся в России.

Невольно привлекает к себе внимание портрет младшей дочери поэта, пятнадцатилетней Натальи Александровны. Не раз писалось о ее удивительном сходстве с молодым Пушкиным и о ее лучезарной красоте. С. М. Загоскин вспоминал: «В жизнь мою я не видел женщины более красивой, как Наталья Александровна, дочь поэта Пушкина. Высокого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными плечами и замечательною белизною лица, она сияла каким-то ослепительным блеском. Несмотря на мало правильные черты лица, напоявшего африканский тип ее знаменитого отца, она могла назваться совершенной красавицей, и если можно прибавить к этой красоте ум и любезность, то можно предстать, как Наталья Александровна была окру-

жена на великосветских балах...» И. С. Тургенев, которому Наталья Александровна передала для редактирования и публикации письма своего отца к матери, замечал о ней: «Удивительнее всего то, что младшая его дочь, оставшаяся полугодовалым ребенком после его смерти, эта самая графиня Меренберг, как две капли воды на него похожа».

Можно много и подробно рассказывать о бродзянских реликвиях — альбоме рисунков литератора и художника Ксавье де Местра, О. А. Кипренского, Г. Г. Гагарина, Н. И. Фризенгоф; альбоме с автографом стихотворения В. А. Жуковского «Мотылек и цветы» и его пейзажными зарисовками...

Граф Ксавье де Местр, писатель, ученый, художник, был женат на тетке сестер Гончаровых С. И. Загряжской. Их приемная дочь Н. И. Иванова была первой женой Густава Фризенгофа, ставшего после ее смерти мужем Александры Николаевны Гончаровой. О том, что в Бродзянах находится альбом с одним из лучших стихотворений В. А. Жуковского, знали многие современники. П. А. Плетнев писал в 1842 году Я. К. Гроту, упоминая в письме «изумительного старика» Ксавье де Местра: «Нельзя изобразить, как интересно видеть 80-летнего графа Местра со всею готовностью души участвовать в умственных занятиях. До сих пор он пишет брошюры по части физики и отсылает их в Париж. Еще за два года он написал несколько картин масляными красками. У него зрение и слух вполне сохранились до этих лет. Обед был самый ро-

скошный. Графиня говорит, что в ее положении это одно удовольствие ей осталось. Она родная тетка жены А. Пушкина и была по отцу Загряжская. У них была воспитанница Иванова, которая теперь замужем в чужих краях и которой в альбоме Жуковский написал одну из лучших своих пьес «Поляны мирной украшень» («Мотылек и цветы». — В. Е.).

*Поляны мирной украшение,
Благоуханные цветы,
Минутное изображение
Земной, минутной красоты;
Вы равнодушно расцветаете,
Глядяся в воды ручейка,
И равнодушно упрекаете
В непостоянстве мотылька.*

*Но есть меж вами два избранные,
Два ненадменные цветка;
Их имена, им сердцем данные,
К ним привлекают мотылька
Они без пышного сияния;
Едва приметны красотой;
Один есть цвет воспоминания,
Сердечной думы цвет другой.*

*О милое воспоминание
О том, чего уж в мире нет!
О дума сердца — упование
На лучший, неизменный свет!
Блажен, кто вас среди губящего
Волненья жизни сохранил
И с вами низость настоящего
И пренебрег и позабыл.*

Это стихотворение Жуковского, чья рукопись после долгих скитаний по свету оказалась в Бродзянах, высоко ценил Пушкин, о чем и писал Плетневу.

Сейчас работники музея А. С. Пушкина в Бродзянах готовятся издать некоторые альбомы, хранящиеся в замке. Среди

них и этот альбом В. А. Жуковского. Но, учитывая огромный интерес ко всему, что касается Пушкина и его времени в нашей стране, было бы, наверное, целесообразно выполнить эту работу совместно чехословацким и советским издательствами возможно большими тиражами, чтобы и почитатели поэзии Пушкина в нашей стране имели возможность приобрести их для своих библиотек.

Разве может, например, не волновать воображение альбом с гербарием растений, собранных Н. Н. Пушкиной и ее детьми в Михайловском в 1841 году!

Эти «цветы засохшие, безуханные» находятся в альбоме Н. И. Фризенгоф. Судя по записям в альбоме, растения собирались не только в Михайловском, но и в Тригорском и в Острове. В книге «Чехословацкие находки» Л. С. Кишкин приводит перечень названий растений пушкинских мест, сохраненных в бродзянском гербарии. Это обычные дикорастущие на Псковщине растения (вереск, тысячелистник и др.) и цветы из усадебных садов времен Пушкина — космос, кореонсис, гайлардия, петунья. Вряд ли Наталье Николаевне Пушкиной, предававшей модному и полезному светскому развлечению — сбору гербария, могло прийти на ум, что через полтора века засушенные ею листья и стебли помогут с исторической достоверностью восстанавливать цветники в Михайловском, Тригорском и Петровском.

Но особенно поражают чудом дошедшие до нашего времени карандашные отметки ро-

ста жены и детей Пушкина на одном из дверных косяков на втором этаже старого замка. Это, быть может, самая трогательная реликвия музея. По ней мы можем судить, например, что рост Натальи Николаевны и ее дочери Натальи Александровны был одинаков — 173 сантиметра.

Где же перспективен розыск пушкинских реликвий из Бродзян? Конечно, в Чехословакии, хотя внимательные исследователи уже весьма тщательно просмотрели местные архивы и музейные собрания, обследовали старые замки. Возможны поиски в Австрии, где у потомков Александры Николаевны был замок Эрлаа, и в Венгрии, куда переехал после войны правнук А. Н. Фризенгоф Г. Вельсбург. Вообще же судьба вещей, связанных с Пушкиным, может быть самой неожиданной. Например, недавно стало известно о хранящемся в одной московской семье миниатюрном портрете Н. Н. Пушкиной. Это копия с известного портрета В. Гау, датированного 1842—1843 годами. На нем Наталья Николаевна изображена в открытом бальном платье, на голове — маленькая черная шляпа со спускающимся на обнаженное плечо страусовым пером. Миниатюра, о которой мы рассказываем, выполнена на тончайшей пластинке из слоновой кости и заключена в изящную металлическую рамку. Техника и качество исполнения выдает работу художника-любителя. Видимо, эта копия с портрета Гау сделана в конце прошлого — начале нынешнего века. На обороте миниатюры надпись по-немецки: «Frau Natalia Nikolajewna

Püschkin geb. Gontscharowa». (Госпожа Наталья Николаевна Пушкина рожд. Гончарова). Владелица портрета рассказала, что он был куплен ее родителями в 1947 году в антикварной лавке в ГДР, в городе Хемнице (ныне Карл-Маркс-Штадт), находящемся рядом с чехословацкой границей. Там же продавался и парный мужской портрет, но, к сожалению, его приобрести не удалось. Возможно несколько версий происхождения этой миниатюры. И одна из них неминуемо приводит в Бродзяны. Можно предположить, что это работа дочери Александры Николаевны Натальи Фризенгоф (в замужестве герцогини Ольденбургской). Она увлекалась музыкой, книгами, живописью. В замке сохранилось несколько ее работ. Возможно, ей была мало знакома техника миниатюры на кости, поэтому копия с акварели Гау вышла не совсем удачной, но тем не менее она была оправлена в специально заказанную рамку и защищена выпуклым стеклом. То, что цветное решение миниатюры в общем соответствует подлинной цветовой гамме, присутствующей работе Гау, говорит, что миниатюрная копия делалась с одного из трех известных вариантов, принадлежащих кисти самого мастера.

Этот портрет (известно три авторских варианта) художник создал по заказу князя П. А. Вяземского. Он хранился в подмосковном имении Вяземских Остафьеве. В 1930 году портрет поступил в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина. Именно с него была сделана в 1934 году первая очень удачная цветная

репродукция, опубликованная в 1934 году в пушкинском томе Литературного наследства. Ныне он хранится во Всесоюзном музее А. С. Пушкина.

Еще один вариант этого портрета был приобретен за границей известным библиофилом и коллекционером С. М. Лифарем у внучки Натальи Николаевны Е. А. Пушкиной-Розенмейер. Этот портрет в 1936 году напечатан в парижском издании «Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой».

И, наконец, третий экземпляр портрета находился у дочери Натальи Николаевны А. П. Араповой, автора интересных, хотя и противоречивых воспоминаний о своей матери.

Один из этих вариантов портрета Натальи Николаевны, быть может, и видела Наталья Густавовна Ольденбург, и он послужил ей основой для создания миниатюры. Но, конечно, это лишь предположение, нуждающееся в проверке.

Здесь можно добавить, что А. П. Арапова поддерживала связи с Фризенгофами. В 1887 году она обратилась к Александре Николаевне с просьбой записать все, что та помнила о трагическом времени в жизни Пушкина — 1836—1837 годах. Рассказ жены записал очень сдержанно и корректно барон Фризенгоф. Исследователи по-разному относятся к этому документу. Наиболее верно, как интереснейшие, на мой взгляд, определила воспоминания Александрины Фризенгоф-Гончаровой С. Л. Абрамович, проанализировавшая документ в недавней книге «Пушкин в 1836 году». Несомненно, Александра Николаевна и в кон-

це жизни прекрасно помнила все, связанное с тем далеким трагическим временем, когда, по словам Вяземского, вились вокруг Пушкина «адские сети, адские козни!».

Вот как Александра Николаевна вспоминала один из эпизодов преддуэльной истории — свидание у И. Полетики 4 но-



М. А. Пушкина.

Рисунок Н. П. Ланского. 1852 г.

ября 1836 года. «Жена моя, — пишет племяннице барон Фризенгоф, — сообщает мне, что она совершенно уверена в том, что во все это время Геккерн видел вашу мать исключительно в свете и что между ними не было ни встреч, ни переписки. Но в отношении обоих этих обстоятельств было все же по одному исключению.

Старый Геккерн написал вашей матери письмо, чтобы убедить ее оставить своего мужа и выйти за его приемного сына. Александра вспоминает, что

ваша мать отвечала на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно.

Что же касается свидания, то ваша мать получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и когда она прибыла туда, то застала там Геккерна (сына. — В. Е.) вместо хозяйки дома; бросившись перед ней на колени, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, что это свидание длилось несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас уехала».

Таким образом, память очевидцев преддуэльных событий хранила многие детали далекого прошлого, связанного с Пушкиным. Тем более странно, что ни строчки, написанной рукой поэта, ни его портрета не обнаружено в Бродзянах. Но автографы Пушкина, его книги и рукописи должны были быть у Александры Николаевны. Так считали видные советские пушкинисты, и особенно И. Л. Фейнберг, который первым из советских ученых поставил вопрос о спасении материалов, хранившихся в Бродзянах. Его вдова, литературовед М. И. Фейнберг, узнав, что меня интересует история розысков бродзянских реликвий, передала мне несколько документов из архива своего мужа, любезно разрешив опубликовать некоторые из них. Эти документы проливают свет на историю поиска словацкой Пушкинианы в конце минувшей войны.

5 апреля 1945 года Пушкинская комиссия Союза советских писателей направила в действующую армию следующее письмо:

«Члену Военного совета II Украинского фронта генерал-лейтенанту Тевченкову.

В районе действия войск II Украинского фронта расположен замок Бродяни, в котором, возможно, находятся рукописи великого русского поэта А. С. Пушкина и другие ценные пушкинские материалы.

ловским, приведены данные, указывающие, каким путем пушкинские рукописи и материалы могли перейти в собственность лиц, владевших до последних лет названным замком. Как видим из 2-й части прилагаемой объяснительной записки, кроме замка Бродяни, пушкинские рукописи и материалы мо-



Н. А. Пушкина.
Рисунок Н. П. Ланского. 1852 г.



А. А. Пушкин.
Рисунок Н. П. Ланского. 1851 г.

Правление Союза советских писателей СССР и его Пушкинская комиссия обращаются к Вам с просьбой принять заблаговременно меры к сохранению находящихся в этом замке рукописей, книг и других культурных ценностей для того, чтобы обеспечить в дальнейшем возможность розысков среди них пушкинских материалов. В прилагаемой к настоящему письму специальной записке, составленной заместителем председателя Пушкинской комиссии ССП СССР профессором М. А. Цяв-

гут быть обнаружены в Теплице, в Вене, а также в имениях Граупен и Винздорф в Богемии, которые в настоящее время находятся вблизи мест развивающихся военных действий. Поэтому мы просим содействовать выявлению этих материалов и принятию мер к охране материалов, там находящихся. Союз советских писателей СССР уполномочивает члена ССП СССР майора Вильям-Вильмонта обратиться к Вам по этому вопросу.

Приложение: пояснительная записка.

Секретарь правления Союза советских писателей СССР Д. Поликарпов. Секретарь Пушкинской комиссии ССП СССР И. Фейнберг».

Существенно, что такой знаток жизни и творчества Пушкина, как М. А. Цявловский, в по-

мо, которое было направлено в Чехословацкую Академию наук: «...Союз советских писателей СССР обращается к Вам со следующей просьбой. Как нам стало известно, в 1934 году Чехословацкая Академия наук вела с графом Георгом Вельсбургом, владельцем замка Бродяни близ Нитры, переговоры о приобре-



*А. Н. Фризенгоф
и Г. Фризенгоф.
Фотография.
1860 г.*

яснительной записке к письму советскому командованию уверенно заявил: «Александра Николаевна, несомненно, имела не один автограф великого поэта. Возможно, у нее были какие-нибудь документы, относящиеся к истории дуэли поэта и вообще имеющие отношение к жизни и творчеству Пушкина, не говоря уже о каких-нибудь реликвиях, вещах, портретах и т. п.».

В это же время И. Л. Фейнберг подготовил еще одно пись-

тении у него альбома, заполненного собственноручными рисунками и автографами Пушкина. Альбом этот перешел к графу Г. Вельсбургу по наследству, т. к. в числе его предков была баронесса Фризенгоф, сестра жены Пушкина, урожденная Александра Гончарова... Неизвестно, чем закончились эти переговоры. Есть только сведения о том, что приобрести этот альбом у графа Георга Вельсбурга хотел также граф Гаррах, живший в Вене, который является,

по-видимому, также собственником и других автографов Пушкина. Союз советских писателей СССР просит Вас сообщить все, что возможно, о судьбе этого пушкинского альбома для того, чтобы можно было принять меры к тому, чтобы автографы великого поэта стали национальным достоянием русского народа. Одновременно с этим письмом мы обращаемся в Союзническую контрольную комиссию по делам Австрии с просьбой выяснить, не находятся ли возможные собственники пушкинских рукописей граф Г. Вельсбург и граф Гаррах на территории Австрии, а также с просьбой принять возможные меры содействия к переходу пушкинских рукописей в состав национального достояния русского народа».

Первое знакомство с этими важными документами вызывает ряд вопросов. И главный из них — о каком альбоме с рисунками и автографами Пушкина идет речь? Н. А. Раевский, который, как он пишет, был в Бродзянах не в 1934-м, а в 1938 году, в своих работах ничего об этом альбоме не пишет, он его не видел и, по всей вероятности, о его существовании не знал. В то же время уверенностью, с которой И. Л. Фейнберг, человек точный и весьма компетентный, заявляет об этом альбоме, позволяет думать, что вера ученого в реальность его существования зиждилась не на слухах и догадках, а на более точной информации.

Косвенное подтверждение этому находим в заметке И. Фейнберга, опубликованной осенью 1947 года в «Огоньке»,

«Дар чехословацких писателей». Он сообщает, что литературовед Н. Н. Вильям-Вильмонт, находившийся в рядах Советской Армии, побывал в Бродзянах для установления судьбы пушкинских материалов.

«Предположения М. А. Цявловского подтвердились: оказалось, что материалы, судьба которых нас интересовала, хранились там до последних лет. Обнаружить их на месте тогда не удалось. Однако Н. Н. Вильям-Вильмонт выяснил, что в числе этих материалов были портреты, письма и альбом с рисунками Пушкина... Принадлежавший Александре Николаевне альбом с рисунками поэта пока не обнаружен. Однако есть все основания к тому, чтобы продолжать розыски. Возможно, что в результате их будут обнаружены не только рисунки, но и автографы великого поэта».

Но этого альбома и рукописей Пушкина нет среди бродзянских материалов, переданных в 1947 году делегацией чехословацких писателей и журналистов Союзу писателей СССР, а затем поступивших в Пушкинский Дом, нет его и в современном музее А. С. Пушкина в Бродзянах, и в чехословацких архивах. Остается еще версия о некоем таинственном коллекционере графе Гаррахе, но она требует тщательной проверки. Безусловно прав лучший ныне советский знаток бродзянской Пушкинианы доктор исторических наук Л. С. Кишкин: «...Из находившихся в Бродзянах пушкинских материалов... обнаружено и собрано пока далеко не все. Бродзянский архив лишь отчасти приоткрыл свою тайну».

вы, над туманом всплывало темно-красным шаром солнце. Холмы постепенно освобождались от пелены, их вершины темными шапками словно плыли по молочному морю, заполнившему лощины. Далекий гулкий звук каких-то работающих машин, невидимых от места, где мы остановились, создавал впечатление шума от передвигающихся масс людей, армий, скрывающихся в области тумана.

Обильно полита русской кровью эта земля. Легкомыслие Александра I, бездарного в военном отношении, тупость австрийских генералов, пренебрежение к мнению Кутузова, единственного в русско-австрийском лагере сознававшего всю сложность положения союзных войск, предсказывавшего катастрофу, которая ждет русскую армию в случае сражения, и фактически отстраненного от командования, предопределили гибель около пятнадцати тысяч русских и австрийских солдат. Наполеон искусно расставил ловушку, в которую попали австрийские и русские войска. Тарле писал, что французские маршалы «изумлялись храбрости русских солдат, но и не меньше абсурдному поведению и полному военному невежеству, растерянности и бездарности русских генералов, кроме Кутузова».

...Между тем туман, закрывающий поля, все больше прижимался к земле, и вот уже стал полностью виден Праценский холм — центр «битвы трех императоров», на вершине которого в 1910—1911 годах был воздвигнут по проекту известного архитектора Йозефа Фанте

монумент мира. Таинственное, исполненное глубокой символики, в чем-то мистическое, это сооружение господствует над окрестностью. В его основании — выложенная каррарским мрамором часовня, где захоронены павшие, две скорбные женские фигуры у входа олицетворяют горе матерей и жен, оплакивающих убитых. У подножия Праценского холма еще в тридцатые годы нашего века сохранялся старый дом, бывший трактир, в котором перед самой битвой останавливался Кутузов. Дом этот видел пушкинист Н. А. Раевский, когда незадолго до второй мировой войны посетил Аустерлицкое поле. Где-то здесь, поблизости, был ранен в щеку Кутузов, а князь Андрей Болконский бросился вперед, подхватив батальонное знамя. Тут он упал, раненный. Откроем первый том «Войны и мира». «Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались... — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба?»

Многое изменилось на этом поле, где некогда определялась история Европы, пожалуй, лишь небо да рельеф местности остались прежними, помнящими тот кровавый осенний день и наступивший как-то вдруг, внезапно суровый вечер, когда Наполеон с огромной свитой

проезжал по позициям, поминутно спотыкаясь о трупы людей и лошадей. Есть все же что-то непередаваемо-магическое на полях великих битв, ставших безмолвными памятниками минувшего. Земля под Бородином и Полтавой, Аустерлицем и Кульмом не просто взывает к памяти о прошлом, скорбно и тревожно напоминает о павших. История, бывшее оживают, по-моему, на этих полях ощутиμες, реальнее, чем под сводами рукотворных дворцов, храмов, на улицах старых городов и в залах музеев. Придите в одиночестве на Бородинское поле и послушайте тишину, окутывающую его. И постепенно на вас снизойдут голоса былого.

Я смотрел на облака, плывущие над Аустерлицем, держал в руках первый том «Войны и мира» и опять вспоминал князя Андрея: «На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном. К вечеру он перестал стонать и совершенно затих».

Прототипом для образа князя Андрея в эпизоде Аустерлицкого сражения послужил Л. Н. Толстому флигель-адъютант, капитан инженерных войск, граф Фердинанд Тизенгаузен, зять Кутузова, женатый на его любимой дочери, приятельнице Пушкина Елизавете Михайловне (во втором браке Хитрово). Он погиб от ран, полученных в этом сражении.

Л. С. Кишкин разыскал написанную в конце XIX века ин-

тересную статью чешского писателя Яна Гербена «Свидетели прошлого», в которой рассказывается о гибели зятя Кутузова. В разделе статьи «После битвы у Славкова» (Аустерлиц — ныне Славков — находится в Чехословакии недалеко от города Брно) Гербен пишет, что смертельно раненный Тизенгаузен умер в деревне Силничка в доме кузнеца Антонина Хмеля. Герой Аустерлица был временно похоронен близ кузницы. А «через четыре месяца — когда военные события затихли — приехал в Штрассендорф (так в начале XIX века называлась Силничка. — В. Е.) русский со свитой. Это был кровный родственник похороненного... Русского графа выкопали и в тройном гробу увезли из Моравии в Россию». А в Моравии долго стоял крест с надписью: «Здесь покоится адъютант русского царя, граф Фердинанд Тизенгаузен, кавалер ордена св. Анны и Марии Терезии: родился 15 августа 1782 года, скончался в этом доме 4 декабря 1805 года от ран, полученных в битве под Аустерлицем. Умер смертью героя». Кутузов любил своего зятя и горевал о нем. «Если бы быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого, как Фердинанд», — писал он дочери.

Граф Фердинанд Тизенгаузен похоронен в кафедральном соборе Таллина. Его барельефный портрет на надгробии очень похож на миниатюру, хранящуюся в коллекции замка-музея северочешского курортного города Теплице. Вот еще одно место в Чехословакии, где находятся совершенно уникальные материалы, связан-

ные с русской историей и культурой, в частности с Пушкиным.

Собрание Теплицкого замка, к счастью, не погибло в огне войны, но в 1948 году оно было распродано по запасникам многих чешских провинциальных музеев-замков и, казалось, растворилось в небытии. Потребовалась напряженная поисковая и научная работа чехословацких и советских ученых, чтобы портреты и документы, связанные с именами Пушкина и Кутузова, вновь объединились в Теплице. К. Кшижова и С. Островская, чешские исследователи, отдавшие немало сил поискам, атрибуции, описанию и публикации памятников теплицкого собрания, с полным основанием пишут в каталоге превосходной выставки «Собрание портретов пушкинских друзей из Теплице. Картины, графика, пластика, фотографии, документы»: «С просьбой о помощи при поисках коллекции картин потомков Кутузова, бывших друзей Пушкина и бывших обитателей Теплицкого замка, обратились к нам советские историки. Было нелегко спустя столько лет отыскать собрание, рассеянное в запасниках четырнадцати замков. Несмотря на это, поиски завершились успехом».

В небольшом Теплице вспоминаются имена многих великих деятелей мировой истории и культуры. Здесь, например, единственный раз в жизни встретились Гете и Бетховен в 1812 году. В теплицких преданиях сохранился рассказ (он подтверждается письмом Бетховена Беттине Brentano), как, гу-

ляя в замковом парке, Гете и Бетховен повстречали молодую австрийскую императрицу Марию Людвигу. Бетховена, державшегося в высшей степени независимо, покорило придворное подобиестрастие Гете. Композитор потом напомнил поэту, какое значение имеют они, творцы, в сравнении с придворными кругами... В залах замка играли Лист и Шопен, здесь бывали П. Вяземский и М. Виельгорский.

Но нас в первую очередь интересовало в Теплице то, что перекликается с Пушкиным и его временем. Среди картин, портретов, миниатюр, изображающих друзей и знакомых поэта, привлекла внимание небольшая изящная акварель И. Сотиры, изображающая салон Фикельмонов в Петербурге во дворце Салтыкова, где размещалось австрийское посольство. В этом зале, который современники называли «окном в Европу», не раз бывал Пушкин. Дочь Кутузова Елизавета Михайловна Хитрово, ее дочери Дарья Федоровна, жена австрийского посланника, и Екатерина Федоровна Тизенгаузен с 1829 года жили в одном доме, составляя различное «трио». Их салоны стали центром интеллектуального Петербурга. П. А. Вяземский вспоминал о Е. М. Хитрово, верном друге Пушкина: «В летописях Петербургского общества имя ее осталось так же незаменимо, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмон, неизгладимо врезаны в память тех,

которые имели счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые так же не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади». Портрет Е. М. Хитрово в теплицком собрании выполнен, видимо, русским художником еще при жизни Пушкина. Один из самых верных друзей Пушкина, она пронесла свою дружбу к нему через всю жизнь. «Рассчитывайте на меня на жизнь и на смерть...» — писала она поэту, и он дорожил дружбой дочери Кутузова. Он не раз посылал ей стихи, в том числе обращенные к Кутузову.

Сын П. А. Вяземского вспоминал, что Пушкин и его отец «сохраняли по смерти дружеские отношения ко внукам Кутузова». Эти слова относятся и к Екатерине Федоровне Тизенгаузен, старшей дочери Елизаветы Михайловны. Она встречалась с Пушкиным неоднократно, «восторженно», судя по дневнику императрицы, отзывалась о нем; в дневнике Дарьи Федоровны есть запись о совместной с матерью, сестрой и несколькими другими лицами поездке «в домино и масках по разным домам... Мы очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были тотчас узнапы и вернулись ужинать к нам». По просьбе Екатерины Федоровны Пушкин написал стихотворение «Циклоп», которое она прочла

на костюмированном балу в Аничковом дворце.

Язык и ум теряя разом,
Гляжу на вас единым глазом:
Единый глаз в главе моей.
Когда б судьбы того хотели,
Когда б имел я сто очей,
То все бы сто на вас глядели.

Очень дружен был Пушкин с ее младшей сестрой, Дарьей Федоровной (Долли) Фикельмон. Жена австрийского посланника, одна из умнейших и образованнейших русских женщин, считавшаяся среди первых красавиц Петербурга, как немногие ценила и понимала поэта. «Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом — без притязаний, с увлечением и огнем...» — пишет она в дневнике 10 декабря 1829 года. А вот другое ее упоминание о Пушкине: «...невозможно быть менее притязательным и более умным в манере выражаться». Записи о Пушкине в дневнике Д. Ф. Фикельмон замечательны по пронизательности. Иногда кажется, что она умела читать судьбу, написанную на лицах. Так, она пишет 12 ноября 1831 года о Наталье Николаевне, которая, кстати, именно в дружественном поэту доме Фикельмонов впервые явилась в свете: «Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестя-

щая и радостная, а между тем голова ее склоняется, и весь ее облик как будто говорит: «Я страдаю». Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу — быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!»

Исследователи считают несомненным, что образ Долли Фикельмон воплощен Пушкиным в «Египетских ночах», наброске «Мы проводили вечер на даче», какие-то ее черты хозяйки великосветского салона нашли отражение в VIII главе «Евгения Онегина».

В 1838 году заблужшая Дарья Федоровна навсегда покинула Россию, но где бы она ни была, она всегда оставалась русской патриоткой. После того как ее дочь Елизавета (Елка) Фикельмон вышла замуж за Эдмонда Клари-Альдрингена, семья стала часто жить в Теплице, Вене, Венеции.

Так и оказалось в Теплице русское сокровище — портреты друзей Пушкина и родственников Кутузова. В замке поддерживали тесные связи с Россией, здесь бывали русские гости, поэтому архив замка, который хранится сейчас в городе Дечин, содержит немало интереснейших материалов, относящихся к нашей стране. В теплицкой коллекции есть подлинные художественные сокровища, в том числе принадлежащие кисти К. Брюллова. Портрет Елизаветы Фикельмон 15 лет, написанный в то время, когда ее видел Пушкин. Авторство портрета определил советский исследователь Н. Прожогин. Много сделали для атрибуции работ, хранящихся в Теплице, историки Ю. Глушакова и И. Бочаров.

Это собрание, известное в нашей стране лишь очень немногим специалистам, конечно, представляет исключительный интерес для всех, кому дорого имя Пушкина, Кутузова, кто интересуется отечественной историей и литературой. В здании теплицкого краевого музея я беседовал с его директором доктором Мирославом Урбаном. Он поддержал идею показать в Советском Союзе пушкинскую выставку из Теплице в дни, когда в нашей стране будет отмечаться 150-летие со дня гибели поэта.

Выставка эта может таить еще много неожиданного, и при тщательном научном исследовании ее эксперты могут указать пути к новым открытиям и находкам в зарубежной и отечественной Пушкиниане.

А открытия в Пушкиниане могут быть весьма неожиданные. Недавно, как известно, академик Д. С. Лихачев опубликовал сведения о перстне декабриста Трубецкого, подаренном Пушкину, затем находившемся у Александры Николаевны Фризенгоф-Гончаровой в замке Бродзяны, пропавшем, а теперь обнаруженном во Франции.

Возможны новые открытия в Пушкиниане и после детального анализа сокровищ Теплицкого замка, особенно архива семьи Фикельмон. Когда из Праги мы направились в Дечин, где сейчас находится этот архив, то, конечно, не могли не остановиться на месте знаменитой битвы у чешского села Хлумец (Кульм), где в конце августа 1813 года русские войска и их союзники наголову разбили наполеоновский корпус генерала Вандама. Одна из величайших

битв войны с Наполеоном, Кульмская, сравнилась в России с Бородинским сражением. Многие друзья и знакомые Пушкина, будущие декабристы, героически сражались у Кульма. Соотношение сил там было 1:3 в пользу французов. Неувядаемой славой покрыла себя в этом сражении русская гвардия. В Кульмской битве участвовали П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, В. С. Норов, И. Д. Якушкин, М. С. Лунин, П. Я. Чаадаев, С. П. Трубецкой, Н. И. Лорер и многие другие замечательные люди. Молодой Пушкин обратил к ним торжественные строки:

Сыны Бородина, о кульмские
герои!
Я видел, как на брань летели
ваши строи;
Душой восторженной за
братьями спешил.
Почто ж на бранный дол
я крови не пролил?

В 1837 году на месте сражения был воздвигнут по проекту П. Нобиле «Русский памятник». Фигура богини победы Ники венчает высокий пьедестал. А неподалеку в дубовой роще братская могила погибших в сражении. Огромный крест обвит мощными обнаженными корнями вьющихся растений. Покрытые мхом и патиной времени могучие валуны образуют памятный холм над воинской могилой.

В первый день сражения незаурядное мужество проявил командир русского отряда граф А. И. Остерман-Толстой. Он был тяжело ранен, и тут же на поле боя ему отняли руку.

Чтобы войска не слышали его стонов, он приказал, чтобы рядом играл военный оркестр. Затем командование принял А. П. Ермолов.

О Кульмском сражении писал Денис Давыдов в «Замечаниях на некрологию Н. Н. Раевского», назвав его бессмертной битвой. Д. В. Давыдов подчеркивает роль А. П. Ермолова в победе под Кульмом: «Цена высоко заслуги графа Остермана и принца Вюртенбергского, — отмечает Давыдов, — во всю эпоху наполеоновских войн и в Кульмовском сражении в особенности, я, основываясь на свидетельстве всех беспристрастных очевидцев и участников этого боя и не опасаясь возражений, положительно признаю Ермолова главным виновником победы, стяжавшей русской гвардии столь справедливую признательность и удивление Европы». Особенно отличилась в Кульмской битве русская гвардия.

А когда графу Остерману-Толстому привезли орден Георгия 2-й степени, генерал сказал флигель-адъютанту князю Голицыну: «Этот орден должен бы принадлежать не мне, а Ермолову, который принимал важное участие в битве и окончил ее с такой славой».

На закладке памятника у Кульма присутствовали друзья Пушкина, знавшие многих русских участников битвы, Д. Ф. Фикельмон и Ш.-Л. Фикельмон. «В конце церемонии, — пишет в книге «Чехословацкие находки» Л. С. Кишкин, — артиллерийская батарея дала три залпа, ей ответили отдельные орудия с поля сраже-

ния». «Это мертвые говорили с живыми», — записала в дневнике Д. Ф. Фикельмон.

Она, наверное, думала в этот момент о тех, о ком писал еще в 1829 году Пушкин:

...При звуке песней новых
Почили славные в полях
Бородина.
На Кульмских высотах, в лесах
Литвы суровых,
Вблизи Монмартра.

Наша поездка в поисках «чехословацкой Пушкинианы» заканчивалась в небольшой деревне Дуби, неподалеку от Теплице. Здесь в костеле Пресвятой деви Марии, напоминающей венецианскую церковь Марии

дель Орто, которую любила Д. Ф. Фикельмон, в семейной усыпальнице похоронены сама Дарья Федоровна, ее муж Ш.-Л. Фикельмон и их дочь княгиня Елизалекс Клари-Альдринген, правнучка Кутузова, скончавшаяся в 1876 году. Тогда и оборвалась непосредственная связь обитателей Теплице с Россией, и лишь молчаливые фамильные портреты напоминали гостям замка о далеком времени, когда в северном Петербурге входил в особняк австрийского посольства на Дворцовой набережной Пушкин, всегда встречавший в доме Фикельмонов привет, понимание и дружбу.





ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Ю. Осипов

Событию этому суждено было стать новой культурной вехой в сознании поколений. 6 июня 1880 года Россия впервые чествовала в Москве память своего национального гения. Торжественное открытие опекушинского памятника, трехдневные утренние заседания и литературно-музыкальные вечера в зале благородного собрания, юбилейная выставка, «Пушкинские чтения» в университете и Политехническом музее, общественные манифестации...

«После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет... вдруг пронеслись струи чистого воздуха — и все постепенно начало оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и пушкинский праздник в Москве», — писал вы-

дающийся юрист и общественный деятель А. Ф. Кони.

Свидетельства других участников юбилейных торжеств доносят до нас их волнующую атмосферу:

«...Огромный зал точно улей дышит, гудит и рокочет от толпы в несколько тысяч человек; но вот он мгновенно смолк и притаил дыхание... Перед сценой, украшенной... расписанными подзорами, на которых белеет, среди зелени и лавровых венков, бюст поэта, восседает почетный синедрион заслуженных членов «Общества любителей российской словесности». Среди них и все наши литературные светила: Тургенев, Достоевский, Островский, Аксаков, Писемский, Майков, Полонский... Один за другим всхо-

дят они на кафедре, и сколько ума, таланта, знания и остроумия проносится в живом слове под этими громадными сводами и жадно схватывается внимательной, чуткой и отзывчивой толпой... Вот почему в некоторой доле прав тот публицист, который сказал на днях в своей газете: «Верьте мне на слово — несчастный тот человек, который не был в Москве на пушкинском празднике!»

И если каждому школьнику сегодня известна прославленная речь Достоевского, увенчавшая этот общенациональный праздник, то сейчас уже мало кто знает, что его главным создателем был Лев Иванович Поливанов.

Основатель и директор лучшей московской частной гимназии, вошедшей в историю русской культуры XIX века под названием Поливановской, он преподавал в ней едва ли не десяток гуманитарных предметов. «Великий артист в обличье педагога», обладавший удивительным импровизационным даром и совершенным пониманием детской психологии, он оставил образцовые учебные пособия и хрестоматии для народного обучения. Неутомимый просветитель, он был душой знаменитого на всю Москву («Шекспировского кружка», художественным критиком, переводчиком Корнеля, Расина, Мольера и, наконец, тонким исследователем и издателем произведений классиков отечественной литературы, прежде всего Пушкина.

Высокий, худой, стремительный, с откинутой на плечи гривой седых волос, с горящими глазами и львиным рыком, переходившим порой в нежный

шепот, одухотворенный до экстаза, — таким запомнился современникам этот человек, испепеливший в себе «все сытое, жирное, бытовое». Он поражал воображение, очаровывал одной встречей на всю жизнь. Ученики любили его самозабвенно. А он исподволь, но настойчиво внушал им в те «года глухие» веру в мужество и силу человека, задыхаясь, кричал, что диплом — ерунда, коли с ним будет блуждать по миру угасшее сознание.

На заповедной Пречистенке, неподалеку от Зубовской площади сохранилось обветшавшее, законсервированное в нескончаемом ремонте длинное трехэтажное здание классического стиля с мерной чередой колонн по фасаду. В прошлом веке оно принадлежало генералу Степанову, потом купцу Петову. Здесь и обосновалась в последний период своего существования Поливановская гимназия, почти три десятилетия ковавшая ряды «культурных бойцов». (После революции это здание занимала одно время Академия художественных наук, а до недавних пор в нем помещались детская художественная и музыкальная школы.)

«Поливановцами» с гордостью называли себя замечательные русские актеры Лужский и Садовский, народный артист СССР Ю. Юрьев, поэты В. Брюсов и А. Белый, художник А. Головин, чье истинное призвание Лев Иванович угадал первым и на чей выбор пути оказал решающее влияние. Как и некоторые другие ее выпускники, охотно учительствовали в родной гимназии профессора Л. Лопатин, крупные уче-

ные-филологи и искусствоведы А. Венкстерн, В. Гиацинтов, ставший впоследствии директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В Поливановской гимназии учились также дети выдающейся драматической актрисы Г. Федотовой,

ство учеников и Учителя продолжалось на традиционных поливановских «субботах», в работе над постановками «Шекспировского кружка» и достигло апогея во время подготовки юбилейных пушкинских торжеств, бремя которой разделили со Львом Ивановичем уча-

«Пушкинская выставка» в зале Благородного собрания, приуроченная к открытию памятника Пушкину в Москве. С наброска Н. Чехова. Рисовал Ф. Гаанен.



Пушкинская выставка в зале благородного собрания.
Открытие памятника Пушкину, в Москве, 6-го июня.
(С наброска нашей корреспондентки Н. Чехова, рисов. Ф. Гаанен.)

старшие сыновья Л. Н. Толстого...

Ученичество у Поливанова неизменно выливалось в *сотрудничество* с ним, начинавшееся прямо на уроке. При ответе он требовал рассказывать «не от себя, а от Пушкина, по-пушкински», — писал в своих мемуарах, посвященных гимназии, А. Белый. Ему вторит Л. Л. Толстой: «Кто из нас не помнит, с какой любовью и пониманием Лев Иванович, может быть, в сотый раз в жизни, но все с той же свежестью чувства, читал перед нами стихи Пушкина?.. как он радовался хорошей и осмысленной передаче произведений наших классиков и ценил такие ответы?» Сотрудниче-

щиеся восьмого класса его гимназии.

А. Сливицкий, один из близких знакомых и сотрудников Поливанова, оставил любопытнейшие воспоминания о днях и ночах той страды.

11 апреля Обществом любителей российской словесности была выбрана комиссия по открытию памятника Пушкину и организации празднеств в составе тогдашнего председателя Общества С. А. Юрьева, крупного фольклориста, языковеда, этнографа и археолога В. Ф. Миллера, известного пушкиниста и археолога П. И. Бартенева, автора фундаментальных историко-социологических исследований М. М. Ковалевского

и других видных членов Общества. Председателем юбилейной комиссии единодушно избрали Л. И. Поливанова.

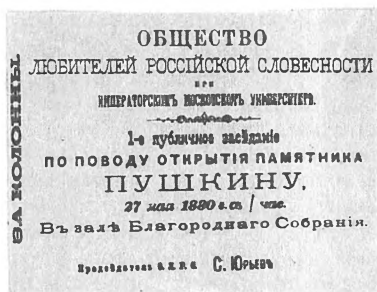
До открытия памятника оставалось чуть больше месяца — оно было назначено на 26 мая, день рождения поэта по старому стилю. Работа же предстояла огромная. Достаточно сказать, что протоколы каждого заседания комиссии заключали до сорока постановлений, к исполнению которых Лев Иванович приступал немедленно, кстати, собственноручно перебеливая эти пухлые протоколы. Только 14 мая пришло разрешение от московского генерал-губернатора князя Долгорукого и министра двора на устройство пушкинской выставки, подписного обеда и литературно-музыкальных вечеров при участии артистов императорских театров.

В те же три дня — с 25 по 28 мая — предполагалось провести публичные заседания Общества любителей российской словесности, где должны были произнести речи корифеи современной литературы.

Драматическую часть предстоящих вечеров взял на себя артист И. В. Самарин, музыкальную — Н. Г. Рубинштейн, декоративную и апофеоз — художник К. А. Трутовский. Замысел апофеоза состоял в следующем. В глубине сцены вокруг памятника Пушкину располагались символические фигуры: олицетворение России, сонм великих поэтов мира — Анакреон, Гомер, Софокл, Данте, Шекспир, Гете, Байрон, Мицкевич. Справа группировались аллегорические образы

пушкинской поэзии. А на прощениуме дети читали сказки Пушкина. Впечатление от апофеоза дополнял хор за сценой, которым дирижировал Рубинштейн.

Одновременно с публичными заседаниями и литературно-музыкальными вечерами ре-



Пригласительный билет на заседание, посвященное открытию памятника Пушкину 27 мая 1880 г.

шено было устроить во всех пяти тогдашних народных читальнях Москвы чтение общедоступной брошюры о Пушкине. Ее взялся написать Тургенев. Брошюру собирались напечатать тиражом в сто тысяч экземпляров для бесплатной раздачи народу. Статья Тургенева — речь его на одном из утренних заседаний — оказалась не слишком-то общедоступной, и потому составление брошюры возложили впоследствии на П. Е. Басистова.

Средств, по обыкновению, у Общества не было никаких. Надеялись лишь на доход от вечеров. Пока же Тургенев и Ковалевский дали заимообразно по 200 рублей. Поступили пожертвования от некоторых частных лиц и от городской думы — в размере трех тысяч рублей. Но предварительная смета расходов по организации только одного вечера превысила 4500 руб., включая оплату хора и со-

листов, услуги декоратора Вальца, фигурантов, стоимость костюмов и бутафории, освещения, афиш, билетов и т. д. Неизбежный дефицит согласилась покрыть городская дума. Кроме того, почетные гости пользовались бесплатными номерами в лучших московских гостиницах.

Ф. М. Достоевский пребывал в Лоскутной. Туда Сливацкому выпало доставить венок, поднесенный писателю после его памятной речи в Благородном собрании. Они подъехали к гостинице почти одновременно, и Сливацкий вошел в номер вслед за Федором Михайловичем. Тот принял его весьма любезно, предложил присесть, но был бледен, утомлен и крайне взволнован. «Как сейчас вижу, — вспоминает мемуарист, — как он, вертя в руках небольшую тетрадку почтовой бумаги, в которой бегло и не без помарок была набросана только что прочитанная речь, повторял неоднократно: «Чем объяснить такой успех? Никак не ожидал...»

По мере приближения празднеств помощники Льва Ивановича, в том числе Сливацкий, отправив свои семьи на дачи, перебирались постепенно в пустующие классы гимназии, сделавшейся основным центром подготовки первого пушкинского юбилея. В доме Степанова находилась и маленькая квартира Поливанова (как правило, он ночевал прямо в кабинете, на узкой кушетке за ширмой).

Вообразите, сколько времени надо было посвятить лишь на то, чтобы составить список лиц и учреждений — в России и в Европе, — которым следова-

ло разослать приглашения. Мы обнаруживаем в этом списке всех тогда живших детей и родственников Пушкина, его лицейских товарищей Комовского и Горчакова, А. Н. Вульфа, А. Н. Гончарова, созвездие писательских имен, русских и иностранных, до ста научных и литературных обществ разных стран... Не только на проекты писем ко всем этим лицам и учреждениям, но подчас просто на розыски их адресов приходилось затрачивать немало труда и энергии. Недаром как о победе сообщается в протоколе заседания юбилейной комиссии от 26 апреля под № 12: «...адрес Боденштадта получен» (его разыскивали по всей Европе, а он оказался где-то в Америке, куда ему и телеграфировали). И это — при медлительности тогдашней почты, отсутствии телефона и нынешних средств массовой коммуникации!

Вся эта колоссальная переписка целиком лежала на Льве Ивановиче (Гюго, Флоберу, И. Тэну и некоторым другим хорошо знакомым ему зарубежным писателям и литературоведам от имени Общества написал приглашения Тургенев).

Лавина писем, «входящих» и «исходящих», нарастала, смешиваясь с обычной корреспонденцией относительно дел гимназических, которая особенно увеличивалась весной. Теперь же Учителю с Пречистенки писали гимназисты и гимназистки всей России, слали свои трогательно-наивные «пушкинские» стихи и рисунки, мечтая, что их обнародуют перед памятником великого поэта. Да разве только они! В провинциальных город-

18  80

**ОТЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ СЛИВЕННОСТИ
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.**

ПО ПОВОДУ ОТКРЫТІЯ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ,
ВЪ ЗАЛАХЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНІЯ
НАЗНАЧЕНЪ

**ПЕРВЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
И ДРАМАТИЧЕСКІЙ ВЕЧЕРЪ.**

В ІЮНЯ, НАЧАЛО ВЪ 9 ЧАСОВЪ.

Въ немъ примутъ участіе: Н. В. Анненковъ, Д. В. Григоровичъ, О. М. Достоевскій, А. Н. Островскій, А. О. Писемскій, А. А. Погѣхнъ, Н. С. Тургеневъ, артистка Петербургскихъ Императорскихъ театровъ М. Д. Каневская, М. П. Климентова, артистка Императорскихъ Московскихъ театровъ Н. В. Самаринъ, артистка Императорскихъ Петербургскихъ театровъ Н. А. Мельниковъ и оркестръ и хоръ подъ управленіемъ

Н. Г. РУБИНШТЕЙНА.
ДЕКОРАЦІИ Г. ВАХЦА.
ПРОГРАММА

ЧАСТЬ I-a

1. Увертюра оперы «Бурлака» и Духовная Рамада или ораторія
одинъ изъ эпизодовъ Н. Г. Рубинштейна

2. СКУПОЙ РЫЦАРЬ.

Полуопера
СЕННА ПЕРДАК
ДЕВСТУЮЩЕЕ ДѢЛО

- 1. Опера: романсы: Пеллеа въ тюрьмѣ: опера: Гюльсманъ
Пеллеа
- 2. Ария: Ариэлла: Родина и Давидъ: Опера: Гюльсманъ
Пеллеа: Гюльсманъ Пеллеа
- 3. Опера: Гюльсманъ Пеллеа
- 4. Песня: Гюльсманъ Пеллеа
- 5. Песня: Гюльсманъ Пеллеа
- 6. Песня: Гюльсманъ Пеллеа
- 7. Песня: Гюльсманъ Пеллеа
- 8. Опера: Гюльсманъ Пеллеа

ЧАСТЬ II-a

1. Увертюра оперы «Бурлака» Достоевскаго, или ораторія, подъ
управленіемъ Н. Г. Рубинштейна

2. СЕННА ВОЛЬ ОНЕНЪ.
ВЪГВНІЙ ОВЪГНЪ.

Музыкальн.

- 1. Опера: романсы: Пеллеа въ тюрьмѣ: опера: Гюльсманъ
Пеллеа
- 2. Ария: Ариэлла: Родина и Давидъ: Опера: Гюльсманъ
Пеллеа: Гюльсманъ Пеллеа
- 3. Опера: Гюльсманъ Пеллеа
- 4. Песня: Гюльсманъ Пеллеа
- 5. Песня: Гюльсманъ Пеллеа
- 6. Песня: Гюльсманъ Пеллеа
- 7. Песня: Гюльсманъ Пеллеа
- 8. Опера: Гюльсманъ Пеллеа

9. АПОТЕОЗЪ.

ЦѢНА МѢСТАМЪ: Кресла 1-го ряда—15 р., 2-го—10 р., 3-го—5 р., стулья 4-го—3 р., 5-го—2 р., 6-го—1 р., 7-го—50 копѣекъ, 8-го—25 копѣекъ, 9-го—10 копѣекъ, 10-го—5 копѣекъ, 11-го—25 копѣекъ, 12-го—10 копѣекъ, 13-го—5 копѣекъ, 14-го—25 копѣекъ, 15-го—10 копѣекъ, 16-го—5 копѣекъ, 17-го—25 копѣекъ, 18-го—10 копѣекъ, 19-го—5 копѣекъ, 20-го—25 копѣекъ, 21-го—10 копѣекъ, 22-го—5 копѣекъ, 23-го—25 копѣекъ, 24-го—10 копѣекъ, 25-го—5 копѣекъ, 26-го—25 копѣекъ, 27-го—10 копѣекъ, 28-го—5 копѣекъ, 29-го—25 копѣекъ, 30-го—10 копѣекъ, 31-го—5 копѣекъ, 32-го—25 копѣекъ, 33-го—10 копѣекъ, 34-го—5 копѣекъ, 35-го—25 копѣекъ, 36-го—10 копѣекъ, 37-го—5 копѣекъ, 38-го—25 копѣекъ, 39-го—10 копѣекъ, 40-го—5 копѣекъ, 41-го—25 копѣекъ, 42-го—10 копѣекъ, 43-го—5 копѣекъ, 44-го—25 копѣекъ, 45-го—10 копѣекъ, 46-го—5 копѣекъ, 47-го—25 копѣекъ, 48-го—10 копѣекъ, 49-го—5 копѣекъ, 50-го—25 копѣекъ, 51-го—10 копѣекъ, 52-го—5 копѣекъ, 53-го—25 копѣекъ, 54-го—10 копѣекъ, 55-го—5 копѣекъ, 56-го—25 копѣекъ, 57-го—10 копѣекъ, 58-го—5 копѣекъ, 59-го—25 копѣекъ, 60-го—10 копѣекъ, 61-го—5 копѣекъ, 62-го—25 копѣекъ, 63-го—10 копѣекъ, 64-го—5 копѣекъ, 65-го—25 копѣекъ, 66-го—10 копѣекъ, 67-го—5 копѣекъ, 68-го—25 копѣекъ, 69-го—10 копѣекъ, 70-го—5 копѣекъ, 71-го—25 копѣекъ, 72-го—10 копѣекъ, 73-го—5 копѣекъ, 74-го—25 копѣекъ, 75-го—10 копѣекъ, 76-го—5 копѣекъ, 77-го—25 копѣекъ, 78-го—10 копѣекъ, 79-го—5 копѣекъ, 80-го—25 копѣекъ, 81-го—10 копѣекъ, 82-го—5 копѣекъ, 83-го—25 копѣекъ, 84-го—10 копѣекъ, 85-го—5 копѣекъ, 86-го—25 копѣекъ, 87-го—10 копѣекъ, 88-го—5 копѣекъ, 89-го—25 копѣекъ, 90-го—10 копѣекъ, 91-го—5 копѣекъ, 92-го—25 копѣекъ, 93-го—10 копѣекъ, 94-го—5 копѣекъ, 95-го—25 копѣекъ, 96-го—10 копѣекъ, 97-го—5 копѣекъ, 98-го—25 копѣекъ, 99-го—10 копѣекъ, 100-го—5 копѣекъ.

Билеты можно получать въ музыкальнѣмъ магазинѣ Юргенсона (Кузнецк. мостъ, Негливынъ протѣкъ д. Третьякова).

Если окажется избытокъ, отъ себя за билеты на вечеръ и на спектакль и отъ суммы отъ себя, пожертвованной Москвою годовой думой на устройствъ празднествъ, общ. люб. Росс. сродности по поводу отбыванія памятника Пушкину, за поименнымъ расходомъ на эти празднества: то они будутъ назначены обществомъ любителей словесности на установленіи имени Пушкина: а также для возмездія трудомъ преимущественно имѣю щимъ отношеніемъ къ Пушкину.

Всѣмъ желающимъ—имѣющимъ въ виду—ссылку на объявленіе: въ Моск. Газетѣ. Секретарь: Александръ Петровичъ Савинъ, Курганъ, 10-й д.

Афиша литературно-музыкальнаго вечера по поводу открытія памятника Пушкину.

ках, на заброшенных полустанках, в уездных центрах и в столичных кварталах множество людей было охвачено сходным стремлением. Не довольствуясь письменными посланиями, они нередко сами являлись в дом Степанова. Разного рода просители осаждали Льва Ивановича с утра до ночи.

Итак, все вроде бы утряслось. Семейство Пушкина и семьи его друзей получили самые удобные кресла. Последние депутаты и гости праздника являлись на квартиру Поливанова для обмена пригласительных извещений на входные билеты в храм Страстного монастыря к заупокойной обедне, пропуска

на площадь к памятнику, билеты на утренние заседания (бесплатные), литературно-музыкальные вечера и — по желанию — на торжественный подписной обед. Уже кабинет Льва Ивановича переполняли драгоценные экспонаты юбилейной выставки, которую предстояло развернуть в боковой зале Богородного собрания.

Чего стоило Поливанову отыскать и — главное — добыть эти пушкинские реликвии! Так, после полуторамесячной переписки выяснилось, что портрет поэта работы Тропинина хранится в доме покойного князя Оболенского на Арбате и что если дочь его, М. А. Хилкова, не в Москве, а за границей, то княгиня-мать, быть может, разрешит воспользоваться семейным сокровищем... Бюст Пушкина, созданный Рамазановым, лучший из имевшихся в Москве, обещал через Трутовского один московский миллионер. Лев Иванович отправил ему официальное письмо, и на следующий день Сливичкий поехал по указанному адресу на другой конец города. Но не тут-то было! Разъяренный хозяин выбежал в прихожую, потрясая письмом, с криком: «Кому это писано? Кому это писано? Кто я такой?» Оказывается, забыли титул «коммерции советнику». Ошарашенный Сливичкий, живо представив себе отчаяние Льва Ивановича, только и сумел вставить в эту бешеную тираду: «Значит, бюста не даете?» — на что уязвленный до глубины души капиталист, переведя дыхание, ответил разом упавшим голосом: «Вам его... сейчас вынесут».

...Даже ночью, валясь с ног от усталости, Поливанов вновь

и вновь озабоченно перебирал выставочные богатства, намечал их расстановку, ласкал взглядом. Второй канонический портрет Пушкина кисти Кипренского был доставлен от сына поэта. Еще одно его прижизненное изображение, привезенное племянником, Анатолием Львовичем, из Болдина. Иконография пушкинских предков. Два легендарных перстня: один — изумрудный — собственность О. В. Демидовой, дочери Даля, другой — сердоликовый, которому Пушкин придавал значение талисмана, принадлежал И. С. Тургеневу. Пуговица от сюртука, снятого со смертельно раненного поэта, — она обнаружилась в Демидовском лицее в Ярославле; и сам сюртук, жилет в пятнах засохшей крови. Посмертная маска Пушкина (от Бартенева). В последний момент Тургенев принес еще карандашный портрет Пушкина, унаследованный им от отца. Стояла здесь на стульях и картина «Пушкин в гробу», прибывшая из астафьевского имения Вяземских вместе с увесистой палкой поэта. А дальше, на столе — траурная карточка с извещением о панихиде, рисунок пушкинской могилы, коллекция иллюстраций к поэмам Пушкина из альманахов 20-х годов, автографы пушкинских писем, стихотворений (вклад в выставку А. А. Пушкина и Миллера), первые издания произведений поэта, собиравшиеся по всей России.

И все это нужно было не только найти, выпросить у частных владельцев, доставить с ответственными предосторожностями, наконец, надлежащим образом оформить на десятках

стендов и мольбертов, о которых Лев Иванович тоже, между прочим, хлопотал лично, но и подробно, по-научному (или, если угодно, по-музейному) зафиксировать в сводной описи. Перелистайте каталог, альбом фотографий той уникальной экспозиции, большая часть которой, увы, бесследно исчезла, и вы увидите, что ей могут позавидовать ведущие государственные собрания наших дней.

Близилась к концу последнее приготовления. По указанию Поливанова один из его добровольных помощников спешил к равнине, чтобы перевести древнюю надпись на перстне-талисмане Пушкина, а другой носился по Москве в поисках Веры Александровны Нащокиной, вдовы задуманного друга поэта, не решавшейся хотя бы на короткий срок расстаться с портретом мужа. Посредством Кошелевой и Хомяковых был выужен из неизвестности редкий портрет Гоголя. Радостный и довольный, Лев Иванович уже начал распределять последовательность выступлений ораторов на утренних заседаниях, «выстраивать» участников вечеров, подсчитывая, сколько минут займет исполнение каждого номера, прикидывал и порядок тостов на подписном обеде...

До открытия памятника оставалось четыре дня, когда скончалась императрица Мария Александровна, и из Петербурга последовало высочайшее повеление отложить юбилейные пушкинские торжества на *неопределенное время*.

У организаторов праздника опустели руки.

Отсутствие точной даты пенированных торжеств вызвало

всеобщую неразбериху и нервозность. Новый поток писем и телеграмм захлестнул дом на Пречистенке. «Выезжать ли?» — вопрошали писатели, артисты, депутаты, почетные гости. «Известите, на какие дни откладываются празднества?» По ходячим слухам и газетным сообщениям, эти дни то и дело менялись. Сначала убежденно говорили, что открытие памятника откладывается на целый год. Затем все настойчивее стали называть 19 октября — лицейскую годовщину, пока не назначили окончательную дату — 6 июня.

Теперь вновь пришлось рассылать в разные концы бездну почтовых и телеграфных извещений, которые тем не менее не устранили возникшую тревогу. Все были как-то взвинчены и раздражены.

«Как вы еще только на ногах держитесь?» — спрашивали Поливанова. «Вы думаете, я устал? — отвечал он. — Так я вам скажу: никогда я столь бодро и легко не даю уроков, как в то время, когда весь поглощен другой работой. А ведь случается, идешь в класс, почти не спавши ночью... Погодите, — усталость, а с ней и тоска еще появятся. Они являются после того, как сбудешь любимое дело, а другим еще не успел увлечься».

«Любимое дело» пушкинского юбилея захватывало для Льва Ивановича также художественную, драматическую и музыкальную часть готовившихся вечеров. Правда, ответственность за них несли Трутовский, Самарин и Рубинштейн, но ведь не следует забывать, кто сумел привлечь таких распорядителей и какие порой невероятные



*Открытие
памятника
Пушкину.
Момент
снятия
покрова.
С наброска
Н. Чехова.
Рисовал
А. Бауман.*

задания давались Поливанову, например, тем же Рубинштейном.

«Ну-с, милостивые государи, каков будет вечерок? — потирал руки Лев Иванович. — Пожалуй, не доставшие билетов сломают стены Собрания и силой ворвутся в него? Ха-ха-ха!.. А ведь в самом деле? Я и вообразить не могу, что бы со мной было, ес-

ли бы я не попал на такой вечер».

Пребывая все эти недели в неустанном горении, Лев Иванович на самих торжествах старался держаться в тени, его беспримерная скромность вошла в поговорку. Но благодарная Москва, а с ней Россия узнали и хорошо запомнили, кто вынес на своих плечах все тяготы

устройства первого, блистательно удавшегося пушкинского праздника.

...Минует семь лет. «Мне Общество Словесности назначило читать в публичном торжественном заседании 1 февраля (в 1 ч. дня, в Актной зале университета)... Моей речью открывается заседание, на которое рвется публика самого ответственного разбора... Я уже хотел бежать (то есть отказать), — не сделал этого вовремя, теперь корабли сожжены. Поджилки у меня трясутся и жду своей неминуемой гибели... Помолитесь за меня. Ужасно страшно. Речь только сейчас окончил и не имею духу ее перечитать...» И это пишет человек, удостоенный двух высших академических премий и золотой медали Академии наук за работы о Пушкине.

А пока 6 июня 1880 года «с девяти часов утра густые толпы народа и многочисленные экипажи стали стекаться к площади Страстного монастыря... Ко-

лыхались разноцветные значки и знамена различных корпораций, обществ и учреждений; вокруг площадки памятника на шестах поставлены были белые щиты, на которых золотом вытиснены были названия произведений великого поэта; Тверской бульвар был украшен гирляндами живой зелени, перекинутой над дорожками... Народ покупает у торговцев массу ландышей и фиалок и закидывает ими пьедестал памятника... К вечеру зажигается иллюминация...»

Как только заканчивалась программа очередного дня, устроители юбилейных торжеств торопились на Пречистенку и в кабинете Льва Ивановича до рассвета делились впечатлениями. И еще годы спустя стоило на поливановских «субботах» завести речь о тех незабываемых пушкинских и предпушкинских днях, все вдруг разом встрепенутся, и воспоминаниям не было конца...



СОДЕРЖАНИЕ

- От составителя
—5—
- Д. С. Лихачев* В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
—6—
- Н. Скотов* ДЕТСТВО ПУШКИНА
—27—
- А. Сопровский* ЗАМЕТКИ О РОЖДЕНИИ
И СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА
—50—
- Н. Колосова* «ДРУГ МОЙ, ЖЕНКА»
—63—
- Б. Тарасов* А. С. ПУШКИН И П. Я. ЧААДАЕВ
(Эпизоды творческой дружбы)
—83—
- Н. Колосова* ПУШКИН И СМИРНОВА
—98—
- И. Сидоров* «ЭТО НАМ ЧИТАЛ ПУШКИН, ПОЭТ,
У ФИКЕЛЬМОН...»
(Из переписки Бакуниных 1836—37 гг.)
—117—
- А. Никитин* МАДРИГАЛ КНЯЗЮ ШАЛИКОВУ
—133—
- А. Буторов* ВСТРЕЧА С ПУШКИНСКОЙ
ЭПОХОЙ
—141—
- А. Звягинцев* ПЕРСТНИ-ТАЛИСМАНЫ
—146—
- А. Басманов* ПОЛТАВА
—162—

- И. Фейнберг.* «ЗАСТУПНИКИ КНУТА И ПЛЕТИ...»
—173—
- В. Берестов* ЛЕСТНИЦА ЧУВСТВ
—185—
- А. Чернов* «НА ТАЙНЫЕ ЛИСТЫ...»
(Из наблюдений над текстом
«Евгения Онегина»)
—206—
- А. Озеров* ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПУШКИНА
—223—
- Ю. Карякин* ВДОХНОВЕНИЕ
—251—
- И. Фейнберг* ПРОПАВШИЙ ДНЕВНИК
—258—
- И. Зильберштейн* «ПУШКИНИАНА» СЕРГЕЯ ЛИФАРЯ
—266—
- С. Энгель* ЗАГАДКА ПИСЕМ Н. Н. ПУШКИНОЙ
—257—
- Г. Хаит* ПО СЛЕДАМ ПРЕДВЕСТНИКА
ГИБЕЛИ
—293—
- А. Керцелли* ПОРТРЕТНЫЕ РИСУНКИ ПОЭТА
(новые атрибуции)
—320—
- И. Зильберштейн* О ЧЕМ ПОВЕСТВУЮТ
АКВАРЕЛЬНЫЕ
ПОРТРЕТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ
—333—
- С. Горбачева*
С. Ямицков ЛИЦА ПУШКИНСКИХ
СОВРЕМЕННИКОВ
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ РЕСТАВРАТОРОВ
—358—
- Вл. Вельяшев* «МНЕ ВИДИТСЯ МОЕ СЕЛЕНЬЕ...»
—372—
- Т. Князева* ПУШКИНСКОЕ КОЛЬЦО
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
—381—

- С. Овчинникова* ДОМ НА СТАРОМ АРБАТЕ
—396—
- С. Гейченко* В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
—411—
- В. Енишерлов* ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ВСТРЕЧИ
—424—
- Ю. Осипов* ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
—450—

С60 «Солнце русской поэзии» / Ил. и оф. В. Ф. Горелова. — М.: Правда, 1989. — 464 с., ил.

Книга представляет собой историко-литературный и биографический сборник, объединивший материалы, посвященные А.С.Пушкину. Эссе, очерки, статьи сборника рассказывают о жизни и творчестве поэта, о его современниках, знакомят с малоизвестными лицами пушкинского окружения, местами, воспетыми поэтом, дорогими нашему народу реликвиями.

С $\frac{4702010100-1617}{080(02)-89}$ 1617—89

84 Р 1

Литературно-художественное издание

«СОЛНЦЕ НАШЕЙ ПОЭЗИИ»

(Из современной Пушкинианы)

Составитель
Осипов Юрий Иосифович

Редактор
Т. В. Л о д я н а я

Художественный редактор
И. С. За х а р о в

Технический редактор
К. И. З а б о т и н а

ИБ 1617

Сдано в набор 25.02.88. Подписано к печати 09.02.89.
Формат 60×90/16. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 29,00. Усл. кр.-отт. 56,25. Уч.-изд. л. 29,59.
Тираж 100 000 экз. Заказ № Б-260. Цена 2 р. 10 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии
издательства Татарского обкома КПСС,
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

2 р. 10 к.

